95 коп.

Индекс 73276

14



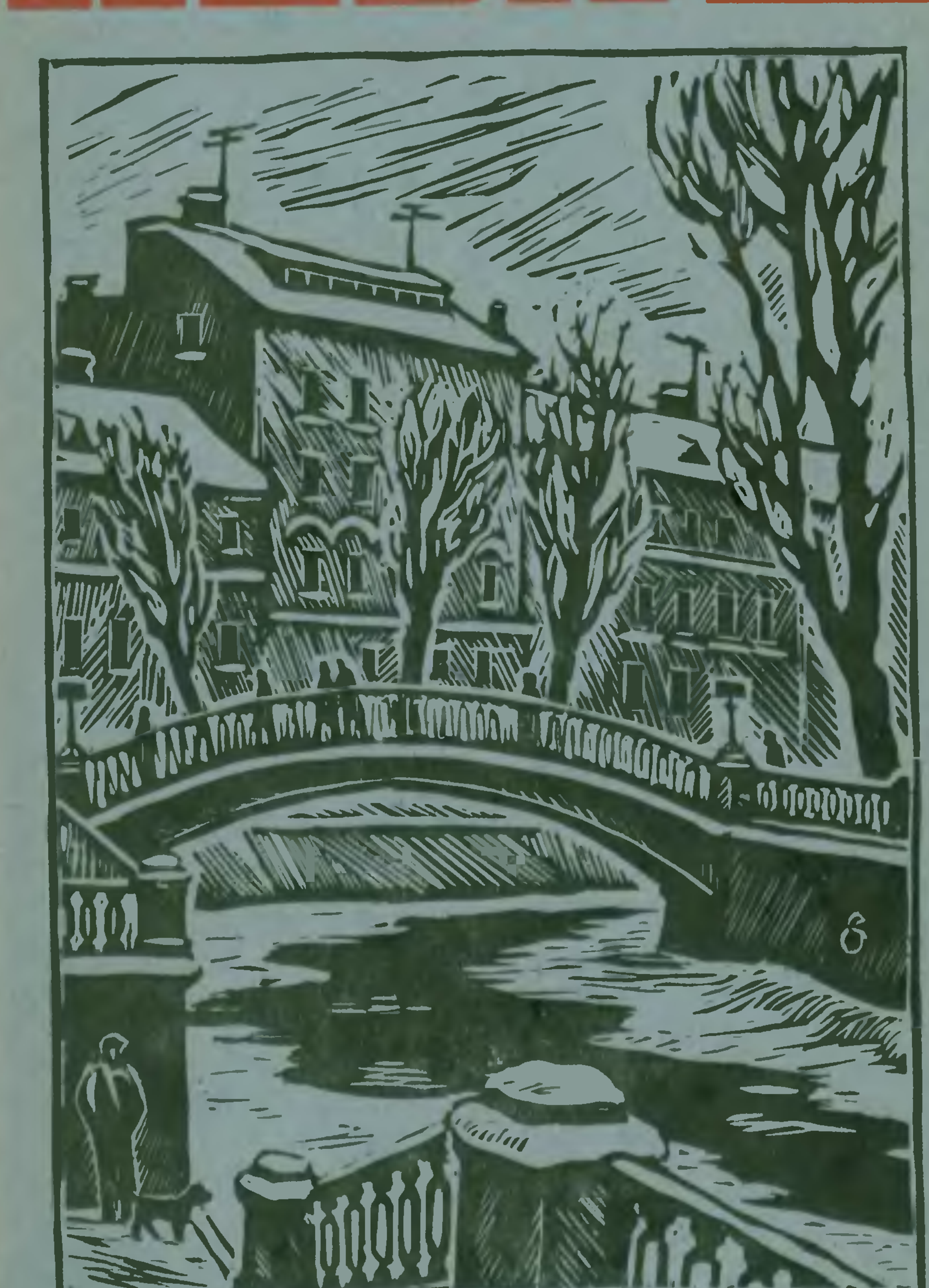
«Нева», 1988, № 3, 1—208

НЕВА 3 1988

ISSN 0130-741X

НЕВА

3 | 1988



НЕВА

Выходит
с апреля
1955
года

3 | 1988

Ежемесячный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
иллюстрированный
журнал

Орган
Союза
писателей
РСФСР
и Ленинградской
писательской
организации



Ленинград.
Издательство
„Художественная
литература."
Ленинградское
отделение

Содержание

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ИСКУССТВО

СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

В номере вклейки: «Живопись Александра РУСАКОВА» и «Валентина ПЕТРОВА. Мастер автолитографии и офорта».

На обложке: гравюра Б. Г. СМИРНОВА «Канал Грибоедова. Сенной мостик».



Рис. В. Шарокова

Нонна СЛЕПАКОВА

БЫТ МОИХ ВРЕМЕН

Ну почему бы не любить
Мне быт моих времен?
Люблю компостером пробить
Автобусный талон;
Люблю посадки злобный взлет
И этот легкий страх,
Когда коленку мне зажмет
В сошедшихся дверях...
Летит машина с ветерком,
Я помогаю ей
Своей коленкой-плавником,
Торчащим из дверей.

Люблю на почте черный клей
И *уточку*-перо:
Пиши, и клей, и не жалей
Всеобщее добро.

Люблю на жэковский барьер
Склониться— и понять,
Как *форму девять*, например,
Должна я заполнять.

Люблю я радио — не зря,
А за бодрящий тон:
Ликует диктор, говоря,
Как шел антициклон.

В меня впиталося с едой
Родство очередей
С такой отходчивой враждой
Теснящихся людей.

Совет, рецепт,— а там и смех,
Обзор газетных тем...
Люблю я все, что есть у всех
И что доступно всем.

БАЛ

В лохмотьях дотащились мы на бал,
Хоть были поначалу разодеты,—
Какой нас шелк струисто облегал!
Какие окрыляли нас эгреты!
Но тщетно ждали наши туалеты
Вальсированья, взоров и похвал.

Кой-что за грош спустили, приустав,
Кой-что в пирах случайных прогуляли...
На каждой из грабительских застав
Мы в страхе по обрывку оставляли,—
По камушку, по перышку, клочку
Мы раздавали, выходя из моды,
То волку, то клопу, то паучку,
То просто ухудшению погоды.

Кто на пеленки отрывал рукав,
Кто резал шлейф — супруге на бельишко

Не нам жалеть: убогий вечно прав.
Все — крохи против нашего излишка!

Случалось жемчуга и декольте
Нам ватником прикрыть для маскировки,
Чтоб не остаться в полной наготе...
Какой там бал! Какие вальсировки!

Но мы — в дверях, и нас зовут на бал.
И жмемся мы: старухи, мы не пляшем,
Стоим и шелестим отрепьем нашим,
Пугаясь кавалеров и зеркал.

Нас грохот ритма оглушает, старых,
Впивать способных лишь свирельный
глас.
И девка в космах, в шелковых шальварах,
Вся растопырясь, пляшет вместо нас.

НОВОЕ ИСКУССТВО

(три монолога одного и того же лица в разное время)

1

— Принесите сюда орхидей!
Я без них не дождусь благодати —
Дара речи для пленных идей.
...Черный ворон в багряном закате —
Вот о чем я скажу, господа.
Пусть послушницы, то есть актрисы,
Орхидеи поставят сюда,
Ну, и ирисы — прочь, за кулисы.

Чуют все, как один человек:
Черный ворон в багрянце заката
Улетает куда-то, куда-то,
Где чему-то не будет возврата...
Чуть начавшись, кончается век.

Дрожь свободы, тревога предчувства
Сотрясает нам душу и плоть.
Заскорузлая риза искусства
Нас теснит — разодрать, распороть
Этот плащ, столь удобный когда-то,
Задубелый от пота и злата!

Цвет и форму, движенье и звук
И нагое значенье глагола,
Не страшась, выпускаем из рук
На пленительный всплеск произвола.
Не печалься, Пьеро, ничего!
Что так робко качаешь помпоном?
Ты творишь для себя самого,
По своим отвечаешь законам!
Черный ворон в багряной заре —
Как стремительное тире
Между нами и нашими снами,
Меж безвременьем и временами.

Ты свободен от мненья людей!
Забывайся в восторженной скорби,
Или, может быть, в скорбном восторге,
На закате, среди орхидей.

2

— Подметите торцы площадей
Этим веником из орхидей!
А искусство, громадно и гибко,
Раскатайте по глади торцов.
А вверху, между башен дворцов,
Пусть повиснет гигантская зыбка.

Пусть посмотрит младенческий люд,
В созреванин смутном качаясь,
Как искусство ему отдают,
Все как есть отдают,— не печалясь.

Утоляющий жажду народ,
Раздувая юбчонки и клеши,
Пусть подсолнухом сверху плюет
И роняет на сцену галоши.

Я затем для него и простер
Исполинский двухцветный ковер:
Черный — рабство, и красный — свобода,
Черный ворон в багрянце восхода.
Черный ворон в багряной заре —
Как стремительное тире
Между тьмой и огнем, между нами
И вознесшими нас временами!

Жрец, главарь, устроитель утех,
Прежде замкнутый столь безысходно,
Ты свободен! Искусство для всех —
Всенародностью самой свободно!
Ты пророком назначил себя.
Воплощайся плакатно, площадно,—
Так История, сцену любя,
Воплощалась при всех беспощадно!

Черный ворон в багряной заре...
«Черный ворон»? За мной? Во дворе?
Но зачем эти ружья? На что же
Эти отроки в глянцевой коже?
Что ты, воин, за локоть берешь
И дыханием кислокапустным
Так реально меня обдаешь?
Или жизнь перепутал с искусством?

3

— Дима? С дамой? Приветствую вас.
Ничего, что на кухне? — Сейчас
Чай заварим, крепчайший на свете,
Пошмонаем водяры в буфете.
Сковородник опять, прохиндей,
Завалился за полку, похоже.
Что вы, милый? Каких орхидей
Не хватает мне? Вспомнили, тоже!
Да, водились такие цветы,
Семь целковых гони, и порядок.
Во какие пускались финты!
Трата денег, и форс, и упадок.

Попрошу к баклажанной икре
Быть внимательней. Сыру хотите?
Черный ворон в багряной заре?
Вы о чем? Не припомню, простите.

Вот вам байка. Зеркальный трельяж
Получила красотка-мотовка.
Прилагалась к нему сторублевка
И подробный при ней инструктаж:
«Вся твоя сторублевка, сердечко,
Как захочется, так и потрать.
Только красного с черным не брать,
И о белом — молчок, ни словечка!
И твой вид никого, никогда
Не шокирует, не потревожит.
Только чур — вместо „нет“, вместо „да“ —
говори „не совсем“ и „быть может“».

Подчинилась красотка иль нет —
Дело девичье. Дамское. Вдовье.
Соблюдающий это условье,
Не живя, проживает сто лет.
А закат ли искусства, расцвет —
Размышляйте потом на здоровье.
Ну, и хватит, товарищи, ша!
Все потом разузнаете сами.
Да и полно о скушном при даме.
Черт возьми, как она хороша!

В черных кудрях, как в черном пере,
В алом свитере — цените, Дима?
...Черный ворон в багряной заре,
Исчезающий невозвратимо.

Юлиан СЕМЕНОВ



Я хочу быть понят моей
страной,
А не буду понят —
что ж.
По родной стране
Пройду стороной,
Как проходит
косой дождь.
Вл. Маяковский

Апрель был на редкость студеным; по ночам звенели прозрачные заморозки; черные ветви деревьев раздирали холодную голубизну воздуха, словно бы моля о тепле.

Предмет живописи, подумал Маяковский; ветки, как руки; голос не суть важен; «мысль изреченная есть ложь»; всегда ли? Тем не менее, смысл молитвы сокрыт именно в руках; единственно, видимо, что в человеке до конца истинно, так это жест; наверное, поэтому балет бессмертен.

Он неторопливо размял папиросу, прикурил, тяжело затянулся, подвинул листки бумаги, испещренные выписками из критических статей о нем: «поэт кончился», «гонит строки», «не стихи, а рублевая лапша»... «неумение понять новое время», «мастер штампа», «дешевое развлекательство», «саморекламность»...

Набрал номер Яна:

— Хочешь выпить чашку крепкого чая?

— Мечтаю.

— Тогда я ставлю воду на примус.

— Через три минуты буду у тебя.

Через шесть, подумал Маяковский; наверняка встретит кого-нибудь в коридоре, да и регулировщик долго держит пешеходов, Москва помаленьку становится Нью-Йорком; имел ли я право публиковать,— «ненавижу Нью-Йорк в воскресенье»? Все-таки, наверное, да, потому что я действительно по воскресеньям ненавидел этот город, зато очень любил его в будни. Эльза говорила, что в эмигрантских парижских газетах меня назвали человеком, готовящим русских к ненависти против американцев. Что это? Слепота? Неумение читать? Ведь я писал об Америке так, чтобы вызвать к ней симпатию. Мы никогда не умели спорить: «или ты согласен со мной, или ты враг, третьего не дано». Барство не терпит ни личности, ни мнения, ни права на собственную позицию; в общем-то логично: барство — это неограниченное владение себе подобными, а владеть можно только теми, кто запуган, лишен стержня... Интересно, кто правит медузами? Есть же у них главный барин, не может не быть!

Агранов пришел через семь минут; зажмурился:

— Сколько «Герцеговин» ты выкурил?

— Много. Сахар класть?

— Чай с сахаром — это не чай.

— Вчера я говорил с Госиздатом... Они потребовали выбросить строки из ленинской поэмы: «„...По приказу товарища Троцкого!“ — „Есть!“ — повернулся и скрылся скоро, и только на ленте у флотского под лампой блеснуло — „Аврора“...» В «Голосе Красной площади» рекомендуют убрать: «слушай-

те голос Рыкова, народ его голос выковал! В уши наймита и барина лезьте слова Бухарина,— это мильон партийцев слился, чтоб вам противиться...» Были суровы: «партийцы ныне слились в образе другого человека»...

Ян допил чай, поднялся, трудно закашлявшись,— весной и осенью страдал чахоточными кровотечениями, с времен первой каторги.

— Одевайте тужурку, поэт,— сказал он.— Приглашаю вас на прогулку. Здесь невозможно говорить, впору топор вешать.

— Метафора,— отрезал Маяковский.— Это метафора, Ян. А я перестал им верить, поскольку истина конкретна. В коридоре есть топор, возьми его и попробуй повесить... Он ударит тебя по ноге, будет больно.

На улице, зябко поежившись, Ян спросил:

— Выписываешь из газет всю ту пакость, что на тебя теперь стали лить?

— Заметил?

— Мудрено не заметить... Если не уберешь те строки, что просят в Госиздате, удары станут еще более сильными.

— Что посоветуешь?

— Замолчать... На какое-то время — во всяком случае... Оглядеться. Мужиковствующих свора не прощает самости... Сейчас они бьются за расширение плацдарма...— Ты — конкурент... Талант суверенен и сам назначает себе цену, помнишь? Ты ее назначил двадцать лет назад. И читатель поныне продолжает платить самой высокой ценой, какая только есть на земле,— он знает тебя, Влодек.

— Я привык к укусам критики, черт с ней... Важно другое: отчего молчат те, кто призван быть арбитром?

— Арбитров назначают, увольняют, корректируют... Читатель — главный арбитр... А он уже давно сказал свое слово...

— Полагаешь, главного арбитра нельзя сбить с панталыку? Капля камень точит. Атака против меня еще только начинается.

— Испугался?

Глаза Маяковского сделались яростными:

— Ты плохо говоришь со мной.

— Надо утешать? Уволь. Для этих целей у тебя есть тысячи знакомцев...

— Уже не тысячи. Оказывается, люди удивительно чувствуют, когда дерево начинает трещать под ударом топора... Отбегают загодя...

— Ты не имеешь права сдаваться... На какое-то время замолчать? Может быть. Но не сдаваться.

— Поэту нельзя советовать замолчать, Ян. Это несопрягаемые понятия — «молчание» и «поэзия».

— Хочешь, сегодня я побуду с тобой?

— Да.

— Я свободен до трех, потом совещание, я обязан там быть... Но вечером я приду к тебе и будем вместе... А сейчас пообедаем у Шуры, ладно?

Маяковский недоуменно глянул на друга:

— Когда ты был у Шуры последний раз? Его закрыли. Нет больше Шуриной блинной, отдали конторе по утильсырью... Шура оказался буржуем... Из Грузии приехал Бесо, рассказывал, что там теперь негде выпить вина и кофе, и никто не продает лепешек и на базаре шаром покати... Произошло что-то горестно-непоправимое, Ян... Во имя чего? В Госиздате сказали: «„Левый фронт" и государственное строительство — взаимоисключающие понятия». Вот так-то... «Идея государственности суть центр, никаких шараханий, мужик должен быть п р о т а щ е н сквозь горнило новостроек металлургии». Я возразил: «В свое время товарищ Троцкий предлагал протащить мужика сквозь военно-промышленный труд-фронт, идею отвергли, зачем же ее сейчас рядить в новую одежду?» Мне ответили, что я не понимаю настроений бедняцкой массы. Я грохнул: «Не понимаю настроений лентяев и обломовых! Республика Ленина дала равные гарантии всем, только надо учить людей пользоваться правами, добытыми в семнадцатом»...

— Ты сказал: «В октябре семнадцатого», поэт... Ты был точен в разговоре с ними...

— Что, уже сообщили?



Рисунок Бориса Власова, 1976 год

— А ты как думаешь?! Карлики учатся искусству борьбы на колоссах... Ничего, в конечном счете станешь печататься в кооперативных издательствах...

Маяковский покачал головой:

— На каком свете ты живешь?! Кооперативные издательства доживают последние дни... Без санкции РАППа теперь и за границей нельзя печататься,— отныне не читатель решает, что ему покупать в лавке, а секретариат Ассоциации... Будь я уверен, что смогу печататься по-прежнему, разве б...

Маяковский резко оборвал себя; Ян терпеливо ждал окончания фразы; не дождался; нахохленно поднял чахоточные углы-плечи:

— Ударишь по всему, что всех нас гнетет, в поэме «Плохо»...

— Убежден, что напечатают?

На какое-то мгновение лицо Маяковского сделалось морщинистым, старческим; персонаж Пиросмани; в огромных глазах, обращенных к небу, черные ветки ломались причудливыми сплетениями иссохшихся рук.

— Иногда я думаю,— тихо, с болью сказал он,— что теперь мое место в Париже и Берлине: Арагон, Диего Ривера, Брехт, Пикассо... С ними у меня нет разногласий, во мнениях едины...

Ян снова зябко поежился:
— Отныне выезд за границу будет жестко лимитироваться, Влодек...
— Сколько я помню, при Ленине самым страшным наказанием было лишение гражданства с высылкой за границу, потом уже расстрел...
— Ленин — это Ленин. Но и семинария кое-что значит,— тысяча девятьсот тридцать лет опыта, духовного владычества, как ни крути...
Маяковский явственно, до пекущей, изжоговой боли в солнечном сплетении, вспомнил Есенина; бедолага, не смог перестроить себя на революцию; я — под нынешнее время; квиты...
— Все чаще мне кажется,— сказал Маяковский,— что мы бессильны помочь грядущим событиям... Мы добровольно положили все свои права на алтарь революции, свято ей веря, но того, кто начал Октябрь, уж нет, а те далече... Нет ничего страшнее ощущения собственной малости,— отчетливо понимаешь, что беду нельзя предотвратить, как бы ни старался...

...В столовке нарпита было грязно и липко; от радиаторов отопления тянуло холодом,— котельная работала по графику, спущенному сверху, а не в зависимости от того, какая на дворе погода; две буфетчицы в грязных халатах отпускали кашу, сваренную кусками,— все равно съедят, идти больше некуда.
— Твои недруги,— сказал Ян, ковырнув вилкой перловку,— ищут человека с профессорским именем, чтобы тот подписал их статью,— «спекулянт от поэзии»...
— Это уж было,— с усталым безразличием откликнулся Маяковский.— «Сочиняет горбатую агитку, чтоб больше платили»... Полонский в «Новом мире» дает два рубля за строчку, а я в нашем ЛЕФе получал двадцать семь копеек, да и то отчислял гонорары в общую кассу,— Наркомпрос дотациями не жаловал, у нас ведь со своими не церемонятся, только перед чужими заискивают... Лакейство проистекает от вековечного рабства...
— Влодек, ты обижен и оттого становишься неблагоразумным...
— Благоразумие — позорно...
Маяковский отчего-то вспомнил, как в Доме печати его остановил Василий: «Зачем ты выступил против Булгакова?! Он же талантлив!» — «Испорченное радио,— ответил тогда Маяковский.— Я выступил как раз против того, чтобы запрещали его „Дни Турбиных". Пусть бы пьеса шла у Станиславского, пусть! А то, что мне не нравятся его герои,— вполне естественно... Подобные им посадили меня в одиночку... И держали там не день или месяц, Василий... Возьми стенограмму: смысл моего выступления в том, чтобы мерзавцы из реперткома не смели запрещать творчество,— даже то, которое мне не по душе».

В биллиардной на Пименовском, пока маркер Григорий Иванович выкладывал пирамиду, Маяковский достал из кармана письмо, еще раз пробежал четкие, каллиграфически выведенные строки: «Товарищ правительство, членами моей семьи прошу считать... Жаль, что не успел доругаться с Ермиловым...»
Не годится, подумал он в который уже раз; надо переписать. Есть нечто жалостливое в интонации. Выстрел будет в сердце, но ведь его должны услышать те, кто не сможет прочесть мою посмертную волю. Как-никак, матерь наша Византия, умеем терять неугодное, забывать нежелаемое, переворачивать с ног на голову факты...
— Владим Владимыч, кто разобьет? — спросил маркер.
Маяковский медленно, словно бы дразняще растягивая время, намелил кий и деловито поинтересовался:
— Сколько дадите форы?
— Пять.
— Десять,— отрезал Маяковский.— Разобью я. Играю на падающего.
И — ударил с оттягом, подумав: «О Пушкине в последние месяцы тоже писали, что выдохся, эпиграммами кололи... Только через двадцать лет снова

вспомнили; нет пророка в отечестве своем; крутые мы люди, что имеем — не храним, потерявши плачем... Плачем ли?»
Пританцовывая, Григорий Иванович обежал огромный стол, приладился, поднялся на мысочки (ботинки парусиновые, в латках, а ведь большие деньги берет, в матрац, что ль, пакует?) и легоньким ударом положил «двенадцатого», выведя свояка к «десятке»; снял и ее; лицо после этого сделалось жестким, недвижным,— человек в тайге, на медвежьей охоте, скрадывает не трофей, а мясо...
Какой ужасный запах сытости таит в себе свежеразделанная туша, сопротивляясь себе самому, подумал Маяковский; голландские мастера писали чуть завтетренную натуру, на первый план клали битых птиц в пере и ставили плетеную бутыль и зеленый бокал... Нет ничего холоднее сытости... Почему они так любили натюрморты с тушами? Натюр—морт... Мертвая натура... «Левый фронт искусств не уживается с идеей государственности»... А туши? Ян прав: свора не прощает тех, кто рискнул быть самим собой... Грядет рубанок,— все одинаковы, не высовываться! Видимо, вскорости талантом коронуют тех, кто покорен и маломощен; какое родилось страшное выражение — «в среднем»...
Наблюдая за тем, как маркер выцеливал «тринадцатого», Маяковский явственно видел лица людей на последнем обсуждении его стихов: «Время всенозволенности кончилось раз и навсегда! Курс отныне определяем мы, коллектив, а не вы, индивид!»
Как же повылазили из нор подлипалы и перевертыши после того, как изо всех членов Октябрьского ВРК говорить стали лишь об одном... Рабская угодность абсолютизма... Быстра же плесень на приспособляемую размножаемость!
Глядя, как Григорий Иванович подкрадывался к «семерке» (если и этот положит, партию трудно вытянуть), Маяковский вспомнил парижский клуб «Сёркль», куда его привел Арагон; Эльзу не пустили,— играть в рулетку и биллиард можно только мужчинам. «Жаль девочку,— сказал тогда Маяковский,— пойдем куда-нибудь, где она сможет посмотреть, как я обыграю всех, кто решится стать против меня».— «Там шары плохие,— ответил Арагон, глядя на Маяковского длинными голубыми глазами,— вы проиграете, зачем, это же обидно! Проигрывать можно только раз в жизни».
Ум это врожденное, талант — нарабатываемое, подумал Маяковский об Арагоне, стараясь передать тяжелому костяному шару свое острое нежелание видеть его в лузе; он верил, что и вещам можно диктовать волю, не только человеку; лишь людское множество неуправляемо, и катит по тому пути, который загодя прочерчен таинственным геометром; фу, гадко, слабость, откуда это во мне?! А откуда в тебе решение уйти? Ты ведь не хочешь этого, но случилось что-то такое, что выше тебя, неподвластно твоей воле и, видимо, угодно не только тебе одному...
Вспомнил отчего-то, как учил играть на биллиарде Лилю, когда были в гостях у Чуковского; такая тоненькая, а удар резкий; если человек талантлив — он во всем талантлив; только одна Лиля по-настоящему чувствовала, как надо раскрашивать его рисунки в РОСТе, только она понимала смысл кадра будущего фильма на съемочной площадке, лишь она знает, что с ним происходит сейчас...
Григорий Иванович перетоньшил, шар волчком завертелся на сукне, конечно, бить его трудно, но все же это шанс; если я положу «семерку», партия будет моей, загадал он. Загадывать на желаемое было его страстью.
«Семерку» он положил с клацем, убойно; легко взял и «пятнадцатого».
— По всему, будем играть последнего шара,— заметил Григорий Иванович.
— Я и его положу,— пообещал Маяковский.
Маркер покачал головой:
— Нет, Владим Владимыч, не положите. В вас мягкость появилась... Вы как словно с большого устатку, а это проигрышное дело. Либо уж надо стать ремесленником, вроде меня: вас стих кормит, меня — шар, упускать нельзя, оголодаю.

...Как-то Эльза Триоле показала ему огромный платан на Монмартре: «Здесь продавала жареные каштаны древняя старуха в рванье, вечно пьяная, с немытыми, седыми патлами; когда она умерла, в ее конуре нашли сто тысяч франков; каждая купюра была пронумерована карандашом; даже в цифрах было заметно, как менялся почерк несчастной,— она торговала пятьдесят три года... Зачем было их нумеровать?»

...Но ведь когда меня втолкнули в бутырскую одиночку, подумал Маяковский, а за день перед этим «товарищ Иван»,— хотя, почему Иван?! Никакой не Иван, а Николай Иванович Бухарин, судорожно оглаживая редкие рыжие волосы, горько, словно бы самому себе, говорил нам, членам МК, что гребень революции спал, надо готовиться к худшему, следует научиться ждать, маневрировать, работать, стиснув зубы,— тогда ведь было страшнее и хуже?! Нет, тогда ты был молод, ответил он себе, и поэтому верил в то, что завтра обязано быть лучше, чем сегодня. Возраст убивает иллюзии, а может быть,— и это еще горше,— надежду; иллюзия это цирк, надежда — жизнь. Когда я сражался с Северяниным за титул короля поэтов, в этом было рыцарство игры. Нынешнее сражение ведут поэтические бандиты, их не корона волнует, а государственные блага; Карфаген должен быть разрушен; все верно, все возвращается на круги своя.

...Теперь оба, и Маяковский и Григорий Иванович, осторожно охотились за «девяткой», поскольку «двойка» не интересовала ни того, ни другого,— в «девятке» партия.

«Ты положишь ее»,— сказал себе Маяковский, ощутив тепло, разливающееся по пальцам; они были ледяными с того часа, как он написал письмо и сунул его в карман пиджака, поняв, что отступление теперь невозможно,— игра с самим собою, недостойно; Арагон прав: проигрывать можно только один раз. «Ты положишь „девятку“,— сказал он себе,— выйдешь из подвала и позвонишь Николаю Ивановичу Бухарину... А что он сейчас может сделать? Сидит в отделе Наркомтяжпрома, отринут, ему еще хуже, чем мне».

Маяковский ощущал требовательную собранность; мысль о предстоящем чудодейственным образом исчезла, остался желтоватый шар слоновой кости на шершавой зелени бильярдного стола, прищур глаза, совмещение линии между «своим» и «девяткой», замысел, что должен стать действом, когда «свой» попадет именно в ту точку «девятки», которая и сообщит удар кия остальной массе шара, и он прочертит единственно возможную,— из тысяч возможных,— траекторию и окажется в лузе. Но победив, ты снова станешь думать о том, что в письме надо исправить несколько слов,— именно в словах сокрыта главная тайна, исповедь, призыв... Какое счастье, что не все и не сразу понимают слово, иначе б Пушкин погиб раньше, и Лермонтов, и Блок.

Целься дольше, сказал он себе, это так важно — растягивать каждое мгновение, пока ты принадлежишь себе, а не досужему суду оставшихся.

— Как, Григорий Иванович,— спросил Маяковский, прищурливо глядя на шар,— верно я целю?

— Надо отвечать? Или — промолчу?

— Не хочется врать,— убежденно сказал Маяковский.

— А — кому хочется? Ко лжи понуждает дурной закон да собачья жизнь.

— Ну, а к правде? Что подвигает человека к правде?

— Горе,— ответил маркер.— Человек лишь в страдании чист, греха бежит...

— Ерунда это, Григорий Иванович. В горе человек слаб и мал, он только в счастьи совестлив.

И — забил шар, как и первый, с клацем, когда приказал себе переломать партию. Зачем? Огорчил старика, не надо бы...

Положив на стол кий, закурил:

— В другой раз приду, отыграетесь, тогда и сочтемся...

— Форы больше давать не стану, набрали силу, по хорошему разряду выступаете, Владим Владимыч...

...На площадке возле Камерного театра мальчишки гоняли резиновый мяч; лица одержимые, взрослые; откуда такая испепеляющая тяга к победе? Почему обязательно надо стать первым? Ты жалко подумал,— сказал себе Маяковский; нет человека, который бы мечтал быть вторым... Хотя, настоящие первые не слишком-то тщатся ухватить зубами призовое место, талант суверенен, все верно, талант сам назначает себе цену, однако с диалектикой не поспоришь: в лидеры, как правило, прорываются поэтические середнячки.

Мальчишки яростно гоняли мяч по пыльной площадке; пронзительно трезвонили трамвайные вагончики, раскачливо гнавшие от Страстной к Никитским, а он неотрывно смотрел на худеньких игроков с пепельными лицами, думая: «А каким было мое детство?»

Впервые он почему-то вспомнил себя,— маленького, на коленях отца,— в Варшаве; проезжал зимою; посол Войков пригласил погостить; печи топили так же, как в Кутаиси,— ощутил запах детства. С тех пор польская столица с ее Рынком Старого Мяста навсегда осталась в нем городом нежной памяти,— охота за сосульками во дворе отцовского дома, катание на санках, валкие сугробы в горах, где так приятно возюкаться до той поры, пока пальтишко не покроется льдом, а из-за пазухи не начнет дымно валить пар.

Какое оно, мое детство?

Маяковский не смог ответить себе, потому что, видимо, детство мальчика кончается со смертью отца... Как же сказала эта толстая американка Арагону о двух рассказчиках из Штатов, поселившихся в Париже после войны? Ах, какие трудные у них имена! Нет, того, что моложе, кажется, зовут Скотт, это еще можно запомнить, а вот второй, высокий, с фигурой профессионального боксера? Она сказала Арагону именно об этом высоком: «потерянное поколение». Я тоже сейчас оказался «потеряным», странно... «Странно»? Ты подумал «страшно», но не решился сказать это самому себе, ловко подредактировав слово в самый последний миг,— перед тем, как оно нашло свои буквы, чтобы объять сущность в окончательную, трудноизменяемую форму...

Нет ничего ужаснее, чем когда обстоятельства вынуждают человека лгать. Гнусно врать окружающим, но страшней — себе, а ведь я запрещаю себе даже видеть, как годы меняют прекрасное лицо Лили, как появляются мелкие морщинки вокруг ее глаз; начало старения любимой женщины — это и твоя безвозвратность, песня кончилась, настал быт... Эти слова были во мне давно, но только сейчас я не запретил им стать фразой...

...Мальчишки гоняли мяч яростно и молча; Маяковскому показалось, что над площадкой, словно смог, повисло их одержимое сопение; ноздри выбелило; в этом было нечто противоестественное,— хрусткие ноздри изнеженных кокаинистов на лицах оборвышей.

Когда, попрощавшись с Арагоном и Триоле, он поехал с Таней в «Куполь», рядом с ними за столиком сидели две девушки, и у них были такие же подрагивающие ноздри, и глаза без зрачков,— черные дыры в белках.

— Вам страшно жить? — спросила тогда Таня.

— Отчего же? Интересно,— ответил он.— Почему вы сказали так?

— Потому что вы не знаете, чего хотите.

— Никто никогда не знает до конца, чего он хочет...

— Здесь перепечатали подборку из статей, которые про вас стали публиковать в Москве... Может быть, вам лучше какое-то время поработать в Париже, у меня? Те, кто умеет читать, понимают, что вы писали, зачем и как...

Он тогда заставил себя улыбнуться, глухо пророкотал:

— Мы теперь к таким нежны — спортом выпрямишь немногих,— вы и нам в Москве нужны, не хватает длинноногих...

...Один из мальчишек оторвался от защитников, толпившихся вокруг него, стремительно ринулся через площадку и с маху, озорно играючи и с преследователями, и с самим собой, пульнул мяч изо всех сил, не думая даже, что неотразимо поразит «ворота», отмеченные двумя белыми кирпичами.

— Гол! — закричал мальчишка истошно и, опустившись на колени, заломил тоненькие руки за голову. Во время дружеского застолья точно так же забрасывал руки Нетте; Маяковский испугался поразительного сходства мальчугана с погибшим другом; отчего покойники так прибавляют в росте?

Нетте в гробу казался огромным, а ведь при жизни был на голову короче меня... Может быть, мертвый,— в таинственный момент перехода в иное состояние материи,— сбрасывает тот груз, что так давит живого?

Чаще всего Маяковский вспоминал Нетте в вагоне экспресса «Париж — Москва». Впервые они встретились именно там шесть лет назад; как же летит время, целая вечность...

Возвращаясь из-за границы в прошлом году, Маяковский сидел в купе один; поезд шел полупустой, мимо вымерших станций; дзеньканье хрустального стакана в мельхиоровой подставке еще больше подчеркивало безысходную обреченность и одиночество; он гнал от себя постоянно возникавшее воспоминание о хозяине цветочного магазина на Ваграме,— очень быстр, чрезмерно учтив, и в глазах несколько испуганное недоумение; все же западный прагматизм порою приобретает уродливые формы: «но мсье, вы даете мне столько денег, что я обязан посылать цветы мадемуазель Тане в течение года... А вдруг я умру? Или обанкрочусь? Не лучше ли вам отдать эти франки в банк и написать поручение? Они тщательно следят за выполнением воли клиента, мсье».— «Вы не умрете и не обанкротитесь, Париж — город цветов, здесь скорее закроют банки, чем ваши магазины».

...Цветы в Париже, на каждом перекрестке цветы, и,— словно эйзенштейновский киномонтаж,— трагичное безлюдье русских полустанков...

Пять лет назад спутник Нетте, конопатый крепыш, поначалу принявший Маяковского в штыки («пусть покажет документы» — «не волнуйся, Пеття, этто Маякофский, у него есть краснокошая паспортина») вышел в Орше на перрон и, торгуясь с крестьянами, купил жареного гуся, вареной картошки, соленых огурчиков, шмат сала; привокзальный базар был вываливающимся от щедрости, шумным, доброжелательным. Лихо накрыв стол,— русский человек легко переходит от недоверия к несколько исступленной общительности,— дипкурьер, потеснившись к окну, примирительно заметил:

— Товарищ Нетте, не сердись, закон есть закон. Коли инструктируют, чтоб мандат был налицо, значит, так надо, без нужды б не стали требовать... А вообще-то я против Маяковского ничего не имею, книжонки у него хорошие, только читать их трудно, стихи какие-то горбоносые...

Маяковский всегда помнил резкую, как удар хлыста, обиду: «книжонки». Он поднялся, распахнул дверь купе, однако Нетте взял его за руку:

— Тофарищ Маякофский, пошалуйста, сять рядом со мной, я хочу рассказать тепе, отчего ты тля меня самый большевистский поэт нашего времени. Я не льщу, я гофорю это, как партиец — партийцу.

— Я беспартийный,— ответил Маяковский.

Нетте рассмеялся:

— Этто ты мошешь рассказывать на своих выступлениях за границей, там иначе тепе нельзя, а мне зачем врешь? Если не ты партиец, то кто ше?!

...Перед отъездом в Москву Маяковский встретился с Цветаевой. Они сели в тихом, совершенно пустом кафе на Сен-Жермене, возле запотевшего окна, за маленький столик.

— Мраморные покрытия,— он постучал длинным пальцем о холодные разводы камня,— приучают людей думать о смерти даже в минуты застолья... Я так благодарен вам, Марина, я так к вам нежен...

Когда эмиграция восстала против его приезда и выступлений на публике, лишь Цветаева,— с детским удивлением,— прилюдно заметила:

— Как стыдно, если грамотные люди зашорены или вовсе не умеют читать... Грешно называть гениального поэта «красным агитатором»... Право литератора верить в то, во что он хочет... Нужно читать слова и строки, а не отвергать великое только потому, что не нравится тема. Несчастные русские люди, мы никогда не научимся демократии...

— Демократия предполагает личность, Марина,— Маяковский медленно чеканил, словно бы продолжая давно прерванный разговор.— А откуда ей в нас взяться? Сначала иго, потом свое рабство... Наши родители еще могли видеть невольничьи рынки... Я потому и бросился в революцию, что свято верил: пришла пора раскрепощения, настало время свободы поступков, родятся мыслящие люди, общественную значимость которых будет определять не банковский счет или место в бюрократической иерархии, но вертикальность чувства собственного достоинства...

Цветаева сделала маленький глоток кофе; она очень красиво держала чашку в неженских, крупных пальцах; и глоток ее был утонченным, потому что он был естествен, как и вся она:

— Слушая вас, я увидела свои давнишние строки...

— Прочтете?

Она легко согласилась:

— В его лице я рыцарству верна,— всем вам, кто жил и умирал без страху! Такие — в роковые времена — слагают стансы — и идут на плаху...

После долгого молчания Маяковский, будто смущаясь чего-то, шепнул:

— Прекрасно.

— Когда наши бешеные бились в падучей,— «не пускать лазутчика ГПУ в Париж»,— я все время видела, как по морям, играя, носится с миноносцем миноносица... Эти стихи мог написать только очень маленький мальчик с воображением Андерсена... Какой же вы потаенный человек.

...Тот мальчишка, что пульнул первый гол, снова бросился в атаку, но его подло сбили возле ворот; он, однако, не заплакал; поднявшись, огляделся; взгляд его задержался на Маяковском:

— Дядя, все равно не работаете, станьте судьей, а?

— Лучше я буду защитником,— ответил Маяковский и пошел к проходной таировского театра; склонившись к окошечку вахтера, спросил: — Позвольте позвонить с вашего аппарата?

Седая женщина с лицом, изрубленным резкими морщинами, казавшимися серо-коричневыми, ответила:

— Называйте номер, я наберу, аппарат укреплен на столе...

Маяковский назвал телефон Бриков; трубку сняла домашняя работница Паша.

— От Лили Юрьевны ничего?

— Нет, Владимир Владимирович... Ужинать придете?

«Ах, как ужасно, что Лили нет рядом, в который уже раз подумал он,— никто мне сейчас так не нужен, как она...»

Вахтерша, приняв из его рук трубку, вздохнула:

— Владимир Владимирович, у вас никак жар? Глаза сухие, не простудились ли? На дворе по утрам студено...

— Я здоров,— солгал Маяковский.— Жара нет... Наоборот... Упадок сил,— он вымученно улыбнулся.— Где мы встречались?

— В январе семнадцатого, Владимир Владимирович, в Петербурге, в клубе поэтов, я там была с Трубецким, нас знакомил Эренбург, я баронесса Бартольд, не узнать, поди, время, целых тринадцать лет...

— Кажется, тогда вы переводили норвежскую поэзию? Отчего же здесь, в этой проходной...

— Жду визу, Владимир Владимирович, пока отказывают...

Маяковский вышагивал по бульварному кольцу властно, по-хозяйски; куда ты идешь, недоуменно спросил он себя, и не смог ответить, однако, помимо его сознания, вне логики, упорно и, казалось бы, слепо, он все шел и шел, пока, наконец, не остановился, ощутив внутри толчок; вот куда я шел, понял он; я шел в начало: именно здесь я прочитал Бурлюку первые стихи, именно здесь Давид замер: «Вы — гениальный поэт»...

Бурлюка нет, в Америке... И Верочка Шехтель в Париже, и Наташа Гончарова там, и Миша Ларионов... А я — тут... И то, что сытая критика буржуа предрекала мне в пятнадцатом, ныне доделывают молодцы из пролетарской ассоциации...

Маяковский сухо засмеялся, испугав бабушку, выгуливавшую внучат; невольно вспомнил себя, прежнего, в Кунцеве, на даче у Шехтелей; деклами-

ровал строки Саши Черного: «Когда меж собой поделили наследники царство и трон, то новый шаблон, говорили, похож был на старый шаблон»...

Маяковский вышел с бульвара на трамвайную остановку, вспрыгнул на подножку «аннушки», ощутив, как б у л т ы х н у л с я револьвер в заднем кармане брюк; кончики пальцев сразу же похолодели; в первый раз так было, когда писал «Флейту».

Пересев на тройку, добрался до Мещанки, остановился возле того дома, где арестовали во второй раз,— после того, как устроили побег политкаторжанок из Новинской тюрьмы.

Ты прощаешься с друзьями, понял он, вот почему ноги сами несут тебя по городу; как трогателен был Подвойский: «Спасибо, что не забыли. Антонов-Овсеенко тоже благодарит... Сейчас не очень-то принято вспоминать полный состав военно-революционного комитета... И достойно то, что вы написали о Троцком,— из песни слова не выкинешь, он был с нами...»

Черт, а ведь когда меня выпустили из Бутырей, я тоже пришел сюда... Только я здоровался с городом, а теперь прощаюсь... Тогда денег на трамвай не было, и ботинки худые, а сейчас туфли от Дижонэ, но револьвер в кармане...

...Странно: человек любит только тех, кого любит, но его самого, как правило, любят совсем другие... Если кто и сможет сохранить обо мне правду, так лишь Лиля. «Володя, почему ты написал: „он к товарищу милел людскою лаской?“» — «Потому что он был для других. Сначала он отдавал себя, и лишь потом брал; „милел“ — от понятия „милосердие“...»

«Володенька, милый,— услышал он тихий голос,— когда трудно, нельзя быть одному, любовь бережет человека от напасти, ты так нежно пишешь про корабли,— каждый имеет свою гавань, чтоб переждать шторм».— «Не гавань, товарищ мама, а порт приписки»,— ответил он тогда, хотя собирался сказать совсем другое, что я за человек, право?! А как я мог ответить?! Никому невозможно объяснить, что слова, живущие во мне, постоянно рвут сердце и мозг, требуют строки, строфы, стиха; о, они ненавидят каждого, кто приближается ко мне, становятся вампирами; они, правда, порою принимали Лилю, но и то, верно, потому, что мужняя жена, не моя... Они Веронику не всегда принимают, Элли Джонс, Таню, даже мою маленькую... Слова, что во мне, не интересуются славой, заработком, дачей в Кунцеве, машиной марки «рено», личным шофером Гамазиным; им нужен лишь ты,— тот, через кого они вырываются в мир... Но ведь можно запереться у себя, стать тихим и незаметным, чуть не взмолился он; пока еще дверь квартиры остается гарантией отдельности; только ты и лист бумаги... Нет, ответил он себе, жизнь — это обрастание обязанностями и связями; жизнь это долг...

...На Большом Черкасском, в редакции «Комсомолки» он пробыл недолго; тех, кого любил, не было; вообще-то, единственная газета, хоть как-то помянувшая его выставку «Двадцать лет работы», все другие промолчали.

«Братьев» по литературному цеху особенно возмутило то, что он укрепил на стенде письмо Цветаевой: «Дорогой Маяковский! Знаете, чем кончилось мое приветствие Вас в „Евразии“? Изъятием меня из „Последних новостей“, единственной газеты, где меня печатали... „Если бы она приветствовала только Маяковского, но она в лице его приветствует новую Россию“... Вот Вам Милюков, вот Вам я — вот Вам Вы... Оцените взрывчатую силу Вашего имени и сообщите означенный эпизод Пастернаку и кому еще найдете нужным. Можете и огласить. До свидания! Люблю Вас».

Ермилов, пришедший на предварительный прием выставки вместе с Авербахом,— вся головка РАППа,— не скрыл удивления:

— Гордиться запиской поэтической кривляки, чуждой революции?! Владимир Владимирович, вам еще работать над собой и работать! Как же вы далеки от пролетарских писателей! По совести прошу: снимите со стенда эту гадость, у вас и так грехов хватает, чтобы добровольно на себя вешать Цветаеву!

— А вы хоть знаете, что произошло в «Евразии»? — набычился Маяковский.

— И знать не хочу,— ответил Ермилов.— Я стихов м а д а м не читал и впредь читать не намерен! Я радуюсь стихам своих, чего и вам желаю... Настало время учиться у молодых орлов, они острее вас чувствуют время... Не взыщите за прямоту, но партия учит нас критике...

Приветствие Цветаевой было для Маяковского наградой. Ломко и прозрачно,— ветви деревьев в апрельском небе,— она говорила тогда: «Двадцать восьмого апреля двадцать второго года, накануне моего отъезда из России, рано утром на совершенно пустом Кузнецком мосту я встретила Маяковского. „Ну-с, Маяковский, что же передать от Вас Европе?“ — „Что правда здесь“... Седьмого ноября двадцать восьмого года поздним вечером, выходя из кафе „Вольтер“, я на вопрос — „что же скажете о России после чтения Маяковского?“ — не задумываясь ответила: „Что сила — там“...»

Маяковский даже зажмурился: клопы полезли изо всех щелей; медленно, устремленно, неудержимо надвигается безликая масса; кусают в кровь все, что не склоняется перед ними и слепо не славит их безусловную правоту...

Маяковский потер веки; вызеленело; потом пошло черными кругами,— десятки в базарном тире.

— Переработали? Глаза устали? — участливо осведомился Ермилов, заново услышав суховатый низкий голос невидимого ему собеседника, позвонившего вчера в РАПП: «А вам не кажется странным, что беспартийный попутчик Маяковский сплошь и рядом выдвигает такого рода тезисы, которые поначалу следовало бы утвердить? Не надо бы беспартийному футуристу лезть поперед батьки в пекло, обожжет...»

— От работы устают трутни,— глухо ответил Маяковский.

«За что нам такое?» — Маяковский услышал в себе безысходный, отчаянный вопрос, который в последние недели,— особенно после окончания его выставки,— звучал все чаще и чаще. «Ты думал не „нам“,— поправил он себя,— ты думал „мне“... Когда и почему человек начинает корректировать даже те мысли, которые рождаются в нем не для того, чтобы стать строкою?! А может быть, спасение сейчас в том, чтобы думать „н а м“? Противуположить банде „литературных заседателей“ организацию профессионалов? Разве Горькому не было так же обидно, когда „На посту“ напечатали о нем: „Бывший Главсокол, ныне Центроуж“... А каково Пильняку, Леонову, Эренбургу?»

— Владимир Владимирович, нужен материал о пролетарских писателях Франции,— голос у литсотрудника Гены был не по годам хриплым,— вы кого-то, помню, называли...

— Я материалов не пишу,— ответил Маяковский.— Я пишу поэзию и прозу. А также рекламу,— это тоже литература в эпоху торжества «главных управлений по согласованию»...

Побледнев, Гена медленно поднялся со скрипучего, шатающегося стула:

— Это вы так определяете наше замечательное время?!

...Маяковский сразу же вспомнил «Куполь», канун праздника революции, голубоглазого молодого человека с точеным лицом аристократа, размытые сетчатым, теплым, ноябрьским дождем фонари на брусчатке Монпарнаса, гулкий шум кафе, слитую разноязыкость, камертон постоянного веселья, серые глаза женщины, сидевшей рядом, ясную уже им обоим ее от него отдельность, и услышал свои слова: «Пусть скажут Арагону, что его приглашает к столу Маяковский», и счастливое изумление на лице Луи,— таком открытом и доверчивом. Арагон сразу же начал рассказывать, какой он чувствует Советскую Россию: «Мечтаю выучить русский».

— Молодец. Без этого можете сломаться,— заметил тогда Маяковский.— У нас умеют пугать те, которые не хотят учить французский.

— Все равно мы победим! — голос Арагона был ликующим.

«Сейчас начнет читать стихи»,— подумал Маяковский; ошибся; Арагон резко откинул патрицианскую голову: «Вы поэт, сделавший из слова оружие... Вы есть связь между миром и мною... Вы мой символ, отныне я жду в моей жизни высоких перемен!»

Через три дня они увиделись там же; Арагон был с Эльзой Триоле (как же

она похожа на Лилю, чуть не двойняшки, как же прекрасны их лица),— он познакомился с нею на другой день после разговора с Маяковским; только что написанные стихи прочитал певуче: «Мелькайте в памяти, безумства и распутья, ты в ноябре пришла, и вдруг исчезла боль, и сразу смог на жизнь по новому взглянуть я, в тот поздний час, в кафе „Куполь"...»

«Вмещаемость»,— подумал Маяковский. Загадочное слово, странное несовпадение формы и смысла. «Вместительный чемодан», «вмещающее сердце». Пульсирующая мышца, готовая или не готовая к тому, чтобы равно вобрать в себя любовь к отцу, маме, Люде, Оле, Лиле, Элли, маленькой, Веронике, Татьяне, Пабло, Осе, Коле, Яну, Николаю Ивановичу, Исааку... Сколь же разны человеческие сердца! А ведь объем крови, пропускаемой ими, одинаков, да и размер адекватен кулаку,— ни больше и не меньше... Почему одно сердце открыто для нежного вмещения в себя всех, а другое отвергает все, что ему не угодно?! Я стал думать длинными предложениями, странно. Молодость — это быстрота; фраза обязана быть краткой, как удар. Неужели те, кто ближе всех, не понимают, что собственничество противно любви? Разве можно делить? Почему на смену любви приходит месть? Жестокость? Как же несовершенен человек, как мал! Сможет ли он управиться с теми задачами, которые поставило перед собою человечество?

...Безответственность живых страшна, но как же темна безответственность мертвых! Прощальное слово будет читать тот, кто обладает правом трактовки моей мысли... А стрелять надо в сердце... Это будет слишком жестоко, если выстрел разнесет голову... У кого это,— «рыжий мозг индивидуалиста?» Ах, да, Пастернак говорил, что у Тихонова лицо джеклондоновского «Мексиканца», обидно, что не снимают, у него выразительная воля в облике, а это редкостно: лица людей стерты...

С острым чувством неприязни к себе и, одновременно, ненавистной ему сосуще-жалостливой тоски, Маяковский вспомнил, как на открытие выставки «Двадцать лет работы» тайно принесли его портрет, исполненный на меловой бумаге; на втором листе было напечатано: «В. В. Маяковского, великого революционного поэта, неутомимого поэтического соратника рабочего класса, горячо приветствует „Печать и Революция" по случаю двадцатилетия его творческой и общественной работы».

Единственный журнал — «Печать и Революция» — решил отметить выставку; он жадно ждал появления номера; успокаивал себя: «Неужели тебе мало известности?»

Он, однако, логично и собранно отвечал себе, что ныне, когда секретариат РАППа — видимо, с согласия Наркомпроса и агитпропа,— организовал заговор молчания против его творчества, заговор, который изредка прорывался неуемной бранью тальниковых и ермиловых, появление любого печатного слова о его творчестве, отданном революции, угодно не столько ему, сколько именно революции.

Тем не менее, его портрет вырвали из напечатанного уже номера; хоть бы не говорили заранее, я ж намылился идти благодарить редколлегию, чувствуешь себя скукоженным и беззащитным, как же умеют у нас унижать художника, как умеют ломать тех, кто живет нравственными категориями, не пересекающимися с общинностью рапповских гениев, увешанных лаврами официального благорасположения тех, кому вменено в обязанность руководить творчеством...

Господи, подумал он вновь с тоской, как ужасно, что нет Лили; такая маленькая, а столько силы.

Вернувшись из Америки, он сказал Лиле, что в Нью-Йорке у него родилась дочь; женщину, которую он полюбил, зовут Элли; с тех пор Лиля осталась д р у ж о ч к о м; Ося влюбился в другую, но разрушить ту общность, что связывала их, не могли; каждый жил в своей комнате, только стол был общим, стол, за которым собирались те, без кого Маяковский не мог жить.

...Маяковский быстро зашагал на Камергерский, в кафе, что напротив МХАТа,— назначил встречу с Вероникой Полонской.

Любуясь ею, двадцатилетней, с длинными серо-зелеными глазами, нереально красивой, Маяковский всегда вспоминал теплый день прошлой весны, шум на трибунах ипподрома, когда жокей Игорек Сергеенко первым привел своего серого в яблоках, цельнотянутого Красавчика; муж Вероники, ртутный Михаил Яншин отправился получать в кассу тотализатора деньги, приз был большой, Красавчика считали «темным», его никто не играл, кроме Маяковского,— он с юмором относился к тем, кто слушал жучков с конюшен и рассматривал коней в бинокль накануне заезда: «Случай, удача, рок,— пыхал он сквозь зажатый мундштук « Герцеговины Флор»,— поверьте старому покеристу, Вероника-Норочка».

Он тогда устроил веселый обед в «Селекте», и было это всего год назад, как же быстролетно время; какие прекрасные люди собрались за столом: и Юрий Олеша, и Пастернак, и Мейерхольд с Зиночкой Райх, и затаенно-искрометный Игорь Ильинский, и Ося Брик, и Татлин...

...Маяковский сел в дальний угол кафе, оперся подбородком на тяжелую рукоять палки, подошедшему половому сказал принести стакан чая, покрепче, три заварки.

Вероника пришла с репетиции замкнутая, отрешенная,— роль не давалась, страшилась показа Немировичу-Данченко.

— Норочка, брось ты этот чертов театр, расстанься с Яншиным, я хочу, чтобы ты жила у меня, подле, всегда...

Он знал, что она ответит; он многое чувствовал загодя, еще до того, как слово было произнесено другим; бедненькая, она до сих пор не решается сказать мне «ты», ни разу не сказала «Володя», а «Владимир Владимирович» — смешно... А может, горько; я стал старым, шестнадцать лет разницы. У меня совсем не осталось сердца, я его всем раздавал,— Лиле, Элле, Тане, Веронике, даже той нежной девочке из Сочи со странным именем Калерия... Как же страшно думать про то, что обо мне станут говорить п о т о м, какое раздолье для любителей сплетен...

Он вспомнил, как Вероника рассказывала, что Олеша, проигравшись на Гендриковом в покер, мелко рвал колоду и посыпал обрывками пиковых королей и трефовых дам лестницу,— от квартиры Бриков до парадной двери; потом, впрочем, тихо прошептал: «Прекрасное название для романа — „Зависть"...»

...Злость искреннего признания все равно талантлива...

Он плохо понимал быстрые слова Вероники, в голове шумело, болел затылок, отчетливо, словно вбитые в мозг, звучали слова тех, кто пришел на вчерашний диспут: «Все, что вы пишете — демагогия!»; «Вы „якающий поэт", в вас нет скромности, свойственной нашему народному характеру!»

Отчего же так злы люди?!

Близко увидел рубленое лицо Пикассо,— на Монпарнасе тогда собрались самые близкие — Леже, Барт, Делоне, Гончарова, Ладо Гудиашвили, Дягилев, Жак Липшиц. «Я, наконец, понял вас, поэт Маяковский,— гвоздил Пабло.— Вы большое дитя. Вы изнываете от мечтаний. Вы самый одинокий человек на земле, оттого что самый талантливый,— на данном историческом отрезке. Потом вас сменю я, правда. Конечно, я не скрипка, со мной жить трудно, но если решите пожить нежно,— переселяйтесь из своей „Истрии" в мое ателье»...

Люди проходят мимо прекрасных предложений, сделанных нежными друзьями,— почему? Закон воронки? Чавкающее засасывание суетой повседневности? Или предопределенность?

— Вы чем-то огорчены? — услышал он наконец Полонскую.

— Я? — Маяковский пожал плечами, презрительно усмехнулся.— А чем можно меня огорчить?

— Почему вы так скрытны? Вы как стена... Постоянное отталкивание. Любовь — это когда знаешь все друг о друге...

Он покачал головой:

— Тогда это не любовь, а протокол допроса, Норочка...

...Лавут, импрессарио Маяковского, сразу же бросился на кухню, к примусу:

— Я подогрею бульон, у вас усталое лицо...

— Бульон лечит усталость?

— Конечно! — Лавут несколько даже обиделся такому вопросу.— Куриный бульон — это еврейский стрептоцид! Снимайте пиджак, ложитесь на диван, я вернусь и помассирую вам пальцы...

— Погодите,— остановил его Маяковский.— Я что-то не хочу куриного бульона... Не сердитесь... А вот чаю бы выпил...

— Хм... С чаем не совсем хорошо, но я одолжу у соседей, кажется, у них осталась пара заварок...

— Чем отдадите?

— Как чем?! Бульоном! Прямой обмен, как в семнадцатом! Что революция «снизу», что «сверху», все равно люди сразу же начинают меняться товаром, а не купюрами... Это хорошо, правда?

Маяковский закурил:

— Скажите, когда бы вы смогли устроить мне турне с чтением новой работы?

Лавут откликнулся не сразу, в глаза не смотрел, слишком суетливо расставлял на столе, покрытом толстой плюшевой скатертью, золоченые фарфоровые чашки:

— И как же определим в афише произведение?

— Поэма «Плохо»... Критика недостатков республики... Обо всем, что компрометирует революцию, отбрасывает нас вспять, в ужас самодержавной сонливости, обрученной с кичливой коммунистической бюрократией...

— Вы говорите слишком громко, у меня внимательные соседи...

— То, во что веришь, надо говорить громко.

...Лавут занимался переговорами с цирком, который только что поставил феерию Маяковского «Москва горит», посвященную четвертьвековой годовщине восстания на Пресне; поскольку дружинами большевиков руководили те, кого ныне объявили «уклонистами», театры на предложение поэта не очень-то откликнулись; выручили старые связи с Дуровым; какое счастье, что традициям тихой покорности противуполагается дружество! Нигде это так не берегут, как в цирке; воистину, искусство смелых,— канатоходец бьется, клоуна сажают; ощущение постоянной опасности роднит...

Маяковский внешне спокойно пережил замалчивание в прессе этого спектакля; «Баню» и «Клопа» попросту обзывали «халтурой»; на премьере, чувствуя на себе взгляд Лавута, шепнул: «Вон главная оценка моей работы, посмотрите, в третьем ряду,— это дороже всех рецензий».— «При чем же здесь третий ряд и рецензия?» — не понял Лавут. В третьем ряду, на седьмом месте сидел Пастернак; лицо пепельное от волнения, длинные пальцы скрипача сцеплены нерасторжимо, в глазах слезы. «Он похож на коня»,— заметил Лавут, когда Маяковский объяснил ему, что он имел в виду, говоря про «третий ряд». «Каждый из нас по-своему лошадь,— сказал Маяковский.— Самые добрые люди на земле — это лошади. Вообще, дрессированные львы производят жалкое впечатление,— выглядит так, если бы меня приучили заученно кричать: „Да здравствует самый великий стилист мировой литературы пролетариата товарищ Кудрейко!“. А лошади, заметьте, достойные соучастники представления, и еще неизвестно, кто в е д е т программу — человек или конь».

...Последние недели Маяковский слышал поэму «Плохо» в каждой своей клеточке, она рвала мозг,— жарко, так что леденели пальцы и жало сердце. Он слышал в себе строки-удары про то, как на ленинскую идею обмена свободным трудом и мыслью началось наступление тотальной регламентированности: «„Я“ — это гимн индивидуализму!» «На смену выскочкам от поэзии катит лавина ударников слова!» «Правда за „мы“!»

Несчастные, доверчивые люди! Ведь за примат среднеобщего, против самовыявления личности тайно борется самое что ни на есть чванливое и царственное «я»! Уничтожить тех, кто живет правдой, то есть мыслью, остальных подмять под свою графическую догму, стать затем надо всеми,— неужели непонятно?!

...Он чувствовал новую поэму каждой клеточкой, но при этом в каждой клеточке его огромного существа жило воспоминание о разговоре, состоявшемся после того, как был закончен «Клоп». Оно, это унизительное воспоминание, жило в нем отдельно, затаенно, помимо его воли. «А где положительный герой? — пытали его колодноглазые собеседники.— Вас не поймут трудящиеся!» — «Комедия — не универсальный порошок: клеит и Венеру, и ночной горшок».— «Товарищ Маяковский, вы не Эзоп, вам не дано прятать свои идеи между строками буффонадной комедии... А если вы станете относиться свысока к критике коллег по цеху, мы вас вычеркнем из литературы: в истории есть примеры, когда предписывалось забыть более громкие имена,— ничего, прекраснейшим образом забывали...»

Маяковский с ужасом вспомнил, как после обсуждения «Бани», когда он отказался принять правку, ему сказали: «Что ж, тогда пошлем вашу комедию на рецензию». В ярости он не сразу понял, что это такое. Ему сострадающе заметили: «Не надо гневаться, Владимир Владимирович, каждую новую идею следует опробовать на оппонентах».— «Вот поэтому мы там и отстаем! Боимся п о с т а в и т ь на смелую идею, не обкатав ее предварительно на старых китах-авторитетах!» — «„Обкатать?“ Это жаргон биллиардного закутка... Или ипподрома... Замахиваетесь на существующее, товарищ Маяковский? Зря. Все существующее ныне — оправдано, целесообразно, и — на века!»

— Владимир Владимирович, прилягте, на вас лица нет,— повторил Лавут.— Прошу вас, не отказывайтесь от бульона... Чтоб читать «Плохо», надо быть сильным...

— А я — сильный,— ответил Маяковский с детской, удивившей его самого обидой.— Человек, который может принимать решения, не очень-то слаб. Ужасно, когда наступает паралич воли. Вот тогда, действительно, конец, прозябание, жалкость, страх... Слушайте, а за что банда так меня ненавидит, а?

Лавут беззвучно рассмеялся:

— И вы берете в расчет их ненависть?! Они же пигмеи! Пройдет время, и они исчезнут! А вы уже при жизни бронзовый... Они не могут простить вам того, что вас знают и любят, на вас идут, а про них слыхом не слыхали... Моцарт и Сальери, это же вечное... Только моцартов мало, а нашими сальери хоть пруд пруди... Вы думаете, они не подкатываются ко мне: «Займитесь концертами пролетарских поэтов»? Ого! Знаете, сколько сулят процентов со сбора?! В десять раз больше, чем вы! Я не люблю говорить о любви в глаза, но о деньгах надо говорить только так, поэтому я им ответил: «На ваших поэтов я не загоню в залы и мильонной части тех, кто рвется на Маяковского! Процент всегда будет в его пользу!» Так они пригрозили: «Смотрите, закроем вашу нэповскую лавочку!»

— Я позвоню Пастернаку и напишу Ахматовой, чтобы они обсудили с вами их гастроли по Союзу... Будьте им другом... Они — высокие поэты.

— Позвольте мне продолжать работу с Маяковским, пока я жив, ладно?

Маяковский смял лицо рукою,— остались красные полосы:

— Позволю...

— Так я подаю бульон, да? Вы себе не представляете, что с вами станет, когда вы покушаете курочки! Усталости как не было! В глазах блеск! Легкая сонливость, переходящая в десятиминутный отдых! И вы снова готовы к бою!

— Паша,— медленно, с трудом рождая слова, сказал Маяковский,— ответьте мне, отчего самые любимые и любящие так непримиримо-неуживчивы и эгоистичны в своей любви? Неужели и любовь подобна спорту — как и там необходима крутая, полная победа, завершающий гол, верхняя планка?

Лавут вздохнул:

— Берегись любящих.

Ты не ощутишь боли, сказал себе Маяковский; мгновение ужаса перед тем, как палец превозможет сопротивление металла, который разрешит бойку ударить в капсюль, чтобы началась реакция плавящего жара и направленной силы... Потом настанет спокойствие избавления от постоянной тоски. Ты сделал все, что мог, пусть доделывают те, что идут следом... А — смогут? Ну, а ты, спросил он себя, ты сможешь продолжать, если порвешь письмо? Каждый человек должен исповедовать правду, ответь же себе! Когда клопы,— методично и кроваво,— доказывают, что твое творчество мелко, ненужно

и случайно, рифмоплет политики, чуждый заботам простого человека, когда гавани разбиты штормами, каково бороться? Мимикрия не для меня, я не научусь искусству житейского благоразумия, хотя это достаточно простая задача с одним лишь неизвестным, но это неизвестное — совесть... Если бы я все же сел за «Плохо», я бы написал о тщательно обструганной совести, хотя к такому ужасу очень горько прилагать сладостное слово детства,— в Багдади, у папы, в лесничестве, всегда пахло свежей стружкой, похожей на волосы Есенина.

Мама гордится тем, какой я сильный, а Лиля, наоборот, боится этого: «Ты слишком добр и открыт для удара»... Нет одной правды. Истина многомерна. Фашизм начался с того, что от каждого человека директивно требовали однозначного ответа на любой вопрос. А разве такое возможно? Это сделка, внутренний торг: «Кого ты больше любишь, папу или маму?»

...Интересно, кто из рапповских борцов за чистоту идеи нашептывает в агитпропе про мою «желтую кофту», страсть к «железке», «Пощечину общественному вкусу»? «Царь не имеет права подпускать к себе того, на ком есть пятно»... Бедный русский владыка, даже на солнце есть пятна.

А если уехать в Грузию, подумал он, на какое-то мгновение ощутив себя пловцом, выбившимся из сил. Ах, любимая моя Сакартвело, нежная страна, гордый народ, зачем я так редко приезжал к тебе?!

Он никогда не мог забыть, как Шенгелая, весело рассказывая, как он снимает новую фильму с головоломным трюком, взбросил свое тело гимнаста на перила моста через Куру, выжал стойку, и замер, услыхав крик Нато Вачнадзе; она закричала, будто раненая чайка, только грузинки так плачут по любимому; Маяковский сразу вспомнил, как он сам сделался пустым и ватно-бестелесным, когда тринадцать лет назад нажал на спусковой крючок револьвера, но лязгнула осечка...

И совсем другим было лицо Шенгелая, когда он, приехав к нему на Лубянку два года назад, сказал: «Владимир Владимирович, у товарища Ломинадзе есть друзья в Кремле, вас выпустят за границу, идите и оформляйтесь в Ассоциации писателей, туда уже звонили»...

Шенгелая смущался этих слов,— грузин должен помочь другу так, чтобы тот не обиделся, ведь помогают только слабым... А теперь Ломинадзе стал «ублюдком», так, вроде бы, про него сказали... За что? Только потому, что он противится расстрелу нэпа? Но ведь не один он, миллионы этому противятся...

Маяковский открыл новую пачку «Герцеговины Флор», достал папиросу, размял ее в плоских пальцах, но закуривать не стал; не уследив за собою, повторил вслух:

— Противятся? Нет, п р о т и в и л и с ь...

А раньше-то я бормотал, только когда сочинял стихи, подумал он; всё, конец работе...

Он резко обернулся, словно бы испугавшись чего-то; вспомнил, как ощутил безотчетный ужас, когда ему кричали из залы: «Убирайтесь с вашим ЛЕФом на запад! Там ваше место, а не на ниве русского искусства!» Он тогда в ярости ответил, что товарищ Бурлюк в Америке выпустил альбом к десятилетию Октября, с портретом Ленина на обложке; кто-то засмеялся: «Он рисовать не умеет, маляр!»

Я тогда впервые дрогнул перед их затаенной, невидимой злобой, подумал Маяковский; они умеют таиться, боятся открытой схватки,— рабская привычка молчать сделалась их стратегией замалчивания. Все, что вчуже им, как бы исчезает, растворяется, постепенно заменяется другим; живой еще, ты начинаешь ощущать свою холодную ненужность людям...

...Заседание руководства РАППа проходило на Никольской; секретарь Зиночка сосредоточенно стригла ногти; ручки у нее были аккуратные, но какие-то птичьи, чересчур маленькие; в семье такие женщины обычно становятся деспотами, подумал Маяковский, впрочем, у Александра Македонского тоже были женские руки, но ведь не было тирана круче него...

— Что случилось, Зинуля? — спросил он.— Зачем зазывали в ковчег?

— Товарищи Авербах и Ермилов просили непременно разыскать вас.

Маяковский прислушался к словам оратора: дверь в кабинете начальства была давно не ремонтированной, пошла щелями: «За Маяковским тащится шлейф футуризма и разнузданность ЛЕФа! Приспособленец,— в своих стихах он славил тех, кого мы ныне разоблачили как уклонистов! Если РАПП уговорился считать основоположниками пролетарской поэзии Курочкина и Беранже, будем стоять на этом до конца! Рифмованная политика трескучей агитки нам чужда! А Бабель? Товарищ Авербах прав, утверждая, что так называемое творчество Исаака Бабеля, попавшего в литературу с новаторской лопаты ЛЕФа, есть не что иное, как смакование темного бунта, клевета на русский революционный процесс!»

Ах, Илья Ефимович, Илья Ефимович, детский в своих ломких движениях Репин, как же он был добр ко мне: «Не поддавайтесь тем, кто корит вас беспочвенным новаторством! Б у д ь т е! Я вашей поэзией восторгаюсь. Вы завербовали читателя, вам теперь шавки из критических подворотен не страшны...»

...Голос нового оратора был визгливым: «Поставим заслон буржуйским тенденциям! Гнать из страны концессионных бандитов!»

...Все возвращается на круги своя; революционные мещане из мужиковствующих так же кидались на Ленина, когда тот ввел нэп: «Предательство революции, сдача позиций, разбазаривание русских земель под иностранные концессии!»

Маяковский внезапно вспомнил душный июльский вечер в берлинской кнайпе, изможденное, с запавшими щеками лицо Ходасевича, курившего одну сигарету за другой, белобрысого немца, что-то яростно втолковывавшего соседям по столику; Маяковский попросил перевести.

— Доказывает, что он истинный немец,— в седьмом колене,— раздраженно ответил Ходасевич.

«Это здесь очень важно?» — «Он, видимо, симпатизирует Хитлеру,— пояснил Ходасевич,— тот прежде всего требует чистоты расы».— «Но ведь над ним потешаются».— «„Союз русского народа“ помните? Он тоже был занят вычислением колен истинной крови своих членов... Дикость? Но сколько же народа ей поддалось, Маяковский! Горестно на мир глядеть неблизорукими глазами»...

А в зале страсти накалялись.

— У меня реплика,— сказал критик Ермилов.— Я заново полистал «Хорошо», написанную в разгар нэпа: «В полях деревеньки, в деревнях крестьяне, бороды веники, сидят папаши, каждый хитр, землю попашет, попишет стихи. Что ни хутор, от ранних утр работа люба́,— сеют, пекут мне хлеба, доят, пашут, ловят рыбицу, республика наша строится, дыбится»... Пастораль! А где же классовое расслоение?! Его и в помине нет у Маяковского! Ему была люба бухаринская идиллия... Или: «Окна разинув, стоят магазины, в окнах продукты, вина, фрукты. От мух кисея, сыры не засижены, лампы сияют: „цены снижены“. Стала оперяться моя кооперация». А что пишет Маяковский сегодня? «Уважаемые товрищи потомки, роясь в сегодняшнем окаменевшем говне, наших дней изучая потемки, вы, возможно, спросите и обо мне»... Если наш сегодняшний день кажется Маяковскому «окаменевшим говном», а борьба против кулацкого обогащения видится «потемками», будущие поколения о нем не вспомнят! Вдумайтесь в строки, написанные сегодня, в наши дни, о нас с вами: «Неважная честь, чтоб из этаких роз мои изваяния высились,— по скверам, где харкает туберкулез, где блядь с хулиганом да сифилис. И мне агитпроп в зубах навяз, и мне б строчить романсы на вас,— доходней оно и прелестней, но я себя смирял, становясь на горло собственной песне». Маяковский, ничтоже сумняшеся, при жизни ставит себе изваяния на скверах новостроек, заполненных проститутками и хулиганами! Да где он видел такое?! Почему ему сходит с рук чудовищная клевета на наш прекрасный светлый день?!

А что обо мне наговорят, когда я уйду? «Его любимая, Лиля Брик,— жена друга»; «красивая Вероника в поклоне на авансцене — законная с у п р у г а Яншина»; «Таинственная американка Элли,— а кто знает, что она Лизонька, русская?»; «Таня — и вовсе белая эмиграция, вышла замуж за барона, и —

вдруг нежность красного агитатора»... Но ведь и это правда. Обидно, если напишут: «запутался». А — могут. У нас умеют танцевать на крышке гроба. Ну так останься,— взмолился в нем маленький мальчик с губами негритянского трубача и глазами олененка. Ты волен, только ты! Никто же не знает о письме, которое жжет твою грудь! Н и к т о? Значит, я — никто? Или мне все можно? Единственно, в чем человек свободен, так это в решении, принятом наедине с самим собою: ты, слово — и никого более... Гвоздями слов прибит к бумаге... Если бы в мире не было горя, не существовало бы литературы. Неужели страдание угодно поэзии? Как отвратительно кто-то писал, что Тургенев панически испугался во время кораблекрушения и сулил капитану деньги, если тот пустит его в лодку первым... И никогда, никто не сможет понять его и Виардо,— «ведь у Полины был муж и дети!»... А многим ли дано знать, что самое сложное слово на земле — «вмещать»? Сердце Пушкина в м е щ а л о всех, кого он любил, но после того, как его расстреляли, об этом начали писать мемуары... Ах, отчего же нет Лили?! В Берлине еще день, два часа разницы во времени, будь проклята эта ее поездка...

Отстраненно и в м и н а ю щ е Маяковский вспомнил ватное ощущение бессильной ярости, которое сковало тело, когда он пришел с Романом Якобсоном в темный подвал варшавского кабачка, где собиралась богема, заявлявшая себя «фаши а ля Муссолини»; среди выступавших был эмигрант из Москвы: «Чего стоит трагедия Маяковского?! Русский дворянин, он доверчиво считает, что его самым счастливым днем был тот, когда он встретил Лилю Брик, урожденную Каган, торгаша Давида Давидовича Бурлюка он называет учителем и самым близким другом. А ведь именно эти люди по заданию кагала погубили его, оторвав от поэзии! Все эти Брики, Кушнеры, Штернберги и Альтманы растоптали в нем лирика, заагентурили в Чеку, вертят им, как хотят, отбирая гонорары! Он запутан ими, их незримой, страшной властью, он сломан ими, потому-то на смену поэту и пришел холодный сочинитель заказных реклам! Но грядет время, когда история вынесет свой приговор бриковско-бурлюковским изуверам, грядет суд правый и беспощадный!»

...Ермилова сменил кто-то незнакомый, грохочущий:

— Я тут взял стенограммку одного из выступлений Маяковского... Какое глумление над искренней, доброй, ищущей крестьянской поэзией! Цитирую: «Вот новое толкование марксизма в журнале „Жернов", где рассказывается о рождении Владимира Ильича, о том, как он искал себе доспехов в России, оных не мог найти, поехал в Неметчину, где жил богатырь большой Карла Марсович — и после смерти этого самого Марсовича все доспехи его так без дела лежали и ржавели... Ленин пришел и эти Марсовы доспехи надел, и как будто по нём их делали. Одевшись, вернулся в Россию обратно. Тут собирается Совнарком. Как приехал Алеша Рыков со товарищи, а впереди едет большой богатырь Михайло Иванович Калиныче, и вот разбили они Юденича, Колчака, воротился домой Ильич с богатой добычею и славою»... Конец цитаты... Каково, а?! Это же откровенное издевательство над традициями, историей,— как древней, так и нынешней! Или другое,— на этот раз о живописи Бродского! Цитирую: «до какой жути, до какой пошлости, до какого ужаса может дойти художник-коммунист... Никакой разницы между вырисовыванием членов государственного совета и работников нашего Коминтерна...»

Жаль, не успею поправить стенограмму, подумал Маяковский; надо было бы перед «государственным советом» вставить слово «царский»; если дело и дальше пойдет, как сейчас, совсем скоро люди просто не поймут, что я имел в виду, отшибут у них память, обрекут на тяжелое незнание правды...

— Я долго не мог понять логику Маяковского,— продолжал между тем оратор.— Однако же разобрался... Кто из пролетарских писателей смеет разъезжать по Москве на собственном автомобиле? Да никто! Кроме Маяковского! Привез из Парижа «рено» серого цвета! И шофера нанял! Личного шофера! Кто из пролетарских писателей позволяет себе вызывающе одеваться во все заграничное? Да никто,— гимнастерка и сапоги! У всех,— кроме опять-таки, Маяковского! Кто из пролетарских писателей смеет держать при себе разных женщин и арендовать по нескольку жилых помещений? Никто! Кроме Маяковского! Да кто ж он такой, этот Маяковский?! Кто?!

Маяковский достал папиросу, резко сунул в угол рта, начал медленно жевать мундштук.

«А если все же завтра утром купить билет и уехать в Сакартвело? — снова подумал он.— Паоло Яшвили встретит на тбилисском перроне, и мы сразу же отправимся в Багдади; синие ели поднимают в небо крутые отвесы скал; тишина будет первозданной; оттого, что битое стекло потока рокочет постоянно, он вневозрастен; сколько поколений внимали его гуду? Люди вольны слышать его или нет, потому что он отдает себя всем, хотя принадлежит себе лишь. Только тот, кто хранит тайну, понимает мир. Единственным критиком был Гумилев, потому что сам был поэтом... Нигде так не пахнет по утрам хлеб, сдобренный домом и хрустящим жаром очага, кроме как в Багдади... Ну и что? Начать все сначала? В тридцать семь лет на смену фонтанной щедрости приходит оценивающее вбирание самого себя; нет, с н а ч а л а уже не получится, цейтнот... Травля — травлей, это принято в литературе, но кто же так истово желает моей смерти? Словно бы чей-то злой сглаз постоянно внушает: „уйди, уйди, уйди..." Какой будет ужас,— подумал он,— когда люди научатся направлять приказную волю злодея на души неугодных... Но ведь боли не будет... Я лишь почувствую жаркий удар, тупой и опрокидывающий, ничего рвущего, я даже ничего не успею осознать,— мир цвета сменит черно-белая конкретика».

Маяковский резко поднялся, громыхнул тростью о паркет:

— Зинуля, ноготки стричь вам нужно коротко, послушайте мужчину, который чтит красоту...

Не отрывая глаз от своих маленьких, молочных пальцев, Зина сказала:

— Владимир Владимирович, не обращайте на них внимания... Ведь если у них тутошную работу отобрать, они с голоду помрут... А вы гений, в любом месте проживете, с вами все считаются, оттого эти-то и бесятся... А вообще — странно: каждый из них,— она кивнула на дверь,— сам по себе добрый, а как все вместе соберутся... Ужас,— она резко подняла глаза на Маяковского.— Никто в мире так не понимает зависть, как женщина, Владимир Владимирович... Мужчины — большие, обидчивые дети, их постоянно утешать надо, правда?

Маяковский остановился возле двери и тихо, с болью сказал:

— Так утешьте.

Зина вздохнула:

— Фу, и вы о том же! А мне всегда казалось, что великий и в помыслах чист...

Выходя на улицу, Маяковский устало подумал: «Ужасно, когда за тебя говорят и думают не враги, а свои,— значит, тебе никто не верит».

...Ночью, вернувшись от Катаевых, где много пили, Маяковский ощутил гнетущий, безглазый ужас; позвонил приятелю: тот попросил достать лекарство от мигрени: «Я дам рецепт, купишь в Париже, ты ведь катаешь туда, когда хочешь»; мама уснула уже; Чагин был в Баку, он бы пришел или затащил к себе; кто-то из тех, чей номер набирал, как СОС, сказал, что занят,— на самом деле ждал перевыборов в РАППе, не хотел встречаться, знал, как, впрочем, и все, что Ермилов готовит новый залп; время клопов, воистину...

Маяковский отошел к окну; ночь была безлунной; деревья, лишенные из-за поздних холодов почек на ветках-воплях, застыли в молчаливом ожидании...

«Жизнь моя? иль ты приснилась мне?» — снова вспомнил он пепельнокудрую голову Есенина; все свое приходит в срок; как я понимаю его сейчас... Никто не знает, что было бы, приласкай его кто возле «Англетера»...

Позвонил Яну.

— Влодек, у меня совещание и продлится оно до утра. Не сердись, я не смогу прийти.

— Слушай, пожалуйста, помоги баронессе Бартольд, она вахтерша у Таирова, несчастная женщина, ей не дают визу в Париж.
— Завтра поговорим.
— Хорошо. Непременно. Только ты сейчас запиши на календарике фамилию...
— Ладно.
— Ты не записал, Ян. Забудешь. А я хочу, чтобы ты помнил.
— Имя?
— Баронесса Бартольд из проходной Камерного, этого достаточно...

Маяковский отошел к столу, вынул из кармана потрепанный блокнот, машинально пролистал его, споткнулся на том, что записал недавно,— это жило в нем все последние дни: «Уже второй, должно быть, ты легла, в ночи Млечпуть серебряной Окою, я не спешу, и молниями телеграмм мне незачем тебя будить и беспокоить... Ты посмотри, какая в мире тишь! Ночь обложила небо звездной данью, в такие вот часы встаешь и говоришь — векам, истории и мирозданью...»

Достав револьвер, он сел к окну: ждать, когда зыбкую высь апрельского неба пропрет первая звезда.

А если сегодня небо будет беззвездным, спросил он себя. Ведь когда поворачивает на тепло, облака спускаются к земле... Что будет, если пахнёт липким запахом набухающих почек, и на смену колючей стуже придет, наконец, цветение? Ну и что? Все равно через пять месяцев снова грядут заморозки... Только бы минула ночь, наперекор самому себе подумал он; нет ничего тревожнее ночи; затаенность и одиночество... Ведь скоро вернется Лиля... Можно поехать к маме... Утром придет Вероника... Ну, а днем ударит какая-нибудь газета... Вечером начнут прорабатывать в РАППе... Измываться над всем, что я сделал... Справедливость общества не только в том, чтобы равно распределять хлеб; доброту тоже надобно уметь делить,— доброту, память и благодарность... Если бы я мог начать все сначала... Если бы...

Через тридцать минут после того, как Маяковского не стало, текст его предсмертного письма был распечатан в нескольких экземплярах:

«Всем. В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил.
Мама, сестры и товарищи, простите — это не способ (другим не советую), но у меня выходов нет.
Лиля — люби меня.
Товарищ правительство, моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры, и Вероника Витольдовна Полонская.
Если ты устроишь им сносную жизнь — спасибо. Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся.
Как говорят, инцидент исперчен, любовная лодка разбилась о быт.
Я с жизнью в расчете, и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид.
Счастливо оставаться. Владимир Маяковский. 12.4.30.
Товарищи Рапповцы, не считайте меня малодушным. Сериозно. Ничего не поделаешь... Ермилову скажите, что жаль — снял лозунг, надо бы доругаться. В. М. ...»

...Через час в мастерскую поэта вошел Бухарин. Маленький, в потрепанной кожаной куртке, он опустился на колени перед Маяковским и замер, как изваяние; потом не смог сдержать себя,— затрясся в рыданиях.

Через три часа руководство Российской ассоциации пролетарских писателей приступило к составлению некролога; было принято решение особо подчеркнуть опасность «апологетического восхваления всего в Маяковском... Его жизнь и творчество были и останутся примером того, как надо перестраиваться и как трудно перестраиваться...»

Через две недели баронесса Бартольд уехала в Париж.

Через несколько лет главным редактором «Литературной газеты» был утвержден Ермилов,— именно тот, кто последние годы травил Поэта.

Необходимый авторский комментарий:

Через сорок три года после гибели поэта В. В. Воронцов, фактический глава редколлегии, осуществлявшей шеститомное собрание сочинений (в свободное от основной работы время он, будучи помощником М. А. Суслова, пробавлялся литературоведением), круто настаивал на весьма своеобразном комментарии творчества Маяковского. Например, главу о художнике Д. Бурлюке в автобиографии «Я сам» («всегдашней любовью думаю о Давиде. Прекрасный друг. Мой действительный учитель. Бурлюк сделал меня поэтом...») сопроводили следующим пояснением: «Буржуазные толкователи жизни и творчества Маяковского, авторы антиисторических и вульгаризаторских работ „отталкиваются" в своих „исследованиях" преимущественно от слов „прекрасный друг. Мой действительный учитель"... Сторонники „левых" течений также охотно цепляются за эти слова... Д. Бурлюк... извлекал нужных людей, заготовлял их впрок для использования... Под флагом борьбы с „застоем искусства" Бурлюк с необычайной легкостью озлобленного буржуазного обывателя оплевывал всех лучших представителей русской национальной культуры...»

По-новому комментировалась и другая глава из автобиографии Маяковского: «Радостнейшая дата. Знакомлюсь с Л. Ю. и О. М. Бриками». Примечание поучающе правит Владимира Владимировича, лишенного возможности ответить, намекает на особость отношений поэта с «Л. Брик, урожденной Каган»; в нем особо подчеркивается, что «совсем не случайно в автобиографической поэме „Флейта-позвоночник" Маяковский гневно пишет о своей оскорбленной любви: „Сердце обокравшая, всего его лишив"».

О лирических стихах, посвященных Л. Брик, и его письмах к ней, полных нежности, о посвящении ей в 1928 году собрания сочинений Маяковским не говорилось ни слова.

...Потом к В. В. Воронцову примкнули новые кадры «литературоведов». В очередном издании сочинений Маяковского предполагалось, в частности, опубликовать следующий текст:

«...В 1968 году Татьяна Яковлева высказала предположение, что приезд Маяковского к ней в Париж был сорван не без вмешательства Л. Брик, которая имела все основания опасаться, что с появлением Татьяны в Москве она лишится возможности использования Маяковского в своих целях. Татьяна Яковлева не ошиблась в своих предположениях. Нашлись силы, которые сорвали Маяковскому поездку в Париж за Татьяной. Это явилось большим ударом для поэта...»

Научный комментарий обязан оперировать фактами. Естествен вопрос: каковы были «цели» Л. Брик? Есть ли доказательства того, что Т. Яковлева дала согласие на приезд в Москву? Кто представлял «силы», которые сорвали «женитьбу» Маяковского, отказав ему в визе? Почему в комментарии не говорится, что Т. Яковлева уже в 1929 году вышла замуж за французского аристократа?

Почему, наконец, игнорировалась запись беседы Т. Яковлевой (по мужу Либерман), живущей ныне в Нью-Йорке, в которой она подчеркивала, что никогда не собиралась возвращаться в Москву, а тем более выходить замуж за поэта?

Да и вообще,— нравственно ли утверждать, кого Маяковский любил, а кого нет? Допустимо ли игнорировать предсмертное письмо Поэта?

Порядочность разрешает исследовать дозволенное личное, лишь исходя из тех стихов, выступлений, писем, которые известны читателю; все остальное — подсматривание в замочную скважину, домысел, полицейщина.

Невозможно безапелляционно утверждать,— кому отдал свое сердце Поэт, которая из его подруг была нужна ему больше всех иных; сердце истинного художника — явление особого рода, понять которое дано не каждому.

Переделывание истории, внесение в нее пристрастных корректив,— есть глумление над истиной.

В рассматриваемом случае этому не дал осуществиться Константин Симонов; воистину, преемственность порядочности есть константа, при всей ее трагической пунктирности...

...Поздним вечером, когда сетчатый октябрьский дождь обреченно кропил багряную листву осин, глушил все звуки окрест и делал наш пахринский поселок затаенным, безлюдным, Симонов, безучастно слушая мои слова про то, как Воронцов давит на тех, кто пытается противостоять его одержимой, нездоровой нечистоплотности, посасывал трубку (когда писал — никогда не курил; «впрочем, я не могу отказать себе в стакане красного вина за ужином»), думал, казалось, о своем... Потом, спрятав трубку в карман кожанки, заметил:

— Я знаю об этом... Мне уже звонили... Я всегда обращался только к первым лицам,— будь то Сталин, будь Хрущев... Видимо, Суслову писать бесполезно... Обращусь к Брежневу... Речь идет о литературном черносотенстве, открытый вызов...

...Через два дня скромная табличка «т. Воронцов В. В.» была снята с кабинета могущественного «литературоведа»; сам он отправлен на пенсию; кощунственный комментарий купирован...

А Лиля Брик покончила с собой, завещав развеять свой прах в столь любимом ею Подмосковье, возле Звенигорода...



Рис. Ф. Васильевой

Лев МОЧАЛОВ

⧈ ⧈ ⧈

Когда мы снова будем юными,
все повторится... Будет вновь
нас море искушать бурунами;
дразня, испытывать любовь.
И прикосновенье женское
подарит нам волна. Войти
в нее! Отдаться ей, блаженствуя,
себя не чувствуя почти!
Зеленая вскипает глыбина,
и каждый раз, как в первый раз,
над нами нависает гибельно,
но держит и ласкает нас!
Кому-то, а не нам спасатели
по радио вещают: «Шторм!..»
Кого-то наставляют: «Спятили!
Спешите к рыбам на прокорм!..»
Но силы собственной не ведая,
мы не боимся ничего.
Счастливая игра! Отпетое
мальчишество и озорство.
А риск — он только возвеличивал
и как бы приобщал к тому,
что с вдохновенным безразличием
шумело — нам не по уму.
Шумело. И в усталом грохоте
слепую утверждало власть:
«Легко войти в меня. Попробуйте
уйти! — Уж я натешусь всласть!».
И вновь с одышкою одической
отшвыривало назад,
свое безликое владычество
нам доказав и навязав.
Но брезжило к судьбе доверие —
ведь это, право же, смешно:
уже рукой подать до берега,
где все как бы в немом кино —
вязание в руках у бабушки,
малыш, ползущий нагишом,
а девочка — играет в камушки,—
все в мире давнем и чужом.
И не хватает нам дыхания...
Не одолеть, не побороть
волны... Все злее, окаяннее
ее ликующая плоть!
Так что же? — С ней навеки спаяны?
Вот какова она — любовь!..
А берег — он встречает сваями
и тело раздирает в кровь.
Соленая, как море... Сплюнули,
на жаркий падая песок...

Когда мы снова будем юными,
неведенье
нас не спасет!

ЗАТИШЬЕ

Высветляется лесной уют.
Ясному безветрию осины
поколенье листьев отдают
сами
и без видимой причины.
Словно на незримом вираже,
отрываясь, отлетают листья
и текут...
И не разъять уже
безразличия и бескорыстья.
Кажется, улыбку шлет
солнце,
примиряясь и прощая.
Скрип гусей колодезный. Отлет.
Прощанье...
Правда ли — еще виток?..
В ситцевой голубизне деревья
спят,
не различая, где итог,
а где — преддверье.
И —
прозрачнее стекла
над землею тишина повисла,
та, что каждый шорох облекла
смыслом...
Нет, предощущеньем смысла...

◙ ◙ ◙

Осени
дальнозоркие сны...
С пристальным состраданьем зрея,
мудрость включает
и чувство вины,
благословенной печали
прозренье.
Да, настает покаянья пора.
У перелесков и речек прощенья
просим...
Долги раздавать пора.

Время отдачи.
Возвращенья.
Сравнивай,
взвешивай без затей,
что получили,
что потеряли.
Просим прощения у детей,
виноватые
перед матерями...

ДИАЛОГ

— Наступают по рассеянности
на мозоль тебе...
Беды многие расейские —
не по злобе.
Мертвецы идут ходынские
в толпе живых.
А виновных не отыскивай —
мало ль их?
Не вина видна —
беда.
И была ль вина,
не была?
Все развеяно —
пыль давно.
А забвенье
прощенью равно.
О, забвенье — огнем
и водой,
ты и ночью, и днем
над бедой...

— Ты и ночью, и днем
над бедой,
о, забвенье вином
и едой!

Забываем,
что не нужно забывать.
Запиваем,
чем не нужно запивать.
Зеленея,
розовея там и тут,
на забвенье
дачи растут.
На забвенье
дети растут!
Вырастают,
поступают в институт...

У забвенья — ни завтра,
ни вчера,
лишь была бы на завтрак
ветчина.
У забвенья — уловка
хитреца,
у забвенья улыбка
без лица.
Точно зелие
весело,
да похмелие
больно зло...

◙ ◙ ◙

Повинен или нет пророк
в трясении земли великом?
Он полагает,
что предрек!
Мы полагаем,
что накликал!

Не ты ль насочинял беду?
Не ты ль затмение наметил
в таком-то, видишь ли, году?
И думаешь, слова — на ветер?

Так. Три гвоздя и два бруска!
Все представленье крутим снова!
Да вот — под ложечкой тоска,
а что твое содеет Слово?

Куда пойдет и чем взрастет,
презрев законы и засовы,
когда его отторгнет от
ничтожества
твоей персоны?

Зоя ЖУРАВЛЕВА

РОМАН С ГЕРОЕМ -КОНГРУЭНТНО- РОМАН С СОБОЙ

«Средний» человек (унизительность сразу какая в этом определении, но берем чисто статистически) может быть понят и выражен в рамках классической, ньютоновой, механики, то есть: коли известны состояние системы («человек») в данный момент времени (культурный и нравственный потенциал, работа, семья, социальные связи, стремления и ценности) и если известны силы, действующие на ту же систему (личностные и социальные), то можно — практически — предсказать состояние человека как системы в любой какой угодно далекий момент времени. Обидно, конечно, но удивительно верно. Обыватель, к примеру, именно тем сногсшибательно скучен, что стопроцентно предсказуем. По принципу соответствия все другие проявления системы «Человек» входят сюда как предельные, как то: дарование и глупость. Впрочем, талант или чистая глупость уже выходят за рамки ньютоновой механики и для своего понимания требуют привлечения механики квантовой.

Глупость ведь первородна и непредсказуема совершенно, если она по-настоящему глубока, то есть глупость в совершенном ее виде, коли ее не портить образованием, привычками общежития и должностным ореолом, не забивать бы ее, родимую, и не смазывать, как смазан теперешний грипп или воспаление легких. Тогда — глупость есть художественное явление, ее не переплюнешь. Можно придумать умность, но истинной глупости одним умом породить никому не дано, она уже — иррациональна и потому — поражает не менее, чем блистательный парадокс, недаром настоящие — первозданные — глупости записывают и они имеют хождение среди людей по цепочке, как и большая мудрость. Глупости удивляешься — с радостью тоже открытия, она граничит с талантом, но как бы — вроде — с другой стороны.

«Средний» человек привязан к одной системе координат, она ему вроде достаточна, он не умеет, не смеет и даже не хочет ее менять. Ему в ней, обжитой, удобно. Талант — меняет систему координат просто в силу своего дарования, он их меняет постоянно. А, как все у Эйнштейна написано, принцип относительности в этом и заключается — от принятой субъектом системы координат зависит все остальное, меняешь систему отсчета — меняешь миры. Таким образом выходит, что я, меняя миры и профессии в тех же поездках, веду себя как дарование. Это, на первый взгляд, лестно, но, если вникнуть,— не очень. Ибо географическая смена системы координат есть самая низкая ступень принципа относительности применительно к личности. Гораздо более высокий иерархический уровень достигается качественным углублением интеллекта и интенсивностью самовыражения в любой области приложения человеческих сил, что всегда — внутренняя смена координат и что, кажется,

---

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1988, № 2.

Бунин блестяще определил применительно к Чехову как «его душа росла до самой смерти...»

Любопытно, что эта туповатая схема опять же нужна мне исключительно для того, чтобы подумать о Нем и убедиться, что и из этой схемы Он все равно выламывается. Бурный рост души — типа Чеховского — я за Ним отрицаю, Он для этого слишком статичен, традиционен в своих проявлениях и негибок. Я даже подозреваю, что Он полностью может быть выражен в рамках классической механики. Он как раз идеально предсказуем, но всегда — ошеломителен. В чем же тут секрет? Пожалуй, в том, что Его единственная система отсчета, принятая Им намертво, идеально четка́ и неразмыта, у огромного большинства, практически — у всех, система координат основательно размыта и тут всегда найдется тысяча эмоциональных, нравственных и социальных пристроек, отчего надо поступить не совсем так, как диктуется изнутри. То есть — абсолютно. Так, пожалуй, действуют только маленькие дети, но они быстро обучаются соответствовать. Он — не обучается. Поэтому в каждом конкретном случае заранее — вроде бы — знаешь, как Он поступит, но — с другой стороны — понимаешь, что поступить так может только инвариантный идиот и, значит, ждешь, что Он сделает как-то иначе. А Он так и поступает, как ты знал, и идиотом при этом не оказывается. Но часто оказывается чрезвычайно неудобным для всех других и этим чрезвычайно всех других раздражает. Во всех Его поступках начисто отсутствует выгода — не в материальном каком-то, естественно, смысле, таких-то людей пока — есть, еще не перевелись, а в том, что ли, хотя бы смысле, чтобы как-то удобовоспринимаемо выглядеть со стороны. Интересно — как Он сам себя видит со стороны?

Может — хватит о Нем? Или — как?

Упала в мягкую траву и вдруг на нож попала. Что нож в траве бывает — я не знала...

Мозги мои устроены как простейшая электросхема постоянного тока: сто́ит подать ток чуть бо́льшего напряжения в лице чуть концентрированной мысли, тут же срабатывает предохранитель — сон. Недолгий, пусть десять-пятнадцать минут. Сие значит, что мысль зашла в тупик. Или невыполнима слабыми моими силами. Или требует длительного — подспудного — присутствия в хрупкой проводке мозгов, чтобы там закрепиться. И в этом смысле сон зачастую благ, ибо — проснувшись — я все про эту мысль знаю: что надо растереть и забыть, или что нужно ее крепко еще обкатать. Часы эти, предутренние, под одеялом и без намека на посторонние, мирские, заботы, — есть весьма существенная и продуктивная часть процесса, который никуда не ведет, но возможно — ведет куда-то.

Снится же последнее время такое количество чистейших горных рек и великолепных коней, с хрустом жующих во тьме, что не хватит слез моих — оплакать эти предвиденья и трудно даже вообразить огромность лжи, меня ожидающей, чтобы хоть как-то компенсировать конское стадо, столь прекрасно и вкусно жующее. Еще снятся горы, в которые лезу, что тоже, как известно, к горю. Но очень может быть, что это просто отрыжка азиатских блокнотов, каковые читаю и перечитываю, признавая не столь уж пустыми, как подозревала.

И ведь знаю, почему не могу писать. Надо писать про себя и от себя, а не могу преодолеть этот стопор — слишком мало знаю и слишком обычно живу, чтоб заявлять о себе вслух, слишком ничтожно чувствую. А другое все вдруг неинтересно. Это все раньше надо было делать — лет в двадцать, когда сам себе мнишься вершиной духа, когда не стыдно кричать — ах, какой я! А как это сделать сейчас, когда знаешь цену? И в то же время чувствую изматывающее отвращение к бытописательству, к новизне профессий и мест, к прежней заманчивости и головокружительности любой экзотики.

Хотя самое это слово «экзотика» — чушь и трафарет, придуманный усталыми городскими людьми, чтобы сразу и посильно отбиться от всякой другой жизни, знак, ничего не проясняющий, но априори с отрицательной

и вроде бы уничижительной почему-то оценкой. Экзотика же исключительно зависит только от глаза, то есть опять же от личностной системы координат. Когда охотник По́ротов на Верхней Таймыре́ — а он нас там легко и небрежно стащил с мели, где мы квохтали и рвали шпонки много часов, река мелела стремительно, — задумчиво сообщил, что — пожалуй — как-нибудь выберется ко мне в Ленинград, я немедленно явила себя как типовой столичный житель мелкого пошиба. Я обрадовалась. И поспешила обрадовать его: «В театры с тобой походим, я билеты достану!» Он же посмотрел на меня как-то печально и издалека, из глубины себя, мне — значит — недоступной. Он даже сделал, снисходя к моему плачевному состоянию, пластичный жест легкой и точной рукой профессионального охотника, будто враз отодвинул мои примитивные излишества и вторичные радости. «Это — не надо, — сказал он. — Я дома хочу посмотреть». Редко когда я в жизни испытывала такое химически-чистое чувство стыда, как в этом с ним нашем разговоре. Конечно, с нашего стереотипа — именно дома для него, выросшего в Хатанге, и были экзотикой, за которой надо нестись на край света в Ленинград, вот и все. Но я к тому времени уже достаточно долго болталась в тундре и, к чести моей, — хоть и с запозданием — все же поняла, что он имел в виду.

Он хотел видеть главное в городе — организованную вертикаль и организованную статику, поскольку ни того, ни другого в тундре нет. Статики вообще нет в живой природе, где все летит, бежит, цветет, моросит или сверкает в солнце. Даже камень в природе — живой, он цветет лишайником и струится под ногой, он вроде — растет и помнит, недаром в удивительно гармоничном и осторожном в отношениях с природой городе Петрозаводске, например, самое живое все-таки — древние валуны, якобы небрежно являющие себя посреди зеленых газонов центральных улиц. Статику привносит лишь человек — буровой вышкой где-нибудь в Кара-Кумах, на которую остолбенело и вечно глядит с ближайшего бархана желтый варан, ощущая с грустью древним своим умом, что эту штуку — хвостом уж не перешибешь, или сборным — типовым — бало́ком рыбака в тундре, где сходятся рваные, незаживающие, следы вездеходов. Но сколько ни будь буровых в пустыне и жилых балков в тундре — они кажутся тут случайными и не они тут организуют пространство.

А большой город обязательно и изначально отторгнут. Природу в него приходится приманивать, как дикого зверя, подкармливать, создавать ей, живой, тепличные и уже особые условия. Желание охотника Поротова было, по-моему, скорее даже философским, чем бытовым, и он метко выделил главное организующее начало города — дома как таковые, беззлобные пятиэтажки, старинные особняки, блестящие окнами «высотники», дома важничающие, с колоннами, с барельефами, дома социально престижные, как бы даже по виду — замкнутые в своих, им только известных, высоких целях, и простенькие, исчирканные возле грязноватых подъездов детским нетвердым мелом. Но всегда прочно устремленные вверх, если — не евысь, и словно бы осознающие свое значение для кипящей средь них муравьиной — людской — жизни...

А мы приглашены на розовый ликер, его так мало — можно только нюхать. Я с некоторых пор без Вас все нюхаю в пол-уха, и слышу в полноздри, и чувствую в полглаза...

Я-то как раз урбанист, мне город не в тягость, слитный городской шум не помеха одиночеству, даже углубляет его, я люблю думать в автобусе или в метро, вечно проезжаю нужную станцию, я люблю возвращаться в город, мне только нужно — почаще его покидать, чтобы потом острее переживать длинное и какое-то немотное удивление родным городом.

В тундре же измерения вверх практически нет, даже ощущение вертикали там быстро и начисто утрачивается. Тундра — стихийно и совершенно организованная горизонтальность. Это очень много воды, медленно бегущей в красноватых яра́х берегов, в красноватых торфах с голубыми проблесками вечной мерзлоты, это растекающаяся под взглядом бесконечная плоскоть, с дрожащей белой каемкой вдоль горизонта, поросшая рыжеватыми травами, яркими

меленькими цветами, пахучими — кстати, это неправда, что цветы там без запаха, низким кустарником, разбитая на непонятные квадраты и прямоугольники яркой прозеленью болот. И сразу же — от земли — начинается огромное, избыточно огромное, небо, его даже как-то неправдоподобно много. Но небо там не дает ощущения сферы, небо тоже горизонтально и расстилается над тобой и вокруг, над всем миром, как бы остановимыми, бесконечно раскручивающимися и многоцветными полотнищами, словно некто невидимый и всемогущий все тянет и тянет бесконечный рулон небес. Огромное неослепляющее солнце плоско растекается по плоскому небу. Горизонтально зависли над водой чайки, крупные — трусоватые — бургомистры, юркие поморники, нахальные крачки, уже — не чайки, с острым раздвоенным шилом хвостом. Горизонтально наползает белый туман и ложится плоско, слепо и плотно. Даже близкие горы Бырранга кажутся просто пологими холмиками, да они такие и есть, невысокие по горным масштабам, несыпучие под ногой, как бы отвалы древнего рудника, заплесневелые слабым лишайником.

Лишившись вдруг привычного вертикального измерения, в тундре перестаешь ощущать размеры предметов, все здесь кажется больше, чем есть, чайка видится орлом, лемминг — волком, песец — оленем, вездеход вдруг мгновенно вырастет из точки и даже звук от него обрушивается внезапно и сразу, это звук вдруг поворотило к вам ветром. Горизонталь так всевластна, что прогибы ее как-то скрадываются, в десяти шагах от реки уже не видишь реки, тундра кажется сплошной, слитной и ничто не может прервать ее даже на миг. А река — меж тем — широка, берега даже обрывисты, в белых очёсах оленьей шерсти, реку переплывают гуси, их поток — поперек реки — бесконечен и тоже неостановим, они сейчас линяют, они временно потеряли маховые перья и не могут сейчас взлететь, они плоско бьют лапами по плоской воде, в которой плоско расплющено огромное солнце, их тысячи-тысяч, не знаю — сколько, это какая-то гусиная лава, кажется — они сомнут и тебя, и лодку, их надо пережидать часами, они — дома и не торопятся. И так же — мощной, плавной и бесконечной — лавой, от горизонта до горизонта, бегут и бегут олени, все бегут и бегут...

Властно насыщенная вечность какая-то во всем этом.

В стандартном домике охотника Поротова была явно нестандартная атмосфера. Чисто прибрано, не по-холостяцки, а как бы с женским даже уютом. Стены оклеены городскими обоями в мелкий ситчик. На оленьей шкуре в углу лежала собака Аннушка и подняла нам навстречу доброжелательную и смышленую морду. Аннушка она не потому, что так с губы соскочило, как тут часто собак называют (на соседней точке были, например, Хамка да Вырва), а исключительно — потому, что родилась когда-то, лет семь назад, в самолете АН-2, Поротов сам и принимал тогда тяжелые собачьи роды, мать Аннушки этими родами погибла и щенок выжил только один. Аннушка в работу уже не годится, у нее хронический радикулит, Поротов лечит ее нутряным волчьим жиром, это тоже здесь редкость — держать собаку, как в городе, исключительно для души, а не для дела, более принято — из плохой собаки сделать хорошую собачью шапку и хорошо в Норильске продать. Аннушка много времени проводит одна, Поротов редко ее берет на обход капканов, участок большой, тяжело. Чтобы ей было нескучно, оставляет включенным приемник. И в одиночестве Аннушка пристрастилась петь, сперва Поротов случайно подслушал, а теперь она уже не стесняется и при нем поет, мелодию держит точно, песни предпочитает грустные, вроде «Ты ушла с толпой цыганок». Добывают — песца, много, до тысячи за сезон, а до ближайшего соседа тут около сорока километров, рации — нету, не завезли.

Когда Поротов вдруг услышал тарахтенье наших моторов, он читал. Книжка так и лежала раскрытой. Я сразу поглядела. Это была «Метафизика» Аристотеля. Нет, он нигде не учился, заболел после школы, туберкулез, сам и вылечился вольной охотничьей жизнью, здоров, женат, дети, так и живет. Дальше — не вышло выучиться. Не пьет, не курит. «Нравится?» — я кивнула на «Метафизику». «Нравится,— он засмеялся, смех начисто стер с его лица замкнутую невозмутимость, столь свойственную подолгу живущим в полном одиночестве людям.— Хотя ничего не понимаю».— «Читать только то и нужно, что не понимаешь». Это, всерьез, глубокое мое убеждение, читать — что полностью понимаешь, даром время терять, растешь только напрягаясь, и лишь активное непонимание стимулирует понимание и его рождает. «А чего? — он прикинул про себя.— Я, пожалуй, согласен». И опять засмеялся чему-то своему. И как-то искоса и интимно глянул на Аристотеля.

Я-то думаю, что он засмеялся — от сопричастности. Это великое чувство — живой сопричастности движению чистой мысли, живой — пульсирующей — плоти ее, логической точности и доверительной, иногда — до простодушия,— образности, оно вдруг поднимает тебя до прозрачной и напряженной ясности и будто рывком швыряет тебя куда-то вперед, где ты умнее и глубже, чем о себе самом думал, вдруг ощущаешь — как-то дрожанием кожи — что человек действительно велик и такая личная радость, что ты — человек. Рефлекторно смеешься от наслаждения. Эти, так называемые, первоисточники — Ньютон, Платон, тот же Аристотель — очень этим владеют. Чем дальше, тем сомнительнее для меня наш поток научно-популярной литературы, тем поневоле идет снижение уровня — мысли, идеи, образности, идет замутнение и — как ни странно — усложнение. Впрочем, чего странного, ведь простота действительно самое сложное. Только тот, кто сам и первый придумал, отыщет самые пронзительные слова и лучше любого интерпретатора спровоцирует твое понимание. Мы с Машкой тоже смеялись, когда я читала ей куски из «Метафизики», Машка была тогда в шестом классе.

Этот замечательный человек — охотник Поротов — ко мне в Ленинград не приехал. Он погиб следующей зимой при обстоятельствах, не вполне ясных и до сих пор неясно тревожащих душу. Обнаружили это вертолетчики при очередном облете. Просто — стылая, давно заметенная избушка, ни человека, ни собак, ни следов, ничего. Пуржило перед тем больше месяца. Искали, что тут найдешь. Видимо, выехал по реке на нартах и провалился в полынью. Но почему ни одна собака не выбралась и не пришла потом к людям? Обычно хоть одна да спасается. Куда делась Аннушка, которую он вряд ли с собою взял? Никаких следов спешки в домике не осталось. Что заставило его, местного, привычно осторожного с тундрой, вдруг сорваться с места в явную непогодь? И еще. Зима в тот год стала сразу и крепко, лед на реке был надежен, путь он знал мало сказать — хорошо, вряд ли мог проглядеть даже случайную, шальную, полынью...

А касаемо «экзотики», то для меня столь же пленительно экзотично, как австралийские дебри, где вместо фонарей светят во тьме печальные глаза кенгуру, а маленькие их ручки аккуратно снимают шкуру с бананов, выглядит словосочетание «мыловаренный завод имени Егорова». О, сколько в этом интригующей тайны! Я давно уж подумываю, что нужно пойти туда работать, чтоб ее разгадать. Если только меня возьмут! В Пулковскую обсерваторию или преподавать на физтех — это конечно, оторвут с руками, но насчет «мыловаренного завода имени Егорова» — не уверена. Ведь мыловарение столь сокровенно, а эта фамилия такая теплая и простая. Что же их связывает? Какие узы? Когда я работала в Мурманске и прилетала в Ленинград, то, шикарно катя в такси по вечернему родному городу, я в течение нескольких лет опознавала его по сверкающему неоном иероглифу где-то слева, на Московском проспекте. «Ика хня»,— исправно горело там. И сердце мое стихало: я была дома. Позже выяснилось, что это значило «фабрика-кухня» — с некоторыми выпадениями по техническим причинам. Но никогда ни одной фабрике-кухне не удавалось подняться в моих глазах до такой символики, как бы ни перевыполняла она годовой план по денежному обороту и даже ассортименту.

Возможно, в сочетании «мыловаренный завод имени Егорова» тоже отыщется доступный моим мозгам смысл. Но я не решаюсь даже спрашивать о нем. Нет, я не пойду туда работать, даже если позовут. Эту тайну я сберегу себе на потом, на старость, на дряхлеющую мудрость. И лишь тогда, может быть, рискну проникнуть в мыловарение и разгадаю этот коан. Я и так слишком многое хочу знать. А это — решительно не хочу. Я вообще не знаю, из чего мыло. И почему — одно мыло пахнет отвратно, а другое волнует душу своим миазмом и его нынче преподносят друг другу в праздники. Статус мыла повы-

сился, уже мало быть просто чистым. Но в самом процессе изготовления до сих пор дрожит потаенное средневековье.

Я заметила, что никто, решительно никто, вокруг не знает, из чего же делают мыло. Про летающие тарелки знают все. Про Бермудский треугольник — ну поголовно. Про литературу, что она — плоха, про школу, что она — никуда не годится, хуже некуда,— это все знают. А насчет мыла — никто. Сразу намекают на бродячих собак, не от бешенства же их отлавливают, все знают, что бешенства давным-давно нету. А ведь отлавливают зачем-то! Или, понизив голос, приплетают химию. Что, мол, некоторое мыло — сплошная химия, оно вредное почти, как сахар, и от него можно пойти пупырями. Но никто не ткнет в мыло пальцем и открыто не скажет — от этого! И никто пупырями пока не идет. Вообще в суждениях о мыле, как, впрочем, и во многих других суждениях, наблюдается удивительное слияние мощного технического прогресса и первобытной дремучести. Лучше вообще эту тему не трогать. Лучше — о кибернетике, о генетике, о пересадке сердца на расстоянии...

Одиночества спелый плод, я тебя бы проткнула шилом, знаю, знаю — гной потечет, знаю, знаю, что ты прогнило, не висишь уже, а свисаешь, не спасаешь, давно не спасешь, от себя самого погибаешь, совершенное — будто шар, совершённое — как кошмар. И когда говорю с другими — не слова из меня вылетают, знаю, знаю, что — не слова, а круглые, как горошины, яркие такие, хорошенькие, совершенные в своей законченности, крошечные такие, крошечные о-ди-но-че-ст-ва...

Опять идеализирую, что за натура, обязательно надо соврать и исказить правду жизни. Ведь там, в тундре, на шершавом столе, чисто отшкрябанном охотничьим ножиком, лежал вовсе не Аристотель, а — наоборот — Гегель. Но «Метафизика» для меня завлекательнее, в ней сугубо научный — современный — подход к явлениям бытия органически переплетен и слит с мифом, из которого прорастала тогда наука. И потому Аристотель для меня как-то ближе к тундре, как я ее ощущаю: чужеродность ее и всесилие уменьшают порою меня в моих же собственных глазах до беспомощной крошечности и исключительно для посильного самоутверждения требуют вдруг почти мифологических начал для объяснения простых, наверное, но непостижимых городскому разуму явлений природы, тамошнего мышления и опыта. Отсюда — и «Метафизика», воистину: не соврешь — не проживешь.

Это мое уточнение напоминает поправку, которую мы в Мурманске получили некогда от нашего собкора по Мончегорску Вити Ежикова, когда я работала в мурманской молодежной газете, свято любимой. Витя Ежиков был нашей гордостью, он капли не брал в рот спиртного, в отличие от других собкоров, был въедлив в работе, неистребимо писуч, буквально заваливал редакцию своими материалами, тогда как из других наших собкоров их надо было вырывать клещами, любовью или угрозами, дотошен и педантичен. Даже просто глядеть на Витю Ежикова было приятно. Он был хрупок, невысок ростом, стерильно чист в аккуратно отглаженном своем костюмчике, вообще аккуратен, как статуэтка, его хотелось сразу же поставить в сервант и ежеминутно смахивать с него пыль, чтоб даже пылинками не порушить совершенства. В редакции он так невесомо и аккуратно опускался на расшатанный стул, что под ним, единственным, этот стул не кряхтел.

У Вити Ежикова вообще не было недостатков. Его только опасно было посылать в командировки в другие населенные места, поскольку — при полном отсутствии недостатков — у Вити была одна слабость: он любил иметь дело с чужими женами, хотя своя и хорошая у него тоже была, и его часто били грубые конкурирующие мужчины, в основном — мужья. Женщины нашего Витю любили — за доброту и хрупкость. По крайней мере, никогда и ни одна женщина в редакцию на него не жаловалась, а этот аспект воспитательной работы — разборы с дамами — был у нас тогда достаточно популярным, в газете сплошь были парни, средний рост — метр восемьдесят два, их жизнелюбие было нетерпеливым, и частенько они бывали безответственны в своем нетерпении. С пострадавшими дамами разбиралась обычно я — как лицо

незаинтересованное, владеющее диалектикой и по возможности справедливое. Но Витя Ежиков никогда не дал мне повода вмешаться в личную его жизнь, за что я до сих пор ему несказанно благодарна. Даже синяки его после рисковых командировок выглядели аккуратно, заклеены были чистым пластырем или скромно цвели по скулам добрыми комнатными цветами.

Так вот. Сперва Витя Ежиков прислал очередной материал типа «зарисовка». Он там повествовал о добротном передовике производства комбината «Североникель», хоть производство было вроде бы не основное, так как Витин герой на сей раз трудился на ниве подсобного хозяйства комбината. Не помню уж сюжетных перепитий, до которых Витя был большой охотник. Помню только, что для утепления образа и пронзительной читательской грусти там у Ежикова все время фигурировала кобыла Звездочка, к которой герой босиком выбегал в ночи и в сорокаградусный мороз, чтобы прильнуть к ее, Звездочки, понимающей холке и обрести силу для праведной производственной борьбы за парниковые овощи. Эта кобыла Звездочка, как дружно отметили на летучке, очень Вите Ежикову удалась, она ярко запоминалась, вырастала как бы даже до типа чего-то доброго, вечного, знаменовала даже новый — более высокий — творческий этап в работе нашего собкора по Мончегорску.

Когда материал был уже в типографии, из Мончегорска пришло заказное письмо, надписанное аккуратным почерком Вити Ежикова. В конверте была одна фраза: «Уточняю — это не кобыла, это кастрированный жеребец по кличке Метеор». Хоть с типографией у нас давно сложились отношения свойские,— мы любили свою газету набирать своими руками, для чего исправно прикупали наборщикам «маленькую», чтоб их полностью нейтрализовать, и, овладев шрифтовой кассой, творили свою газету, как нам того хотелось, если возникала вдруг дырка в полосе — диктовали стихи сиюминутного вдохновения сразу на линотип, а при большой дыре — могли тут же, по строчке с души, придумать сердцещипательный рассказ про незадавшуюся любовь, я до сих пор блаженно и радостно втягиваю ноздрями запах типографской краски от свежей газеты и только затем их, по-моему, и выписываю,— но перебирать материал мы не стали. Номер вышел, таким образом, с фактической ошибкой, но жеребец Метеор в суд на нас почему-то не подал. Фраза же эта, конвертная, надолго сделалась для нас масонским кодом — любая вопиющая несообразность мгновенно кодировалась как: «Уточняю, это был жеребец».

Витя Ежиков, кстати, писал в то время, без отрыва от основных обязанностей, большой роман из исторической жизни. Но у нас в редакции абсолютно все писали романы, удивительно было бы, если б кто-нибудь не писал. Большинство потом бросило и занялось каким-нибудь делом. Но были люди упорные, например Вадим Саловеев. Вадим был рыхлый физически и как-то внутренне, с рыхлым и необъятным честолюбием, с рыхлой ответственностью, вернее — безответственностью, мы не раз ловили его на плагиате, когда торопясь утвердиться в наших насмешливых по молодости и силам глазах, он передирал материалы из центральных газет, отдавая явное предпочтение «Комсомолке» (в этом как раз была его детская наивность, «Комсомолку»-то все читали) и сильно коверкая собственными индюшачьими соплями, принимаемыми за живую образность, и полным разрывом всяких логических связей.

Вадим Саловеев был, пожалуй, единственным среди нас, кому работать на этой ниве было не нужно: нравственно противопоказано. Мы много раз хотели выгнать его. Но не выгнали. Жалели его тихую жену Тосю, которая вскормила его своей скромной учительской зарплатой, чтобы Вадим кончил институт, и верила в него, как магометянин в Каабу. Мы были — однако — непредусмотрительны, теперь Вадима Саловеева уже никому не выгнать. Только практическая его хватка не знала рыхлости. Тосю он преспокойно потом оставил, шустро женился — наоборот — на москвичке, заглянувшей в командировку за Полярный круг, перебрался в столицу и давным-давно пишет о космонавтах. У меня, может — единственной, поэтому по отношению к космонавтам, кроме вполне понятных высоких и уважительных чувств, в сердце подрагивает жалость. Я все боюсь, что наш Саловеев с ними бестактен, что он может ненароком обидеть даже и космонавта, и что он обязательно передергивает, я же его знаю.

Одно время пыталась следить за его творчеством. С психологией как бы все было в порядке, только саловеевские космонавты думали всегда очень простенько и слишком прямо, словно пушистые цыплята, дружно бегущие по мягкому спорышу за мамкой-курой. Научная же осведомленность ставила в тупик. Невесомостью, правда, Вадим эмоционально овладел. Как я понимаю, это ощущение близко его жизни — он плавает бесконтрольно и без опоры, так что способен воспринять сложность ситуации. Но, вопреки обильным техническим выкладкам, у меня осталось ощущение, что он считает, будто двигатели в космическом корабле работают на керосине и, если керосин — не дай бог — вдруг кончится, корабль тут же намертво врастет в космический грунт. На писаниях Вадима Саловеева очень видно, как страшен в нашем деле разрыв между «что» и «как» и что жизнеспособно только равноправное двуединство, а нам почему-то так полюбилось это разрывать. И чем выше это «что» (то есть — о чем берешься поведать миру), тем важнее «как» (насколько владеешь ты ремеслом), потому что бессильное «как» необратимо искажает любое «что». У Каверина, в «Художник неизвестен», здорово сказано: «Закон, написанный плохим языком, уже таит в себе все возможности беззакония...»

А нашего собкора по Мончегорску Витю Ежикова я случайно встретила через много лет и совсем в другом месте. Он удивительно сохранился внешне, все так же неудержимо хотелось его, хрупкого, поставить в сервант (хотя я не очень твердо знаю, что такое «сервант»). Мне крупно повезло. Мы встретились именно в тот вечер, не раньше и не позже, когда Виктор Николаевич Ежиков только что поставил финальную точку в своем романе, начатом в наши общие доисторические времена. Я-то думала, он об этом романе давно забыл. Нет, он работал над ним все эти долгие годы. Изучал материалы. Расширял рамки. Теперь вошла и коллективизация. Углублял характеры.

Витя ходил передо мной по комнате такой прежний, родной, ностальгическая любовь к нему, как к знаку ушедшего, разрывала меня. Я даже сперва не поняла, что произошло. Вдруг, из размывающей меня ностальгии, услышала: «Я кончил, ты понимаешь? Я его кончил, а ведь никто, никто же еще не знает!». Мелкие шажки по чистому полу были знакомо аккуратны, взмахи точеных ручек знакомо родственны, но чужая, кичливая, пенная, опьяняющая его сила вдруг прорвалась в этих словах. «Никто, никто, никто еще не знает!» Он же всерьез, без тени юмора и сомнений, как-то намертво, переживает сейчас явление Себя миру, который погряз в неведении и не чувствует даже своего Мессии,— вдруг поняла я. И уже не знала — завидовать Вите Ежикову или страшиться за него. И до сих пор не знаю — страшиться или завидовать. Я впервые наблюдала вблизи столь откровенный, столь бесконтрольно-чистый и смело-эгоистический прорыв величия Себя, обычно люди это хоть как-то да прикрывают. Но я была своя исстари и он не прикрывался. Завидовать? Ведь такая — вне всего — вера в себя может держать всю жизнь в сладком тебе полете. Страшиться? Ведь может же все-таки найтись нечто, что его сошвырнет оттуда и он тогда разобьется в кровь и, по-моему, сразу насмерть.

«Ты сегодня же ночью все прочитаешь. Ты будешь первый человек, который прочитает, представляешь?» Я не хотела брать. Я не хотела читать. Но Витя был неотступен. Кончила читать уже на рассвете. Это была, как я и предчувствовала, чудовищная графомания, мертвая в каждом своем абзаце, дотошная, подробная, педантичная и от всего этого еще более мертвая, если тут вообще могут быть степени. Я лежала и думала, с каким же лицом выйду навстречу Вите Ежикову. И на кой черт меня судьба именно сюда занесла. И зачем ему это все нужно, если у него есть же всепоглощающая вроде бы работа, которая других высасывает до конца и которую он делает хорошо, я видела, как с ним разговаривают сотрудники, он ответственный секретарь большой газеты, где нужны и воображение, и его педантизм, и его организованность. Почему же нужна еще графомания? Что в ней так притягательно, что она растет повсюду, как плесень? Или это иллюзия легкости литературного дела со стороны? Но Витя Ежиков со стороны не смотрит и для него тут легкостью и не пахнет. Это же каторжный труд в течение многих лет! Я бы хотела даже ему соврать, если бы смогла. Но не умею врать. Я бы хотела выпрыгнуть в окно и убежать в сопки. Но тут, в гостинице, пятый этаж. Как он

переживет мои слова и какие мне отыскать, чтобы были они правдивые, но полегче?..

Он перенес прекрасно. «Ты не поняла»,— небрежно сказал он. Даже — с небрежным сочувствием. И сразу спросил, где — по моему мнению — лучше роман печатать, где — сто́ит печатать. Я сказала, что — по моему мнению — его нигде печатать нельзя. «Ну, это — по твоему,— твердо засмеялся Витя Ежиков. И я вдруг поняла, что давно уже он — не „Витя“, а „Ежиков Виктор Николаевич“, что я его совершенно не знаю и что страшиться за него мне не нужно. Может — нужно его бояться.— Напечатаем».

Возможно, этот роман уже напечатан, мне просто еще не попался на глаза...

Мне снился диалог, слова забыла, остался ритм, он был — как бы скаканье по болотным кочкам, веселым, мягким и тугим...

А потом мы перебрались под Пензу. Папа преподавал в сельхозтехникуме, был доволен, говорил, что работает, наконец-то, живую работу, с живыми людьми, всегда мечтал преподавать. Мне там тоже нравилось. Перед желтым зданием техникума вечно слонялась ручная корова Жуля, она удирала из подсобного хозяйства, ей было там скучно, и выпрашивала у всех проходящих хлеб. Ей все давали. Однажды на кафедру механизации привезли новые лабораторные шкафы, чтобы втащить их — двери пооткрывали настежь и закрыть забыли. Любопытная Жуля зашла в вестибюль, вахтерша от неожиданности дала резкий звонок на перемену, из аудиторий с топотом рванули студенты, Жуля испугалась и стала ломиться в раздевалку. Ее с большим трудом вывели.

Техникум со всех сторон зарос дремучей сиренью, и белые грозди ее светились в сумерках. Среди сирени понаставлены были страшные ядовито-зеленые скамейки на гнутых металлических ногах. На скамейках сроду никто не сидел, лежали просто в траве. Куры со всей округи считали спинки этих скамеек за насест и к ночи тесно устраивались на них подремать. Если пробежаться в темноте возле техникума, взрывался такой треск курьих крыл, словно по боевой тревоге дружно взмывала в небо стая бомбардировщиков.

От техникума к реке Суре, изогнувшейся желтым песчаным пляжем, вела старая тополиная аллея. В тополях жили соловьи. Они щелкали серебряными бичами, выхваляясь друг перед дружкой. В соловьином щелке была струистая упругость водяного бича, который держится своим собственным напором. Хлесткие эти удары падали в непроходимые заросли бузины, в овраг, заросший молчаливой крапивой, упруго обвивали веселый березнячок, опоясывали огороды, длинное поле капусты, и, струясь, уходили к лесу, за горизонт, взблескивая последним солнцем. Но потом они возвращались ударом такой же силы. От соловьев звенели перепонки.

По тополиной аллее около одиннадцати часов вечера доцент Пряхин — полный, белый, в огромных очках, казалось, что именно из-за этих очков он плохо и видит,— носил на руках свою маленькую жену, бывшую балерину. «Хватит, ты устал»,— каждый вечер говорила его жена. «Я никогда не устану»,— говорил доцент Пряхин. И еще выше поднимал свою жену, бывшую балерину. На берегу он осторожно опускал ее на траву и они долго стояли, обнявшись. В реке неясно светились белые лилии, течение тянуло их за собой, и лилии упруго подрагивали на длинных и гибких стеблях. «Замерзнешь...» — говорил, наконец, доцент Пряхин, хотя над водой низко стлался теплый туман и даже во тьме было душно. «Я никогда не замерзну»,— всякий раз отвечала его жена, бывшая балерина. И смеялась странным, отчетливо-мелким смехом. Иногда она оставляла его на берегу, а сама уходила купаться. Слышно было, как она плавает, невидимая в тумане, мелкий, счастливый, ее смех далеко разносился по воде. Пряхин тихо сидел на берегу, он никогда не купался, мы были уверены, что он вообще не умеет плавать. Потом они медленно, часто останавливаясь, возвращались к поселку, и в тополиной аллее доцент Пряхин снова брал свою жену на руки...

Мы следовали за ними в черноте тополей и слепых ожогах крапивы. Что-то

выталкивало нас из дому, вырывало из игр и приводило сюда в этот час. Это не была слежка. Или подглядыванье. Да они же и не таились. Не знаю, замечали ли они наше присутствие, им было все равно. Не сговариваясь, мы были беззвучны. Когда Броник Бречко, сын директора техникума, добродушный до кротости, вдруг однажды захохотал и унесся вскачь напролом через кусты на капустное поле, мальчишки его потом отлупили. Как я теперь понимаю, Броник просто не выдержал немого и немотного перенапряжения души. Так бывает в театре, когда в самый сильный момент удавшейся актерам сцены открытого чувства вдруг прорвется в зале неудержимый гогот подростка. Этот подросток не виноват, нечего осуждающе на него оглядываться, он как раз не худший, он-то как раз поднялся и ощутил. У него еще просто нет опыта реакции на такие чувства.

Как я теперь понимаю, мы тогда впервые столкнулись с открытым чувством взрослых, бесстрашно и чисто себя являющим, это нас и держало в репьях, безмолвии и крапиве. Доцент Пряхин и жена его, бывшая балерина, были в нашем притехникумовском поселке окружены недоверчивым любопытством и даже осудительным недоверием, этот недосказанный привкус от детей не скроешь. Пряхину было под сорок, жене его — около шестидесяти, у них была разница в двадцать лет. Мы должны бы воспринимать бывшую балерину как глубокую старуху, всякая влюбленность в которую по меньшей мере — странна. Прекрасно помню, как на сорокалетии своей троюродной сестры, куда я уже студенткой случайно попала, я была буквально потрясена, обнаружив, что моя сестрица — в ее-то возрасте, когда нужно давно подбивать итоги и безропотно ждать конца,— обнимается в прихожей с каким-то лысым дядькой, прижимается к его седой щетине щекой и трется плечом об его пиджак. Это показалось мне прямо кощунством и вызвало почти брезгливую жалость. И — меж тем — так же прекрасно помню, что к Пряхину и его жене ни тени чего-то подобного не испытала ни разу. Когда доцент Пряхин бережно, легко и неловко проносил на руках по темной аллее из старых тополей свою жену, по слухам — бывшую балерину и, по всей видимости,— шестидесяти лет отроду, я помню лишь непонятное стеснение всего организма и тревожную, как бы из бессознательного далека, вдруг подступающую теплоту. Наверное — это была зависть. Дети порою действительно жестоки, как молодая трава — колка́, но порой они все-таки прозорливы сердцем, это правда.

Домой к нам каждый вечер приходили студенты, они громко разговаривали с папой («Орали, как оглашенные»,— говорила потом мама. «Молодость нуждается в сильных звуках, Мусенька»,— объяснял папа), ели молодую картошку в нежной кожуре (мама говорила, что у Кабазовых — они жили над нами, дом был деревянный и двухэтажный,— картошка лучше, крупнее, рассыпчатей, они на таком же участке накопают гораздо больше. «Нам, Мусенька, и этого — за глаза»,— успокаивал папа), грызли морковку, тоже — свою, со своего огорода, что прямо под окнами (мама говорила, что у Кабазовых морковка слаще, хоть сорт тот же. «А я даже солью посыпаю, так сладко»,— смеялся папа), пели на крыльце песни и долго еще, допоздна, шушукались с папой там же на крыльце, но уже в полголоса. Когда они, наконец, уходили, мама мыла посуду и вздыхала, папа вытирал тарелки полотенцем, подметал пол, выносил помойное ведро. Все это они производили молча. Наконец папа заботливо спрашивал: «Еще что-нибудь нужно, Мусенька?». Тут мама говорила: «Ну почему обязательно про дрозофилу, Саня? Разве нет других тем?» — «Дрозофила — это просто мушка, ничего страшного, Мусенька, это просто — мушка».— «От этой мушки головы летят»,— говорила мама. «Не все они, Мусенька, летят, есть еще головы».— «А ты, видно, хочешь, чтоб совсем не было,— сердилась мама.— Ты все для этого делаешь!» — «Ничего я такого, Мусенька, не делаю,— папа осторожно проводил маме по волосам, но она отстранялась.— Я преподаю свой предмет, биохимию растений. Но они уже большие, Мусенька, должны знать».— «Да откуда ты знаешь, куда они пошли?» — «Они пошли в общежитие, спать». Это слово папа вставил зря. Мама сразу вспомнила, что ребенок еще не уложен, а опять — почти час ночи...

Засыпая, я думала о дрозофиле. Я представляла ее громадной, много

крупней самолета, мухой с пропеллером. Дрозофила взлетала, пропеллер в ней мощно крутился и поднимал вокруг вихрь, он срывал с домов крыши, выдергивал деревья с корнями и от него летели головы. Люди изо всех сил держали свои головы обеими руками, кто не сумел удержать — тот остался без головы. Когда я впервые увидела, как взлетает с заболоченной низинки, поросшей высокой осокой и белоголовой пушицей, перегруженный вертолет МИ-8, я сразу узнала в нем мою дрозофилу: тяжелые рюкзаки завертелись, как мячики, и раскатились, кусты вздрогнули и затрещали, трава кругом полегла и меня качнуло, как при землетрясении. Вертолет хотел, по-моему, сорвать с нашего болотца всю шкуру и прихватить еще торфу из глубины. Но не смог. Подпрыгнул. Еще раз подпрыгнул. Оторвался от земли и косо, будто раздумывая — не нырнуть ли, пошел низко-низко над рекой. Я даже порадовалась, что меня в этот МИ-8 не взяли, так ему было тяжело, еще бы какие-нибудь двести граммов халвы и ему бы — хана. А без халвы, и тем более — без меня, он все-таки выдюжил: улетел.

И еще дрозофила похожа на птеродактиля. Но это, так сказать, дрозофила в предчувствии вымирания. У Машки, классе — вроде бы — в четвертом, был рисунок: девочка, птеродактиль и косые дома кругом, выполнено коричневым карандашом, очень тупым...

Про то — не рассказать ни ямбом, и ни дактилем, как девочка печальная, с зонтом, с ручным гуляла Птеродактилем. А он несчастен был. И одинок. Чего-то все хотел, но объяснить не мог. И мучился жестоко. И девочка была — так одинока. И так странна.

Там я нашла себе подружку, Ляльку Черпичину. Лялька была в голубом капоре, в потертой беличьей шубке, и круглые глаза ее ярко светились в темноте. Мы гасили свет во всем доме (для чего пришлось научиться вывинчивать пробки), но Лялькины глаза все равно светились и блистали. На ее глаза можно было выходить в полном мраке, как на костер. Мы выбирали самое темное место на улице (для чего приходилось расколотить пару лампочек в фонарях), но безудержный свет Лялькиных глаз прошибал любую черноту. До сих пор, не знаю, что это у нее за свойство, но оно и сейчас полностью сохранилось, проверяем при каждой встрече.

Лялька и сейчас живет в Пензе. Встречи наши выглядят приблизительно так. Раздается бешеный звонок в дверь, я спешно открываю, думая, что — пожар, весь дом давно сгорел, а я, как обычно, зазевалась, и тут мне на шею с бешеными рыданьями бросается крупная женщина,— которую можно бы именовать даже «дама», как у нас в очередях любят выразиться, если не назовут как-нибудь иначе, и если бы это была не Лялька,— в янтарях. Лялька их любит и они навешаны у нее повсюду. Естественно, ведь янтарь, по древним поверьям,— слезы погибших от любви. Лялька, правда, от любви не погибнет, ее любят все, кто ей нужен, и даже те, кто не нужен ей совершенно. Она красивая. Но вот слезы — это определенно по ее части, и поскольку все у Ляльки бывает только в степени превосходной, то — рыдания. Она бросается мне на шею с воем и ужасно кричит красивым голосом, что я выгляжу — кошмар, она выглядит — кошмар, уже думала — никогда больше на этом свете меня не увидит.

Это значит: Лялька, слава богу, в полном порядке, дети, муж, престарелые родители тоже пока здоровы, я — еще не настолько изменилась под бременем жизни, чтоб меня не узнать, столкнувшись со мною нос к носу в моей же квартире. Лялька прилетела в командировку, опять — не предупредив, все равно считала, что я где-нибудь на Камчатке, в своем музыкальном училище она по-прежнему счастлива, у нее появилась гениальная ученица (они, кстати, каждый год появляются у Ляльки, не знаю, куда потом деваются), которая послезавтра затмит Рихтера, Стравинского, Мравинского, Добужинского, а она, Лялька, мечтает сходить только со мной в кафе «Север» (это воспоминания юности, когда «Север» был еще не вокзал, а интим) и посидеть вдвоем просто так. Тут же, прямо в дубленке (о, где ты, кроткая беличья шубка!), Лялька несется к пианино, которое стоит у нас зря и, видимо, олицетворяет

собою мою скрытую тоску по «приличному» дому, где все поют хором и музицируют, а Макс Планк играет хозяйке на дудочке, и немедленно исполняет, что позавчера придумала ее ученица.

Лялькино педагогическое бахвальство неудержимо. Я только не понимаю, почему она сама не пишет эту музыку, а все спихивает на своих гениальных учеников. Это уже какое-то педагогическое иждивенчество! Если бы у меня была такая безудержная фантазия, как у моей подружки Ляльки Черничиной, я бы шутя отмахивала пару симфоний за ночь и два-три скерцо к полднику.

Впервые мы с Лялькой столкнулись в жизни вечером за нашим сараем возле березовой поленицы, которую мы с папой только что аккуратно выложили. Глаза Ляльки блестели, как два растревоженных неосторожной кочергой угля. Она сидела, привалясь к нашей поленице, в потертой беличьей шубке, голубом капоре и в сандалиях. Был август, в районе обеда кабазовский поросенок получил солнечный удар и теперь не годился даже на свиную поджарку. «Дрова развалишь»,— нелюбезно сказала я. Но Лялька не обиделась. «Мне больше некуда идти»,— кротко объяснила она. «Иди домой»,— нелюбезно посоветовала я. «У меня больше нету дома»,— кротко сообщила Лялька. «Как это?» — я слегка удивилась. «Поклянись, что никому не протреплешься!» — вдруг пылко сказала Лялька и удивительные ее глаза жгуче взблеснули. «Чем?» Я неравнодушна к клятвам, что-то в них есть. «Здоровьем своих детей!» — пылко сказала Лялька. Я отказалась в грубой форме, но глупость ее запросов меня поразила. Отказ мой Ляльку не оттолкнул. «Тогда — самым святым!» — быстро нашла она широкий компромисс. Я понятия не имела, что для меня сейчас самое святое. Велосипед — как у Броника Бречко? Но святое ли это? «Клянусь»,— сказала я. Тут Лялька впервые на моих глазах зарыдала своим знаменитым рыданием — взахлеб, в голос, с крупными слезами и чистым отчаянием. «У меня никого на всем свете нету»,— сообщила она посреди рыданий.

«Ты — сирота?» — уточнила я, дрогнув, это страшное слово я знала только по книжкам. Лялька отчаянно закивала. У нее есть, конечно, отец и мать, так кругом все думают, но они ей — никто, это чужие люди, они — неродные. Лялька давно подозревала, но сегодня она убедилась. Ее настоящие родители были пограничники и погибли на заставе, а эти — взяли Ляльку из жалости. Сегодня они ее предали, ужасно — предали, она не может об этом даже мне рассказать, это в ней умрет. Их жалость Ляльке теперь не нужна, она все равно ушла из этого дома навсегда, она ушла голая, взяла только шубку и капор, потому что впереди зима, а самое страшное, что они предали Пал-Палыча, он не мог с ней уйти, она больше уже никогда его не увидит, эти люди его уморят. «А почему он не мог?» — «Я его не нашла...» Тут рыдания окончательно перехватили ей горло, даже я поняла, что нельзя больше спрашивать.

«Пойдем к нам»,— сказала я. «Ты же поклялась!» — блеснула глазами Лялька. Я не забыла, вовсе не собираюсь ее выдавать, но мои родители — мне родные, скажем, что надо переночевать, ну, например, все у Ляльки уехали в Пензу на базар и почему-то не вернулись, а одной страшно ночевать, врать мы не будем. Лялька согласилась, что если — не выдавать и тем более — не врать, то она согласна, потому что уже темно.

Мои наивные родители сразу поверили, постелили Ляльке у меня в комнате и стали ее кормить. Лялька ела — как человек, веками скитавшийся без пищи и отчего крова по пустой вселенной. Мама, обычно неудовлетворенная моим аппетитом, взирала на жующую Ляльку с таким восторгом, что я даже подумала — как бы она меня на нее не променяла. Но Лялькина судьба была столь драматична, что во мне сейчас не было ревности.

Тут к нам в квартиру вдруг ворвалась Черничина-старшая. Лялькина мама была похожа на Ляльку, как большой муравей — на муравьеныша, отличить можно только по размерам. Черничина-старшая ярко блестела круглыми, Лялькиными, глазами, этот блеск затуманился и сразу омылся крупными слезами любви, она всплеснула руками по-лялькиному и закричала красивым Лялькиным голосом: «Доча, ты здесь?! Мне Кабазовы сказали! Ты же простудишься в шубке в такую жару!» — «Не простужусь,— бесстрастно ответствовала Лялька, неутомимо жуя.— Я потею и сразу сохну, зря беспокоишься».— «Самое страшное в такую жару — вспотеть! — закричала Черничина-старшая.— Лялюша, вернись домой! Папа страшно переживает. Я непарочно стерла! Скажи, доча, ты меня когда-нибудь простишь?» — «Никогда не прощу»,— пообещала Лялька с набитым ртом. Наивные мои родители ошалело внимали этой феерии человеческих отношений, пронизанной недоступными им страстями. «Но я же просто стенку хотела протереть! — страдальчески закричала Черничина-старшая.— Папа опять все нарисовал, как у тебя было!» — «Врешь»,— сказала Лялька, но что-то в ней дрогнуло. «Клянусь всем святым! Пал-Палыч уже выходил, я сама видела!» Лялька бросила надкусанный бутерброд и спрыгнула с дивана: «Так бы сразу и говорила». Она так заторопилась, что даже забыла проститься со мной.

Утром я сразу побежала к Ляльке. Она была одна, уминала за столом гречневую кашу. «Ты с кашей разговариваешь?» — вдруг спросила. Но ответа не выслушала, Лялька вообще редко дает — себе ответить. Загребла с тарелки последнюю ложку каши и отправила себе в рот: «Ее уже нет!». Тарелку бросила в раковину, пригрозив вослед: «Гляди, не разбейся!» Тарелка слабенько звякнула. «Я по тебе соскучилась,— объявила Лялька запальчиво, будто я изо всех сил отбивалась.— Ты теперь мне подружка до самой-самой смерти. Сейчас тебя с Пал-Палычем познакомлю».

Она подбежала к печке и застучала согнутым пальцем по железной заслонке. «Пал-Палыч, выйдите, пожалуйста. Я вас хочу познакомить со своей подругой»,— вежливо доложилась кому-то Лялька. Я и не подозревала за ней такой вкрадчиво-уважительной вежливости. Но ниоткуда никто не появился. Впрочем, я и понятия не имела — откуда ждать, дверь в соседнюю комнату была плотно прикрыта, на входную — Лялька и не взглянула, окно — вроде бы — не годилось, поскольку второй этаж без балкона, а в печной трубе мог бы сидеть трубочист, но навряд ли. Рядом с печкой на белой стене синими чернилами крупно были намалеваны какие-то квадраты, то ли решетка. «Занят,— шепотом сообщила мне Лялька.— Или не услышал». Она постучала погромче и проорала очень вежливым голосом: «Пал-Палыч, это я вызываю, Алевтина. Я хочу вас, пожалуйста, познакомить со своей подругой». Тут я, видимо, слегка отвлеклась. Потому что сразу услышала толстое, безо всякой уж вежливости, Лялькино шипение: «Ну, куда ты уставилась? Он вышел, гляди!»

Повинуясь указующему ее персту, я теперь увидела, что на белую стену откуда-то из-за печки вылез крупный паук. У паука было бронзовое тело спортсмена и бессчетное множество тренированных ног, некоторыми он, по-моему, чесал себе за ухом. «Пал-Палыч,— льстиво сказала Лялька,— вот это моя подружка до самой-самой смерти, пожалуйста. Ее Райка зовут». Паук перестал чесаться, оторвал пару других ног от стенки и небрежно качнул ими в воздухе. «Видишь? — пропела Лялька ликующе.— Он с тобой поздоровался. Значит, ты ему понравилась!» Паук вальяжно пересек чернильные квадраты на белой стене — теперь-то я поняла, что это — паутина, из-за которой и разыгралась накануне драма в дому,— набрал хорошую спортивную скорость и скрылся в узкой щели между печкой и потолком. «Пал-Палыч к тебе еще не привык,— объяснила Лялька.— От меня он никогда не уходит...»

По сути своей Лялька с годами не изменилась. Я вообще верю, что, понаблюдав за маленьким человеком, который копается щепкой в песочнице, можно многое достаточно точно рассказать о его будущей взрослой жизни. Когда Лялька у меня в Ленинграде моет посуду, то попрекает кружку, что кружка мало заботится о себе и повредила такую хорошенькую, почти узорную ручку, или собачью кастрюлю, что та — так себя запустила, у нее же скоро все дно проест ржа. Про всякий новый предмет в дому Лялька заинтересованно спрашивает: «А как вы его называете?» Имея в виду не функциональное предназначение, а исключительно — имя собственное. Поскольку мы с Машкой тоже органически неспособны окружать себя безымянными предметами, то легко и достойно удовлетворяем Лялькину любознательность. По-моему, Лялькина полноправная близость с моей дочерью, которая со многими моими друзьями держится как бездетный, то есть дополнительно остервенелый, кактус, на этом и зиждется. Машка-то определяет однозначно: «В Але

занудства нет», она зовет Ляльку «Аля», чтобы, как всегда, четко отмежеваться от остальных.

Как-то вернувшись в дом ввечеру, я была удивлена встретившей меня тишиной, будто никого нет в квартире: Айша не лаяла, телевизор не орал, Машки с Лялькой не слышно. Никто из них троих меня сперва даже и не заметил. В большой, дальней, комнате Машка и Лялька сидели на полу, у противоположных стен, а между ними, с азартным, молодым скрипом, бегал складной сервировочный столик, недавно подаренный в дом, который они буйно, молча и метко гоняли друг другу по прямой через всю комнату. Айша взирала на это с оцепенелой завистью и только ворочала за Пьером лобастой башкой. Этот столик сразу получил у нас имя «Пьер Колесников». Колесников, ясное дело, потому что — на колесиках. А Пьер — ну, во-первых, у Машки с языка не слезал Пьер Безухов, она впервые нюхнула «Войну и мир», мир — в основном, как всегда с девчонками, а главное — что в самом этом слове — «Пьер» — нам с Машкой одинаково слышится резкий щелчок, как бы мгновенная и четкая створка чего-то с чем-то, а ведь столик этот — складной.

«И давно катаете?» — рискнула я, наконец, заявить о себе. Пьер так же четко пересек комнату, и Лялька, закусив губу от усердия, метко послала его обратно. Айша опомнилась первой. Вспомнила вдруг, что она сторожевая собака, рявкнула. Тут же сообразила, что я асе-таки отчасти хозяйка, взвизгнула и бросилась мне на грудь, отчего я шатнулась, задела проигрыватель, с проигрывателя слетела пластинка и разбилась со звоном об пол. Тут Машка подала голос: «Кто это нам мешает?». А Лялька подняла ко мне румяное от азарта лицо с круглыми блестящими глазами и спросила: «Не знаешь случайно — сколько времени?» Я знала, часы висели в аккурат над Лялькиной головой. «Ой,— закричала Лялька,— я же в консерваторию опоздаю!»

Всякий свой приезд, кроме радости общения, Лялька одаривает меня — в качестве, видимо, зримой вехи — здоровенным куском возлюбленного своего янтаря, будто только что отколотого ледорубом от янтарной скалы — так медвян он и свеж. Мне янтарь не нужен. Мне, чтоб Лялька знала, нужно дарить гранат.

С тех пор, как я прочитала (никогда не нужно ничего такого читать, это первая заповедь нормальной жизни, но так недосягаемо сложно следовать именно простым заповедям, это всем известно), что кристалл граната есть теневая проекция четырехмерного мира (я беру именно пространство, а не пространственно-временной континуум, где, само собой, четыре измерения, включая время), единственно зримо доступный для нас, трехмерных, оттуда знак, я слегка рехнулась. На кристалл граната часами могу глазеть, ложиться перед ним на пол и свисать над ним сверху, вертеть его перед зеркалом и буравить глазом на свет, лизать его языком, держать его в стакане с водой или катать, насухо обтерев, в ладонях. Никакого четырехмерного мира я по теневой этой проекции представить себе не могу. Но намек важен! Намек всегда сильнее, чем объяснение, как хорошая загадка — глубже своей разгадки. Созерцая кристалл граната, я ощущаю близкое дуновение медитационного транса и начинаю себя сильнее уважать, ибо сроду не ждала от себя способностей к медитации, даже столь популярный сейчас аутотренинг считала для себя недоступным. Но разве знаешь свои возможности?

Оно конечно: может, наше пространство вообще имеет одиннадцать измерений, кто ж его знает, это даже вполне вероятно, как полагает все та же современная физика. Но одиннадцать меня, лично, почему-то волнуют меньше, чем четыре. Даже догадываюсь — почему. Меня, как человека с запросами скромными, живущего ближними целями и не умеющего охватить проблему в ее глобале, волнуют задачки попроще (Он же учит во всех своих классах, от десятого по четвертый, что сперва нужно брать задачу попроще, чтоб, овладев ею, уже замахиваться на большее, а не кидаться сразу на одиннадцать измерений и самого же себя не пугать, коли не справишься. Нужно же соразмерять свои силы, учит Он). Четвертое измерение,— при наличии трех, надоедливо и привычно обжитых (Я считаю: ими мы овладели),— кажется мне посильной задачей, с которой мой трепетный разум в состоянии справиться. Тут требуется малюсенький только скачок: три — четыре, как в песенке про зарядку...

Почти так же неизбывно, как кристалл граната (И все по той же, повидимому, причине: попроще, рядом лежит), меня волнует идея параллельного мира. Параллельный мир идет с нами рядом, дышло в дышло, ноздря в ноздрю, может — в каком-нибудь сантиметре от моего носа, от вашего. Он отделен лишь энергетическим барьером, который мы пока не прорвали. В параллельном и сладостном мире, по слухам, царят суперскорости, сверх-сверхсветовые. Там черепаха несется быстрее фотона, а об Ахиллесе — страшно даже подумать. Вот бы порадовался Зенон, навеки вонзивший в наше сознание эту парочку! Его знаменитая апория обрела бы в том мире динамичность, достойную своего философского содержания. А наши космические корабли, прорвавшись в тот параллельный мир, домчали бы нас до какой-нибудь Альфа-Центавры скорее, чем ИЛ-62 от Москвы до Звенигорода, пока же эти несчастные четыре световых года, отделяющие нас от Альфа-Центавры, надо трястись неведомо, лень даже считать, сколько лет. Мне, правда, на Альфа-Центавре ничего не нужно, что я там забыла. Но душа обмирает от всесилия и всевозможностей, которые распахнутся перед человечеством.

Для меня в параллельном мире нет личной корысти (лично мне, повторяю, хватает и наших скоростей, я больше всего люблю грузовик, чтобы стоять в кузове, подпрыгивать на ухабах и ветер бьет в лицо), но я о нем часто думаю. Мне сдается, что при тамошних скоростях, как бы безмерен и бесконечен этот параллельный мир ни был, им (неизвестно — кому, но кому-то) там давным-давно уж, наверно, тесно, все уж, поди, излазили-излетали. Даже если мы все-таки не сумеем в ближайшее время одолеть разделяющий наши миры барьер, то они (неизвестно — кто, но ведь кто-то же), по-моему, сами его пробьют, чтоб поглядеть, как — у нас. Это может случиться в любой момент. Энергетический барьер — очень тонкая стенка. Зачем ему быть толстым? Энергия не нуждается в крупных габаритах, это не поезд, чтоб — пыхтя — втискиваться в тоннель где-нибудь под Альпами. Энергия всесильна и экономна.

Мой дом, к сожалению, старый, гвоздь надо забивать кайлом, годами не слышишь посторонних звуков от братьев по разуму и по лестничной клетке. Но есть же и современные дома! В них, полетных и блочных, проткнуть энергетический барьер, естественно, легче: там стенки тоньше, где тонко — там и рвется, учит народная мудрость. Так что если вдруг среди ночи вы в своей малогабаритной квартире услышите настойчивый и неуемный стук в стену, не спешите грешить на соседей и колотить в ответ шваброй в потолок. Очень может быть, что это — вежливый знак из параллельного мира (где суперскоростям, конечно, соответствует супервежливость, которая мешает войти, не постучавшись) и своим неэтичным поведением вы этот мир оттолкнете, чем задержите прогресс на века, прогресс нежен, сбить его с толку ничего не стоит...

Вздрогну, словно каменка-плясунья, пораженная ударом в сердце, что бывает с ней при каждом вскрике, с каждым вскриком каменка-плясунья словно на дуэли умирает, а сама жива и весела. Вскрикну, словно каменка-плясунья, дернусь и умру сейчас взаправду. Все небось ужасно удивятся. и никто не будет знать причину.

Если сейчас и помру, то исключительно от стихийного удовольствия. Вдруг начисто пропало корпускулярно-телесное ощущение себя. Я теперь только «волновой пакет» Шредингера, волны-Я расходятся от меня же (значит я, каким-то образом, все-таки в центре себя же?) бесконтрольно, легко и гибко, запаздывающие Я-волны (это Я-круги, которые разбегаются по глади пруда-мира от плюхнувшего туда Я-камня), опережающие Я-волны (я все так же плюхнулась в пруд, но от меня даже ряби нет, а от берегов почему-то бегут ко мне сходящиеся в меня, как в точку Я-волны, никто такого пока не видел, но теория это допускает, а я сейчас шире всякой теории, не говоря уж о практике, что всегда есть лишь частный случай), гармоничные Я-волны, и смазанные, и любые-другие. Каждая волна-Я сейчас образ, он как бы взбит на моем же волновом загривке крутящейся пеной, мне всевластно и весело на себе-волне, пусть несет меня неостановимо. Только образ для меня информа-

ция (которую тоже еще неизвестно — как и определить: новизну? некий сдвиг красок, звуков, идей, отношений, времени?) и только потом, когда я устану нестись (понятия не имею — когда, сейчас может?), я все это как-то объединю и чего-нибудь пойму.

Так бывает, когда врежешься в новую для себя отрасль знаний, нырнешь в нее, как в бездонный колодец, и поразишься вдруг ее таинственной глубиной и затягивающей тебя все глубже, словно всасывающей тебя, ее силе. Так бывает, если запечатанная семью печатями до того, новая для тебя, наука вдруг на миг, на самую крошечную свою крошечку, приоткрылась тебе, чтобы снова, может, недоступно замкнуться навеки. А ты уже отравился, уже все равно пропал, никогда себе не простишь, что не сделал именно ее делом своей жизни, не почуял раньше, может — мимо своего счастья прошел. И не утешает, что ведь — не разорваться, что жизнь — одна и что ты — один. И в поездках так часто бывает, когда заглатываешь впечатления, не успевая осмыслить их, а наслаждение непонятным острее и ярче логического понимания, словно горячий ветер неведомого обжигает душу и память трещит, как такыр в жару, ничего уже не вмещает, не можешь больше слышать-видеть-чувствовать-воспринимать, а, как выясняется много позже, иногда — через годы, все запоминаешь в наиподробных подробностях, навеки и чуть ли не генами. Так бывает, когда прорвет белый лист, будь неладен он и благословенен.

Какой прелестный кирпич подобрала я мимоходом на махровой тропе штампов: «горячий ветер неведомого», наше — нам с кисточкой. Поражает дисгармоничной свежестью так же «отрасль знаний», но тут уж не знаешь, как вывернуться, чтобы без этого.

Когда работаешь, время летит быстрее, ибо внутри себя живешь на релятивистских уже скоростях. Стоп. Тут у меня вроде противоречие с Эйнштейном, поскольку с приближением к скорости света время, наоборот, замедляется. Однако противоречие это кажущееся. Поскольку стремительно летит лишь твое субъективное время, а то, обычное, что волнует сейчас других и связано с побочными для тебя сейчас факторами и фактами, просто перестает существовать, оно засахаривается, как мед, застывает и уже не имеет власти коснуться тебя ничем. Из длинной работы выходишь поэтому моложе того, кто все это время сидел без дела и тихо вкушал радости жизни. Так, по-моему, реализуется известный парадокс близнецов в рассматриваемом конкретном случае: бездельник стареет быстрее.

Утопаю в терминах умственных наук, словно в римских термах крошечный паук. Зачем же насекомое полезло в неведóмое?..

Слову как таковому исконно присущ дебройлевский дуализм: частица-волна. Как частица слово являет себя в самом распространенном и до оскомины обычном значении. Нам-то это значение необходимо, куда мы без него, но бедняга-слово тут как бы клочок изначально вольной земли, сбитый расхожими ногами до плотности асфальта. Кажется, ему самому уже невыносимо значить, и значить, и значить одно и то же. Когда в разговоре мелькают только слова-частицы, хочется удавиться от серой скуки. Но, слава Аллаху, слово еще и волна, а волну не удержишь. Волновая природа слова пробивается малейшим сдвигом смысла, синонимом, сравнением, метафорой, простой инверсией и общим дыханием контекста. Волновое поле вероятностных смыслов любого слова неисчерпаемо и безбрежно, слово — это пространство. А попробуй-ка овладеть пространством! Чтобы овладеть даже одним-единственным словом,— любым,— требуется весь твой жизненный опыт, весь культурно-эмоциональный багаж, только тогда ты сможешь свободно купаться в волнах его смыслов, плавать в этой бездонности кролем, брассом, по-лягушачьи и лежать на спине, считая звезды, только тогда можно выразить мысль максимально эквивалентно мысли, остановить словом миг, накинуть лассо на чувство и бережно вытянуть это чувство из глубины себя, чтоб другие его ощутили...

Суровая сова сидела, сиротливо скрючась, средь сучьев, средь сухих, сомкнýтых сокровенно, сиротской стайкой стлались сквозь светлые сплетенья синевы сухие соловьи, среди сугробов сиреневое склевывая семя сурепки, сонные слоны стояли, сунув хоботы подмышку, согреваясь своим же собственным теплом, сверкали солнцем синие стволы столетних сосен, чепчик сатаны светился странным сумеречным светом, свечи слабо ýказывали зыбкую дорогу куда-то вдаль... Что это было? Смутное сознанье сжимающегося судорогой сердца иль суета сует сегодняшней секунды, мгновенный и бессмысленный мираж каких-то букв, стечений и созвучий, сближающий нас почему-то с вечным, а может, даже с Вечностью самой, и именуемый бездарно — подсознаньем?..

Это мой отдых, отдых — это свобода, а свобода для меня — Слово. Слово же — власть. По чести, совершив государственный переворот, я первым делом брала бы Слово, а не телеграф или какую-то там Бастилию.

Живой текст отличается от текста мертвого только одним — в живом с тобой не играют в поддавки, поэтому любое следующее слово — сиюминутно рождено, а не подставлено готовым, любой сдвиг души или поворот сюжета — рождается на глазах, а не прикладывается готовеньким. В общем-то двух-трех фраз в книжке вполне достаточно, чтоб ощутить — есть ли тут живая пульсация, как тронуть лежащего в траве навзничь, к примеру, за руку, чтобы понять, что он — жив. А дальше ты как читатель волен — можно питаться и мертвечиной, она имеет свой пикант и своих потребителей, проще она в — восприятии, сил твоих не требует, а всякая живая плоть — текст в том числе — обязательно чего-то от тебя требует, с живым всегда непросто...

Но все-таки совершенное в своих возможностях Слово благожелательно и благосклонно к нам, несовершенным. Иначе как бы мы одолели сквалыжный подъем на Камышовый перевал, что ведет к Александровску-на-Сахалине? Мы были на всем свете одни в кабине; я и шофер. Шофер был молод и остроумен, у него были разноцветные глаза, один — серый, другой — синий, два веселых гуся. Я тоже была еще ничего себе, в силе, к тому же — мне всегда симпатична ассиметрия и разные глаза шофера мне нравились. Наш ГАЗ-69 был только что из ремонта и потому — шустер, он жизнерадостно ревел на серпантине. Кругом лежала зима, вихрился снег, не за что зацепиться взглядом. Но сперва мы с шофером никак не могли найти общего языка, а без языка коллектива нет. У нас с разноглазым шофером была несовместимая лексика, разные орфография, пунктуация и вообще жизненный опыт. Мы все понимали друг в друге враскаряку и в разнотык. Другой бы давно отчаялся. Но мы оба — оптимисты и неутомимо искали путей сближения.

В интуитивных своих исканиях мы набрели, наконец, на прекрасное слово «богодул». Это эндемик, водится, насколько я могу судить, только на Сахалине. Как частица (в строго закрепленном для всех значении) я не слыхала, чтобы это слово являло себя, но волновая его функция чрезвычайно широка и богата. Оно может означать что угодно, вот в чем чарующая прелесть этого эндемика. Как только мы его обрели (то есть вдруг выяснили, что оба мы на этот знак реагируем насладительно и глубоко), мы стали в кабине счастливы. Наш смех перекрывал теперь рев мотора и скрежет снегов. Уже через полчаса я знала все о разноглазом и веселом шофере. Он был славный парень. Я узнала, что после армии он сперва богодулил с золотоискателями, но это богодульство ему надоело, к тому же — привязалась к нему одна пожилая богодулка, она была геолог, он едва от нее отбогодулился. Но богодулить где-то же надо, иначе как жить? Уважающий себя богодул должен себя кормить, не к родителям же прибогодуливаться! Он пошел в одну вполне богодульную стройконтору. Но он на одном месте не может, едва выдержал одно лето. Это не богодульство! Тут как раз подвернулся знакомый богодул и устроил его на курсы шоферов. В автохозяйстве ему нравится. Начальник — очень приличный богодул, сам богодулит и другим подбогодулить дает. Познакомился с симпатичной такой богодулочкой и женился, богодульчику их уже три года.

Про меня он тоже спросил, чем же я занята, если шляюсь тут в такую богодульскую пору, когда медведь дохнет. Я сказала, что богодулю помаленьку. Он засмеялся. И сказал, что уважающему себя богодулу только это и надо, чтоб не мешали богодульничать от души, остальное приложится, какие наши годы. После этого, на полном и абсолютном уже взаимопонимании, мы окончательно забуксовали и, понося дружными словами наш ГАЗ-69, вылезли из кабины во тьму и муть, чтобы полить подъем соляркой. И вполне богодульно, по своей же солярке, этот подъем постепенно одолели и совсем уже в богодульном настроении скатились с него к городу Александровску-на-Сахалине, где есть маяк Жонклер и много чего другого, что любопытно для любознательного богодула...

Так что можно друг друга понимать, хоть порой и трудно. Один мой дружок (А у меня, как вы уже заметили сами, нет дружков только на Альфа-Центавре) все время, правда, заклинает меня помолчать. Он уверен, что только когда я молчу, он меня хоть как-то понимает. Он считает, что слова вообще ничего не выражают, а что выражают — то всегда не то. Он актер. «Но ведь ты произносишь слова на сцене!» — говорю я. Он сердится: «Я же не свои произношу!». Если бы ему дали волю, он бы в театре держал паузу часа на три с двумя антрактами, вот тогда, полагает он, зрители хоть что-то для себя выносили бы. «А зачем ты тогда работаешь?» — удивляюсь я. Но он снова сердится: «Просто не знаю, что и отвечать на твои простодушные вопросы. Работаю, потому что это моя работа». Сам недавно звание получил, между прочим.

«А что же у тебя для души?» Я глупа, меня так просто не остановишь. «Это я вообще не понимаю. Что такое — душа? За душой? Для души? Наверное — ничего». Все отчаянно врет. Мы с ним в свое время всего Шекспира вслух прочитали, я его знаю. Но теперь, он считает, что созрел для тотального молчания и гармоничного одиночества. У него третья жена, но он забыл, как ее зовут, не все ли равно, что за странное у меня любопытство. У него киносъемки, но он требует, чтобы я даже не спрашивала, что это за съемки, потому что — не то. «А зачем ты мне про них тогда сообщил?» — удивляюсь я. Он это бессмысленно сообщил, как все, что он сообщает, рефлекторно, слова — это рвота его души, но даже блевать (я, между прочим, таких слов не люблю, он это знает) он может только словами, вот в чем ужас, слова коварны и многолики, они принимают те лики, которые мы хотим, они за нас лгут, нам удобнее, чтобы они лгали, у нас слишком много слов, мы их развратили и избаловали, суем их куда попало вместо чувств и мыслей, он давно уже не видел ни одной мысли — только потоки слов, только словоблудие, у нас попугаи научились болтать, как Цицерон, а человек разучился думать, если бы он, он о себе — конкретно, мог раз и навсегда разделаться со словами, он бы, наконец, отдохнул и подумал о смысле жизни. «И в чем же он?» — осторожно вставила я, разве удержишься. « А что это вообще такое — „смысл жизни?" — вызверился он, будто это я первая брякнула.— Для тебя, наверное, в сло́ве». Я думала, он хотел меня унизить. Я бы все равно не унизилась, но он, оказывается, и не хотел, он уже летел дальше: «А для меня, видимо, в глухом одиночестве...» — «А зачем ты сюда приходишь?» — мне просто слегка поднадоело. «Откуда я знаю? Прихожу!»

Я-то знаю, что он приходит исключительно — поговорить. Я-то знаю, что он пронзительно чувствует именно слово, только его, может, и любит, только им дышит и потому его конфликт с самим собой — через слово и слово всегда виновато. Это трагедия, когда — не с человеком, не с мужчиной, не с женщиной. С женщиной он бы разошелся, а как разойтись со словом? Надо бы поглядеть, что он там играет, в своем театре, если так доигрался. «Ну, чего молчишь?» Теперь — зачем я молчу! И вовсе не обязательно гневно дергать при этом подбородком. Он редко когда играл в своей жизни положительных героев. Может, его отрицательные истомили? «Ты — типажный злодей»,— говорю я нежно. И он, как дитя, сразу поддается на интонацию: «Какой я злодей? Я зайчик...». Мы оба смеемся, мы оба устали от накала его страстей и мы же, черт возьми, понимаем друг друга, иначе бы он не приходил.

Еще забавнее мы общаемся между собой с другим моим дружком, он художник. Мы с ним разбегаемся друг к другу с таких далеких краев, что, кажется, нам сроду не соединиться. С его стороны идет сплошная восточная философия, где я ровным счетом ничего не знаю, а может, и он не знает, но ему она нравится и он ее чувствует. С моей же стороны — синхронно и спонтанно — идет поток ассоциаций, берущий безумное начало исключительно из физики, где он ничего не знает и я, естественно, ничего не знаю, но почему-то только через физику чувствую все остальное. Мы оба сладостно купаемся в терминах, они ж там — всегда метафора, причем я не понимаю ни одного его термина, а он — моего. Кажется сбоку, что мы вообще говорим на разных языках. Меж тем — мы-то оба знаем, о чем говорим, и не теряем стержня ни на мгновенье, мы уточняем друг друга, подвергаем сомнению, отбиваемся от возражений, ищем убедительные для обоих доказательства, радуемся свежей мысли и топчемся на ней, чтоб взаимно ее обжить. Идет, ведомое пока лишь нам, стремительное сближение, которое ощущаешь почти физически — как повышение температуры в системе до оптимальной. Наконец, это сближение пробивается наружу какой-нибудь общепонятной фразой. Ну, он вдруг говорит, предположим: «Кажный человек — это целый мир». Ему нравится сказать: «кажный», года два я собиралась его поправить, но теперь уже знаю, что не поправлю никогда. Ибо, поправив, я потеряю нечто, чему названия нет. Это — личное его слово и в его устах «кажный» — это не какой-нибудь заурядный «каждый», а нечто шире, проникновеннее и глубже.

«Кажный человек — это целый мир»,— говорит он. И мы замолкаем от значительности этого незатейливого высказывания, понятного даже иноверцам, ибо для нас оно — знак причастности, это не штамп, у него штампов нет, просто то, что он имеет в виду и что чувствую при этом я, пронзительнее и больше сказанного, он — мир и я — мир, мы сидим рядом на кухне, нас разделяет только стол и он же соединяет, но мы, миры, понимаем друг друга вне слов и посредством оных — что может быть насладительнее и огромней? Он называет это «дзен», я называю это «квантовая механика», частенько мы называем это «геометрией», оба мы всегда имеем в виду одно — душу. Оба мы хотим, чтобы мы как-то слились с этим миром и через нас он, хоть краешком, вылез наружу, но уже измененный лично нами и сохранивший свою первозданность благодаря нам. Он ищет сочетания красок, формы, я ищу слова, тоже форму, смысл мы знаем — он в любви и добре, ибо только они крутят нашу усталую землю.

Еще мы часами можем сидеть и рассуждать, к примеру, о черном цвете — цвет ли он предела, или земли как родящей, или он прорыв пространства, или он полнота и где и почему он — печаль. «Единственное что нужно — это уметь смотреть»,— говорит он. Ну, думать, ну, слушать, ну, чувствовать, ну, делать, ну, не лениться жить, в нашем деле жизнь вся целиком идет в «кажное» дело, без этого никак,— лениво прибавляю я про себя. И эта моя вальяжная, расслабляющая сейчас лень рождена избыточностью взаимопонимания. Я же отлично знаю, что он именно это и все, что мне сейчас еще придет в ум или что я забуду сейчас вспомнить, и имеет в виду, только объемлет это единственным словом — «смотреть». Иногда я думаю, что он и говорит-то лучше меня — оставляет больше места воображению, не ищет синонимов, не нуждается в сравнениях, спокойно пренебрегает метафорой, не разъясняет смысла, он умеет надолго замолкать посреди слова и заставляет недосказанное слово тревожно и непредсказуемо дрожать в наступившей и все углубляющейся тишине...

Он навсегда на полчаса зашел, меж нами навсегда старинный стол, стол навсегда накрыт клеенкой синей, и навсегда собачий вздох — как стон, и тишина стеклянная — как сон, и в сигаретах оплывает инеей, и в желтой чашке остывает чай, заваренный спеша и неумело, Он никогда не скажет мне «прощай» и никогда руки Он не подымет. И с этим ничего нельзя поделать, поскольку есть навечный приговор. Хотела б я взглянуть в глаза Тому, кто просто так, от скуки, приговорил меня к Нему и ныне потирает руки.

Когда я изложила родителям про гущу жизни, перегонное судно и мой план прошвырнуться Северным морским путем в качестве буфетчицы и при-

слуги за все, они сперва все же, полагаю, обрадовались, что во мне объявилось, наконец, какое-то живое желание. Ведь главное в жизни — иметь желапия, так или около того сказал Зощенко, вернее — написал в «Чукоккале», там это есть. Когда умные люди шутят, они всегда говорят главное и всерьез, в остальное время они стесняются, что их не поймут, или заняты основной работой, или выслушивают чужие глупости.

Но этой радости моим родителям ненадолго хватило. Мама вдруг заплакала, видно, представила, как матросы-перегонщики дружно швыряют меня за борт вместе с кастрюлей омерзительного борща моего же изготовления, а меж льдин в ледяном океане уже восторженно подпрыгивают акулы. Мама же никогда не объяснит, отчего она плачет. А папа, заложив руки за спину, что всегда было знаком чрезвычайного напряжения мысли, молча начал шагать по комнате, пересекая ее точно по диагонали. Могу приблизительно представить себе пути его молчаливой мысли.

Он полагал, что университет лучше бы закончить, вдруг я когда-нибудь вздумаю стать, к примеру, членкором АН, а отсутствие законченного высшего образования вдруг да мне помешает. Переоценивая своих детей, родители вечно их недооценивают: мне бы не помешало, если б я вздумала, пока желания не было. Возможно, папа имел более фундаментальное, чем мое — тогда, представление о гуще жизни и ее внутренних законах, все же несколько лет он провел в детдоме и немало поездил после сессии ВАСХНИЛ. Кроме того, добровольно отпускать единственное дитя куда-то в море всегда страшновато, а тащиться вместе со мною папа не хотел и даже не мог, у него к этому моменту уже опять была в Ленинграде своя лаборатория и свои проблемы.

Вдруг папа резко остановился в своем диагональном хождении из угла в угол и сказал: «Ты бы, Раюша, хоть с братом посоветовалась...». Раньше он Валю Вайнкопфа так никогда не называл, я даже сперва не поняла, кого папа имеет в виду. Это был ход конем, плохо я все-таки знала своего папу. В тот же день я отправила Вале телеграмму на Камчатку, что мы скоро увидимся и каким образом это осуществится. Но увиделись мы гораздо раньше — через трое суток он был уже в Ленинграде. Братски беседуя со мной, Валя все называл своими словами, упирая, в основном, на то, что я — вообще идиотка, что он, как теперь окончательно убедился, уронил меня, видимо, чересчур, но, как он навсегда сожалеет,— не до смерти. У него было вдохновенное, овеянное морскими ветрами лицо, на скулах горел смуглый румянец, глаза блестели. Весь его вольный и негородской вид убеждал меня, что я решила исключительно правильно. В доводы его я не вникала, мне просто приятен был его голос, пронизанный морскими ветрами. Но все же я снизошла до объяснений, сказала ему, чтобы он не расстраивался, все, что он тут несет, очерняя светлую — перегонную — действительность, ко мне не относится, я себя знаю.

Тут Валя заорал. В голосе у него вдруг мелькнула резанувшая мои уши визгливость, которую трудно было связать напрямую с морскими ветрами. Я и не предполагала, что мой старший брат может так орать. Он орал, что у него ремонт главного двигателя, и вспомогательного — тоже, а судьба его наградила сестрой-идиоткой, что эти дни он вырвал зубами, двое суток просидел стоя в Хабаровском аэропорту и неведомо сколько просидит еще на обратном пути, а вместо себя он вынужден был оставить такого тюху, что этот тюха запорет к чертям весь ремонт, и, раз я такая идиотка, он пришлет мне из Петропавловска-на-Камчатке персональный вызов, коли уж мне приспичило погрузиться в пучины жизни, а сам лично присмотрит, как я буду тонуть, чтобы я ненароком не вынырнула из этих пучин обратно и ему не пришлось бы еще когда-нибудь иметь со мной дело, попутно он поминал недобром город Бахчисарай и пыльную дорогу возле турбазы, где имел глупость спросить у меня, который час, что было с его стороны полным идиотизмом, за который он, видимо, обречен расплачиваться всю оставшуюся жизнь.

Мой папа, сроду не повышавший голоса, внимал Вале с удивившим меня наслаждением. Наверное, думал в эти минуты, что вот как, оказывается, надо разговаривать с его дочерью и осознавал свою педагогическую никчемность. Когда Валя устал орать и даже смуглота его побледнела от утомления, я сказала, что он совершенно напрасно побеспокоился, лучше бы прикрутил за это время лишнюю гайку на своем главном двигателе, а я — например — завтра поутру пойду в пароходство оформляться...

Но разные дела меня задержали, трудно добывался Валин обратный билет, потом нужно было его проводить. Когда же я, наконец, явилась в пароходство и нашла веснушчатого капитана, то капитан, нахально и весело на меня таращась, вдруг заявил, что место у него уже занято и взять он меня, к крайнему его огорчению, никак не может. Я сказала, что, хоть мне очень обидно и он меня предал, но важна идея, и я согласна на другое судно, куда он посоветует. А капитан, все так же буйно и дружелюбно таращась, объявил, что у них в пароходстве нет для меня ни одного места ни на одном судне, в других пароходствах,— он подозревает,— тоже. И тут он мне дружески и нахально подмигнул двумя глазами сразу и громко захохотал так, что моложавая старушка, трепетно тащившая в клюве мимо нас сугубо секретный, по всей видимости, документ в бухгалтерию, дала свечку вверх, как молодая газель, и выронила свой секрет на пол. Мы с капитаном бросились поднимать, он — старушку, я — документ, это был график отпусков. Общее дело всегда сближает. Когда мы с капитаном все это доставили в бухгалтерию, старушку и документ, и, физически хорошо поработавшие, освеженные трудом, вывалились обратно в коридор, мы были уже как бы сродственники.

«Что же вы меня так надули!» — попрекнула я капитана уже без всякой обиды. «Так — надо, дружочек,— сказал он серьезно.— Придумай что-нибудь другое, ага?» И еще вдруг сказал: «Брат у тебя хороший, с таким братом жить можно». И пошел от меня, посвистывая, по длинному коридору пароходства. Только тут до меня дошло, что Валя, значит, хоть мы на минуту — вроде бы — не расставались, ловко меня обштопал. Но всамделешной горечи несостоявшегося рейса у меня внутри уже не было, вот что я с удивлением констатировала тогда в коридоре. Отбиваясь от ближних, я — значит — как бы уже в блестящих подробностях, до которых действительности не дотянуться вовек хоть в каких широтах, пережила наперед свое плавание Северным морским путем. Я его так красиво, бурно и изнутри достоверно уже для себя пережила, что незаметно для самой себя — словно бы уже изжила, подспудно внутри роились уже другие планы про ту же гущу. Это я знаю, никогда не нужно столь концентрированно к чему-то готовиться, реальное событие потом не выдерживает сравнения и меркнет, если вообще — не дохнет. В упорстве моем срабатывала уже скорее упрямая привычка всегда доводить до конца, коли — начал, и туповатое неумение отступать. Валя Вайнкопф дал мне в тот раз желанную даже возможность отступить с честью...

Вращайся медленно, Большое колесо, и вознеси меня над городом со скрипом, оттуда я увижу — влажный шпиль, весь в золоте, темнеющие липы, игрушечный автомобиль, оранжевый и важный, волну — блестящую, как стружка,— на Неве, и пробегающих вдоль улиц прототипов, с прическами на голове, ужасно занятых и в меру сытых, ужасно молодых и в меру битых, бежавших много лет и миль туда — где штиль. Вращайся медленно, Большое колесо, ты — просто карусель, ты — подневольное для всех, кто сел, а я взяла билеты, я с высоты твоей увижу все — что есть, что будет и чего вовеки нету...

Я уехала на Север в районную газету. Это был действительно умный шаг, я всю жизнь себя за него нахваливаю. Газета должна все равно выйти, хоть ты умри, а писать в нее некому, штатных сотрудников мало, у кого — дети болеют, а кто — в отпуске, всем же другим, кто заваливает центральные газеты своими мыслями, писать в районную газету неинтересно, непрестижно и даже как-то вроде не принято, хотя если в районной газете проскользнет производственная либо другая какая фактическая неточность, которая центральному органу сошла бы, как вода с гуся, то весь район потешается, пока не надоест, телефон в редакции звонит беспрерывно, словно все кругом вдруг среди июля перевыполнили годовой план и спешат доложиться, а все звонки подряд — наоборот — остроумны, метки и язвительны.

Районный газетчик вечером сидит на собрании допоздна, ночью пишет отчет с этого собрания, строк на триста, утром уже трусит своим ходом, ни

машины, ни ишака, само собой, нету, на дальний рудник, где должны сегодня пустить новую автоматическую линию, часиков эдак шесть там шутя пролазает, а ввечеру ему уже нужно создать проблемный очерк, чтоб утром сдать. И ничего, бодёр. Сдаст. Дело — знает. Соврать или с потолка придумать ему нельзя, в отличие, не в обиду будь сказано, от столичного собрата по цеху, которого тут больше никогда не увидят, потому что его герой — во плоти и во твердом разуме — завтра же утром, столкнувшись нос к носу с районным газетчиком возле единственного магазина или в клубе, тогда плюнет ему в лицо или вообще — отвернется. Кому охота? Я первое время с большой опаской выходила утром на улицу, мне все казалось — плюнут. Это чувство, как я на собственном опыте убедилась, чрезвычайно плодотворно, оно воспитывает в организме отвращение ко лжи и стимулирует вдумчивость.

В журналистской работе есть для меня всегда некий, заложенный как бы внутри профессии,— поизящней бы выразиться! — элемент невольного, что ли, предательства, потому что публично трогаешь живого человека и, как ты ни будь щепетилен да осторожен, всегда можешь недоглядеть и его, легко ранимого, задеть за больное место, которое он особенно тщательно в себе припрятал. Мимоходно отметишь, к примеру, что инженеру Т. его симпатичная, только делающая его еще симпатичней, хромота ничуть не мешает в умелом руководстве двумя цехами сразу, расстояние между которыми метров восемьсот бегом, но инженер Т. все равно порхает между цехами легко, как бабочка в просе, и потому — и обоих цехах горение и порядок. А этот Т.— может — уже лет пятнадцать живет в светлом ощущении, что хромота его совершенно не заметна со стороны и никто про нее не знает. Он, может, даже девушку себе приглядел и как раз уже решился к ней подойти. И тут ты явился, газетчик, и все инженеру изгадил. Бедный Т. теперь никогда не женится.

Я, честно говоря, всю жизнь диву даюсь, как это многие прямо-таки любят, чтобы об них обязательно написали. Бесстрашный народ! Жизнь вообще полна отчаянного бесстрашия.

Или ты сидишь в дому у своего будущего героя Е, жадно вбираешь в себя его внутренний мир, книжки, занавески, задумки, хобби и регби. А неказистая жена этого Е, назовем ее, предположим — К, накрывает на стол, хлопочет, болтает милые глупости. И надо же, вот что тебя особенно поражает — герой Е, умница и красавец, прямо глаз не сводит влюбленных со скромной, серой, будто воробушек, своей жены, и так бережно, прямо — любовно, внимает всем ее милым глупостям. Это — вроде бы — пока личные твои радости: замечать, кто и как на кого глядит из интересующих лиц.

Но будь бдителен, о ты, словом на дело идущий! Ибо ничто так не возбуждает и не опьяняет, как Слово.

Потом, в непредсказуемом акте творения, тебе вдруг не хватит крошечной, теплой, красочки и, коли ты вовремя не схватишь себя железной лапой за творческую глотку, твое восхищение может прорваться. И ты вдруг вставишь, что герой Е с немым обожанием взирает всю жизнь на свою жену К, столь внешне непримечательную, но исключительно симпатичную по сути. Меж тем, не исключено, что Е и К позавчера подали заявление на развод. Или К всю жизнь стесняется как раз заурядной внешности своей супруги и когда-то женился на ней только как честный человек, отчего теперь ночью под одеялом кусает себе пальцы...

Нет, в журналистике работают только отчаянно бесстрашные люди! Я всю жизнь стараюсь не писать о тех, кого знаю. Но так изнурительно писать лишь про тех, кого никогда не встречал. Иной раз впадаешь просто в отчаяние от неразрешимости ситуации.

Мне, кстати, сдается, что именно в районной газете этот смущающий мою нежную душу аспект никогда не носит характера сознательной безответственности, чтоб — ради красного словца. Тут это случается, разве что, от неумелости и по недостатку мастерства. Это скорее просчеты бесхитростной простоты, настоенной на бескорыстном трудолюбии. Если наш ответственный секретарь, бывало, ставил под клише, где смутно угадывались детские, вроде, фигурки в вывернутых каких-то позах, подпись: «Танец трех поросенков», то потом, при разборе номера, он долго не мог понять, чего от него хотят. Он был

искренен и по-своему поэтичен в своих словесных изысканиях. И уж, во всяком случае, корысти в нем не было. Платили в районной газете — в мои баснословные времена — гроши. Других, кто был там давно, спасали полярные надбавки, а мне папа ежемесячно слал переводы, чтобы я могла круглосуточно предаваться рабочему энтузиазму. Это была, я убеждена, самая перспективная статья расхода внутрисемейного нашего бюджета, ибо трудоспособностью, ежели она у меня хоть отчасти есть, я обязана прежде всего именно районной газете, ее темпу, ее каждодневной жадности, давай-давай, ее беспощадной требовательности, когда все кругом лучше знают дело, а стыдно — отставать, ее неотступному тренажу, она должна выйти, хоть умри...

Ужасная выдалась ночка. Снились слова, вывороченные наизнанку, как нганасанская колбаса, мясом — наружу. Каждое слово вдобавок корчилось и мученически выгибалось, словно его поджаривали на адской сковороде, сковороды я не видела, но жар — чувствовался. Слова эти начисто лишены были постижимого смысла, хотя кричали о чем-то. Им так важно было — быть понятыми, я измучилась, напрягаясь — понять. Они были не то уроды, не то провидцы. В некоторых торчала бамбуковая непроходимость согласных, они шли сплошняком и ни одна ЭВМ не уловила бы в них порядка. Другие, наоборот, сотканы были только из гласных, но гласные эти тоже не соединялись ни в какой смысл, даже в мычание врожденной немоты. В гласных таилась еще более непереносимая тайна, ибо они напряженно длились, намекающе мерцали и мучительно изгибались, гибкая кривизна извивов доходила — опять же — до сингулярности, куда меня втягивало, будто я, того не заметив, давно проскочила гравитационный радиус Шварцшильда, миновала уже горизонт событий и мне теперь все равно не вырваться. А мерцающий смысл все не открывался и не открывался...

Проснулась, в борьбе изнемогшая.

Бегу, бегу, бегу, бегу по тору, по эллипсу, по кругу, по прямой, я от себя бегу, которой все опостылело, как лету — зной, как боль — нарыву, как вечное падение — обрыву...

Да, все забываю объяснить любимое свое словечко: сингулярность — это всегда нечто, где кончаются известные нам физические законы, ничего — более.

Поразила меня наступательная аритмичность этого сна.

Я все же люблю, когда снится чего-нибудь попроще. Суперпозиции принцип, например, снился на прошлой неделе с четверга на пятницу, когда сны, как известно, сбываются. По-моему, это была Дудинка. Плоско, ощущение большой проточной воды, небось — Енисей, избыточно много неба и на фоне этой бесконечной, режущей глаз синевы гордо торчали великолепные подъемные краны, столь украшающие всегда портовые города. Один, самый лебяжий, аккуратно доставал из небытия огромные, яркие и ровные кубики и внимательно, тщательно подгоняя края кубов друг к другу, выкладывал из этих кубиков длинную яркую полосу. Типичный суперпозиции принцип, ибо полосу эту ничего не стоило описать как линейную систему, спокойно просуммировав кубики и не потеряв при этом никаких дополнительных эффектов, так как их нет. Изящно. Просто. Доходчиво. Просыпаешься освеженным, словно провел ночь в спальнике из гагачьего пуха где-нибудь на перевале Малый Каянды.

Овечьей грязноватой шкуркой домашний снежник за палаткою лежал, и маленький ручей легко и юрко, блестя в камнях, из снежника бежал, и — как шагреневая кожа — под вечер наш снежник съеживался по краям и истекал, как чье-то время...

Наш подход к истории (в частности — к биографиям великих людей, до которых мы так падки) поневоле исходит из суперпозиции принципа, что, как известно, есть простая сумма следующих друг за другом событий и решается

линейными уравнениями. А даже наш рядовой день, сложенный и дотошно просуммированный по этому принципу,— нашего же дня не дает, ибо человек всегда ветвящаяся структура с бесконечным количеством связей. И тут — за счет поля, эмоционального и культурного, за счет тензора, личностного и социального, за счет коэффициента, пространственно-временного, и т. д.— должны обязательно присутствовать принцип относительности и постоянная Планка. Мы же получаем утрированно-прямую схему, все остальное берет на себя «измерительный прибор» — историк, очевидец, я-рассказчика.

Новости тут — ни малейшей. Я опять же к тому, сколь существенно это «я» (историка, рассказчика, очевидца), берущего на себя смелость — поведать нам о Времени и о Себе, его культура и его мастерство, ибо сумма знаний о мастерстве ничего ведь еще не говорит, нетрафаретность и бесстрашие его мысли, выраженной точным словом. Мы, по-моему, все более утрачиваем наслаждение формой. И как следствие — наслаждение мыслью, поскольку мысль, облеченная в недостойную ее силы форму, безнадежно и необратимо тупеет. В общем нашем чтении, каковым мы так непонятно гордимся, фабула давно заменила мысль, так что вопрос о наличии и свежести мысли даже вовсе как бы и не стоит никогда в разговорах о кто-что-прочел. Тогда уже наше чтение — на уровне чистой физиологии пропускания хлеба-с-сыром через организм. А есть ли тогда хоть какое-то благо, возвышающее человека, в сем времяпровождении? В конце концов процесс складывания букв в слова есть чисто ведь механический, и чтение — в таком разе — ничуть не выше, к примеру, вязания. Чем мы тогда гордимся и чего ищем в книгах, кроме прямых ситуационных аналогий с событиями собственной жизни?..

Такую бы послать Ему телеграмму, без экивоков: «Счастливы ли вы вопрос». «Ли́вы-ли́вы» — вкрадчивое перетекание из пустого в порожнее. Мой дружок-актер сразу бы закричал: «А что такое счастье?» А мой дружок-художник мудро заметил бы: «У каждного человека — свое счастье». Что же я имею в виду простодушным своим вопросом? Наверное — то, что моя же подружка детства Лялька Черничина определяет как: «Ночью, голый под одеялом, человек себе настоящую цену знает». Но в каких отношениях эта истинная цена, каковую знаешь, состоит с ощущением счастья, если один человек всю жизнь себе почему-то грызет и с годами только все больше словно бы виноват перед всеми и за все, а другой живет себе без рефлексий, безнервно делает свое дело, тоже, может, за всё и вся отвечает, но вовсе и не нуждается в пастырно-еженощной самооценке, что он от этого — хуже, что ли? Он, полагаю,— нуждается. Ну и что? Если бы Он получил вдруг такую мою телеграмму, лицо Его сразу бы сделалось отстраняюще-бесстрастным и голос отстраняюще-ровным. Он бы наверняка сказал: «Это — личное, Раиса Александровна, это не нужно обрабатывать». Он в свою душу никого не пускает.

Раньше, я, видимо, наивно считала, что существует лишь один тип настоящего Учителя: учитель-друг, распахивающий себя безоглядно, круглосуточно принадлежащий своим ученикам, они заходят в душу к нему прямо в галошах, не опасаясь и не таясь, не то что — к грубым, нечутким, родителям, и он, учитель, счастлив только этим полным доверием, которого никогда не предаст, рассудит, но никогда не осудит, полюбит черненького. Из кинофильмов у меня такой образ? Из собственных ли воспоминаний, когда времена были контрастнее и проще, накормить, оторвав от своей семьи, было — поступок, отогреть и спать у себя положить, когда знаешь — кто папа-мама, было гражданской доблестью. Но сейчас другие песни. Сейчас, выходит, поступок — вывести честную двойку по алгебре кормлёному вундеркинду за полугодие в девятом классе и не переправить ее на тройку под натиском превосходящих сил противника, мамы-папы, директора и прочих инстанций. Как все, однако, у нас сместилось, если добрая двойка стала мерилом нравственности учителя! Кстати, сильно сомневаюсь, что эти Его двойки подаются куда-то выше, школу б давно расформировали, а она ведь по официальной статистике — из первых. Он никогда не унизится — проверить, что и куда там дирекция подает, Ему это и в голову не придет, для Него важен фронт обозримый: Он-предмет-ученик, чтобы тут было чисто.

Значит ли это, что Геенна Огненная, как я про себя все чаще именую Нину Геннадиевну Вогневу, директора школы (Он бы сильно разгневался, коли узнал бы, Он считает, что прозвища — унижают, но это не прозвище, ибо прозвище всегда имеет хождение внутри хоть какой-нибудь группы, а это — личные отношения мои с Геенной), изначально благородна и постоянно рискует собой, прикрывая Его принципиальность; или ничего такого не значит, а просто директору, не вдаваясь в высокие тонкости, выгодней иметь сто́ящего учителя со скверным характером, чем скверного учителя с характером благозвучным? Тем более — что к концу девятого класса двоек уже не будет, это известно, хоть какой сборный класс. Он — научить умеет. А кто работать не хочет — уйдет. В прошлом году из девятых классов, не справившись исключительно с математикой (то есть: с Ним), ушло восемь человек, в этом — шесть.

Все они, документы отсюда забравшие, прекрасным образом поспевают в других школах, я специально поинтересовалась. Так какая же, спрашивается, польза от Его беспощадной требовательности? Обществу, в широком понимании, вроде бы — никакой, оно все равно получит то же количество индивидов с аттестатами посильной зрелости. И ему же, обществу, по сути — огромная, ибо он провел первый взрослый отсев: остались даже не те, кто хочет учиться, это скорее наше взрослое понимание школьной жизни, переложенное на ребят, как легче нам перекладывать — по аналогии, сознательно хотят учиться — лишь взрослые, в юности слишком много захлеба и слишком необозримы еще возможности. Лишь единицы ценят в этом бесценном возрасте движение чистой мысли, ощущают высокое наслаждение самого процесса мышления и радость познания как такового. Это приходит позднее. Нет, с Ним остались те, у кого есть характер, это уже немало. И они получат толчок, который будут потом чувствовать долгие годы, может — всю жизнь. Он не полюбит черненького. Он не примет, не осудив. А, осудив, может — и вообще не примет. К Нему в дом запросто не ходят. Я вообще не слыхала, чтобы ученики ходили к Нему домой. Зато много раз слышала от Его выпускников: «Я все хочу к Нему в школу зайти, но мне пока не с чем к Нему идти». Хорошо это или плохо? Откуда я знаю. К Нему нужно, выходит, придти — не посоветоваться, не пожаловаться на обстоятельства, не просто так — повидаться для теплоты душевной. Надо придти — уже с чем-то. С Поступком. Это уже какое-то дистанционное управление. Значит, уже давно не видя Его и ни в чем решительно от Него не завися, они, эти выпускники разных лет, постоянно помнят, что именно Он ждет от них Поступка. А когда кто-то ждет неотступно — совершить, как известно, легче. А если все-таки не совершишь?

Побольше юмора, дружище! — я говорю себе. Ведь он — энергетическая пища в любой борьбе. Борьба же главная, усвой,— всегда с собой...

«Усвой», ус-вой — слово джунглей, экая взыскательность вкуса, прямо шедевр. А нет — рифмы, где ж я ее возьму?

Даже у меня, глядя на Вас, несравненный сэр, всплывают порою вопросы, задавать которые безнравственно и аморально. Я и не задаю, мое — какое дело. Но другие смело их задают. Ведь семьи у Вас нет. А должна же быть у человека какая-то, хоть — тайная, что ли, привязанность, кроме школы! Так называемая — личная жизнь?

Помню, как на открытом уроке в пятом «А», который летел и звенел, как стрела оперенная, учителя-прихожане по четверо жались на партах, только бы уместиться, пятый «А», ничего заранее об открытом этом уроке не знавший, гордый, взъерошенный, непреклонный в своей победоносной умелости весело и мгновенно так и хватал из Ваших рук примеры, задачки, знания и сопоставления, так прямо и склевывал на лету, да еще успевал как-то отбиваться вопросами и праведными сомнениями, почти никто из взрослых на такой скорости решить ничего не успевал, только захлебывался темпом, крякал да ежился, директор стояла в полуоткрытых дверях и лицо ее шло красными пятнами горделивого волнения, Вы же были легки, остроумны, блестящи, мне хотелось в тот час умереть за Вас каждую секунду, но просто некуда было

вернуться своей геройской гибелью, а рядом со мной пожилая учительница все шепотом спрашивала: «А почему он — в школе?» И дальше, за ней и вокруг, я слышала только шелест губ восхищенный: «А как это они у него? А у него нагрузка, конечно, маленькая? А у него классного руководства нету? А у него семья есть?». Чувствуете? Они, пораженные в самое свое педагогическое нутро, тоже так чисто и наивно хотели Вас упростить. Вы потом, в учительской, еще удивлялись, что никто из них ни о чем Вас не расспросил, отглядели, мол, урок, как кино, сказали «спасибо» и — все дела. Вам было тогда обидно. Вы были неправы, как всегда. Урок летел в таком недосягаемом темпе и блеске ребячьей мысли, что это нужно еще переварить. Тут сразу просто не найдешься, о чем и как спросить. По существу. И, главное, по-видимому, чувствуешь — спрашивать бесполезно, ибо за этим летящим блеском стоит изнурительная и повседневная работа такого уровня, что никакими вопросами ее не сделаешь легче или доступнее для себя. О таком уроке можно потом только думать и думать. Или уж — поскорее выкинуть его из головы, чтобы жить — как прежде.

Я, честно теперь признаюсь, изо всех сил не давала им тогда сладкой возможности — упростить Вас. Я, за Вас, неутомимо и во все стороны отвечала на вопросы. «Почему он в школе?» — «А где ему еще быть? Он же — учитель».— «Ну, в институте...» — «А ему нравится — в школе».— «А почему не в математической?» — «Ему нравится — в обыкновенной. Он элиту не любит».— «А тут дети действительно по микрорайону?» — «Естественно. Обычная школа».— «Не похоже».— «Очень даже похоже. Обычные дети, которым интересно. Блатных у нас нету».— «Обычным обычно неинтересно...» — «Это — как учить!» Ух, меня распирала гордость. Мне было гордо, что они меня принимают за Вашего коллегу. Мы даже переглядывались с Геенной Огненной и на моих щеках были, по-моему, такие же пятна. «Ну, ведь не все же учителя у вас такие...» — «Почему? У нас все — такие». Пусть знают наших! «У него классного руководства, конечно, нет?» — «Напротив. Конечно — есть. Классное руководство, кружок, факультатив».— «Значит — мало часов».— «Вам и не снилось, сколько у него часов».— «Когда же он успевает? Он что, простите, кончал?» — «Университет».— «И сразу в школу пошел?» — «Он и хотел — в школу».

Как видите, они весьма даже интересовались. И были даже вопросы в самую точку. Одна толстая тетенька, например, спросила: «А как же после него урок-то вести? Я прямо не представляю».— «Ничего, ведем»,— сказала я бодро. Как Вы понимаете, тетенька была абсолютно права. Я сама не представляю, как после Вас вести следующий урок. И всегда завидую бесстрашию и стойкости в классе после Вас входящего. «Своих детей у него, разумеется, нет?» Вот уж тут я взяла грех на душу, иначе — значило Вас предать. Им так хотелось все это объяснить хотя бы Вашей стопроцентной свободой от бытовых забот, преданная жена подносит Вам обед на красивом подносе и помогает проверять тетрадки по тригонометрии. «Семья, своих детей — трое».— «Трое?..» Тут они совсем скисли. Я даже, пожалуй, перебрала, за глаза хватило бы и двоих, самое трудное для меня всегда — соблюсти меру.

Никто ведь не завидует одиночеству, не считает его возвышающим душу стимулом и очень многие даже его боятся. Но общество почему-то частенько отыгрывается на одиноких. Квартиру дают — неохотно и в последнюю очередь, отпуск — в самое неудобное время. Зачем ему, одинокому, отпуск? Его же никто не ждет! Мог бы и вообще поработать. Понятно, что хорошо работает, больше ему и заняться нечем. Свободен. Сам себе хозяин. Еще бы! Когда над ухом никто не бубнит, под локоть никто не толкает, да душа ни за кого не болит, тогда, круглосуточно усовершенствуясь, можно с простым кайлом достучаться и до ядра земного. Даже я, когда на Вас злюсь, потому что — опять не понимаю, иной раз ловлю себя на подобных мыслях. Но ведь это неправда! И кому ведомы Ваши заботы и как, за кого и за что болит Ваша душа? И преданной жены — наоборот — нет, чтобы разделить заботы и боль.

А зачем их делить? Зачем тебе вообще жена, миленький? Если ты все равно пожизненно и круглосуточно занят чужими детьми и больше тебе ничего не нужно для счастья?

Здравствуй, мой окольцованный сокол под названием — пустельеа́, словно в обмороке глубоком все живу, живу без тебя. Облетают, как листья, люди в опустелом моем саду, словно белый потерянный пудель все бреду меж ними, бреду. А зрачок мой недвижно упорен, все отыскивает средь них — только тайных, и только черных, только тех, что тебе сродни. Полегчало ль твоей беспощадности или только устал чернее? Все гляжу с беспощадной жадностью, как закат в черноте алеет.

Попытка портрета. Он черно-белый, внутренний цвет Его темно-синий, но не холодный, а пульсирующий, горяче-темно-синий. Внутренний Его ритм — «Я проснулся на мглистом рассвете неизвестно которого дня», размер «Соловьиного сада». В этом ритме — всего ощутимее — удивление. Удивление каждым днем и каждой в нем минутой. Пространственная Его форма — воронка, глубокая, вроде бы — керамическая, что-то толстое и непрозрачное во всяком случае. Его речь для меня — холмистое предгорье, увалы, голубоватый лишайник, крупно-резной, видимо — кладония, и черные неправильной формы, но скорее — к овальным, чем резким, камни, думаю — это базальт. Пейзаж холодноватый, очень четкий, надежный. Его время — ранние сумерки, когда все особенно четко, перед мигом, когда все углы и грани смываются. Интенсивная четкость. Его время — первый осенний заморозок. Молчание Его, которое долго мучило меня пустотой, полным обрывом связи, сейчас дает даже покой своей абсолютной наполненностью. Его молчание — цельность. Мысль не обрывается этим молчанием, оно для меня — как конец «Гамлета». Глаза его гаснут при этом медленно, они еще догорают высказанной мыслью, в них еще глубинное проживание. Интересно следить, как глаза Его продолжают ворошить и лелеять уже отзвучавшие слова. Улыбка Его всегда долгожданна и всегда неожиданна. Мешают узкие губы, иногда в них не то жестокость, не то жертвенность.

Другая попытка. Крашеные под солому волосы, ломкие, в отличие от настоящей соломы — совершенно без блеска, сероватые даже, плохо причесанные и мелко завитые, на крупной голове без шеи. Надо лбом и у висков уже отросли седые и между безжизненной сединой и безжизненной серостью — тусклый, безжизненный, слом. Широкие руки с короткими пальцами, ногти неровно пострижены, словно их грызли неровными зубами. Глаза тоже серые, имеют тенденцию отвердевать. Но воля в них, пусть не ум — разум. Голос, будучи обращен к ученикам, резко взлетает до устрашающей визгливости: «А ты куда бежишь? Какой класс? Вернуться обратно! И мимо меня тихим шагом пройти!» Или: «Куда? Зачем? Это учительская, между прочим! Что нужно сказать, когда входишь в учительскую?» С подчиненными педагогами тоже властные, но с капризинкой, нотки: «Валерия Афанасьевна, если не затруднит, я очки в кабинете забыла». Валерию Афанасьевну ничто для начальства не затруднит. Побежала — с вялостью, каковую в тридцать с небольшим лет иметь, наверное, даже утомительно. Сразу всем корпусом — поворот ко мне: «Видали, как двигается? С такими приходится работать! Сам не сделаешь, никто не сделает!».

Один раз только слышала я доверительно-мирный разговор с ребенком. Ребенок — выше ее, восьмой класс, в школу не ходит вообще, двойки, предварительные пока, карандашом понаставлены в журнале по всем предметам. А выпускать все равно надо. Вот с ним — нежно: «Николай, ты слова Юлии Германовне можешь выучить? Там немного, она покажет. Можешь выучить, да?» Николай даже и не кивает. Но, кажется, слушает. «Ты же толковый человек, не какой-нибудь Коровин. Ты, пожалуйста, выучи и приди завтра часиков в восемь. Придешь?» Николай чуть дернул головой. Это окрыляет. «И еще. Тебе Галина Ивановна даст задачки. Это надо решить!» — «Мне не решить...» Он отверз уста. «Решишь. Я же не говорю — всю алгебру выучи. А эти задачки — можно. Не к Васильеву посылаю, счастье — не его класс. Я же тебя посылаю к Галине Ивановне, она все покажет, человек умный, не какой-нибудь Коровин, напишешь. И завтра надо ей сдать. Сдашь?» Мнется.

«Сдашь, Николай! Тебе можно доверять, не со справкой же тебе выходить. Ты не какой-нибудь Коровин...» — «Ну»,— согласился, наконец. Вышел.

«Вот с каким добром приходится работать, видали?» Резкий, режущий даже, голос — будто ножом водят по стеклу...

Но ведь это она же стояла в дверях на Его открытом уроке в пятом «А» и красные пятна гордости бугрили ее лицо. Это с ней же мы переглядывались — как сообщники. И она же, будучи еще завучем, удержала Его тогда в школе. Я-то уверена, что Он все равно бы никуда не ушел, не смог бы. Но ведь Его могли хорошенько попросить. А когда сильно просят, приходится уходить.

Конец августа, суматошные деньки, день вообще неприемный, но зав роно оказался на месте, у себя в кабинете и, кажется, один. Повезло. Вы этого нового зава видели уже на активе, он Вам понравился, энергичный, до сорока, то есть в расцвете, говорил по существу, аудиторию чувствовал, умел снять напряжение шуткой, усталость — неожиданным словом, Вы это очень цените. Зав Вас до этого, естественно, не видел.

В роно Вы пришли не из-за себя, из-за себя Вы сроду никуда не пойдете. Одному Вашему бывшему выпускнику — окончил Герценовский институт, тоже математик,— не повезло, скажем так, со школой, его молодой и занозистый энтузиазм как-то не находил там пока достойного понимания, уже возник конфликт с руководством, дали на ближайшее полугодие непонятно мало часов, хоть часы — были, уже замаячила опасность, что молодой преподаватель по горячности сменит жизненную стезю, а он педагог — прирожденный, это еще в школе чувствовалось и от этого потеряет только опять же школа. Словом — выпускнику было худо, а Вы хотели, чтобы ему было хорошо. Обычная Ваша тупая уверенность, что каждому непременно и сразу же должно воздасться по заслугам, что старшие должны помогать младшим, что надо радоваться чужим успехам паче своих неудач, что главное — чтобы дети были в выигрыше, а ученье для них — радость и страсть. Вы пришли в роно объяснить заву эту простенькую ситуацию.

В приемной сидело два-три человека с засохшими лицами. Видно, сидели они давненько. В них не было раздражения, а, наоборот, все родниящая и объединяющая покорность. Секретарша, лучащаяся блондинка, сговаривалась по телефону о встрече. Никак не могла сговориться, чему внимали с должным сочувствием. «Светуля, значит — я к тебе вечером подскочу,— говорила в трубку секретарша.— Ну и что? А-а-а. Заметано. Ты сама ко мне подскочишь, Светуля?» В «Светуле» есть, кстати, занятное сочетание — света, как энергии, со стулом, как с частицей, соединение этих несоединимостей рождает дополнительный нежно-лучащийся эффект. Вы заметили? Бытовые беседы вообще переполнены этими виртуальными пасами, в них бездна трогательно-языковой пыльцы. Боюсь, что Вы к этому равнодушны, для меня же — радость непреходящая. «Но кто же к кому подскочит, Светуленька?»

В наш торопливый век главное — уметь выждать. Вы же нетерпеливы, это Ваша беда. Вы сразу рванулись к кожаной двери. «Нельзя»,— сказала секретарша. «Почему?» — удивились Вы. «Потому,— отрезала секретарша. И тут же заворковала в трубку.— Я не тебе, Светуля, я не тебе. Тут, один...» — «Простите, не понял»,— очень спокойно сказали Вы. Но секретарша у Вас не училась и в сгущении Вашего спокойствия, естественно, не почуяла опасности. «Занят?» — уточнили Вы. «Я вам отчет давать не обязана, сказано — ждите,— отрезала секретарша. Сейчас она была скорее брюнеткой, ибо ее неприязненность к Вашей блошиной спешке все кругом окрасили в черноту.— Прости, Светуля, мешают разговаривать». Однако она почти сразу положила трубку и теперь шелестела бумажками.

Возможно, зав роно был действительно занят. Может, он думал. В наш век буйной, тотальной и готовой информации иногда тянет просто подумать. Вдруг абсолютно самостоятельно и собственными значками вывести, к примеру, постулаты Эвклида, как в свое время сделал маленький Блез Паскаль, когда папа-Паскаль запрещал ему заниматься математикой, считая, что сын не дорос еще до этой королевы наук. Нечто подобное было, помнится, и с малолетним ван дер Варденом (Помните? Из Геттенгенской плеяды времен Гильберта — Куранта), который тоже собственноручно изобрел, в сходных же жизненных обстоятельствах, свою тригонометрию, заменив традиционные символы — собственными. Примеры эти не единичны. Может нам давно уже нужно прятать от наших детей учебники? А не талдычить о необходимости и общедоступности знания? Ввести в обучение некий, что ли, элемент запретного плода?

Впрочем, Вы приблизительно это и практикуете. Когда вдруг упорно начинаете ставить кому-то «пять», «пять с тремя плюсами», «пять с шестью плюсами» — за неответ, за несделанное недельное задание, за чистый лист на контрольной, когда упорно и ежедневно повторяете, что «Вите Голышеву это правило не нужно запоминать, оно ему не потребуется в дальнейшей жизни» и что завтра факультатив вместо шестого урока будет нулевым, но конкретно к Вите Голышеву это не относится, у него и так «пять», ему приходить не нужно. Я даже помню случая, когда на основании пятерок такого рода Вы бесстрашно выводили «пять» за полугодие. И вся учительская изнывала от зависти, что вот у Вас Голышев, оказывается, работает! Надо отдать должное Вашей интуиции. Те, к кому Вы вот так вдруг цеплялись, психической этой атаки долго не выдерживали.

Но что значит — долго? Для Вас-то это всякий раз было — вечность. Вы-то каждый вечер записывали себе в дневнике (ух, как Вы старомодны: ведете дневник!): «Очень трудно с Голышевым!» «Я отчаялся с Витей Голышевым». «Витя опять не слушал на уроке». «Голышев глядит угрюмо и мимо меня». «Что же, что же мне делать с Голышевым???» Но вдруг мелькало: «Краем глаза заметил, что Витя Голышев сегодня списывал с доски недельное задание. Он прикрывался локтем, я сразу же сделал вид, что ничего не вижу. А вдруг?» Но завтра — снова: «Голышев ничего не слышит, глаза пустые. Что делать? В четверти снова поставил „5“. Приходила его мать, плакала от счастья, я Витю хвалил. Куда иду?»

И вдруг наступал-таки такой отчаянно-прекрасный день, когда во время, Вами же спровоцированного, затрудненного и общего молчания на уроке именно из Вити Голышева непроизвольно вырывалось нечто. В чем — неожиданно для всех, кроме Вас, был вдруг смысл. И даже крохотная, в пределах давно прошедшего шестого класса, математическая истина. Как же ценко Вы за нее хватались! Вашему наивному удивлению не было ни конца, ни предела. Вы ухитрялись из этой вдруг сорвавшейся крохотной истины вытащить прямо открытие для всех. Класс уже во все распахнутые глаза созерцал нового Голышева. «Нет, Витя, так нельзя! — поражались Вы.— Нельзя так меняться прямо у меня на глазах. Я могу этого не вынести! Нужно же привыкнуть, нужно же постепенно. Анюта, поставь Вите Голышеву „три“ с минусом. Поставила? Поздравляю, Виктор!» Вы жали Голышеву руку. Голышев краснел. Вы говорили: «Спасибо».— «Не за что»,— мрачно говорил Голышев. Но даже в том, как он вздымался над партой навстречу Вашей руке, было сейчас некое свободное, несвойственное ему, достоинство честно завоеванной вершины. Он сто раз мог еще потом провалиться в свои низины. Но ему самому в них теперь было как-то скучно. Тесно, что ли, не знаю. Во всяком случае в учительской все чаще мелькало: «А Голышев-то, знаете — какую мне карту сегодня начертил?! Хоть на ВДНХ!» — «Голышев? Нет, не дурак. Определенно — не дурак. Химия у него пошла».— «Мне тоже вчера вполне грамотный пересказ сделал. Запас слов, конечно, маловат».— «А у вас он — как, Юрий Сергеич?» — «„Три“ в четверти будет»,— сообщаете Вы. «„Три“? — все поражены.— Он у вас так скатился? Было же — „пять“?» — «Скатился,— фальшиво вздыхаете Вы.— Бывает. Но надежды я не теряю».— «Да, да,— соглашаются все.— Голышев — может, оказывается. Кто бы раньше подумал?»

Надо отдать честь Вашей интуиции. Для экспериментов такого рода Вы всегда выбираете Голышева, не какого-нибудь Коровина. Жаль, что этот Коровин не в Вашем классе...

Так что вполне может быть, что зав роно как раз в этот момент просто-напросто выводил Эвклида. Иногда процесс мысли может прихватить человека и на рабочем месте. В наше время это тоже не исключено. Или, возможно,

зав роно писал срочную справку для зава гуно. Но, допускаю, что он писал и письмо своей двоюродной тетушке в Кемь, чтобы обязательно прислала по осени морошки, потому что дедушка признает только варенье из морошки и никакого другого кушать с чаем не хочет. Морошки нет давно и в Кеми, но людям свойственно обольщаться.

Секретарша — меж тем — уже обольщалась по телефону джинсами. Ведь если на работе есть телефон, то — естественно — люди звонят. Дома — человек уже устал, уже вечер, ужин, муж, дети, мало ли что. Поэтому звонить принято на работу. На работе, как правило, никто не отвлекает. Если не забредет случайно такой зануда, как Вы. Но секретарша видела Вас впервые, ей — простительно. Ей как раз только что предложили по телефону прекрасные джинсы, тогдашний дефицит. «Нужны, Веруня, еще бы! — светящиеся лучи, прямо ударившие от секретарши по всей приемной, по-моему, даже Вас должны были сделать временно блондином.— О, это фирма! И сколько? Веруня, не может быть! Буквально — даром, я понимаю. Нет, не имеет. Подумаешь, пару раз надели! За кого ты меня считаешь, Веруня...»

На лицах присутствующих, кроме Вас — само собой, отразилась как бы слегка засохшая (от мелких своих личных дел, сюда, видимо, приведших), но достаточно отчетливая радость сопричастности — что вот рядом кому-то повезло и это, уже само по себе, не может оставлять порядочного человека абсолютно равнодушным. Джинсы, кстати, совсем неплохая вещь. Удобная. Практичная. Многим — идет. Секретаршу они, несомненно, украсили бы. Но Вам этого не понять, не постигнуть, не оценить сроду. В Вас до сих пор бушует раздельная школа и серые тона детства, досточтимый сэр! Я Вас даже в свитере никогда не видала. Вы щеголяете неизменно в костюме, в однотонной рубашке и при галстуке. Слегка распахнутый по дикой летней жаре воротничок — для Вас предел свободы в одежде. А такие гибкие натуры, как я, принимают моду легко. По-моему, в этом деле — чем резче перемены, тем приятнее глазу.

Искусство — всегда нарушение симметрии, это не я придумала,— это Герман Вейль, важно найти в каждом конкретном случае именно такое нарушение, которое впечатляет максимально, это то «нечто», что непереводимо и даже необъяснимо никакими словами, поэтому никакое «ведение» — не может передать ничего, кроме содержания и поддающихся стандартному анализу величин в худ. явлении, «ведение» способно анализировать лишь то, для чего имеются уже модели и методы. А искусство индивидуально и сильно как раз нарушениями моделей и методов, используя их — вопреки им. Пусть «веды» вечно ходят на приступ, это любопытно, коли сами они — как личности — интересны. Но Пушкину, к примеру, это в общем-то — безразлично. Пушкин встряхнется, «веды» скатятся, а он — все равно непостижим и велик, к нам они Пушкина не приблизят. Ибо объясняя произведение искусства, обязательно снижаешь его и тем отдаляешь, поскольку всякое объяснение есть замутнение смысла и снижения воздействия. Единственность — лежит за пределами анализа. В теории информации такой текст именуется «случайным» — чтобы ввести его в машину невозможно обойтись меньшим количеством слов, чем есть в тексте, или другими — чем есть, он противостоит любому моделированию.

Тоже мне, новость...

Вжимаюсь в борта, как зверь, темным и впалым телом. Куда ж я теперь? Теперь? Куда ж я теперь — без веры? Что за вера была летучая в надувную резинку-лодку? Упруги весла в уключинах, закат догорает кротко, вороны кричат картаво: «как? как? как?», легкие острые травы полосуют себя в волнах. Рыба выпрыгнула. И канула. Бегут по воде круги. Острова — как чужие страны, берега — как материки. Словно озеро — темное море, натянутое на шар. Горе мне, горе, горе — волны в ночи шуршат. Что за вера резнула жгучая, не основанная ни на чем, будто можно звезду падучую — поймать сачком...

«Веруня, а талия? Пустяки, ничего я не буду ушивать. Джинсы, ушитые в талии,— это пошло. Пошло, я говорю...» — «Может — хватит?» — сказали Вы. У Вас удивительная способность вклиниваться в самые насладительные моменты. «Чего — хватит?» — не поняла секретарша, она вся лучилась и была сейчас сияющей блондинкой до мозга костей, на ней уже были новые джинсы, как влитые — в бедрах, почти что в талию, даже если без пояса, и почти что даром, рублей сто — как водится. Где Вам оценить эти тонкости! «Болтать,— уточнили Вы.— У меня нет времени».— А я вас и не держу,— отрезала секретарша.— Веруня, прости. Я тебе через пару минут перезвоню». Разговор все равно уже был испорчен. Она положила трубку. «У меня нет времени выслушивать вашу болтовню. Я пришел поговорить с завом роно».— «Он вас ждет, что ли?» Секретарша, на мой взгляд, была еще выдержанная. Впрочем, может, тут крылась уже издевка. «Он меня не ждет. Но у меня к нему важное дело».— «А вы кто такой?» Вот это был уже разговор! Всплыла, наконец, бессмертная формула, не нами воспетая. «Я — учитель». Вы представились честь по чести. Вы назвали титул. Скромненько. Как подобает, когда титул — действительно есть и королевская кровь сомнению не подлежит. Выше — нету. Учитель. Но ведь секретарша-то первый раз с Вами имела дело. Вот Геена Огненная, она же — директор школы Нина Геннадиевна Вогнева, имеет с Вами дело уже давненько и потому она вечно беспокоится, как бы Вы куда-нибудь не пошли. Она лучше все сразу Вам сама сделает, как Вы хотите. «Представляете, что он там (тут она закатывает серые глаза куда-то под лоб и воображаемое поднебесье) наговорит???» Даже интересно, что она имеет в виду?..

«Подумаешь — учитель!» — фыркнула секретарша.

И тут у нее на столе вдруг вдребезги разлетелось стекло, на котором стоял телефон, лежали бумажки, а под ним — улыбался с фотокарточки большеглазый мальчик и сама секретарша, сияющая блондинка в открытом сарафане, щурилась на берегу бунтующего моря, небось — Черного. Стекло же, я полагаю, было из тех, что стоят в дверях метро. Об него можно сутками колотиться головой, оно даже не дрогнет, но вдруг грудное дитя ткнет соской в его уязвимое место и огромное стекло в миг разлетится на тысячу брызг. Вы точно и сразу нашли такое место, что значит — интуиция.

«Я — учитель»,— повторили Вы при этом. И снова коснулись стекла кулаком, от чего предметы, доселе каким-то чудом еще покоящиеся на столе, полетели и покатились в разные стороны. «Какой вы учитель?! — завизжала секретарша.— Вы не учитель! Вы хулиган! Я милицию вызову!» Не знаю, что она там еще кричала. И до сих пор не знаю, для чего Вы взяли тяжелый стул за одну его ножку и этот стул подняли. «Он меня убьет!» — дико крикнула секретарша. И метнулась к кожаной двери...

Как это было? Было солнце. Безудержное. Голое. Бьющее. Озеро Тенгиз расстилалось до горизонта, все его двести километров можно было пройти по колено. В ленивой его протяженности лениво дрожало величие. Была лодка-плоскодонка с мотором и на носу ее стоял Шалай с вечной своей кинокамерой. У Шалая было бронзово-невозмутимое лицо кочевника, узкие бедра атлета, обтянутые джинсами, выцветшими до цвета сухой пыли, длинные пальцы охотника и легкий прищур интеллигента, которому не нужна книжная мудрость, чтобы быть мудрым. Выше пояса он был голый и блестел, как монумент. Сейчас он был красивее всех, кого я когда-либо встречала, ибо он был тут — на озере — Тенгиз — на единственном своем месте и при единственном своем деле, а я давно уже знаю, что точное попадание судьбы: человек-место-дело — дает уже не человека, но бога. Бог же есть совершенство.

Значит — повторяю, как любит говорить Некто — было солнце. Озеро. Лодка. Шалай. И я держала на коленях фламинго. Фламинго терял сейчас маховые перья, и мы легко догнали его на своем моторе. Голубой глаз фламинго смотрел на меня с хорошо сконцентрированной ненавистью, вовсе даже не птичьей, но покорная вялость тела его была сейчас мудрее глаза. И потому — глаз он вовсе закрыл, будто бы совсем умер в моих руках от своей

покорности. Только зло, часто, мелепькими толчками билось в нем сердце. И злой этот пульс отдавался во мне — как током.

Я осторожно раздвинула белые, курьи, перья и в меня ударила багряная алость, алая багряность — ударила, не знаю, как вернее сказать. Что-то неудержимо дикое было в самой ярости этих тонов, неестественно было чувствовать это в своих руках, держать это, это может только лететь и на лету сверкать. Фламинго чуть повернулся, шея его выгнулась еще неестественней, словно он поискал и нашел самую мертвую для себя и для меня позу. И в этот момент всё мне вдруг опостылело. Солнце. Озеро. Лодка. Шалай со своей вечной камерой и своим единственным делом жизни. Я. Я. Я. Дело мое, которое столь текуче, неуловимо и ненадежно, будто размыто в солнце, в тенях, в желтой пронзительно соленой воде, среди людей и событий, что мне не охватить и не понять никогда...

Я медленно опустила фламинго за борт, в густую янтарно-соленую воду, только рачок армерия, фламингова пища, светился в ней живыми черными точками, и медленно разжала руки. Вялое тело невиданной птицы осторожно дрогнуло, неуверенно напряглось, осторожно ощутило свободу и рванулось прочь от меня...

Как без Тебя беззвучно в этом мире, все только шевелят губами в лад, но до меня ни звука не доходит.

Спросила Машку, почему точка постулирована как имеющая положительную кривизну. «А ты берешься доказать, что кривизна отрицательна?» — нагло сказала Машка. «Встречный вопрос — не объяснение...» — «Потому что — торчит»,— нагло сказала Машка. И удалилась к себе в комнату с великолепным презрением профессионала. Не снизошла. Меж тем Гильберт, не чета — Машке, когда-то говаривал, что математическая теория лишь тогда совершенна, когда ты сделал ее настолько ясной, что берешься изложить ее содержание первому встречному. Хотела сквозь дверь осадить ее Гильбертом. Но оттуда уже доносилась идиотская песенка собственной, узнаю дочь по стилю, видимо, выпечки: «Я кручусь на турнике, голову́ держу в руке, кто устал от голову́ — подходите, оторву..» Я как раз устала.

Зачем Он — обязательно математик? Я в этом никогда ничего не пойму. А дай мне — начать с начала, я занималась бы исключительно геометрией и была бы счастлива...

«Ма, погляди — я на голове стою!» — восторженно завопило за дверью Машкиным голосом. О, это — прогресс, Машка у меня не больно спортивна. «Чорли-шорли?!» — спросила Машка, все еще стоя. «Шурли-мурли»,— оценила я. «Шамба-лямба!» — хвастливо уточнила Машка. Нормальный разговор орангутангов-интеллектуалов. Но я на этой высоте не удержалась: «Зачет по физкультуре?» — «Еще чего? — обиделась Машка и вдруг села как человек.— Мы на факультативе так вчера стояли».— «В платьях?» — удивилась я. «Зачем же такие крайности? У нас перед этим физкультура была».— «Тогда — зачем?» — «Он сказал, что мы слишком возбуждены для умственной работы. Надо слегка отстояться»,— снисходительно объяснила Машка. «И отстоялись?» — «Вполне».— «Он, что же?..» — «Отлично стоит,— похвалила Машка.— Он еще — ничего». Гм, с ними Вы не закомплексованы, я бы даже взяла на себя смелость заметить — с ним-то Вы свободны. «А чего на факультативе?» Главное, интереса не выдать. «Ты не поймешь,— значит я все-таки себя выдала, с Машкой надо поосторожней, приблизительно — как с бешеным скунсом.— Разбирались с иррациональными числами. Ты как относишься к иррациональным числам?» — «С почтением»,— скромно сказала я. Но опять не угодила. «Непродуктивное чувство»,— отрезала Машка. «Зато — кроткое»,— защитилась я. «Кроткость хороша для коровы, но не в науке». Так, спасибо. «Это он говорит?» — «Это я говорю»,— высокомерно объявила Машка. Права, между прочим. Про коров, правда, тоже не уверена. Ну, этим пусть займутся этологи. «При Пифагоре считалось, что диагональ квадрата со стороной единица длины не имеет. Представляешь?» Все-таки Машку тоже распирало. «Подумать только!» — фальшиво удивилась я. «Не знали иррациональных чисел»,— отчеканила Машка. «Бедные. И как же они?» — «Зря смеешься»,— вдруг обиделась Машка...

А я и не смеюсь. Просто приблизительно такой разговор я уже помню — был при мне, кажется, в девятом классе. «И какие же возможности были применительно к этому факту у ученых того времени, как вы считаете? Кстати, эти же возможности — ни больше и не меньше — есть и у нас, в жизни и в науке. Первое. Скрыть этот факт. Второе. Ввести новые числа. Третье. Сменить философскую систему. Что предпочитаете, Олег?» — «Скрыть...» — «Молодец, далеко пойдете. Но скучно. Ты, Мишка?» — «Я бы сменил систему».— «Это сложнее». Все-таки учитель не может не повторяться, вопрос в длительности цикла и количестве модуляций.

«И что? ты бы сменила систему?» — «Какую — систему?» — удивилась Машка. Память у нее в порядке. Значит — там был какой-то другой поворот, не все так просто, Раиса Александровна! «Так, это я — себе». Машка не придралась, у нее было — оказывается — еще захватывающее сообщение. «Репецкий на факультатив опоздал. На целых две минуты! Представляешь?» — «Представляю»,— сказала я. Машка всюду и всегда опаздывает, это у нее — от меня, генетика. «Влетает, такой хорошенький! Пришлось ему сорок три минуты в коридоре гулять...» Узнаю Вашу непреклонность, Вы и через двадцать секунд не пустите. Глупо, по-моему. И тон у Машки какой-то — снисходительное пренебрежение. «Повезло. Отдохнул». Машка посмотрела на меня как на клиническую идиотку. Надо же, чего Вы добились! Чтобы дочь моя считала двухминутное опоздание на какой-то там факультатив проступком, достойным осуждения, и свободу на лишние сорок три минуты — не заслуженным отдыхом, а черт знает чем! «А ты не опоздала?» — «Я? — у Машки лицо даже вытянулось.— На факультатив по математике?» Вот это — да!

«А еще чего хорошего было?» — «Ничего не было»,— охотно сообщила Машка. Может я, конечно, слегка и кривила душой на Вашем открытом уроке, объясняя направо и налево, что у нас в школе все учителя — такие, но ведь, насколько я помню, у Машки была сегодня и литература. Я не берусь осмысливать Маргариту — как явление, даже и не замахиваюсь, я о ней вообще пока не говорю, мне и Вас — за глаза и за уши. Но все-таки. «А Маргарита Алексеевна?» — «Ничего нового,— Машка передернула плечами.— Достоевский. Переругались. Мне Свидригайлова жалко, а Севка Михеев говорит, что он — гад, он бы его с лестницы спустил. Тебе жалко Свидригайлова?» — «Не знаю»,— сказала я, подумав. Честно говоря, ничего не вспомнила личного из наших со Свидригайловым отношений, мы безлично знакомы. «„Преступление и наказание“» не читала?» — съязвила Машка. «А ты-то читала?» — «Половину еще,— честно призналась Машка.— Нам Маргарита Алексеевна читала».— «Вам легче».

Ничего им не легче, знала я. Для меня уроки Маргариты такая душевная перегрузка, что я порою действительно не понимаю, как дети-то это переносят. Эту густоту, свежесть и изобилие. Их, видимо, спасают молодые силы и ценкость абсолютного неведения. На них ложится, как на чистую доску, ничего не нужно стирать, что там уже бессмысленно и глубоко накорябано за прошлую жизнь. А главное,— убеждена Маргарита,— научить их читать. Понимать текст, чувствовать текст, оценивать текст, наслаждаться текстом. Этому обычно не учат. Как-то уж так повелось — раз буквы складываем в слова, значит — читаем. А Маргарита может за полтора часа прочитать со своим девятым «Войну и мир», и ты будто жизнь прожил с каждым героем, никогда уже никого не забудешь и никогда от них не отделаешься. При мне она сорок пять минут вслух читала Шекспира и я вдруг узнала Шекспира пронзительнее и глубже, чем за всю свою предыдущую жизнь. А училась все-таки на филфаке. И в театрах что-то смотрела. И, вроде бы, думала, что — смотрю. Но у Маргариты какой-то дар вытаскивать мысль, не порушив оной, образ, не сбив пыльцу, линию, сохраняя при этом все многообразие геометрических форм — и по Риману, и по Лобачевскому. Много раз после ее урока я жадно кидалась к знакомой, вроде, книге, чтобы убедиться — что там это действительно есть, то, что Маргарита мне на уроке открыла. Иногда — это было, иногда — в книге было меньше, вот дикость-то. Она умеет извлечь больше, чем

автор туда вложил, если автор — не Шекспир, не Достоевский, не Пушкин. Значит, и в литературе — объяснить не обязательно снизить? Чего же я кидаюсь на «ведов»? Но Маргарита не объясняет, а именно — вслух и вместе с классом — читает. И процесс этот заразителен и непостижим, в рамки чтения уже не укладывается. «Ребенка надо не научить, а заклясть», это — Цветаева. Значит — уже заклятие, что ли?..

Неубедительно. У меня, а не у Маргариты. Нарушаю основной, единственно чтимый мною для прозы закон: рассказываю о́, а не показываю и́з. Бездарно «ведаю». Урок Маргариты и Его урок — тоже «случайные» тексты, нужно столько же слов и слова такие же — чтобы передать. Значит — только кино, только пленка, заснять от первой до последней минуты и, кто готов понять и почувствовать, тот почувствует и поймет? А что же они-то понимают? Машка моя?

«Ну, привыкла ты к этой школе?» — «Нет»,— сразу сказала Машка. И все ее оживление мигом потухло. «Но ведь — интересно?!» — «Нет»,— сказала Машка. Она с девятого класса перешла, в какой-то степени — померяться с Ним характерами, много наслышалась, это я понимала, но ведь — не только поэтому. «Как это — нет? — заорала я.— Почему?» — «Потому, что все всё время пристают»,— хмуро сказала Машка. «Ну, и сидела бы в прежней школе, где к тебе никто не приставал. Ты же твердила, что там тебе скучно, неинтересно, невыносимо, не соответствует твоим высоким требованиям, твоим высоким возможностям и желаниям!» — «Значит — ошиблась,— холодно ответствовала Машка.— Я хотела туда вернуться. Ты же мне не дала».

Да, было. Она еще в середине сентября заявила, что желает забрать обратно документы, ей без родителей не отдают, пусть бы я мимоходом заглянула в канцелярию и забрала. «Это еще почему?» — удивилась я. Хотя, имея дело с Машкой, пора бы уже научиться — ничему не удивляться. «Я там по уровню не подхожу...» Это ее заявление мне чрезвычайно понравилось. Ага,— подумала я злорадно,— наконец-то самолюбие пробудилось, привыкла, что все дается само собой, ни черта не готовить и хорошие отметки иметь, а тут этот номер не проходит. Малость придется перестроиться. «Ничего, подойдешь»,— сказала я. «Я уже в старой школе была,— безразлично доложила Машка.— Берут. Даже обрадовались...» — «Я-то думала — ты на завод, куда-нибудь на мартен».— «Мне только пятнадцать»,— скромненько напомнила Машка. Но глаза сделались — синий лед, я такую Арктику знаю. «Забери, пожалуйста, мои бумажки. Я завтра в старую школу уже пойду».— «Ты — серьезно?» — Вопрос — чисто уже риторический. «Вполне».

Мы замолчали надолго. Только Айша под столом чесалась и стол ходил ходуном. «А ну прекрати чесаться!» — не выдержала в конце концов Машка. «Вот что, доченька,— нормальные ласковые слова у нас в дому почему-то испокон таят в себе элемент угрозы, тоже мне — издержки образного мышления.— Возвращение — всегда плохо. Возвращение туда, где сам же все хаял, вовсе уж неблаговидно, возвращение в конкретной ситуации — отступление. А кто в жизни один хоть раз отступил, тот никогда ничего не добьется. Понятно? Это я так считаю, твоя мамуля. Я тебя в эту школу не тащила. Я бы лучше сама ходила. Ты мне там можешь только помешать. Подозреваю, что золотой медалисткой ты не будешь. Без труда не вынешь и рыбку из ведра».— «Я туда больше не собираюсь»,— вставила Машка. «Это твое дело»,— сказала я. «Не возьмешь документы?» — «Возьму хоть завтра. Только писать заявление в девятый класс никуда больше не буду».— «А что же мне делать?» — «Иди в училище».— «В какое?» — «Какое выберешь. Работ на свете много».— «Понятно».

И почти три недели Машка в школу не ходила. Никаких объяснений у нас больше не было. Позиционная война. Утром я говорила: «А-а-а, ты дома?» — «Да, дома».— «В магазин сходишь?» — «Схожу». Вот и все разговоры. Математику она, правда, делала, по-моему — из чисто спортивного интереса. Мое терпение, по правде сказать, было несколько на исходе. Вдруг встала

утром, а Машки — нету. Является: «Где это ты была, моя рыбка?» — «Где еще? В школе».— «И как?» — «Нормально...»

Потом, вроде бы, втянулась...

«А зачем ты вообще пошла в девятый класс?» — заорала я сейчас. Вопрос этот — не больно честный. Еще в восьмом (и лет этак с трех вообще) Машка имела твердую жизненную ориентацию — что, куда, зачем. Но летом я сдуру потащила ее в экспедицию на Иссык-Куль и Тянь-Шань, чтобы она укрепилась в этой своей уверенности, и вдруг все — наоборот — разлетелось к черту. Я думала — восстановится. Но у Машки ничего никогда не восстанавливается, если уж попорушилось. Может, я как раз своевременно потащила ее в экспедицию, может — потом было бы еще хуже. Но сейчас ей от этого не легче. Лучше уж вовсе не иметь, наверное, определенных пристрастий, чем ни за́ што ни про́ што потерять их как раз тогда, когда самое время заняться чем-то серьезно. Поэтому она сейчас мой вопль как бы даже и не услышала.

«Все кругом пристают, а я не знаю — зачем мне это надо. Зачем мне эта зануда Сонечка Мармеладова? Зачем мне рибонуклеиновая кислота? И додекаэдр с тетраэдром? Или климат в Антарктиде? Или Нерон, который смотрит сквозь стеклышко на пожар и читает стихи Окуджавы?» — «Окуджаву не тронь»,— сказала я механически. «Ну, Лукреция...» — «Но ведь интересно же!» — «А зачем?» — «Ну, для общего развития хотя бы».— «А зачем мне общее развитие?» — «Машка, это пройдет!» — «Что — это?» — «Это! Найдешь себя...» — «Кто меня потерял?» — «Отстань. Сама же и потеряла».— «Когда?» — «Позавчера, через месяц, завтра. Откуда я знаю. Найдешь. Все находят».— «Именно что — не все».— «А ты — найдешь».— «А если не найду?» — «Само-то на голову не свалится. Шевелиться надо, лезть внутрь — там всегда интересно».— «Что — интересно?» — «Всё. Люди, книги, небо, червяк по тротуару ползет. Очень интересно. Мозги. Правый мозг, левый мозг. Учиться!» — «А зачем?» — «Чтобы было интересно!..»

Дурацкий, бесконечный, бессмысленный разговор. Но жалко же ее, дуру. Не дура ведь.

Нет, я не антропоморфист, поняла, я скорей — пантеист. Как Эразм Дарвин. Или Гёте. У нас с Гёте небольшая разница только в масштабе.

Кругами какими я хожу вокруг школы, кругами, кругами. Но я как раз в этих своих кругах идеальная модель «обреченного атома» Резерфорда, вполне планетарная, с летящим по эллипсу электроном, который — в неостановимом лёте своем — непрерывно теряя энергию, должен необратимо свалиться внутрь себя, на ядро. Ядро — это школа. Электрон — это я. Но ведь, как всякому интеллигентному человеку теперь известно, электрон все-таки не свалился, физики помешали.

Из Пензы папу перетащил за собой академик Сюкин — в Орешенки, под Москву. Сюкин был «опальный», так говорили, «ему оставили в Орешенках паршивенький институтик, фактически — лабораторию, швырнули все-таки кость, чтобы Сюкин подавился», так говорили. Но Сюкин и не думал давиться. Он был маленький, быстрый, ходил всегда — в белом, похожий издалека на белого гуся, лохматые брови, четкая щеточка усов, много смеялся, смеясь, приподнимал верхнюю губу, будто щерился, и отчетливо блестели мелкие, молодые, грызуньи зубы. Академик был стар. Одинок. Детей не любил. Никогда не разрешал даже заходить в здание института.

У себя, на зеленой даче, как все именовали дом Сюкина, разводил георгины, только — красные, всех оттенков красного. Сюкин сам поливал свои георгины из лейки и лейка была громадная, почти с него — ростом. Академик размахивал этой гигантской лейкой легко, наклонялся к георгинам, что-то им говорил, было неслышно, вдруг громко смеялся и, черпая воду из бочки прямо лейкой, хоть она в бочку едва влезала, резким высоким голосом распевал всегда одно и то же: «Все выше, и выше, и выше!». Дальше слов не знал, не пел дальше никогда.

Таких головастых георгинов нигде больше в округе не было. Витька Прокофьев, хулиган, он даже школу уже бросил, совсем — пропащий, хотел как-то забраться к Сюкину и надрать георгинов для Вероники Сьяновой, она Витьку подначивала. Но даже Витька не решился, даже Витьке «было слабо». Ходили слухи, что академик когда-то служил в разведке, не в эту, конечно, войну, а неизвестно когда, может — в войну с Наполеоном, имел именное оружие, имел разрешение стрелять, когда надо, и что по ночам он обходит свои драгоценные георгины с этим оружием, только и ждет случая, чтоб пустить его в ход. Ночью у Сюкина всегда горел в окне свет. Сюкин не спал никогда, так говорили. Толком не у кого было узнать, ибо взрослые на вопросы о Сюкине отвечали неохотно. Тоже, видать, его боялись.

В маленьком флигеле при зеленой даче жил, правда, Горе-Боре со своей матерью, никакие не родственники, а неизвестно — почему. Но Горе-Боре открывал рот только на уроке, когда его вызывали, учился отлично, был на две головы выше всех в нашем классе, сутулился, носил очки, Горе-Боре был переросток, пропустил в оккупации два учебных года, вообще в оккупации — не учился. Когда кто-нибудь из нас к нему приставал, он только краснел и медленно опускал ресницы, ресницы у него были белые. Горе-Боре был таким безответным, что по дороге в школу, куда нас за три с половиной километра возили в курносом институтском автобусе, мы — от нечего делать — привязывали его сзади к сиденью. Пока привязывали, Горе-Боре не шевелился, краснел, делал вид, будто он ничего не замечает. Возле школы мы дружно вываливались из автобуса и убегали. А шофер потом отвязывал Горе-Боре и Горе-Боре часто опаздывал к началу занятий, но не помню, чтоб кто-нибудь из учителей хоть раз сделал ему замечание. Он тихонько открывал дверь, входил на цыпочках, пробирался вдоль стенки на свое место и садился на самую последнюю парту.

Мать Горе-Боре говорила по-иностранному, папа мне сказал — по-французски, будто бы Горе-Боре даже родился во Франции и понимает, что говорит его мать. Проверить это было невозможно, мы в школе учили немецкий. К Горе-Бориной матери регулярно приходил во флигель милиционер. Возможно, она с ним занималась французским языком. Милиционер сидел там недолго, был — видимо — к языку способным. Если Сюкин сталкивался с милиционером у себя на участке, то что-то длинно и отрывисто ему говорил. И так щерился верхней губой, что казалось — академик этого милиционера сейчас укусит. А милиционер был тихий, покладистый, пожилой, очень стеснялся Сюкина и в магазине всех всегда пропускал без очереди, стоять в очереди после него — значило стоять вечно. Он сам все покупал, у него была больная жена, милиционер ставил ей на солнышке кресло и выводил ее под руку. Было не очень понятно, зачем ему при таких заботах еще французский язык.

Я как-то спросила папу. Он сперва не понял. «Что? Уроки берет? — папа захохотал.— Неплохо придумано! Какой — однако же — в самом детстве изначально заложен прекрасный, сохраняющий душу, механизм! Мусенька, ты послушай!» — «Я слышу, Саня»,— мама сдержанно отозвалась. «Нет, это — здорово. Надо непременно Герману Георгиевичу рассказать!» Это было имя-отчество Сюкина, но за глаза его мало кто так называл, говорили обычно: «Наш». «Ага, ты и ей поскорее расскажи, у тебя ума хватит»,— сердито посоветовала мама. «Ума у меня достаточно,— сказал папа.— Никаких уроков, Раюша, он во флигеле не берет, там — свои рабочие дела, а соваться в чужие дела — неблаговидно».— «Очень исчерпывающе объяснил»,— хмыкнула мама. Но, кажется, была довольна.

Иногда, довольно — впрочем — редко, Сюкин ездил в Москву и всегда брал с собой Горе-Борину мать. Говорили, что «Наш только зря рискует». Никакого риску тут не было, потому что мать Горе-Боре, хоть и была с виду хилая, прекрасно ходила сама и уж во всяком случае — вряд ли могла быть для академика большой обузой. В Москве они ночевали и возвращались обычно на другой день к вечеру. Из Москвы Горе-Борина мать приезжала с покупками, мне она привезла байковый костюм, о котором я мечтала, такой же — как у Вероники Сьяновой, и шапку с ушами. Мы были в курсе этих поездок, так как Сюкин и мать Горе-Боре всегда ехали до города в том же кургузом институтском автобусе, рейсовых тогда — не было, нас высаживали у школы, а их шофер довозил прямо до электрички.

В такие дни можно было не сомневаться, что наш автобус обязательно придет, часто же мы ждали его напрасно, автобус был древний, почти, как мраморные львы, только — серый, ломался он часто. Тогда приходилось и в школу идти пешком, вдоль реки, через лес, через два оврага и потом еще долго-долго вдоль сплошного забора, за которым никто не знал — что, только собаки лаяли. И дальше уже начинался длинный подъем и первые — городские — дома. Из школы-то мы всегда ходили пешком, это было привычно. Хотя поодиночке ходить все-таки не любили, всегда ждали друг друга. Во втором овраге, говорили,— «шалят», с кого-то — разные называли фамилии — сняли часы. Часов у нас ни у кого не было. У нас в классе только у Горе-Боре были часы, ему Сюкин их подарил на день рождения, но Горе-Боре в школу свои часы никогда не носил.

Из Москвы Сюкин возвращался всегда веселый, подолгу гулял с папой вечером в парке, мы в парке тогда даже и не играли, можно было ненароком напороться на Сюкина. Я однажды налетела вот так из-за кустов, выскочила за мячом. Ничего страшного, правда, не произошло. Мяч выкатился прямо ему под ноги. «Ты — кто?» — живо вдруг сказал Сюкин и цепко схватил меня за руку. Было известно, что если ему попадешься на глаза, он говорит: «Цыц, мелкота!» И сразу проходит. Только ощерится — и ничего такого. «Ты — кто?» — сказал он. Это было не по сценарию и я промолчала. «Какой трусливый мужчина — однако — попался»,— вдруг сказал Сюкин. У него глаза, оказывается, были зеленые и среди зелени — черная черточка зрачка. Глаза были нестрашные, пожалуй — даже задиристые. «Я — Рая»,— сказала я почему-то басом. «Как это — Рая? — он засмеялся, ощерясь, вздыбилась щеточка усов и блеснули грызуньи зубы.— А-а-а, прошу прощения, Раиса-крыса!» Дальше потом никто не верил. Академик Сюкин, который детей решительно не выносит и только что — их не ест, что всем доподлинно известно, вдруг показал мне язык и так ударил носком ботинка по нашему мячу, что мячик дал вверх свечу небывалой мощи и навеки исчез в бузине, мы его только через неделю потом нашли. Когда Сюкин возвращался из Москвы, говорили: «Наш опять кричал на Трофима», так говорили...

Вчера против дома выклюнулся черный камень — прибыль воды тридцать сантиметров, сегодня утром — прорезался галечный островок — двадцать пять сантиметров. Вода в Печоре падает. Ночью она теперь стучит дробно, а при большой воде шум реки ритмичен и слитен. Я сижу на корточках возле воды. Гляжу, как в ее прозрачности призрачно, словно тени, роятся вандыши, мелкая рыбешка — с палец, они же — гольян. Ночью опять был иней, как почти всякую ночь. Хоть и начало августа. И сегодня будет. Солнечно и прохладно, ни комаров, ни мошки́. А позавчера вдруг обдало летним почти теплом и мошка́ сразу взъярилась. Счастье, потом пронесло вдруг мгновенным градом и опять мошки́ нету. Ветер упруг и вертляв, так и гуляет, восток, северо-восток, юго-восток. И снова ползет с гор кучевка, пышная, густая, как гарь. На острую верхушку иссохшей ели накололась ворона и болтается на ветру. И еще ворона. Эта купается почти рядом со мною, окунает в реку лицо и вроде даже обтирается крылом. Переступила поглубже. Теперь — похоже — голову моет, встряхнулась, подумала, расставила шире крылья и задрала голову к небу. Сушит. Далеко внизу стучит и стучит мотор,— это новый лесник Валера добирается к нам с Притыка, тут даже на «Ветерке» двадцать пять минут ходу, от силы, мотор — неровно, порой и вовсе смолкая — стучит эдак уже побольше часу, и все еще далеко — за Ведьминым крутом еще. Снова — значит — что-то у Валеры с мотором, опять Шмагин будет возиться, разбирать...

«Чего сидишь, как вондырь?» — Катерина спустилась по воду, хочет баню топить. А чего я, действительно, сижу, как вондырь? Катерина тронула ледяную воду ногой, понравилось, зашла по колено. «Ждешь?» — догадалась, наконец, ответить за меня Катерина. Она лесник, лихо ходит в тайге. А тайга тут холодная — ель, болотины, замшелые кедры, холодная — в смысле чисто

душевном, свету в ней мало, темь, темная тайга, буйно растет и буйно гниет, ходить по ней, эх... Вот уж не думала, что эту неприветливую тайгу полюблю. «Жду»,— согласилась я. «А больше — нечего делать?» — «Нечего»,— согласилась я. «А чего же с ним не поехала?» Шмагин сетки пошел глядеть, на шесте. «Без него хотелось побыть...» Правда, думала — поброжу одна. «И чего же?» — «Вот видишь. Уже жду».— «Интересная у тебя занятия»,— засмеялась Катерина. Набрала полные ведра и легко побежала наверх, к кордону, баня уже дымилась.

Интересная, ага, да, ничего себе, как, конечно, взглянуть.

Вода падает. Еще день-два промедлят там, на центральной усадьбе заповедника, и кээска, пожалуй что, не пройдет. Хоть она — и понтонная, сидит мелко. А на этой кээске мечтает выбраться на большую, так сказать, землю целое семейство с кордона, что выше нас по реке еще почти на тридцать километров. Там уж давно связали узлы, вторую неделю на них сидят, малых детей заматывают да обратно к ночи разматывают, корову в тайгу не пускают, чтоб далеко не удрала. Пропустила на рации, какая у них вода...

Мысли лишь местные, никакой другой жизни у меня никогда не было, я ее не помню, мне ее не надо, зачем она мне?

На камнях, серо-голубых, обросших зеленым мхом, бродят пепельно-серые, с голубизной, легкие трясогузки, кого-то еще находят среди камней, камень держит еще тепло. Вместе со мной сидит и ждет Владьку Шмагина рыжий кот Монстр, именуемый в быту панибратски: Моня. Монстром Владька его величает, когда недоволен Моней или хочет серьезно побеседовать об жизни. Монстр вообще неразговорчив. Мать его в ледоход утонула, воспитала Монстра собака, кошачьего языка он не знает, считает себя — по национальности — псом, охраняет кордон вместе с Катерининой сучкой Лебёдкой, которая — крупная лайка, и когда Монстру позарез нужно все-таки высказаться — он вроде тявкает, мяуканьем это уж никак не назовешь.

Раз как-то с «Глухой кукушки», это ближайший кордон, до него берегом да тайгой около восемнадцати километров, прибежал к Лебедке знакомый кобель Ушлик, прибежал он запросто и без церемоний, будто его позвали на пироги, легко скатился с бугра и потрусил напрямик к Шмагинскому дому, где Лебедка с Монстром лениво, от полного и утомительного безделья, догрызали тетеревиные косточки. Лебедка как раз свирепа, чужого уж не подпустит. И на Ушлика сперва рыкнула, но, видно, женское ее естество притомилось в кордонном одиночестве, она расслабилась сердцем и даже, возможно, завиляла хвостом. Но она забыла про Монстра. Тот сперва просто остолбенел от нахальства Ушлика и женской продажности Лебедки. Он знал Лебедку с рожденья и, видимо, такое ее недостойное поведение было для него серьезным ударом. Потом он подпрыгнул, как молодой барс. И беззвучно вцепился всеми когтями Лебедке в морду. Та — могла его лапой перешибить, ибо Монстр силен, но хрупок и невелик. Как любит говорить Владька Шмагин: мышца много не весит, ударение на последнем слоге: мышцá. Но Лебедка завизжала. И отскочила. И побежала к своему дому. А Монстр летел за нею и давал ей пинков, тычков и, по-моему, даже кусал ее в зад. Ушлик его не интересовал. Монстр его раньше тоже видел и не думал, что этот Ушлик разграбит кордон, передушит овец и угонит моторку с поросенком на борту. Он просто стоял за твердый порядок, за твердые принципы, за единство наших рядов...

Гладить Монстра нельзя, он этого не любит, петь и тереться об ноги, как городские кошки, он не умеет. Шерсть у него — как на яке, длинна, дремуча, густа. Называть его «Моня» тоже, наверное, нельзя, фамильярности он не любит, права на это мне не давал. Я и не называю. Глаза у него — как цветок кровохлебка, которой тут много по берегам, обжигают багряным светом, зелень, если и есть, притушена и размыта. Молоко Монстр презирает, пьет только холодную воду, чем холоднее — тем лучше, лакает ее беззвучно, ни одна капля с усов у него не упадет, аккуратен, а когда напьется — лицо у него довольное и по нему бродит словно улыбка...

Исподтишка наблюдая Монстра, я думаю только, сколь скудна и убога жизнь наших комнатных кошек, про необыкновенные умственные способности коих мы так любим пощебетать. Самостоятельность их иллюзорна, верх

независимости — не отозваться на зазывный хозяйский лепет с батареи центрального отопления. Правда, знавала я одного кота, который, будучи жестоко и понапрасну оскорблен главой дома, скидывал с антресолей банки с вареньем, метя хозяину в темя, но точно рассчитать не умел, не попал ни разу, зазря перевел варенье и, наконец, отвел душу, навалив главе дома в сапог, что — несомненно — слишком мелко для истинного джентльмена. Монстру такое и в голову бы не пришло.

Сперва я, как бездарный психолог, Монстра не оценила. В первый свой день на кордоне пошла пройтись до ближайшего покоса, где стоят местные — длинные и узкие, чтоб легче провеиваться ветрами, стога, величаемые «зароды». Ели были темны в прямом солнце, кедры могучи и волосаты, камни дики, черничник велик и крупен, средь кочек парились, засыхая, медвежьи, теплые еще кучи, глухари взмыли, вращая крыльями, как вертолет, вдруг открылось болотное окно, глубины безоглядной, оно всосало все небо, осока торчала, как меч, а на шиповнике висели ягоды, каждая — с ребячью голову, смотреть даже страшно, грибы паслись стадами, белые, красные, многих я не знала в лицо, пробежал лось и брезгливо фыркнул на меня. Очень первооткрывательно было и первозданно.

Достаточно далеко я заметила, что за мной увязался котик. Теперь-то я понимаю, что Монстр и не думал за мной увязываться, просто наши пути в тот день случайно совпали, а может, это я за ним увязалась, он наверняка так считал. Меня удивило, как легко и небрежно он скачет через поваленные стволы, тут ведь — сколько растет, столько и лежит, это не парк. Болото он пересек напрямик, сигая с кочки на тонкие жердинки и опять же — на кочку. Я — предусмотрительно — обошла. Но в чапыжнике, это — непролазное мелколесье,— за болотом мы с котиком опять встретились. Я думала, он давно уж повернул к дому. Только бы не потерялся,— подумала я тогда,— пропадет. Звать его стала: «Кис-кис!» Монстр этого призыва не знает, ему нужно резко свистнуть разбойничьим свистом, тогда он повернет ухо, если захочет. Мне это было неведомо.

Возле зародов котик мой вдруг исчез, как провалился. Я бегала, искала, ждала. На кордон возвращалась с виноватой душой, не знала, как уж буду оправдываться. Владька сидел в конторе, при рации. Вид имел отрешенный. Из рации рвались космические шумы, потусторонний треск, странные шорохи, где-то крошилось пространство, ежилась вечность, вдруг прорезался кашель и вроде — насморк. «Василь Гордеич! — гортанно и властно закричал Шмагин.— Как вода? Растет?» В рации вдруг страшенно бабахнуло, небось — взорвалась нейтронная звезда. Или — взрыв сверхновой. Радиоволны качнулись, обуглились, и стало пронзительно тихо. Полнокровно пропел рядом комар. Снаружи донеслось внятно: «Ты как накинул, углáн?! Ты же юзом его потянешь, а надо — катом». Это уж — точно: Валере, новому леснику. Из реки поднимали сейчас баланы, для чего мужики собрались со всех окрестных кордонов, а «балан» — это часть хлыста, из хорошей сосны выйдет три балана.

«Прием,— в пустоту сказал Шмагин.— Прием». И рация вдруг покладисто отозвалась насморочным голосом: «Вода — хорошо. Выросла. На „Жабе" — подъем семьдесят сантиметров, „Черный мох" — шестьдесят. У вас — как? Прием!» — «Обормот» — сорок, у нас — тридцать пять. Перестала расти. Падать будет быстро. Солярку жду. Как поняли? Жду солярку!» — «Позавчера утром вышли с соляркой...» — «А где же они?» — «Дьявол их знает, Васильич! Кукуевку — не проходили, с Кукуевкой была связь. Пьют — наверно — в Нунье. Как понял? Прием!» — «Понял. В Нунье магазин вторую неделю закрыт. Прием!» Рация помолчала, соображая. «Тогда — в Сябино, значит, засосались, в Сябино продавщица непьющая, там открыто». Деловая беседа наладилась, эфир только мягко подрагивал и слегка шипел. «Понятно. Потом засядут на Обормоте».— «Снимешь»,— оптимистически заметила рация. «Чем?» — заинтересовался Владька, обычно у него в голосе эмоций немного, стерильная властность и железная логика. «Руками»,— сказала рация. Самое смешное, что приблизительно так потом и было, только у Шмагина руки, как редко бывает, напрямую связаны с головой, вот его отличитель-

ная особенность. «Геологи вертолет ждут, два раза лагерь меняли».— «Это — не наше,— отмела рация.— А чего они скачут?» — «Поскачешь, коли затопит. Передай там. Прием!» — «Передам. Где — теперь?» — «На Мелком ручье, за Черепом».— Рация высморкалась в космической тишине. «Череп-то хоть нашли?» — «Нашли. Твой. Конец связи».

Владька отвалился от стола и прислушался к шумам местной жизни. «Еще вали, дотащит, здоровый!» — долетело снаружи. «Мерина замордуют,— заботливо сказал Владька, прислушиваясь. Крикнул в окно: — Эй, там,— полегче!» В окно было видно, что баланы уже выкатили на берег и теперь смирный мерин Тёпа на волокуше потащит их к кедрам, через кордон, где потом будут ставить сарай. «Я, кажется, твоего кота потеряла»,— решилась я наконец сказать. «Где?» — безмятежно поинтересовался Владька. «Он за мной в тайгу увязался...» — «А-а-а, Моня пошел в обход...» — «Какой — обход? Ты не понял».— «Понял. В обход своего участка, Моня знает — в какой. Как же, потеряешь его, разбежалась!»

Монстр вернулся на третьи сутки, мы ушли уже на лодках в верха. Монстр несентиментален и редко снисходит до участия в проводах. Печаль расставания, значит, неведома его мужественному сердцу. Думаю, ничто в мире не может исторгнуть слезы у Монстра. У Владьки — тоже, пожалуй. Помню, я сдуру разлеталась к нему: «У Катерины опять с Игнатом скандал. Нет, она ничего не говорила. Но она сидит за кордоном, на берегу, где сыпучка, плачет и швыряет вниз, в воду, здоровенные камни, вся река уже в вондырях. Может, чего-нибудь нужно делать?» — «Раз плачет — ничего не нужно,— ответил Владька.— Всухую — страшнее». Зато радость встречи Монстр чтит. И Шмагина он встречает всегда на берегу. Причем, я заметила, что долго Монстр никогда не ждет, он приходит чуть загодя — как на вокзал, где известно расписание поездов. Может, слышит мотор раньше уха людского, как скорпионы или морские анемоны слышат подспудные гулы приближающегося землетрясения. Раз Монстр сидит сейчас рядом со мной, невнимательно щурясь на играющих в прозрачной воде вандышей, значит, Владька уже где-то близко. Сейчас взревет за поворотом мотор, длинная лодка легко скользнет в нашу боковую протоку, мотор смолкнет, черная лодка длинно и точно разбежится к большому камню, Владька чуть еще толкнется шестом и соскочит на берег в четко предначертанном месте. Не знаю, как — Монстр, а я сразу пойду за Владькой, как тень, куда угодно и навсегда.

Пойду яму в огороде копать («картофельные ямы хорошо отделать черной ольхой»), снаряжать на заднем крыльце патроны («как снарядишь, так и поохотишься»), сплавлять старую кедру через Обормот («давно лежит, вон — сучки замылились, топором, еще — топором, что-то, вроде, держит, пошла!» Кедр — только женского рода — всегда: «кедра»), выбирать еловый корень для тугуна («тугуны» — это стяги у местной лодки, Шмагин делает лодки сам. «Нет, какая же плоскодонка? В ней, гляди, есть развал»), ставить зароды («выше поставишь, ниже возьмешь», его вилы даже просто поднять тут никто другой не может), шариться по болотам, где какая живность, по бобровым речкам («черемуху они не едят, это молодые тренировались, вон — зубы-то мелкие), где бобры и сколько («это сразу забудь, мы тут не были, их тут нету»), продираться сквозь непродираемую тайгу, сквозь завалы непролазные («через клепину ногу заноси вбок, прямо — ноги не хватит, голый балан, без коры да мха,— всегда скользкий, на него не наступать»), лезть в горы (снегу по щиколотку и убойный ветер), пойду в воду, в огонь и в медные трубы, куда угодно и навсегда, и никогда об этом не пожалею. Я всюду пойду только за Владькой Шмагиным и только за ним одним, на мне его резиновые сапоги, его байковые портянки и его суконная куртка с капюшоном. Я не помню своего имени, роду и племени, у меня нет возраста, дома, дочери, прошлого, я в городе никогда не жила, книг никогда не читала, тем более — их писать, я тут родилась, в этой темной и вездесущей тайге, у костра, и Владька сам принял эти роды, он умеет, и меня взрастил. Я теперь его тень, его собака, рука, нога, его гортанный и вечный голос, приклад его верного ружья, стамеска в его чутких пальцах, лист в его волосах, соринка в его глазу, если эта соринка ему мешает — я исчезну, чтоб не мешать, и меня никогда и нигде не будет...

Ух, долго еще потом, в Ленинграде, еще несколько месяцев, как только глаза мои нехорошо взблескивали и голос вдруг садился, Машка кричала: «Мама, только — не Шмагин! Убью!». Если я могла сдержаться, то сдерживалась. Но еще долго я не могла.

Мне с Владькой Шмагиным — повезло. Мне, честно говоря, на людей вообще везет, хоть есть у меня абсолютно дурацкая слабость: я могу иногда забыть и простить поступок, но слов — не забываю никогда. Поэтому я всю жизнь ошибаюсь в людях. Но делаю это бескорыстно и вдохновенно. Даже ошибка, можно сказать, все равно доставляет мне удовольствие — уже даже моментом обольщения. Все-таки самый ошеломляющий и прекрасный продукт жизни — люди. Но так, как с Владькой, и мне везет редко. Владька тем для меня несравненен и внеконкурентен, что он, человек неистового дела, и секунды не умеющий без живого дела прожить, мог объяснить всякое свое — даже мельчайшее — движение, его смысл, его потаенную суть и даже его красоту. Владька владел еще и даром слова и был по-настоящему щедр. Необходимость непрерывно рассказывать, что он делает, показывать — как, объяснять — зачем и что отсюда последует, ничуть не раздражала его и не тяготила. Он терпеливо следил, как бездарно и тщательно я все это сама потом пыталась произвести,— прицеливаюсь рябчику именно в голову, рябчик сидел смирно, как курица, но я все равно промазала, разжигаю нóдью, ни черта все равно не получилось, толкаюсь шестом па меляке, представляю — грациозность этой картинки, хоть лодка, куда ей деться, двигалась.

Он никогда не задавал мне глупых вопросов, на кой черт мне обязательно нужно знать, что нордосмия, водяной лопух, что полощется на длинной своей ноге сплошняком по Печоре, не просто увядает таким кричаще-кирпичным цветом, а поражена по осени ржавчиной и это ржавчина так проступает с тыльной стороны листа, зачем надобно мне мгновенно отличать павшую кедру от павшей, к примеру, сосны, сосну отличают по спиральности сучьев, есть — по часовой стрелке, есть — против, сам ствол тоже иногда закручен, а отчего — неизвестно, по-моему, это должно бы заинтересовать специалистов по симметрии, почему мне позарез надо видеть, как белка-летяга проносится в сумерках с лиственницы на пихту и даже нюхать ее помет, издержки любознательности, приставать к нему — из чего делают сани (из березы и стоит это по наряду двенадцать с полтиной), лыжи (из сосны или ели), крепления к лыжам (из рябины, угомонись, она — самая гибкая, вырезают рябиновый пласт, закручивают, перед тем, как делать, суешь в кипяток и рябина вновь становится мягкой и гибкой), что такое «шероха» (Катерина при мне случайно сказала, это льдины перетираются в крошку и между ними — «шероха»), как оползает с крыши снег по весне (Это называется «тáло» — вдруг враз: ш-ш-ш... Тихо. А потом балки расправятся и весь дом будто вдруг вздохнет: ааах... Эх, отлично это Шмагин показывал, как дом, вдруг распрямившись, вздыхает!), и почему я так радуюсь, что кедровка — «как два пельменя» (так он ее аттестовал), а глухая кукушка кричит: «ук-ук», «ук-ук» и никак эти буквы обратно не переставить, чтобы вышло просто — «ку-ку». Да мало ли, с чем я только к Владьке не приставала...

Помню первую нóдью. Ни спальных мешков, никаких там нибудь пошлых одеял у нас, само собой, не было. Он еще на кордоне спросил: «Ты — как я или как?» — «Как ты»,— сказала я преданно, это сразу переполнило меня горячей гордостью. С собой у нас были только сухари, чай, сахар, запасной свитер, носки и всякое там мыло. Малый джентльменский набор. Иногда ночевали в избушках, там всё есть. Но избушки достаточно редки. Владька пошел искать сосну на нодью. Я и тут ни на секунду не отлипала: «Именно — сосну?» — «Ель тоже можно, лишь бы — сухие».— «А диаметр?» — «Сорок и больше». Он уже рубил, я в последний миг отскочила, так и лезла ему под руку и под эту сосну. Увлеклась нодьей. Он разделывал сосну на два балана, а я талдычила — какой же они должны быть длины. «Ну, метров пять». Я даже и сдвинуть этот балан не могла. Владька припер без напряга на одном плече. Дальше баланы кладутся друг на друга, а между ними впихиваешь сучки и щепки. У меня не загоралось! Погода — минус ноль, но с градом. У Владьки сразу зажглось. «А дальше?» — ужасно я все-таки нетерпелива. «Ждать»,— сказал Владька.

И побежал куда-то в темноту за водой. Потом мы чистили харнузов (только — «хариуэ», через «з», это заклятье), которых он во мраке надергал, другие охотятся за ними часами, видала, но у Шмагина — блесна собственного изготовления и «хариуза он чувствует, хоть хариуза неинтересно таскать, дергай да дергай, щука хоть упирается» (так он тогда сказал), будет опять уха, она надоела, но что поделать. Надо лишь подождать, пока образуются угли. А уж потом (Владька аж потянулся. Неужто может устать, как человек?), часа через полтора, нодья, считай, раскочегарена, всю ночь будет стойкое тепло, ни огня, ни дыма, просто — теплый жар. Тогда «нодья, как мы говорим, шайт», так он объяснил. А пока что пошел мелкий снег, нодью снег не перешибет, о, нодья!

Нодья шаила, снег сыпался, ветер летел с близких гор, кедра над нами гудела, речки не слышно. «Славно выспимся»,— сказал Владька. Он устлал землю ветками, бросил поверх свою куртку, свой свитер. Оглядел это ложе с пристрастным прищуром и опять исчез в темноте. Застукал топор. Я за ним не пошла, сомлела от жару. Принес какую-то орясину, а-а-а, осину, и наделал из нее, бедной, кольев. «От волков?» — лениво пошутила я. «А гляди — уклон,— он ткнул в ложе.— Скатишься во сне. Сейчас кольями тебя подстрахую».— «Да плюнь, я их все равно своpочу».— «Не своротишь». Я попробовала, кол сидел — как дуб. Хоть бы какой пустяк он бы плохо сделал! Я б придралась, внутренне прицепилась, потом бы еще чего-нибудь, невозможно жить в таком восхищении от совершенства.

«А ты чего-нибудь не умеешь, а, Владька?» Он подумал. «Зубы заговаривать не умею,— честно признал, подумав.— У Катерины болели. Попробовал. Нет, не вышло».— «А снегоход подымешь одной рукой?» — «Не пробовал,— смех его тоже потрескивал, как и нодья.— Может — подыму».— «Правда, что к тебе сестра приезжала прошлым летом, а ты ее дальше кордона никуда не пускал, даже за брусникой к зародам?» — «У нее пропуск был — только на кордон. Тут не музей, заповедник. Нечего зря ходить, пугать, мять».— «Чего бы она помяла? Пропуск! Ты, Владька, зверь. Сестра от скуки проревела весь отпуск. Истинно про тебя говорят, что — зверь».— «Чего ей реветь? Загорала. Купалась». До расспросов Владька никогда не унизится, кто и что там про него говорит. А я-то лезу чего? Протест — против совершенства.

«А еще говорили, что в тебя докторша влюбилась из леспромхоза. Молодая. Красивая. Москвичка. Ты сперва тоже в нее влюбился. Она у тебя на кордоне жила, корову доила и пекла хлеб...» — «Хлеб Катерина пекла»,— поправил Владька, нет, честность его погубит. «А потом ты ее прогнал...» — «Человека нельзя — прогнать». Это верно. «Ты ее прогнал, а она, чтобы быть к тебе поближе, перевелась в Пеньки, прибегала к тебе бегом, по тайге двадцать километров, кричала тебе с того берега, а ты ее к себе не перевозил и Катерине с Игнатом запрещал перевозить. Она покричит, постонет и бежит ночью обратно в Пеньки через тайгу...» — «Красиво»,— оценил рассказ Владька. «Зверь»,— сказала я. «А зачем она бегала?» — «Любила, может?» — высказала я смелое предположение. «Нужно было, чтобы я — бегал. Тогда имело бы смысл перевозить.» — «Резонно»,— не смогла я не согласиться. Снег сыпал сильнее. Владька и себе изготовил ложе: поплоше, веток чуть-чуть, никаких ковров и под открытым небом, мое — прикрывала кедра. «Даже не спросишь — откуда знаю...» — «Да все тут всё знают. Тайга — не город, не скроешься. Ну, откуда?» — «Из бани»,— доложила я. «О, баню я люблю»,— мечтательно сказал Владька. «Я тоже — люблю». Самое странное — искренне же сказала, любила в этот момент, всё искренне и нежно любила, что любит Владька Шмагин...

Весь этот град великий дворцов, мостов и лунных ликов Тебе я отдаю — как пьедестал. А Ты устал от простеньких девчонок и от мальчишек простеньких устал. Мой дар — никчемен. Ты ничего из рук моих не хочешь брать — куда же мир девать? Он без Тебя бесцельно звонок и пуст, как облетевший куст. У глаз Твоих черемуховый вкус, их горечь оскоминой мне сводит рот. Все жду — когда она пройдет, и что пройдет — боюсь...

Вот что такое актуальная бесконечность: это я и Шмагин. Мы были рядом, еще там — в начале, где заповедная баня, звон шаек и личные счеты кордона «Выдра плачет», мы были рядышком и вплотную, как цифры 1-2, но стоило мне только чуть потянуться к Владьке, как между нами разверзлась бездна и из нее налезло такое множество лиц, случаев, встреч, событий и такая пропасть ерунды, что я уж совсем едва не потеряла Владьку из виду, едва-едва к нему снова выбралась, опять боюсь потерять, через эту бездонную дырку можно размотать целую жизнь, из этой щели — словно помимо уже моей воли — лезут, прут, бросаются на меня, того и гляди — задушат мои же собственные воспоминания, царапается, скребется и стонет моя душа. Этой-то чего надо? Кому какое дело до маленькой вруши Ляльки Черничиной? Но без нее я не познакомилась бы с пауком Пал-Палычем и не знала бы, что нужно разговаривать — на равных — даже с мелкой тарелкой. Кому нужен мой малолетний и слаборазвитый второгодник Алик Кичаев? Но без него я бы, может, не знала нежности. Кому, спрашивается, интересен опальный академик Сюкин, который ходил всегда — в белом, издалека был похож на гуся, но не шипел, а только щерился верхней губой, распевал над красными георгинами «Всё выше, и выше, и выше», дальше не знал и полслова, не пел никогда, и так не любил детей, что вообще не разрешал им даже показываться в здании института. А дети его любили, что ли?

Он потом застрелился. Среди ночи к зеленой даче вдруг подъехала машина, так говорили, машина была из Москвы, наверное — приехали по работе или дальние родственники, близких у Сюкина не было, они, говорили, погибли в Харькове во время войны, но какие-нибудь дальние родственники могут найтись у каждого человека, обрадоваться, что они нашлись, и приехать вдруг из Москвы, тем более — Сюкин по ночам все равно не спал, у него всегда горело окно. Но Сюкин почему-то застрелился. Значит — правда, что у него было именное оружие и он только ждал случая, чтоб пустить его в ход. Значит, мы правильно не лазили к нему на участок за георгинами,— вот я что подумала, когда мама вдруг вбежала в комнату и крикнула с порога: «Саня, Сюкин ночью застрелился!». Папа, еще без рубашки, стоял у окна и заводил будильник, чтобы он разбудил меня через час. «Так»,— тихо сказал папа. И вдруг швырнул будильник через всю комнату в новый радиоприемник, которым сам же очень гордился, неделю только как сам же привез его из Москвы. Попал, конечно...

Теперь перед новым зданием института в Орешенках стоит бюст академика Сюкина, но он совершенно на Сюкина не похож, если бы не надпись — я ни за что не догадалась бы, а мой папа похоронен на Большеохтинском кладбище, у ограды выросла большая береза, я редко сюда хожу, недопустимо — редко, не умею ходить к папе на могилу, мне не с чем — к нему придти, каждый раз я долго убеждаю себя, уговариваю, заставляю и презираю, что всё оттягиваю, но мне все равно — не с чем, будто папа требует от меня чего-то, чего у меня ни сил, ни способностей нету — сделать, а папа суховато посмеивается: «Это, Раечка, неблаговидно — уклоняться в жизни».

Я — озеро, с которого все птицы вдруг улетели все к ядреной фене, а рыбы все вдруг подавились ряской и сдохли разом, выпучив глаза, и голубые их глаза остекленели. Так на душе — печально и беззвучно...

Все равно ведь придется разбираться со Шмагиным, раз уж начала. Чем же он так мне люб, этот лесничий с Печоры, Владислав Васильевич Шмагин, в местном быту — Васильич, для своего начальства — «опять Шмагин выпендривается, но работник сильный, этого не отнимешь», «Владик» — для своей жены Гали, единственный человек, достойный внимания,— для кота Монстра, любезно отзывающегося иногда и на «Моню», чаще — не отзывающегося ни на что, кроме властного Владькиного свиста, загадочный и непостижимый даже для своих лесников, ибо ругательных слов, и детям — привычных, Шмагин никогда не употребляет, в речи его эта экспрессия отсутствует начисто, даже «дурак» ни за что не скажет, а вежливым словом порой так

полоспет, что лучше бы уж по-честному, обматерил, водки не потребляет, но в дому ее всегда держит, попросишь — нальет, может и сам когда поднести, если с дороги человек или с дела, избу, к примеру, поднял на мох или что другое, но пить под насмешливым его взором — не всякому пойдет в глотку, будто ртуть вливаешь в себя, а не водку обыкновенную, питье тоже любит глаз добрый, а у Шмагина — зыркий, замечания по чисто служебной части он делает с шуточками и будто вскользь, только — единыжды, сроду не повторит, как человек, а ежели снова допустишь ту же промашку или забыл, что все другие люди на свете очень хорошо понимают, Шмагин сразу снижает расценки, уж найдет — как оформить, чтоб было меньше, будто платит из своего кармана, будто ему — не все равно — сколько закрыть, деньги-то общие, государственные, и никаких объяснений уже не слушает, приходится писать в заповедник, а пока туда дойдет да пока ответят, судиться, что ли, со своим же лесничим, высоких гостей из районного центра, которые едут на своих же лодках и с письменным разрешением в аккурат, когда семга идет на нерест, у них с семгой случайно всегда совпадает отпуск, уж это не шмагинского ума дело, принимает словно бы ласково, моторы им чинит и спать укладывает на сеновале, но как-то начальник райпотребсоюза явился с женой, а пропуска на жену не было, просто — взять не успели, заторопились, так Шмагин жену дальше кордону и на километр не пустил, ему даже по рации передали приказ директора, но он ответил директору, что пустить все равно не может, поскольку у женщины даже паспорта с собой нету и он совершенно не уверен, что она — та, за кого себя выдает, с женою начальника райпотребсоюза была истерика от шмагинского нахальства, ибо он же не раз заседал с ее мужем на заседаниях и бывал у них дома, правда — в большой компании и не пил ни рюмки, а сам начальник кричал, топал ногами, лодку свою так и бросил на кордоне и улетел со своею недоказанной женою обратно на вертолете, который сам же по рации вызвал, Шмагин — кстати — и у него стребовал паспорт и долго сличал фотографию с личностью, что совсем уже было оскорблением, потом Шмагин за эти свои бесчинства и превышение полномочий схватил выговор, но сделался от этого только веселый и сметал в одни сутки такой зарод, что на высоту его приезжали подивиться аж с реки Ылыч.

Выговор уже красовался на доске приказов, когда Шмагин, наконец, явился в главную контору заповедника. Задержали его туристы. Туристы пришли с Урала, через горы и с тыла, в горах их прихватила метель, а они — хоть по бумагам были от Челябинского спортклуба и не новички — собрались вроде бы в Крым, понабрали с собой купальников. В заповедник, как они объяснили, их клуб писал еще по весне, чтоб разрешили — в виде исключения — им пройти Печорой, у них, кроме туризма, есть и сугубо научные задачи, но ответ почему-то не пришел. Пришлось заходить на нахалку, с Урала. У них были надувные лодки, с понтоном, но вода перед этим резко упала, верха все ощерились острыми камнями, фарватер туристы не знали, было их — три резвых девахи, лет под двадцать с порядочным гаком, два хилоногих парня, один — еще и в очках, он их на Сучинском пороге уронил за борт и потом шарился только вслепую, да хмурый мужчина в годах и в молниях по всему костюму, этот — руководитель. Пороги они худо-бедно все-таки одолели, а на Жабьем перекате засели вмертвую, располосовали лодку, вывалили барахло в воду, сами — хорошо искупались и Катеринин муж, лесник Игнат, добыл их с Жабы в бедственном уже положении, тихих, мокрых и на все согласных. Ружья у них, к ихнему счастью, действительно не было. Игнат препроводил туристов прямехонько к Шмагину. Шмагин их просушил, накормил и составил акт на нарушение заповедного режима. На следующее утро отправил их дальше, вниз, под конвоем Игната, на кордонной лодке, их уцелевшая — сзади заместо прицепа, и без права высаживаться на заповедной стороне реки даже по малой нужде. Игнат только обрадовался внезапной поездке в «центр», ибо у них с Катериной накануне снова вышел свежий скандал на почве ревности к молодому леснику Валере с Притыка, Катерина чрезмерно этого Валеру взялась опекать, так Игнату накануне примстилось.

А Шмагин еще задержался, хоть его и вызывали срочно по рации. Одна из туристок, этой действительно оказалось — едва двадцать, лежала на печке

у Шмагина с температурой тридцать девять и два, звала с печи «маму», отпихивала слабой рукой молоко с медом и вообще суток с трое не внушала доверия к нормальной жизни. Но — очухалась. Шмагин, приговаривая беззлобно, что ходить нужно — босиком круглый год, а спать — всегда голяком, тогда даже насморка сроду не будет, завернул девчонку в четыре тулупа, загрузил в свою лодку и понесся на центральную усадьбу. В пути они обогнали Игната с туристами, которые стояли — как велено — на нейтральном берегу аккуратным, без сору, лагерем, поскольку Игнату, как всегда, отказал мотор. Шмагин мотор починил, но рассиживаться не стал, даже чаю с людьми не выпил. Девчонка смотрела теперь только на него и на предложение своих былых спутников — остаться в их славном коллективе, нахально сказала: «Фигушки. Мне с Владиславом Васильевичем — интересней». С тем и расстались. Хилоногий, что потерял за бортом очки на Сучинском пороге, сильно, похоже, расстроился и метров двадцать трусил по берегу вослед шмагинской лодке, но сослепу вперся в чапыжник и там завяз.

На центральной усадьбе Шмагин сдал девчонку своей подруге — Амине Шакировой, старшему научному сотруднику, по специальности — зоолог, что встречала лодку на берегу. Еще во встрече участвовали: девятиклассник Фарид, сын Амины Шакировой, длиннорукий юнец в пробивающихся — черным — усиках, но с вполне еще детскими, округлыми, щечками, он раньше был — толстячок, этот бросился Шмагину прямо на шею, что все, наблюдавшие, особо для себя и отметили, мальчишка Шакиров был замкнутый, кроме школы — его только на реке и видали, а наблюдателей было много, особенно — наверху, возле магазина, даже продавщица вышла взглянуть; черная собака на высоких ногах, с узкой — интеллигентной — мордой и сильно смешанных кровей, эту собаку никто в поселке по имени не называл, может — у нее даже и не было имени, поскольку все величали ее только — «сука Амины Шакировой», это была нерасторжимая идиома и имело оттенок почтительной уважительности, и дикий лебедь Ариадна, Ариадна заклокотала и выгнула к Шмагину белую лебяжью шею, Шмагин ее по этой шее слегка погладил, что все тоже отметили, так как Ариадна гладить себя никому не позволяет.

Все в этой группе были по-своему знамениты или, во всяком случае, по-своему заметны. Сын Амины Шакировой в прошлом году, значит — в восьмом классе, получил какую-то Всесоюзную премию — за письменную работу по биологии рыб, был какой-то конкурс, работы принимались под девизом и он оказался единственным школьником, отмеченным премией. Ему теперь приходили конверты со штампом Академии наук и письма с обратным адресом: «Московский университет, биофак, кафедра эмбриологии». Занимался он, кстати, почему-то не семгой, что было бы понятным и модным, по ней сюда приезжали крупнейшие специалисты, а сорожкой, которая, конечно, нежна и вкусна, но ведь всего-навсего — плотва, чем никого не удивишь. Черная собака смутного происхождения, когда-то — щенком — подобранная Аминой Шакировой в кустах возле местного аэродрома, вечно нянчилась с малышами, у нее была просто мания — заботиться о ком-нибудь маленьком, все равно — о ком, лишь бы — мал, беспомощен и она могла бы ему пригодиться.

Если дитя сидело на одеяле посреди двора и роняло вдруг погремушку — так, что не дотянуться, сука Амины Шакировой всегда оказывалась тут как тут. И бережно эту погремушку подносила дитю в зубах. Дите радовалось. Теперь уже нарочно швыряло свою погремушку. Сука Амины Шакировой опять ее приносила. Так могло продолжаться сколько угодно, пока дите не заснет или дитю не надоест. Суке Амины Шакировой не надоедало никогда. У нее просто мания какая-то была — чтить все живое и следить, чтобы это живое — жило дальше. Она отняла у вороны отбившегося от мамы-куры цыпленка, курица только квохтала и прикрывала собой остальных. Этого цыпленка вылизала потом, обсушила на солнце и привела за собой в дом к Амине. Цыпленок спал, говорят, у нее под ляжкой и она как-то не придавила. Вырос огромный петух и теперь он, на потеху всему поселку, ходит повсюду за сукой Амины Шакировой, а на кур, сладостно вздрагивающих от мужской его стати, даже не смотрит. Она вытащила из глиняной ямы воробьеныша, который там топ, дожди были. Но воробьеныш потом, слава богу, улетел, так и дома

не хватит, если всех подбирать, кого сука Амины Шакировой приведет за собою.

Главное, невозможно было все это свалить — на неутоленный материнский инстинкт, поскольку свои щенки у суки Амины Шакировой тоже раньше были. Но она их родила только от одного кобеля. Как этот кобель погиб, отравившись в тайге мертвечиной, так больше она никого уж к себе и не подпускала. Монстра, между прочим, она тоже выкормила и воспитала. Шмагин сразу же, как утонула у него кошка в половодье, с риском для жизни — льдины еще по Печоре вовсю шли, привез ей крохотного Монстра за пазухой. Монстр был уже довольно дохлый, едва открывал глаза в младенческой пелене и слабенько мявкал, отыскивая среди шмагинской ладони материнскую титьку. Даже Амина Шакирова, говорят, глянула на него с сомнением. Но все же спросила свою собаку: «Возьмем?» Сука Амины Шакировой сразу подошла, взяла — осторожно — волчьими своими зубами этого почти уже дохляка со шмагинской ладони и перенесла на подстилку, в свой угол. «Попробуем»,— без особой надежды вздохнула Амина. А вечером они со Шмагиным поглядели: котенок спал, обхватив бутылочку с соской, и на узеньких его лапах довольно сжимались и разжимались слабые когти, словно он эту соску жамкал. «Во — Монстр!» — засмеялась Амина Шакирова. Так и стал — Монстром.

Мир держится только на максималистах. Остальные — прикидывают да взвешивают, сомневаются да опасаются, приходят на службу по звонку и со звонком от службы отскакивают. Максималисты же — идут до конца и на все, иначе им — жизнь не в жизнь. Только они на этой земле — счастливцы. Кто носит на гвоздях, если не Рахметов? Кто всосет дифтеритную палочку, если не Базаров? Кто сойдет с ума, если не в палате номер шесть? Кто вытащит воробьеныша из жидкой глины, если не сука Амины Шакировой? А если — не спать на гвоздях, не вдохнуть дифтеритную палочку, не сходить с ума и не вытаскивать воробьеныша из вязкой глины, солнце померкнет, человечество захлянет и наша вселенная сколлапсирует в черную дыру от желтой и сытой скуки. Кто взлелеет и охранит нашу землю от нас же самих, нерасчетливых, ленивых и неразумных, если не Владька Шмагин? Кто научит наших детей быть умнее и чище, чем мы, если не Вы, досточтимый сэр???..

Дальше — скучно. Секретарша требовала, чтобы Он извинился. Он считал, что она — наоборот — должна извиниться, перед Ним и перед другими, кто ждал в приемной. Зав роно был действительно энергичен. Он уже звонил в школу и выяснял Вашу личность. Трубку сняла Геена Огненная, она была тогда еще — завуч, вполне могла испугаться тона и должности. Но Геена не испугалась, она сказала о Вас тогда всякие высокие слова. Зав роно в ответ ей сказал, что в школе таким — не место, имея в виду Вас, конечно, а не Нину Геннадиевну Вогневу, которая Вас почему-то покрывает. Вы тут же — не сходя с места — написали заявление об уходе по собственному желанию. Секретарша кричала, что Вас нужно уволить по статье, потому что за хулиганство положена — статья. Зав роно ее не поддержал. Он с большим удовольствием, тут же, подписал заявление по собственному желанию. Вы с ним, можно даже сказать, расстались почти что мирно, и оба выразили надежду, что больше — авось да — никогда не встретитесь.

Но вы — оба — ошиблись.

В школу Вы на следующий день не пошли, ибо там и так все известно. Вы прямехонько отправились на ближайший завод и договорились там о работе. Ведь когда-то, после школы, вы несколько лет проработали на заводе электриком, у Вас был высший рабочий разряд, грамоты и поощрения, все это внесено в трудовую книжку, которая, кстати, неизвестно почему — была у Вас на руках. Это уже недогляд школьной канцелярии. Тогда в школе было, можно сказать, междуцарствие. Старуха-Мотовилова, которая директорствовала со дня основания школы, каждое утро — в любое время года — раньше всех приходила в учительскую и обязательно ставила в узкую хрустальную вазу,— эту вазу Старуха-Мотовилова принесла, само собой, из собственного дома,— свежий букет цветов, приобретенный — зачастую — на собственные трудовые деньги, и даже к первоклассникам обращалась исключительно: «Будьте добры, если Вас это не затруднит, извините, пожалуйста, дорогая...», вышла, наконец, на пенсию. В этом «наконец» — нету никакого облегчения или, к примеру, долгожданности, просто она давно уже собиралась, была грузна, больна, мучилась тяжелой одышкой, но раньше ее как-то всякий раз умаливали подождать, ну — хоть этот годик еще, последний. А тут — уже не смогли уговорить. Это было горе для всех, учителя плакали, Старуха-Мотовилова плакала и обнимала плачущих учителей, может — Вы тоже плакали, надо спросить, кто помнит, но Вы, думаю, делали это дома, «это — личное, Раиса Александровна, это — не нужно обрабатывать». «Старухой» Мотовилову называли нежно, она сама так про себя говорила: «Стыдно быть старухой, дорогие мои, но так уж получилось, что я — старуха, простите меня, если можете и если Вас это не затруднит, коли я что-нибудь забуду». Но ничего никогда не забывала.

После нее пришел человек случайный: назначили, с ней кое-как, на воспоминаниях и традициях, которые изо всех сил поддерживали, даже букеты меняли неукоснительно, протянули один учебный год. Все педагогические вопросы решались исключительно с Ниной Геннадиевной Вогневой, она тогда, как бы это выразиться, вырастала в коллективе, тоже не так давно появилась в школе, значительно — позже Вас, это я помню, была корректна, немногословна, ни с кем особенно не сближалась, но внимательна — ко всем. Именно с Вами, сдается мне, она как раз хотела бы сблизиться, что делает честь ее административному чутью. Но разве Вы сблизитесь! Разве кому позволите — сблизиться? Она отступилась — корректно и без объяснений, что делает честь ее человеческому чутью. Обиды на Вас не затаила. Или припрятала ее — надолго, так я теперь думаю.

С тем директором лично у Вас отношения не сложились. То есть, Вы-то сперва, наоборот, считали, что они прекрасно сложились — доверительные и откровенные, как и принято меж порядочных людей. Она тоже была математик, но в Вашей школе взяла себе только младшие классы, пятый-шестой. Но, как директор, она — конечно — ходила ко всем на уроки. К Вам тоже пришла. Когда после урока Вы с ней остались вдвоем, сказала задумчиво: «Знаете, Юрий Сергеич, я многогранники даю не так...» И наивно стала рассказывать Вам, как она их дает. У нее была такая формула восприятия, причем — единственная: «я даю так-то», значит — это хорошо, так и надо давать. А если кто-то дает не так, его нужно поскорее поправить, чтобы он давал так. Все просто. Но Вы даже вникнуть в эту методику разбора поленились. Вы ее сразу и грубо перебили: «Причем тут — как вы это даете? Вот я к вам приду на урок — будем разбирать, как и что вы даете. А сейчас, я бы очень вас попросил, поговорить о моем уроке и разобраться в его стилистике». Она даже попробовала — разобраться. Не ее вина, что у нее ничего не вышло. Вы остались неудовлетворены, о чем тут же ей сообщили, представляю — в каких выражениях, хоть — по Вашему ощущению — наверняка исключительно деликатно. Больше она у Вас на уроках не появлялась. Но Вы и этим были, помнится, недовольны. Считали, что директор обязан оказывать каждому учителю творческую помощь. Ага, конкретно Вам — тоже. Представляю, куда бы завела Ваши с ней отношения ее помощь!

Зато при ней в школе было чисто, в коридорах, в туалетах, окна всюду блестели и на чистых стенах крупно проступала наглядная агитация. Но Вы даже эту чистоту, что — как я теперь понимаю, глядя на окна и умывальники,— вовсе не так уж мало, ухитрились вывернуть наизнанку и снова были недовольны. Вы приходили к ней в кабинет и от порога начинали любимый Ваш разговор, что Вы не видите в ее работе — как в работе руководителя школы — Идеи, вот что Вас смущает. Вы требовали, чтобы она Вам немедленно эту Идею объяснила. Но она, возможно, не очень себе представляла значение, которое Вы тут вкладывали в знакомое слово «идея»,— тут ведь у Вас не точечное было значение, а крупно-волновое, далеко идущее волновое поле и где-то там, на его окраине, в самом углу,— и потому никак не могла исчерпывающе утолить Ваше беспокойство. Тогда Вы деликатно намекали, что она — прекрасный, обворожительный человек, но, возможно, она просто,

чисто случайно и рефлекторно, села не на свое место, что ей, наверное, как человеку прекрасному и благородному, чрезмерно утомительно. Но Ваши намеки она воспринимала как-то ватно. А Вы — меж тем — все более убеждались, что она, точно, не на своем-таки месте и, как прекрасному и обаятельному человеку, ей нужно по-товарищески помочь — покинуть это место, чтобы ей же и было легче. И чтобы школа не страдала, это главное.

Вы тогда стали высказываться на педсоветах — в том смысле, что педагогический уровень катастрофически падает, почему-то сошли на нет научные семинары для учителей, которые столь способствовали кругозору, давняя внутришкольная традиция, библиотека перестала считать нужным — сообщать о книжных новинках, «книжное обозрение» почему-то не выписано, на педсоветах давно уже нет споров по чисто творческим вопросам методики и воспитательного процесса, вновь пришедшие учителя, особенно — начальной школы, разобщены и находятся вне коллектива, значит — они не растут, в коридорах уже бродят печальные дети, они ощущают падение уровня, и все это упирается в руководство, поскольку рыба гниет, как известно, с головы. Но и на эти речи Вы не услышали от нее ничего конструктивного.

Тогда Вы просто зашли в директорский кабинет после своих семи уроков (седьмой был факультатив), чтобы не торопиться, и открытым текстом изложили директору, что никакой она, с Вашей точки зрения,— не директор, ни малейших данных быть директором у нее нету, а она, в лучшем случае,— хороший завхоз, что тоже прекрасное и ответственное занятие, но директор — несколько другое. Эта стойкая женщина, фамилию которой все как-то мгновенно потом забыли, даже не закричала, что Вы — хулиган и даже не указала Вам на дверь. В этой женщине даже есть что-то трогательное, вызывающее во мне, постфактум, щемящую нежность. Она тогда смутилась — под Вашим натиском. Возможно — слезы даже выступили у нее на глазах. Впрочем: всухую — страшнее. Она, наверное, очень хотела Вас — тоже напрямую — спросить: откуда же Вы взялись на ее несчастную голову, такой простодушный идиот? Но стеснялась, как девушка. Вы же ее смущение расценили, как недоверие, настоенное на понимании. «Вы мне не верите? — радостно заорали Вы, представляю напор этой Вашей прорвавшейся радости! — Давайте завтра утром по школе пройдем и всех спросим. И каждый вам скажет, что вы — именно завхоз, а никакой — не директор!» Жаль, она не согласилась. Представляю, какие лица были бы у Ваших коллег и какое потом — у Вас...

Однако с того дня даже Вы заметили, что Ваши отношения с директором почему-то не очень сложились, совершенно для Вас неожиданно и непонятно: директор Вас как будто бы избегает и Вы не чувствуете более директорской любви, даже словно бы от директора потягивает холодком. Может даже — директор Вас недолюбливает? Но вряд ли Вы это для себя в таких терминах определяли, ибо дело — выше любви, любовь тут вообще не при чем, это категория внематематическая, она противоречит основным законам математического мышления, ибо в любви недостижима и несущественна полноценность аргументации, цветут незаконные обобщения, вторгаются запросто заключения по аналогии, а борьба за полноту дизъюнкции совершенно безнадежна, поскольку никак уж не предусмотреть все возможные разновидности ситуации, хоть одну да упустишь, никто и не тщится соблюсти в любви полноту дизъюнкции, что есть уже откровенный подрыв испытанных временем и выверенных крупнейшими умами основ математического мышления.

Боюсь, что даже Гильберт не смог бы формализовать это чудовищное — по всеохватности, якобы вседоступности и абсолютной непостижимости — понятие, каковое мы фамильярно именуем в повседневном быту «любовью». Но ведь и кота Монстра можно кликнуть Моней, вопрос — отзовется ли Монстр и что мы в нем при этом постигнем. Боюсь, что при попытке формализации, Гильберта ждал бы не менее сильный удар, чем при формализации основ арифметики, поскольку любовь явно не финитна, то бишь ее невозможно эффективно контролировать ни с боку, ни изнутри. На мой взгляд, с математической ее роднит только явное наличие в ней же принципа исключенного третьего: либо любовь есть, либо ее нету, среднее — исключено. Не знаю, как бы это понравилось Брауэру и прочим интуиционистам, однако — это логически непротиворечивый факт. Впрочем, кажется, для конечных множеств Брауэр принцип исключенного третьего все же допускал. Что толку в его уступчивости? Ведь любовь, хоть как на нее взгляни, может рассматриваться только как множество бесконечное...

Если же слегка прянуть от математики и посмотреть с более широких, физико-философских, позиций, то именно любовь — единственное и неопровержимое доказательство нарушения причинно-следственной связи, данное нам в повседневном опыте, каждый, честно в себя заглянув, может поставить чистый эксперимент, ибо в любви следствие запросто может предшествовать причине и плавно перетекать в нее, впрочем — перетекание типа «тоннельный эффект» тоже вполне возможно, причины вообще может не быть, а следствие — при полном и объективном ее отсутствии — цвести махровым цветом, иногда же громадная причина дает абсолютно нулевое следствие, или, наконец, может не быть ни следствия, ни причины, причем — их можно хоть сколько менять местами, все равно — их нет, а любовь, наоборот, есть и еще какая, то есть она, значит, родится из ничего, ничуть не нуждается в причинно-следственной связи и нарушает ее — как хочет. По-моему, физикам, вместо томительных поисков гипотетических тахионов, каковые несутся быстрее света и тем могут порушить, наконец, их, физиков, косные представления о незыблемости причинно-следственной связи, стоит всерьез заняться любовью.

Ужасно обидно, что мне не довелось, как любят выразиться районные газетчики, принять участие в многолетних дискуссиях по теории познания на знаменитых Сольвеевских конгрессах, особенно на Сольвеях с 1911-го по 1933 год (позже, в сорок восьмом, когда конгрессы эти возобновились, и далее — я тоже не была, но это я еще как-нибудь переживу), где споры между Нильсом Бором и Альбертом Эйнштейном как раз крутились вокруг причинно-следственной связи и правомочности и достаточности этой связи для описания физических и объективных реалий в квантовой механике, тогда же родившейся. Может, мои скромные соображения тоже внесли бы свой скромный вклад (как любят выразиться районные газеты)? Сольвеевские конгрессы исполнены любви и уважения крупных физиков к своим коллегам, как сторонникам — так и противникам, но любовь — как доказательство и аргумент — и та, и другая сторона, в пылу непрерывных открытий, как-то упустили. Простое — просмотреть легче всего, досточтимый сэр, это трюизм.

А, может, любовь — это мнимая единица?..

Глядел глазами грустными, огромными, нерусскими. Ничто во мне не дрогнуло, ничто во мне не хрустнуло, ничто во мне не крикнуло, когда Он уходил. Ушел — и нету сил. На землю кинусь стылую, прохожим кинусь под ноги. Вернуть — какою силою? Держать — каким же подвигом? Негаданный, неузнанный, связать — какими узами? Сказать — кому сказать? Ушел — и солнце скрылося, как сердце надломилося, как что-то обвалилося, успев меня подмять. Глаза твои бессонные, бездонные, бездомные,— куда теперь девать?

Нет, наверное, жена Ему все-таки не нужна. Ну, старушка-мать еще куда ни шло, ну, так и быть, племянница, от двоюродной сестры, живущей своей жизнью где-нибудь в Якутске и с другим мужем, она Вам вполне могла подкинуть эту племянницу годков этак в пять. Вы ее воспитали. Как она к Вам теперь относится? Ей уже лет пятнадцать. Вы не замучили ее своим занудством? Может, она давно сбежала от Вас в общежитие, кончила курсы маляров, распределилась в Челябинск, работает там на комсомольской стройке и сильно увлеклась водным туризмом. Это не она ли, кстати, металась в бреду на горячей печке у Владьки Шмагина? Вот до чего Вы довели свою единственную племянницу! Или у Вас племянник? Такой тихоня в очках, только читает умные книжки и смотрит Вам в рот. Школу закончил с золотой медалью, чтоб Вам за него не было стыдно, и теперь исправно посещает вуз, какой Вы же для него выбрали. Естественно — педагогический институт имени Герцена. Ведь выше профессии — нету. И других, само собой, нету.

Ваш племянник, между тем, туповат, «золото» в школе он исключительно — высидел, брал одной зубрежкой, товарищи в классе его не любили, он у Вас — зажатый, Вы его задавили своими высокими принципами и вселили в его робкое сердце неодолимый комплекс неполноценности. Как же это Вы так? А еще — учитель! Ведь в Вашем племяннике, с того самого момента, как папа его, Ваш троюродный брат, улетел на Южный Полюс-86, где до сих пор и дрейфует в свое удовольствие и, вместо доброго папы,— вдруг возникли Вы, сидит самый настоящий и заурядный страх перед творческой задачей, ибо всякое общение с Вами есть творческая задача, привыкнуть к которой немыслимо и приготовиться — невозможно. Вам бы помягче с ним, пошаблоннее. Это Вы совершенно не в состоянии. Нет, жены Вам — не надо. Абсолютно не представляю, что вы будете делать с этой женой. Втолковывать ей десятичные дроби? Читать ночью нестандартный анализ? Учить ее клеить и вырезать из картона Римановы поверхности? Вести ее за руку, под руку-то Вы не умеете, в филармонию и рассказывать, какие у Вас прекрасные ученики в девятом «А»? Она ж Вас в два счета возненавидит! Убежит от Вас с первым попавшимся водителем такси или физиком-теоретиком. Может — даже с поэтом, причем — плохим. Ей уже будет все равно: хоть с поэтом. Нет, уважаемый сэр, в жене я решительно Вам — отказываю, даже и не просите!..

В каждом новом месте сперва нужно освоиться с местным языком. Это очень важно. Имеет значение каждое ударение, каждая буква, потому что «хариуз» на Печоре — совсем не то, что какой-то там абстрактный хариус где-нибудь в учебнике ихтиологии. Хариуз имеет свой цвет, повадки, характер, с ним у каждого — свои, интимные отношения. Пока ты местного языка не почуаствовал, не принял и не впитал, а он, язык этот — обязательно всюду есть, ты слышишь вокруг только прямой смысл, а оттенки, намеки, недосказанности и нюансы, которые как раз людей и роднят, для тебя — закрыты. Ты ходишь, как глухой, хотя с ушами у тебя все в порядке. Ты еще чужой и не можешь равноправно участвовать даже в простеньком разговоре, ибо никакой разговор — не прост, в нем всегда найдутся потаенные углы и скрытые тонкости, важные для полного смысла, и за семью печатями — для пришельца.

А потом уж нужно стремительно, не жалея себя, скоростным и бешеным темпом, обживаться в местных воспоминаниях, чтобы они так в тебя вошли и вросли, будто сам их прожил. Ибо только общие воспоминания объединяют людей, кроме — конечно — общего дела, которое тоже ведь всегда сиюминутное рождение и созидание общих воспоминаний, которые уже через час, завтра утром, через минуту или через месяц позволят тебе обменяться с кем-то легкой улыбкой и она будет значить — что вы, только что или совсем недавно, вполне чужие — теперь уже — может — навсегда нечужие. Конечно, люди свои воспоминания наживают годами, всей своей то медленно, то бурно текущей жизнью, а ты, вынужденный обстоятельствами, заглатываешь как бы концентрат, давишься и устаешь, порой еще попадаешь впросак. Но ты уже как-то ближе, увереннее, можешь уже побольше заметить кругом и понять. Начинаешь, словно бы, различать окрестные предметы, чуять их связь и даже в тебе уже временами — свобода, чтобы сознательно ощутить дополнительные эффекты — услышать тягучий, будто и тебя засасывающий, как прибрежную гальку, откат отлива на берегу Итурупа, различить и оценить пересвист большой песчанки, застывшей возле своей норы где-нибудь в Кара-Кумах, разглядеть хулиганскую челку, злющенемигающие глаза и ненасытноянтарную глотку кукушонка, подкинутого в гнездо крошечной расписной синичке, в просторечии — расписнушке, где-нибудь высоко в горах на Тянь-Шане, и подивиться, что в эту глотку расписнушка бесстрашно засовывается чуть ни целиком...

А уж потом ты можешь настолько распоясаться, что мысленно будешь ставить себя на место — живущего тут всегда, и нахально стараться глядеть его глазами, только — его, исходя из его привязанностей, ассоциаций, житейских и профессиональных связей. Это серьезное для тебя напряжение внутренних сил, испытание на гибкость мозгов, динамичность, способность к развитию, быстроте реакции и любознательности, испытание твоей памяти

и глубины сопереживания, твоей доброты к миру вообще, потому что если нет в тебе доброты — ничто тебе все равно не откроется, равнодушие, даже прикрытое мастерством, общительностью и внешним интересом, все равно — отторгает.

А-а-а, пустое, все никогда не исчислить, тут невозможна полнота исчерпывания, тут все по Гёделю, у всякого свои методы и привычки-пристройки. То-же мне — методика!

Методик вообще нет, есть только личности. Как и в школе. Тут я, правда, вру. Он меня научил ценить красоту и здравую лаконичность правильно избранной методики. Раньше я по наивности, видимо, считала, что хороший — летящий в мысли, доступности и легком, вроде бы, темпе — урок — это более импровиз, чем заранее подготовленное нечто. Но это такой, оказывается, импровиз, где всякая секунда точно рассчитана, каждое движение заранее выверено, всякое — словно бы — случайное слово имеет четкую, выношенную сердцем, головой, кровью, цель. В такой импровиз вслживается разом вся твоя предыдущая жизнь и только тогда импровиз этот поражает со стороны своим импровизом. После такого импровиза руки дрожат, глаз почему-то дергается, в голове — слабый звон, словно там распускается луговой колокольчик и парусит своим колоколом под ветром, а во всем теле — мраморная тяжесть, будто бы ты — изваянный лев у парадного подъезда, изрезанный вечностью, избитый дождями, в незаживающих трещинах солнца, так и тянет опустить тяжелую мраморную голову и навеки вжать ее в мраморные же лапы, чтобы пришел, наконец, покой, или скорей добежать до учительской и дотронуться до кого-то живого, кто тебя понимает, чтобы убедиться, что он — живой, и ты — тоже, значит, еще живой, можешь еще шутить, понимать обращенные к тебе вопросы и даже, кажется, разговаривать по телефону...

Что же это за племя такое, неистовое, многотысячное и непостижимое,— учителя? Как им не надоест? Как они себя сохраняют? Почему не лежат давно в поголовном инфаркте? Не бегут на Северный полюс, где тихо, белый медведь сосет белую лапу и миролюбиво трутся друг возле друга вечные льды? Дети меня, по-честному, сейчас не волнуют. Дети — как дети. Я себя в их возрасте помню: завидовать особенно нечему. Подумаешь, молодость, силы да неуемная прыть! Кого этим удивишь. Мне даже, пожалуй, их жалко. Ибо у них впереди еще — выбор. А нет ничего более опасного для человека, чем — выбор. На этом-то и ломаешься. Выбор всегда разрушителен, там тоже властвует метод исключенного третьего: либо — пан, либо — пропал. А коли выберешь среднее — это главная погибель и есть. Так уж оно потом и покатится, среднее, среднее, среднее, потихоньку, на троечку. Среднее как-то потом незаметно переливается в серое. Серое, серое. Только смелый выбор спасителен, во всякую секунду жизни — смелый выбор и беспощадный риск.

А как же они-то, учителя? Они уже выбрали, ладно. Они уже, предположим, давно взрослые, усталые, невыспавшиеся, обремененные собственной семьей, тематическими планами и оформлением кабинетов, у кого — больная мозоль, у кого — печень пошаливает, по пять-шесть, по семь даже, часов у доски, сорок пар глазищ, все подмечающих и ничего тебе не спускающих, взирают на тебя безотрывно, этого еще попробуй добиться — чтобы они взирали! А может, сосулька за окном свисла или птичка чирикнула? А может, Лида влюбилась в Петю, а Петя — наоборот — еще грызет детские заусеницы и интересуется только — наоборот — циклотронами, мононуклеоидами, футболом или исключительно подробностями гибели Робеспьера. Или, того хуже, ему — наоборот — нравится Катя? Больно нужно им взирать на тебя! Нет, ты добейся. Или умри. Так как же учителя добиваются и не умирают пачками тут же, у классной доски?

Эх, все равно — не понять! Это, наверное, как поэзия: существуют и ни в зуб ногой. Меньше им плати, больше, они — только кряхтят, пошучивают, поругиваются да тянут. Я бы платила — больше. Я бы их, родимых, осыпала «мармулетками», как один нехороший человек именует деньги. За «мармулетки», что ли, они надсаживаются? Нет, дудки! В субботу, после классного часа, они еще волокут своих драгоценных питомцев в музей. Там еще, отпихивая локтями экскурсовода, сами толкуют о картинах и глубоко личной жизни

художника. Им во все надо сунуться! Им зачем-то позарез надо, чтобы их уважаемые питомцы все кругом полюбили да во всем бы разобрались. В воскресенья, вместо — чтоб выспаться, они скачут со своими учениками на лыжах, играют с ними в снежки и осевшими за трудовую неделю голосами подтягивают их сомнительным песням в переполненных электричках. Им угомону нет. В каникулы они опять же лезут с учениками в Хибины, где лавиноопасно и можно замерзнуть к чертовой матери, или тащатся в Новгород или, например, в Суздаль. И другие, такие же, тоже тащатся со своими учениками. Их там, в Новгороде, в Суздале, в Ясной Поляне и где угодно, набивается столько, что они буквально давят друг друга возле исторических ценностей и священных для культурного человека мест. Если ты — уже не ученик, тебе просто уже воткнуться некуда!

Трудный народ — эти учителя, черт их задери!

Как же они, усталые, не устают от своих учеников? Даже в собственный день рождения, когда все нормальные люди берегут себя от всякого упоминания о работе, они с раннего утра до позднего вечера выслушивают бессмысленный лепет любви собственных выпускников, принимают ненужные им букетики от родителей учеников, веники, что ли, из этих вечных цветочков потом вязать, внимают виршам, поздравительным записочкам и даже поздравительным танцам какого-нибудь ушлого шестого «В», попутно — все равно же дают уроки. Словом: опять не принадлежат самим себе ни единой секунды. Сдается мне, что если учитель вдруг придет в себя после наркоза где-нибудь в мирной реанимации, то первое, что его и тут ждет,— будет лицо его же ученика. Хорошо еще — если это хирург, который тебя же и резал, все же — хоть блат, или там — санитарка, твоя же девочка, себя пока не нашедшая, но, к великому твоему удовлетворению, уже приносящая пользу обществу, не тунеядка, не шляется зазря по улицам. Но вполне возможно, что никакой это будет не хирург и, тем более, не санитарка, а неистовые личности из того же шестого «В», которые помереть не дадут спокойно и уже тут как тут, хоть это и реанимация, где ты, вроде бы, гарантирован. Нет, учитель — нигде не гарантирован...

Как же не опух он, сердечный, от круглосуточной и бесконечной своей прилюдной жизни, от количества судеб и ситуаций, где все от него чего-то ждут, а его, болезного, принимают — как должное и даже — как будто — считают его своей законной собственностью? Да еще — имеют склонность: судить о нем вкривь и вкось...

Думаю, тут помочь опять же может — лишь физика. Если в нашей вселенной структурно заложено соотношение энергии и вещества десять в девятой степени к единице, в пользу — энергии (я, естественно, не принимаю во внимание массу нейтрино, ибо пока никому, даже — мне, неясно, есть у нейтрино масса покоя или нету, и какова она, коли все-таки обнаружит себя), чтобы вселенная хоть как-то могла существовать на белом свете, то вполне законна, по-моему, прямая экстраполяция этого фундаментального соотношения на отдельно взятый живой организм, например — на нормального учителя, он тут очень подходит. Возможно даже — в учителе это соотношение дает еще больший крен в пользу — энергии, а вещества бывает даже и поменее единицы, встречаются экземпляры, где лучше даже приложимо — минус единица. Лишь опираясь на это соотношение энергии и вещества, можно хоть как-то объяснить для себя существование и даже, как ни странно, довольно еще густую распространенность феномена: учитель. Несколько тяжеловесное умозаключение, но я утешаю себя прекрасными словами Эйнштейна, что изящество мы пока оставим портным и сапожникам (у него это — вроде — цитата, но не важно), была бы здравая мысль, кто захочет — через нее пробьется. Хотела бы я поглядеть в глаза тому, кто в состоянии с каких-то других позиций и не привлекая в помощники физику, объяснить наличие среди нас Учителя.

Как ясен Ты. От солнечного света исходит грусть, как — от дождя. И нет душе — ответа, как нет толпе безверящей — вождя.

Продолжение следует

ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА

МАСТЕР АВТОЛИТОГРАФИИ И ОФОРТА



Портрет героя труда Нины Брыжкиной

В 1937 году в интернате Ленинградской средней художественной школы поселилась одаренная девочка с Украины. Студенчество ее в Академии художеств пришлось на блокаду: были учеба, работа в госпитале, эвакуация и снова Ленинград — победивший. Она видела и пережила единение людей в страдании, борьбе, радости — и это определило искренность гражданской позиции заслуженного художника РСФСР Валентины Владимировны Петровой.

Большую часть творческого пути художница прошла в счастливом содружестве с заслуженным художником РСФСР Л. Г. Петровым (1915—1978). Личное, эмоциональное отношение к Истории страны продиктовало создание энергичных, выразительных графических циклов, офортов «Десять дней» (по Джону Риду), «Год 17-й», «Поэтам Революции». Работы эти, как и многие другие, как и многочисленные книжные иллюстрации, удостоены высоких наград на советских и международных конкурсах и выставках: Золотая медаль Лейпцигского конкурса, Серебряная медаль Академии художеств, поездка в Рим, дипломы, [illegible] приобретенные крупнейшими музеями страны. За каждой наградой — огромная, постоянная, увлеченная работа.

Валентина Владимировна не похожа на мастера, осознавшего свои достижения. Темпераментная, беспокойная, она не желает засиживаться в удобстве найденного. Художница любит жизнь, живет интенсивно, в ней пульсирует желание передать свое волнение — временем, историей с ее [illegible], [illegible], [illegible]. Мастерская заполнена сотнями работ и заполняется все новыми листами рисунков, эскизов, вариантов станковых серий, путевыми набросками. Это все — материал для создания новых произведений, интересных, напряженных, неординарных.

Александра ЛАПКИНЕН



Лариса Рейснер



Рабфак



Санитарно-боевой отряд



Бетховен



Невеста

⊡ ⊡ ⊡

О, иностранцы, как вам повезло!
Вы в переводах гениальны дважды.
Вам открывало вас не ремесло,
Но истины преследуемой жажда.
Благословляю этот плагиат,
Когда прибегнув к родине инакой,
Из Гете, как из гетто, говорят
Обугленные губы Пастернака.
Когда дыханья не перевести
От ужасов стоактного «Макбета»,
Что оставалось русскому поэту?
Раскрыть Шекспира и перевести
В сердца живущим трубы тех аорт,
Ведь крови цвет сегодня тот же,
красный,
Но авторство, поскольку автор мертв,
Верховным беззаконьям неподвластно.
Ахматова! Вся в переводы, в глубь,
На тысячу подземных рек и речек,
Чтоб снова, с неба — облаком — на луг,
На лес — стремиться собственною речью.
Ушло! И вновь возвращены снять
Все огненные облака над миром.
Пускай Шекспир останется Шекспиром,
Мы будем соплеменников читать.

1963

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ ЭПОХИ ШЕКСПИРА

Какой красоты эти люди! Особенно свет.
Особенно выбор деталей и холодность лиц.
Жемчужное кружево. Бархатный черный колет.
И меч с рукояткой в алмазах. И шелковый шпиц
На юбке, зеленой, как майской травы трафарет,
А пальцы на шерсти собачки пугливее птиц.
Милорд наступил на военную карту. В окно
Бездетная леди глядит на далекий фрегат,
Супруг возвратился, счастливо отправив на дно
Одну или дюжину непобедимых армад.
И был приглашен знаменитый художник с холстом.
И встали они перед зеркалом вечности в рост.
Он — в меру надменным, отменно одетым Христом,
Она — возле вазы с кустом символических роз.
Какой красоты этот узкий семейный портрет!
Но я этикетку прочла и не рада сама:
Его обезглавят. Ее обессмертит поэт,
Которого, не разобравшись, прикончит чума.
Но я этикетку прочла. Даты жизни... Зловоньем войны,
Канавами сточными, вшами в батистовых швах,
Бубонной чумой, эшафотами, где сожжены
Или четвертованы лучшие — грянул в ушах,
В глазах потемнел их свирепый, бессовестный век.
И только одно укрощало сердечную дрожь:
А мы? Далеко ли ушли? А сейчас человек
На сцене судьбы нам покажется столь же хорош?

МАГЕЛЛАН. В ЛАВКЕ. 1519 год

Ворс такого сукна, побожусь,
Смело выдержит ливень и вьюгу.
Забирайте всю штуку. Но пусть
Меховщик подберет вам зверюгу
Подходящую — грудь иногда
Прикрывать в океане от ветра.
Золотая лисица сюда
В самый раз бы. Сукно фиолетно,
И его оттенит желтизна.
Правда, лисы непрочны, хоть ярки.
И чего вам Европа тесна?
Каравеллы — всего только барки.
Я-то землю навек предпочел
Скользкой, мыльной и рваной равнине,
Где не слышно ни птахи, ни пчел,
А к столу — ни салата, ни дыни.
Говорят, что у вас, дон Фернан,
Затрудненья с дукатами были?
Но зато мой тяжелый карман
Звонче всех колоколен Севильи.

Безопасно нырнуть в эту ширь
Предлагаю от чистого сердца.
Я — дукаты, а вы мне — имбирь,
Ну, мешок красноротого перца,
Ну, еще камфары для моей
Фармакии и белого пуха
Привезете с индийских полей.
Да жемчужину черную в ухо.
Вы, наверное, удивлены?
Как рискует купец! Не скажите...
Вы и детям моим суждены:
Я — холерик, а вы — долгожитель.
Поворотливый взгляд из-под век,
Величавое, важное тело
Затевалось, как Ноев ковчег,
Для особого, крупного дела.
И какой вы даете мне шанс
Убедиться не в Царстве Небесном,
Что земля наша — Господи! — Шар!
Я вам стану товарищем честным.
Вот, на память возьмите — кольцо!
В знак, что я договор не нарушу,
Лишь бы вынесло время на сушу
Корабля золотое яйцо
И свирепое ваше лицо
Мир простит вам за сильную душу.

ТЕНЬ ОТЦА «ГАМЛЕТА»

Сменила осень чайный цвет
На пепельный, крысиный.
А у меня почти на нет
Сносились мокасины.
И праздников не предстоит
До рождества отныне.
В глухом пейзаже дождь висит,
Подобный паутине.
И только треск сухой коры
Там, за печною дверцей,
Спасает ночью от хандры
Хладеющее сердце.
И только стопка старых книг
В настольном центре мира
Одушевляет каждый миг
Присутствием Шекспира.
Не в памяти, а в жизни.
Вдруг
Я сознаю, что время —
Не луч стремительный, а круг
И берег, а не бремя;
Что можно выбраться, смеясь,
За линию прибоя
И тотчас обнаружить связь
Всебывшего — с собою.
Случайно ли — наперерез
Мечтам — раскрылось в книжке:
«Поверьте мне, пора чудес
Прошла. Стихов излишки
Забыты, как девичий сон,
И ходит в мудрых циник.
Никто ничем не потрясен,
Никто ничто не ценит.
А если юноша сочтет,
Что жизнь достойна тайны,
В опроверженье — анекдот
Услышит моментально».
— Ого! И в тысяча пятьсот
Восьмидеситых — люди
Твердили — «Землю не спасет
Моление о чуде!
Герои под крестом гниют,
Злодеи правят тризну...»
Но тут, как дивный абсолют
И возникает — Призрак.
И наяву, а не во сне,
Сверкнув серьгою в ухе,
Он прислоняется к стене:
«Прощай и помни обо мне».
О тени? Нет — Духе.

В ОТПУСК

К телефону не подхожу. Меня уже нет...
Бешено надавливаю на бок чемодана,
Задергиваю молнию. Так, билет
На месте. Такси вынырнуло из океана
Ночного города. Ну — вперед!
Незнакомка под прикрытием зонта
Освежает помадой усталый рот
И немедленно смывается с горизонта.
У нее больше нет троих детей,
Остроумного мужа, щенка-дворняги.
Только запах вокзала и вдоль путей
Окна — словно листы бумаги
Для будущих писем. Анахронизм!
Дети будут читать, зевая...
Ты лучше нам позвони! О жизнь!
В таком вагоне бы — до Китая!
— «Куда вы, мадам? Вас нигде не ждут
Пасторали изжили себя повсеместно
И как говорится, „мартышкин труд"
Искать уютней торшер и кресло».
(Любимый голос! Я здесь. Он там.
Он убежден, что я маюсь дурью!)
— «Как мог забыть я, что вы, мадам,
Мятежный парус, искатель бури.
А буря, знаете ли, в клочки
Разрывает любые снасти.
К тому же ты позабыла очки
И проглядишь свое новое счастье...»
Через месяц, втаскивая в узкий лифт
Неподъемную сумку с яблоками и
грибами,
Услышу собачий лай. И грудь заболит
От крика: «Бегите вниз, помогите маме!».

Ася ВЕКСЛЕР

САПФО

Отгрезились музы и лира,
могущество и волшебство.
Но чудится отсвет сапфира,
когда произносят: Сапфо.

Как будто у моря, у кромки,
несомы песком-решетом
не речи обрывки,— обломки
галеры, расколотой в шторм.

Но щепки, но крохи по книгам
в сдуваемой легкой пыли
подобны вакханкам и пикам,
что к нам целиком не дошли.

Уже никому не добавить
ни слово, ни складку, ни прядь,
а только пытаться представить —
и, тщетность поняв, отступать.

Что домыслы наши, уловки
живучим осколкам с листа?
Невольные их недомолвки
досказанности не чета.

Такие пробелы, что имя
древней и ценимей стократ.
Такие обломки, что ими
века и века дорожат.

⊡ ⊡ ⊡

Но мы, пожалуй, веселее.
Д. Самойлов

Чтобы взгляд с мельтешеньем не свыкся
и язык жаждал слов, как волшбы,
отразились друг в друге два сфинкса,
нагадали на жизнь две судьбы.
Постигала близ них я с натуры
кладкой строк и движеньем штриха
ленинградскую школу гравюры,
ленинградскую школу стиха.

Впитан мной на соблазны не падкий
строф и линий торжественный строй,
как балтийского ветра повадки
и Атлантики воздух сырой,
и преданья о судьбах опальных,
и в следах артобстрелов гранит,
и доныне непровинциальных
невских белых ночей колорит.

Есть, что помнить,
и есть, чему длиться.
Не ища ни молвы, ни щедрот,
в стороне от веселой столицы
мы еще поглядим, чья возьмет.
Поглядим, не унизив глагола
и резца не роняя из рук.
Ведь слова «ленинградская школа»
так же прочны, как «пушкинский круг».

⊡ ⊡ ⊡

Где изнутри фанерою обит
чердак,— он принимает нас на лето,—
стекляшка, пустячок под малахит,
что вопиешь о роскоши нелепо?

Уж ни на вещи взгляд, ни на житье
не изменить. Зато без оговорки
прекрасно здесь сокровище мое —
трилистник мой,
вид из окна в три створки.

Толпа деревьев, яблоневый сад,
дорога между ними да ограда.
Но будто солнце льют и дождь струят
три неба, и соседствуют три сада.

Ах, створки! Три раздельных череды,
три символа живых десятилетий:
цветенье в первой, во второй плоды
и увяданье медленное в третьей.

СТАРУХА

Михаилу Бычкову

Так молод художник, что вроде бы сдуру
на юность не падок и долгой судьбе
отдал предпочтение, выбрав натуру,
старуху, желанной моделью себе.

Но, может, на то и художник,
чтоб в страхе
не жмуриться, не отводить головы
на щебет и перышки утренней птахи
от мудрой и дряхлой вечерней совы.

Утрачены силы, улыбки и слезы,
и с ветром пропали ее существо
сыпучие, словно песчинки, вопросы:
зачем? почему? для кого? для чего?

А штрих карандашный,
что след серебристый,
как снег, уж недальний, бумага бела.
И так притягателен сумрак безлистый,
что ждешь, будто светом разбавится мгла.

Франц КАФКА



ЗАМОК

Рис. Г. Никеева

Роман

Тайна Амалии

— Суди сам,— начала Ольга,— впрочем, все это выглядит очень просто, не сразу и поймешь, как это может иметь какое-то большое значение. Есть в Замке один важный чиновник, которого зовут Сортини.

— Я о нем уже слышал,— вставил К.— Он был причастен к моему приглашению.

— Не думаю,— сказала Ольга,— Сортини почти не участвует в делах общины. Ты не путаешь с Сордини — через «д»?

— Ты права,— сказал К.,— тот был Сордини.

— Да,— продолжала Ольга,— Сордини очень известен, один из самых старательных чиновников, о нем много говорят; Сортини же, напротив, очень обособлен и большинству незнаком. Я видела его в первый и последний раз больше трех лет тому назад. Это было третьего июля на празднике союза пожарников; Замок тогда тоже участвовал и подарил новый пожарный насос. Сортини, который, видимо, занимался отчасти и делами пожарной охраны (а может быть, он просто замещал кого-то: чиновники как правило взаимно замещают друг друга, поэтому трудно определить компетенцию того или другого чиновника), принимал участие в передаче насоса; были, естественно, еще и другие из Замка: чиновники и прислуга, и Сортини, соответственно своему характеру, держался позади всех. Такой маленький, слабый, задумчивый господин; всем, кто его вообще заметил, бросилось в глаза, как у него лоб собирался в морщины: все морщины — а их было множество, хотя ему никак не больше сорока — веером расходились от переносицы, я никогда ничего подобного не видела. Ну вот, значит, был тот праздник. Мы с Амалией еще за несколько недель радовались ему, выходные платья немножко подновили, особенно платье Амалии было красиво: белый лиф, и спереди так высоко вспенивались кружева, один ряд над другим — мать одолжила для этого все свои кружева; я была тогда завистливая и проплакала перед праздником полночи. Только когда утром хозяйка предмостного трактира пришла посмотреть на нас...

— Хозяйка предмостного трактира? — спросил К.

— Да,— сказала Ольга,— она была с нами очень дружна; так вот, она пришла, вынуждена была признать, что Амалия смотрится лучше, и поэтому одолжила мне, чтобы меня успокоить, свое ожерелье из богемских гранатов. Но потом, когда мы были уже готовы к выходу,— Амалия стояла передо мной, и мы все ею восхищались, и отец сказал: «Сегодня, помяните мое слово, получит Амалия жениха»,— тогда я, сама не знаю почему, сняла это ожерелье, мою гордость, и надела на Амалию, нисколько больше не завидуя. Я склонилась тогда перед ее победой, и мне казалось, все должны были перед ней склоняться; может быть, нас поразило, что она выглядела иначе, чем всегда, потому что красивой она ведь, в сущности, не была, но ее потемневший взгляд, который таким с тех пор и остался, был устремлен высоко поверх наших голов, и перед ней невольно почти и в самом деле склонялись. Это замечали все, и Лаземан с женой, которые за нами зашли,— тоже.

— Лаземан? — спросил К.

— Да, Лаземан,— сказала Ольга.— Нас ведь тогда очень уважали, и праздник, например, без нас, может быть, и не начали бы, отец же был третьим инструктором пожарной команды.

— Отец был еще таким бодрым? — спросил К.

— Отец? — переспросила Ольга, словно не вполне понимая.— Три года назад отец был еще сравнительно молодым человеком; он, например, во время пожара в господском трактире одного чиновника, этого грузного Галатера, рысцой вынес из дома на спине, я сама при этом была. Опасности пожара, правда, не было, просто сухие дрова возле одной печки начали дымиться, но Галатер испугался, позвал из окна на помощь, прибыла пожарная команда, и моему отцу пришлось его выносить, хотя огонь был уже потушен. Ну, Галатер человек малоподвижный и в таких случаях вынужден быть осторожным. Я рассказываю это только из-за отца; с тех пор прошло немногим больше трех лет, а ты посмотри, как он там сидит.

Только теперь К. заметил, что Амалия уже снова в комнате, но она была далеко, возле стола родителей; она кормила мать, которая не могла двигать ревматическими руками, и одновременно уговаривала отца, чтобы он еще немного потерпел с едой, она сию минуту подойдет и накормит его. Но ее призывы успеха не имели, так как отец, которому очень не терпелось приступить к своему супу, преодолевая слабость, пытался то хлебнуть суп с ложки, то выпить прямо из тарелки и сердито ворчал, когда ни то, ни другое ему не удавалось: ложка оказывалась пуста задолго до того, как доходила до рта, и всякий раз не губы, а только свисавшие густые усы окунались в суп, и он потом капал и летел брызгами во все стороны, только не ему в рот.

— И это с ним сделалось за три года? — спросил К., но ни старики, ни весь этот угол с их семейным столом все еще не вызывали в нем никакого сочувствия,— только отвращение.

— За три года,— медленно произнесла Ольга,— а точнее, за несколько часов одного праздничного дня. Праздник устраивали на лугу за деревней у ручья; когда мы подошли, там была уже большая толпа, много народу пришло и из соседних деревень, можно было совсем оглохнуть от шума. Сначала отец, естественно, повел нас к пожарному насосу, он засмеялся от радости, когда его увидел, новый насос был для него счастьем, он начал его ощупывать и нам объяснять, он не допускал никаких возражений или отговорок, если следовало что-то осмотреть под насосом, мы все должны были нагибаться и почти подлезать под насос; когда Барнабас отказался, он получил за это взбучку. Только Амалия не интересовалась насосом, стояла, выпрямившись, рядом в своем красивом платье, и никто не осмеливался ей что-нибудь сказать; я часто подбегала к ней и брала ее под руку, но она молчала. Я и сегодня не могу себе объяснить, как это получилось, что мы так долго стояли перед насосом, но только когда отец от него оторвался, заметили Сортини, который, очевидно, все это время стоял там, облокотившись на ручку насоса. Тогда, правда, был ужасный шум, не просто такой, как обычно бывает на празднике. Дело в том, что Замок подарил пожарной команде еще и несколько труб — такие особенные инструменты, из которых можно было ничтожнейшим напряжением сил — это смог бы и ребенок — извлекать самые дикие звуки, услышав их, можно было подумать, что уже пришли турки; к этим трубам невозможно было привыкнуть, каждый раз, когда в них дули, пробирала дрожь. И так как трубы были новые, всем хотелось попробовать, а так как это был все-таки народный праздник, то всем разрешали. Как раз вокруг нас (возможно, их привлекала Амалия) было несколько таких трубачей; тут трудно было вспомнить, где находишься, а когда к тому же еще надо было по требованию отца осматривать насос, то ни на что другое нас уже не хватало, поэтому и Сортини (которого мы ведь до того и вообще не знали) мы так необычно долго не замечали. «Там — Сортини»,— прошептал, наконец (я стояла рядом), Лаземан отцу. Отец низко поклонился и возбужденно сделал нам знак, чтобы и мы поклонились. Отец, до того времени с ним незнакомый, с давних пор уважал Сортини как специалиста в делах пожарной охраны и нередко говорил о нем дома, поэтому для нас это было тоже очень неожиданно и важно — увидеть теперь Сортини наяву. Но Сортини не обращал на нас внимания — это не было какой-то отличительной чертой Сортини, большинство чиновников во время пуб-

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1988, № 1, 2.

личных церемоний выглядят безучастными, к тому же он был утомлен и только служебный долг удерживал его здесь внизу; многие, совсем не самые худшие чиновники воспринимают как раз такие обязанности представительства как особенно тягостные; другие чиновники и слуги, раз уж они все равно тут оказались, смешались с народом, но он оставался у насоса и всякого, кто пытался подойти к нему с какой-нибудь просьбой или лестью, он отпугивал своим молчанием. Поэтому получилось так, что он нас заметил еще позже, чем мы его. Только когда мы ему почтительно поклонились и отец попытался извиниться за нас, он посмотрел в нашу сторону,— устало так посмотрел, переводя взгляд вдоль шеренги от одного к другому, и, казалось, вздыхал оттого, что рядом с одним каждый раз оказывается еще другой — пока не остановился на Амалии, на которую ему пришлось смотреть снизу вверх, так как она была намного выше его. Тут он изумился и перепрыгнул через рычаг, чтобы оказаться ближе к Амалии; мы сперва этого не поняли и хотели все во главе с отцом к нему подойти, но он остановил нас, подняв руку, а затем кивнул, чтобы мы ушли. И это было все. Мы потом все дразнили Амалию, что она и в самом деле нашла жениха; по своей наивности мы весь тот вечер были очень веселы, а Амалия — молчаливей, чем всегда. «Да она по уши втрескалась в Сортини»,— сказал Брунсвик, который всегда был грубоват и таких натур, как Амалия, совсем не понимает, но тогда его слова показались нам почти правильными, мы в тот день вообще были глупые, и, когда за полночь пришли домой, все, кроме Амалии, от сладкого замкового вина были словно одуревшие.

— А Сортини? — спросил К.

— Да, Сортини,— сказала Ольга,— Сортини я во время праздника еще несколько раз видела, проходя мимо; он сидел на рычаге, скрестив руки на груди, и так и просидел, пока не прибыла карета из Замка, чтобы его забрать. Он не пошел даже на соревнования пожарной команды, на которых отец тогда — как раз надеясь, что Сортини смотрит — отличился среди всех мужчин своего возраста.

— И больше вы о нем не слышали? — спросил К.— Да, ты, кажется, питаешь к Сортини большое уважение.

— Да, уважение,— сказала Ольга.— Да. И мы еще о нем услышали. На следующее утро нас разбудил от нашего хмельного сна крик Амалии; остальные сразу же снова рухнули в постели, а я совершенно проснулась и подбежала к Амалии. Она стояла у окна и держала в руке письмо, которое какой-то человек подал ей через окно; человек еще ждал ответа. Письмо — оно было коротким — Амалия уже прочла и держала его в безжизненно повисшей руке; как я любила ее, даже когда она была такой усталой. Я опустилась около нее на колени и прочла письмо. Едва я кончила, Амалия, коротко взглянув на меня, снова поднесла письмо к глазам, но не решилась прочесть, порвала, бросила клочки в лицо человеку на улице и закрыла окно. Это и было то решающее утро. Я называю его решающим, но и каждое мгновение предыдущего вечера было таким же решающим.

— И что было в письме? — спросил К.

— Да, я это еще не рассказала,— кивнула Ольга.— Письмо было от Сортини, адресовано оно было девушке с гранатовым ожерельем. Содержание его я не могу передать. Это было требование прийти к нему в господский трактир, причем Амалия должна была прийти немедленно, так как через полчаса Сортини надо было уезжать. Письмо было составлено в самых гадких выражениях, каких я еще никогда не слышала и только по общему смыслу наполовину угадала. Кто не знал бы Амалию и прочел только это письмо, тот должен был бы девушку, которой кто-то посмел так написать, считать обесчещенной, даже если бы к ней никто и не прикасался. И это не было любовное письмо, ни одного ласкового слова не было в нем, напротив, Сортини явно злился, что образ Амалии захватил его, отвлек его от дел. Мы позднее объяснили себе это так, что Сортини, скорей всего, хотел сразу же вечером ехать в Замок, остался в деревне только из-за Амалии и утром, в ярости от того, что и за ночь ему не удалось забыть Амалию, написал письмо. Такое письмо поначалу должно было возмутить даже самую хладнокровную, но потом у какой-нибудь не такой, как Амалия, скорей всего победил бы страх перед сердитым, угрожающим тоном письма,— у Амалии все остановилось на возмущении (она не знает страха ни за себя, ни за других). И потом, когда я уже снова залезла в постель и повторяла про себя последнюю оборванную фразу: «Так вот, чтоб сейчас же пришла — или...!», Амалия все сидела на подоконнике и смотрела в окно, словно ждала еще новых посыльных и была готова обойтись с каждым из них, как с первым.

— Вот такие, значит, эти чиновники,— проговорил К., помедлив,— такие среди них попадаются экземпляры. Что сделал твой отец? Я надеюсь, он подал в соответствующую инстанцию основательную жалобу на Сортини — если не предпочел более надежный и короткий путь в господский трактир. Самое омерзительное во всей этой истории ведь не оскорбление Амалии, это легко можно было поправить, я не знаю, почему ты придаешь такое чрезмерно большое значение именно этому; почему подобным письмом Сортини

должен был навсегда скомпрометировать Амалию? — по твоему рассказу вроде бы получается так, но как раз такого быть и не может: Амалии легко можно было устроить какое-то удовлетворение, и через пару дней инцидент был бы забыт; не Амалию Сортини скомпрометировал, а самого себя. Меня, главным образом, ужасает Сортини, ужасает сама возможность подобных злоупотреблений властью. То, что не удалось в этом случае, потому что было совершенно прозрачно, коротко и ясно высказано, и потому что Амалия оказалась слишком сильным противником, могло бы в тысяче других случаев при чуть более неблагоприятных обстоятельствах полностью удаться и могло бы пройти для всех незамеченным, в том числе и для жертвы.

— Тише,— сказала Ольга,— Амалия сюда смотрит.

Амалия закончила кормление родителей и теперь, собираясь раздевать мать, развязывала на ней юбку; затем она положила руки матери себе на плечи, приподняла ее немного и, стащив юбку, осторожно усадила обратно. Отец, постоянно недовольный тем, что сначала обслуживают мать (это, очевидно, происходило только потому, что мать была еще более беспомощна, чем он), попытался — возможно, чтобы наказать дочь за ее мнимую медлительность — раздеться сам, но хотя он начал с самого ненужного и легкого, с непомерно больших тапок, в которых его ноги только ерзали как палки, ему все же никаким способом не удавалось их скинуть, вскоре он вынужден был это оставить и с хриплым сипением снова откинулся на спинку своего стула.

— Главного ты не понял,— сказала Ольга.— Пусть ты во всем даже прав, но главным было то, что Амалия не пошла в господский трактир; как она поступила с посыльным, это само по себе еще могло обойтись, это можно было замять, но она не пошла — и проклятие нашей семье было произнесено, а тогда, конечно, и обращение с посыльным стало чем-то непростительным,— да, для общественного мнения это было даже выдвинуто на первый план.

— Как! — крикнул К., но тут же приглушил голос, так как Ольга умоляюще подняла руки.— Не хочешь же ты, ее сестра, сказать, что Амалия должна была подчиниться Сортини и бежать в господский трактир?

— Нет,— ответила Ольга,— сохрани меня бог — такое подозрение, как ты можешь так думать? Я никого не знаю, кто был бы так безупречно прав, как Амалия, во всем, что она делает. Если бы она пошла в господский трактир, я, разумеется, точно так же сказала бы, что она права, но то, что она не пошла, это был героизм. Что касается меня, я откровенно тебе признаюсь: если бы и получила такое письмо, я бы пошла. Я не вынесла бы страха перед будущим, на такое способна только Амалия. А так легко было придумать какую-нибудь уловку, например, другая на ее месте постаралась бы покрасивее нарядиться и на это ушло бы время, а потом она бы пришла в господский трактир и узнала бы, что Сортини уже нет, может быть,— что он уехал сразу же после того, как отправил посыльного, такое даже очень вероятно, так как настроения господ переменчивы. Но Амалия ничего подобного не сделала, она была слишком глубоко оскорблена и ответила бесповоротно. Если б она хоть как-нибудь для виду подчинилась, если б только переступила вовремя порог господского трактира,— и гибели можно было бы избежать; у нас здесь есть очень умные адвокаты, которые совершенно из ничего могут сделать все, что только захочешь, но в этом случае не только не было даже такого благоприятного «ничего», а напротив, было еще унижение достоинства сортиниевского письма и оскорбление посыльного.

— Да какая там гибель,— сказал К.,— какие адвокаты, нельзя же было из-за преступного образа действий Сортини обвинять или тем более наказывать Амалию?

— Представь себе,— возразила Ольга,— можно было; правда, не так, как положено, не судебным процессом — да ее ведь и не наказали непосредственно,— но наказали по-другому, ее и всю нашу семью, и как тяжело это наказание, ты, наверное, начинаешь понимать. Тебе это кажется несправедливым и чудовищным, на этот счет и в деревне совершенно единое мнение, очень для нас благоприятное, и оно должно было бы нас утешать — и утешало бы, если бы не проистекало из явных ошибок. Я легко могу тебе это доказать; прости, если я при этом буду говорить о Фриде, но между ней и Кламмом произошло — не говоря о том, во что это в конце концов вылилось — нечто совершенно подобное тому, что было между Амалией и Сортини, и тем не менее ты, даже если поначалу ты, возможно, и испугался, теперь уже считаешь это нормальным. И это не привыкание, от привыкания так отупеть нельзя, ведь речь идет о простой оценке,— это только следствие ошибок.

— Нет, Ольга,— запротестовал К.,— я не понимаю, зачем ты впутываешь сюда Фриду, ведь это совершенно другой случай; не вали ты в одну кучу такие принципиально разные вещи и рассказывай дальше.

— Пожалуйста,— попросила Ольга,— не обижайся на меня, если я буду настаивать на этом сравнении, это — последняя из ошибок, и в отношении Фриды тоже, если ты считаешь, что должен защищать

ее от сравнений. Ее совсем не нужно защищать — только хвалить. Если я и сравниваю эти случаи, то я ведь не говорю, что они одинаковые, они, в отношении друг к другу,— белое и черное, и белое — Фрида. В худшем случае, над Фридой можно посмеяться, как это невежливо сделала я в пивной — потом я очень об этом сожалела,— и даже если того, кто смеется, считать злобным или завистливым, все-таки здесь можно смеяться. Амалию же, если не связан с ней кровным родством, можно только презирать. Поэтому хотя эти случаи и принципиально, как ты говоришь, различные, но все-таки — и похожие.

— Они и не похожи,— сказал К. и раздраженно мотнул головой,— оставь ты Фриду в покое, Фрида таких милых писем, как Амалия от Сортини, не получала и Фрида Кламма действительно любила, а кто в этом сомневается, может спросить у нее, она и сейчас еще его любит.

— Разве тут такая большая разница? — спросила Ольга.— Ты думаешь, Кламм не мог бы такое же написать Фриде? Когда господа выходят из-за письменного стола, они — такие, они не могут разобраться в житейских делах и тогда по рассеянности говорят самые ужасные грубости — не все, но многие. Ведь это письмо к Амалии могло быть набросано в задумчивости, при полном невнимании к тому, что в действительности пишется. Откуда нам знать, что думают господа! Разве ты не слышал сам или по рассказам, в каком тоне Кламм разговаривал с Фридой? О Кламме известно, что он очень груб; он, говорят, часами не разговаривает, а потом вдруг скажет такую грубость, что дрожь пробирает. О Сортини это не известно, он ведь и вообще очень мало известен. Про него, собственно, знают только то, что его фамилия похожа на фамилию Сордини; если бы не это сходство фамилий, его бы, наверное, совсем не знали. И как специалиста по пожарной охране его, наверное, тоже путают с Сордини, который действительно специалист и пользуется сходством фамилий, чтобы как раз эти обязанности представительства в первую очередь сваливать на Сортини и таким образом без помех продолжать заниматься своей работой. Ну, и когда вот такого неприспособленного к жизни человека, как Сортини, вдруг охватывает любовь к деревенской девушке, то, естественно, это принимает другие формы, чем если бы влюбился соседский подмастерье столяра. Потом, не нужно ведь забывать, что между чиновником и дочерью сапожника все-таки большое расстояние, которое как-то надо преодолеть; Сортини попытался это сделать таким способом, другой мог бы сделать по-другому. Хотя говорится, что все мы принадлежим к Замку и никакого расстояния вообще нет и нечего преодолевать, и, может быть, в общем так оно и есть, но мы, к сожалению, имели возможность убедиться, что как раз, когда доходит до дела, это совсем не так. Во всяком случае, теперь образ действий Сортини стал для тебя более понятным и не таким чудовищным; в сравнении с кламмовым, он действительно намного понятнее и, даже если это совсем близко тебя касается,— намного переносимее. Когда Кламм пишет нежное письмо, это больнее, чем самое грубое письмо Сортини. Но пойми меня правильно, я не смею судить о Кламме, я только сравниваю, в то время как ты от этого сравнения защищаешься. Кламм же — как комендант над женщинами, приказывает то одной, то другой прийти к нему, ни одну долго не терпит и как приказывает прийти, так приказывает и уйти. Ах, Кламм даже не потрудился бы написать сначала письмо. И в сравнении с этим, разве уж так чудовищно, когда живущий совершенно уединенно Сортини, чьи связи с женщинами по меньшей мере неизвестны, однажды садится за стол и своим красивым почерком чиновника пишет — разумеется, омерзительное — письмо. И если здесь, таким образом, не только не оказывается никакой разницы в пользу Кламма, а даже наоборот, то разве ее создает любовь Фриды? Отношения женщин с чиновниками, поверь мне, очень нелегкие, или, вернее, о них всегда очень легко судить. Без любви здесь никогда не обходится. Несчастной любви у чиновников не бывает. В этом смысле когда о какой-то девушке говорят — я имею в виду вовсе не только Фриду,— будто она только потому отдалась чиновнику, что любила его, то это не похвала. Она любила его и отдалась ему,— так это было, и хвалить тут не за что. Но Амалия не любила Сортини, возразишь ты. Ну, да, она его не любила, но, может быть, она его все же и любила — кто это может знать? Даже она сама не может. Как она может считать, что она его не любила, когда она его так круто отвергла, как, наверное, еще никогда ни одного чиновника не отвергали? Барнабас говорит, что она еще и теперь иногда вздрагивает от того движения, которым три года назад захлопнула окно. И это правда, и поэтому ее спрашивать нельзя; она покончила с Сортини, и это все, что она знает, а любит ли она его или нет — она не знает. Но мы знаем, что женщинам ничего не остается, как только любить чиновников, если те когда-либо бросят на них взгляд,— да они любят чиновников уже заранее, как бы они ни пытались это отрицать,— а Сортини ведь не только бросил на Амалию взгляд, а даже через рычаг перепрыгнул, когда Амалию увидел; своими окостеневшими от сидения за письменным столом ногами — через рычаг перепрыгнул. Но Амалия ведь исключение, скажешь ты. Да, она — исключение, она это доказала своим отказом идти к Сортини, это достаточно исключительно; а что она якобы к тому же и не любила Сортини — это уж было бы почти что слишком большим исключением, этого уже вообще нельзя было бы понять. Да, конечно, в тот вечер на нас куриная слепота напала, но то, что сквозь весь наш тогдашний туман мы все же какую-то влюбленность в Амалии, кажется, заметили, свидетельствует, наверное, о каком-то остатке сознания. И если теперь все это сопоставить, то какое останется тогда различие между Фридой и Амалией? Единственное — что Фрида сделала то, что Амалия сделать отказалась.

— Возможно,— сказал К.,— но для меня главное различие в том, что Фрида — моя невеста, а Амалия меня волнует, в сущности, лишь постольку, поскольку она сестра Барнабаса, замкового посыльного, и ее судьба, возможно, переплетается со службой Барнабаса. Если бы какой-то чиновник поступил с ней так вопиюще несправедливо, как мне вначале из твоего рассказа показалось, меня бы это сильно заинтересовало, но и то, скорее, как общественное явление, чем как личное несчастье Амалии. Но теперь твой рассказ меняет для меня всю картину каким-то хотя и не вполне понятным, но поскольку это рассказываешь ты,— каким-то достаточно правдоподобным образом, и поэтому я бы с удовольствием вообще об этой истории больше не вспоминал; я не пожарный, какое мне дело до Сортини. Но мне очень есть дело до Фриды, и поэтому мне странно, как ты, которой я совершенно доверяю, и хочу, и рад буду доверять всегда, все время стараешься в обход через Амалию задеть Фриду и вызвать у меня подозрения. Я не думаю, что ты делаешь это с умыслом или, тем более, со злым умыслом, ведь иначе мне давно уже пришлось бы уйти. Ты делаешь это не с умыслом, просто обстоятельства толкают тебя на это, из любви к Амалии тебе хочется превознести ее выше всех женщин, а поскольку ты не находишь достаточно похвального в самой Амалии, то для компенсации принижаешь других женщин. Поступок Амалии примечателен, но чем больше ты о нем рассказываешь, тем становится труднее решить, серьезный он или мелкий, умный или глупый, героический или трусливый, а побудительные мотивы поступка Амалия похоронила в своей груди и никто их у нее не вырвет. Напротив, Фрида решительно ничего примечательного не совершала, а следовала только своему сердцу; это ясно каждому, кто занимается всем этим добросовестно, это каждый может заново проверить, для сплетен тут почвы нет. Но я не собираюсь ни развенчивать Амалию, ни защищать Фриду,— а только хочу разъяснить тебе, как я отношусь к Фриде и почему всякое покушение на Фриду есть покушение на мое существование. Я по собственной воле сюда пришел и по собственной воле здесь зацепился, но за все, что с тех пор произошло и прежде всего за мои виды на будущее (как бы они ни были мрачны, но они все-таки есть),— за все это я должен благодарить только Фриду, тут и обсуждать нечего. Хоть я, правда, и был принят здесь в качестве землемера, но это была одна лишь видимость, мной играли, меня выгоняли из всех домов,— мной и сегодня еще играют, но насколько церемоннее стала игра! — я, в некотором смысле, выиграл в пространстве, а это уже что-то значит; у меня, как бы ни было все это ничтожно, все-таки уже есть какой-то дом, какая-то должность и реальная работа, у меня есть невеста, которая, когда я занят другими делами, берет на себя мои служебные обязанности, я женюсь на ней и стану членом общины, у меня есть, кроме официальной, еще и некая личная связь с Кламмом — пока, правда, не удавалось ее использовать. Это, наверное, все-таки немало? И когда я прихожу к вам — кого вы приветствуете? Кому ты доверяешь историю вашей семьи? С кем ты связываешь надежду на возможность, пусть даже самую ничтожную, невероятную возможность какой-то помощи? Ведь, наверное, не со мной, землемером, которого, например, неделю назад Лаземан с Брунсвиком выперли из своего дома,— нет, ты связываешь ее с человеком, который уже имеет какие-то возможности, но за эти возможности я должен благодарить Фриду,— Фриду, которая скромна настолько, что если ты попробуешь ее о чем-нибудь таком спросить, она наверняка скажет, что вообще об этом ничего не знает. И все-таки, судя по всему, похоже, что Фрида в своей невинности совершила больше, чем Амалия со всем ее высокомерием, потому что у меня, видишь ли, такое впечатление, что ты ищешь помощи для Амалии. И у кого? Ведь, в сущности, ни у кого другого, как у Фриды?

— Разве я действительно так скверно говорила о Фриде? — спросила Ольга.— Я этого, конечно, не хотела и думаю, что ничего такого и не сказала, но, вообще-то, могла,— наше положение таково, что мы злы на весь свет и уж если начинаем жаловаться, нас заносит мы сами не знаем куда. И ты прав, между нами и Фридой теперь большая разница, и полезно иногда ее подчеркнуть. Три года назад мы были барышнями, а сирота Фрида — служанкой в предмостном трактире, мы проходили мимо, не удостаивая ее взглядом, мы были, конечно, слишком высокомерны, но нас так воспитали. А как обстоит дело теперь, ты мог понять в тот вечер в

господском трактире: Фрида с кнутом в руках и я в толпе слуг. Но все даже еще хуже. Пусть нас презирает Фрида, это соответствует ее положению, ее вынуждают существующие отношения. Но кто только нас не презирает, боже мой! Ведь тот, кто решает нас презирать, сразу же попадает в подавляющее большинство. Ты знаешь преемницу Фриды? Ее Пепи зовут. Я только позавчера вечером с ней познакомилась, до этого она была горничной. В презрении ко мне она уж точно превосходит Фриду. Увидела в окно, что я иду за пивом, подбежала к двери и заперла ее; мне пришлось долго просить и пообещать ей ленту, которая у меня была в волосах, прежде чем она мне открыла. Но когда я потом дала ей ленту, она швырнула ее в угол. Ну, пусть она меня презирает, ведь она — служанка в пивной в господском трактире и отчасти я отдана ей на милость; правда, это не надолго, у нее определенно нет качеств, которые нужны, чтобы ее долго там держали. Стоит только послушать, как хозяин разговаривает с Пепи, и сравнить с тем, как он разговаривал с Фридой. Но это не мешает Пепи презирать даже Амалию,— Амалию, одного взгляда которой хватило бы, чтобы эта коротышка Пепи со всеми своими косами и бантами так быстро вылетела из комнаты, как она никогда бы не смогла сама со своими толстенькими ножками. Какой возмутительный вздор она вчера болтала об Амалии, и я должна была снова это слушать, пока посетители, наконец, не занялись мной — таким, правда, способом, как ты уже один раз видел.

— Как ты запугана,— сказал К.,— я же не вас хотел унизить,— ты не так меня поняла,— я только Фриду поставил на подобающее ей место. Я не скрываю, что-то особенное есть в вашей семье и для меня тоже, но как эта особенность может быть поводом для презрения, этого я не понимаю.

— Ах, К.,— вздохнула Ольга,— боюсь, что и ты тоже это поймешь; первым поводом для презрения было то, как вела себя Амалия в отношении к Сортини,— этого ты совсем никак не можешь понять?

— Это было бы уж слишком странно,— ответил К.,— восхищаться Амалией или осуждать ее за это можно было, но презирать? И если в силу непонятного мне чувства Амалию в самом деле презирают,— почему это презрение распространяется на вас, на невинную семью? Что, например, Пепи тебя презирает, это уже просто наглость, и если я как-нибудь опять приду в господский трактир, я ей это вспомню.

— Если ты собираешься, К.,— сказала Ольга,— переубедить всех, кто нас презирает, то это будет тяжелая работа, потому что все идет от Замка. Я как сейчас помню все, что потом было в то утро. Пришел, как приходил каждый день, Брунсвик,— он тогда был наш подмастерье,— отец дал ему работу и отослал домой, потом мы сидели за завтраком; все, за исключением Амалии и меня, были очень оживлены, отец все рассказывал о празднике, у него были различные планы относительно пожарной команды; дело в том, что в Замке есть своя пожарная команда, которая на праздник тоже прислала делегацию, с ними многое обсуждалось, присутствовавшие господа из Замка познакомились с подготовкой нашей пожарной команды, очень положительно о ней отозвались, сравнили ее с подготовкой замковой пожарной команды, результат был в нашу пользу, было сказано о необходимости реорганизации замковой пожарной команды, для этого требовались инструкторы из деревни, и хотя кандидатур было несколько, отец все же надеялся, что выбор падет на него. Об этом он тогда и говорил; по своей привычке вольготно располагаться за столом, он сидел тут, обхватив руками полстола, и, когда через раскрытое окно он смотрел вверх на небо, его лицо было так молодо и так светилось надеждой — никогда больше мне не суждено было увидеть его таким. И тогда Амалия сказала — с таким превосходством, какого мы за ней прежде не замечали,— что этим господским разговорам не следует очень доверять, в подобных случаях господам приятно бывает сказать что-нибудь любезное, но стоит это немного или вообще ничего, не успеют тебе что-то сказать, как это уже навсегда забыто, правда, в следующий раз снова попадаешься на их удочку. Мать сделала ей выговор за такие слова, отец же только посмеялся ее мудрости и многоопытности, но вдруг осекся, начал словно бы искать что-то, потерю чего он только теперь заметил, но ничто не терялось, и он тогда сказал, что Брунсвик рассказывал о каком-то посыльном и каком-то разорванном письме, и он спрашивает, знаем ли мы что-нибудь об этом, о ком тут речь и в чем тут вообще дело. Мы молчали, Барнабас, тогда еще маленький, совсем ягненок, сказал что-то особенно глупое или дерзкое, заговорили о другом и все дело забылось.

Наказание Амалии

Но вскоре нас уже со всех сторон засыпали вопросами об этой истории с письмом; приходили друзья и враги, знакомые и посторонние, но оставались недолго, и самые лучшие друзья уходили поспешней всех. Лаземан, всегда такой медлительный и достойный, зашел так, словно хотел только проверить размеры комнаты, один взгляд по сторонам — и его уже нет (это было похоже на какую-то страшную детскую игру: Лаземан убегает, а отец высвобождается от других людей, бежит за ним до самой двери и застывает на пороге); пришел Брунсвик и взял у отца расчет, он совершенно честно сказал, что хочет теперь работать самостоятельно,— умная голова, умеет использовать момент; приходили заказчики и выискивали в кладовой свои сапоги, отданные отцу для починки, отец сначала пытался переубедить заказчиков и мы все поддерживали его по мере наших сил,— потом он оставил это и молча помогал людям искать; в книге заказов вычеркивалась строчка за строчкой, запасы кожи, которые люди держали у нас, забирались, долги выплачивались, все шло без малейших споров, люди были довольны, когда удавалось быстро разорвать с нами все связи, и если при этом даже терпели убытки, на это не смотрели. И наконец, как и следовало ожидать, появился Зееман, старшина пожарной команды, я как сейчас вижу эту сцену: Зееман, высокий и сильный, но немного сутулый и с больными легкими, всегда серьезный (он вообще не умел смеяться), стоит перед моим отцом, которым он восхищался, которому он в часы откровенности намекал на возможность получения в будущем места одного из заместителей старшины, и которому теперь должен сообщить, что союз с ним расстается и предлагает возвратить диплом. Люди — как раз в это время у нас были люди — оставляют свои дела и толпятся вокруг них двоих. Зееман ничего не может сказать, только все время встряхивает отца за плечи так, словно хочет вытрясти из отца те слова, которые должен сказать сам, но не может найти. При этом он все время смеется, желая, вероятно, немного успокоить этим себя и всех, а так как смеяться он не умеет и никто еще никогда не слышал, чтобы он смеялся, то никому не приходит в голову, что это смех. Но отец за день уже слишком устал и отчаялся для того, чтобы кому-то помогать, он, кажется, слишком устал даже для того, чтобы вообще сообразить, о чем идет речь. Да и мы все были в таком же отчаянии, но так как мы были молоды, мы не могли поверить в такое полное крушение, нам все казалось, что в длинной веренице посетителей появится, наконец, кто-то, кто прикажет, чтобы все это остановилось и пошло обратно. По нашей наивности Зееман казался нам для этого особенно подходящим человеком. Мы с нетерпением ждали, что из его непрерывного смеха вырвется наконец ясное слово. Над чем же тут было смеяться? Только над глупой несправедливостью, которая с нами произошла. «Господин старшина, господин старшина, скажите же вы, наконец, этим людям»,— думали мы и теснились к нему, но это только заставляло его как-то странно повертываться. Наконец, он все-таки заговорил — правда, не для того, чтобы исполнить наше тайное желание, а в ответ на подбадривающие или раздраженные возгласы людей. Мы все еще надеялись. Он начал с больших похвал отцу. Назвал его гордостью союза, недостижимым образцом для подрастающего поколения, незаменимым членом, чей уход должен был чуть ли не развалить союз. Все это было очень хорошо, если бы только он на этом остановился! Но он говорил дальше. Если же теперь, тем не менее, союз решил предложить отцу — разумеется, только временно — расстаться, то надо понять серьезность причин, которые союз к этому вынудили. Может быть, все я не зашло бы так далеко, если бы не блестящие успехи отца на вчерашнем празднике, но именно эти успехи привлекли особенно пристальное внимание; союз теперь весь на виду и должен заботиться о своей чистоте еще больше, чем раньше. И после того, как случилось это оскорбление посыльного, союз не нашел никакого иного выхода, и он, Зееман, взял на себя тяжелую обязанность это сообщить. Отец не должен утяжелять ему ее еще больше. Как рад был Зееман, что сумел это произнести, он был так в этом уверен, что уже не был и чрезмерно почтителен; он показал на диплом, который висел на стене, и поманил пальцем. Отец кивнул и пошел за дипломом, но дрожащими руками никак не мог снять его с крюка; я встала на стул и помогла ему. И с этого момента все было кончено; отец даже не вынул диплом из рамки, а отдал Зееману целиком, как было. После этого он сел в углу, больше уже не двигался и ни с кем не говорил, нам пришлось самим объясняться с людьми, как умели.

— И в чем ты здесь видишь влияние Замка? — спросил К.— Пока он, кажется, еще не вмешивался. В том, что ты рассказала, видны только бессмысленная людская пугливость, радость при несчастье ближнего, ненадежная дружба — вещи, которые встречаешь повсюду, а у твоего отца, впрочем, еще и — так мне по крайней мере кажется — некоторая мелочность, ведь что такое этот диплом? Подтверждение его способностей, а они ведь при нем остались; если они делают его незаменимым — тем лучше, и он мог действительно затруднить старшине все дело, только если бы он сразу, после первого же слова швырнул ему этот диплом под ноги. Но особенно показательным мне кажется то, что Амалию ты даже не упоминаешь; Амалия, которая во всем и была виновата, наверное, стояла себе спокойненько в стороне и наблюдала за опустошением.

— Нет,— сказала Ольга,— тут никого нельзя упрекать, никто не мог поступить иначе, все это уже было влияние Замка.

— Влияние Замка,— повторила Амалия, которая незаметно вошла со двора; родители давно были в постели,— замковые истории рассказываем? Все еще сидите вдвоем? Но ты же собирался сразу уйти, К., а теперь уже десятый час. Разве тебя волнуют такие истории? Вообще-то, здесь есть люди, которые такими историями питаются, они усаживаются рядышком, вот как вы сейчас, и наперебой угощают ими друг друга, но мне казалось, что ты к таким людям не относишься.

— Напротив,— возразил К.,— как раз к ним я и отношусь, а вот люди, которых такие истории не волнуют и которые только других заставляют волноваться, на меня большого впечатления не производят.

— Ну, да,— сказала Амалия,— но ведь интересы у людей очень разные, я както слышала об одном молодом человеке, у которого голова была день и ночь занята мыслями о Замке, обо всем остальном он забывал, опасались даже за его душевное здоровье, так как вся его душа была наверху, в Замке. Но в конце концов выяснилось, что на самом деле ему был нужен не Замок, а только дочь одной судомойки в канцеляриях, которую он, разумеется, и получил, и тогда снова все стало хорошо.

— Этот человек, я думаю, мне бы понравился,— заметил К.

— Сомневаюсь, чтобы он тебе понравился,— сказала Амалия,— вот, разве что,— его жена. Ну, не буду вам мешать; я, впрочем, иду спать и должна буду погасить свет — из-за родителей: хотя они засыпают сразу и крепко, но через какой-нибудь час настоящий сон уже кончается, и тогда им мешает даже самый слабый свет. Спокойной ночи.

И действительно, сразу стало темно; Амалия, видимо, постелила себе где-то на полу возле кровати родителей.

— Что это за молодой человек, о котором она говорила? — спросил К.

— Не знаю,— ответила Ольга.— Может быть, Брунсвик, хотя это к нему не совсем подходит, но может быть — и кто-то другой. Понять ее довольно трудно, потому что часто не знаешь, серьезно она говорит или с иронией. Большей частью это серьезно, но звучит как ирония.

— Да брось ты эти толкования! — разозлился К.— Как ты вообще попала в такую большую зависимость от нее? Так было еще до вашего великого несчастья? Или только после него? Неужели тебе никогда не хотелось стать от неее независимой? И разве есть для этой зависимости какие-нибудь разумные основания? Она самая младшая, и как младшая должна подчиняться. Виновата или не виновата, но она навлекла на семью несчастье. И вместо того, чтобы каждый день у каждого из вас снова и снова просить за это прощения, она ходит задрав нос, не беспокоится ни о ком, кроме родителей, да и то самую малость, словно из милости, не желает, как она выражается, ни во что быть посвящена, и если уж она с вами когда-то разговаривает, то большей частью это серьезно, но звучит как ирония. Или, может быть, она царит благодаря своей красоте, которую ты тут несколько раз поминала? Ну, вы все трое очень похожи друг на друга, а то, чем она от вас двоих отличается,— отнюдь не в ее пользу, еще когда я ее в первый раз увидел, меня оттолкнул ее тупой, равнодушный взгляд. И потом, хоть она самая младшая, но по ней этого никак не скажешь, у нее внешность женщины без возраста, такие едва ли старятся, но и едва ли бывают по-настоящему молодыми. Ты видишь ее каждый день, ты даже не замечаешь, какое у нее жестокое лицо. Поэтому и склонность Сортини, когда я о ней размышляю, я не могу даже принять особенно всерьез; может быть, этим письмом он хотел ее только наказать, а не позвать.

— О Сортини я не хочу говорить,— сказала Ольга.— У господ в Замке все возможно, будь это самая красивая девушка или самая уродливая. Но в остальном ты насчет Амалии совершенно заблуждаешься. Посуди сам, у меня ведь нет никаких особых причин склонять тебя в пользу Амалии, и если я все-таки пытаюсь это сделать, то я делаю это только ради тебя. Амалия в некотором смысле была причиной нашего несчастья, это, конечно, так, но даже отец, которого несчастье затронуло ведь сильнее всех и который никогда особенно не сдерживал себя в выражениях, а дома — тем более,— даже отец и в самые худшие времена не упрекнул Амалию ни единым словом. И совсем не потому, что одобрял действия Амалии; как мог он, почитатель Сортини, их одобрить, ни вот настолечко не мог он этого понять; и себя, и все, что он имел, он наверняка с радостью принес бы в жертву Сортини, но, конечно, не так, как это в действительности случилось: ведь Сортини, по-видимому, разгневался. По-видимому, так как ничего больше о Сортини мы не узнали; если до того он жил обособленно, то с тех пор его как будто совсем не стало. И если бы ты видел Амалию в то время. Мы все знали, что никакого явного наказания не будет. От нас только отстранились — и здешние жители, и Замок. Но если отстранение жителей было, разумеется, заметно, то со стороны Замка совсем ничего нельзя было заметить. Мы и раньше-то никакого попечения Замка не замечали — как мы могли заметить теперь какую-то перемену? Эта тишина была хуже всего. Вовсе не отстранение жителей: они ведь это сделали не по убеждению и, возможно, вообще ничего

серьезного против нас не имели (теперешнего презрения тоже совсем еще не было), они это сделали только из страха и теперь ждали, что из всего этого выйдет. И нужды нам тоже еще не приходилось бояться, все должники с нами расплатились, итог был в нашу пользу, с продуктами, которых у нас не было, нас тайком выручали родственники, это было не трудно, было ведь время сбора урожая; правда, у нас не было земли, и нас нигде не брали работать; впервые в жизни мы были почти что приговорены к безделью. И вот мы сидели все вместе, за закрытыми окнами в июльскую и августовскую жару, и ничего не случалось. Не было ни повесток, ни новостей, ни известий, ни гостей — ничего.

— Ну,— сказал К.,— раз ничего не случалось и никакого явного наказания ожидать тоже не приходилось, так чего вы боялись? Страшные вы все-таки люди!

— Как тебе это объяснить? — проговорила Ольга.— Мы не боялись ничего в будущем, мы страдали уже от настоящего, мы были в кольце наказания. Люди в деревне ведь только и ждали, чтобы мы к ним пришли, чтобы отец снова открыл свою мастерскую, чтобы Амалия, которая умела шить очень красивые платья (разумеется, только для самых изысканных), снова стала выполнять заказы, ведь люди жалели о том, что они сделали: когда какая-нибудь уважаемая в деревне семья вдруг исключается из жизни общины, каждый терпит от этого какой-то ущерб; отрекаясь от нас, они верили, что выполняют свой долг, и мы тоже на их месте поступили бы так же. Они ведь толком и не знали, в чем вообще дело,— знали только, что посыльный возвратился в господский трактир с клочками бумаги в руке. Фрида видела, как он выходил и как вернулся, перемолвилась с ним несколькими словами и что узнала, сразу же всем сообщила, но опять-таки совсем не из враждебности к нам, а просто из чувства долга,— как это было бы долгом всякого другого в подобном случае. Так что людям, как я уже сказала, счастливое разрешение этого дела было бы приятнее всего. Если бы в один прекрасный день мы вдруг появились с известием, что все уже в порядке и что это было, к примеру, лишь какое-то уже полностью разъяснившееся недоразумение, или — что хоть и был проступок, но он уже заглажен делом, или — даже этого людям было бы достаточно — что нам через наши связи в Замке удалось прекратить это дело, нас несомненно снова приняли бы с распростертыми объятиями, были бы поцелуи, поздравления, празднования, я несколько раз видела такое у других. Но и в таком известии не было необходимости; если бы мы только вышли на волю и сами вызвались восстановить старые связи, даже ни единым словом не упомянув об истории с письмом,— уже этого было бы достаточно, все с радостью отказались бы от обсуждения такого дела; ведь, помимо страха, от нас отделились прежде всего из-за его неблаговидности: просто, чтобы ничего не слышать об этом деле, чтобы не говорить, не думать о нем, чтобы никоим образом не оказаться к нему причастными. Если Фрида и предала это дело огласке, то сделала это совсем не для того, чтобы позлорадствовать, а для того, чтобы себя и всех от него оградить, чтобы привлечь внимание общины к тому, что тут произошло что-то такое, от чего надо старательнейшим образом держаться подальше. Здесь в расчет принимались не мы, как семья, а только само дело, а мы — уже только в связи с делом, в которое впутались. Так что если бы мы попросту снова вышли на люди, оставив прошлое в покое, показали бы своим поведением, что мы все преодолели, неважно как,— и общественность таким образом приобрела бы уверенность, что это дело, каково бы оно ни было, больше обсуждаться не будет,— то уже все было бы хорошо, повсюду мы встретили бы прежнюю готовность помочь, и даже если бы мы это дело не вполне забыли, люди бы нас поняли и помогли нам забыть его совсем. Но вместо этого мы сидели дома. Я не знаю, чего мы ждали,— решения Амалии, наверное; в то утро она взяла бразды правления в свои руки и крепко удерживала их. Ничего специально для этого не делая, без приказов, без просьб, почти одним только молчанием. Правда, нам, остальным, нужно было многое обсуждать, беспрерывное перешептывание продолжалось с утра до вечера, и, бывало, отец, вдруг забеспокоившись, звал меня к себе, и я проводила у его кровати полночи. Или, бывало, мы усаживались на корточках, я и Барнабас (который ведь поначалу очень мало что во всем этом понимал и, страшно горячась, требовал разъяснений, все время одних и тех же; он, видимо, чувствовал, что беззаботной жизни, которая ждет в его возрасте других, у него уже не будет), и сидели вдвоем — совсем так же, К., как мы сейчас,— и не замечали, как наступала ночь — и новое утро. Мать была самой слабой из нас, вероятно, потому, что она переживала не только общее наше несчастье, но еще и каждое несчастье в отдельности, и вот мы с ужасом стали замечать в ней перемены, которые, как мы догадывались, ожидали всю нашу семью. Ее любимое место было в углу дивана (у нас давно уже его нет, он стоит в большой комнате Брунсвика), там она сидела и то ли дремала, то ли — точно нельзя было понять, но, судя по шевелившимся губам, можно было так думать — вела сама с собой долгие разговоры. Это же было так естественно, что мы все время

обсуждали историю с письмом, обсуждали вдоль и поперек, во всех несомненных подробностях и во всех сомнительных возможностях, и что мы все время превосходили самих себя в выдумывании способов хорошего решения,— это было естественно и неизбежно, но нехорошо, ведь тем самым мы все глубже и глубже погружались в то, от чего хотели уйти. Да и что было пользы от этих пусть даже отличных идей: ни одну из них нельзя было осуществить без Амалии, все это были только предварительные обсуждения, бессмысленные из-за того, что результаты их не доходили до Амалии, но если бы они и дошли до нее, то не встретили бы ничего, кроме молчания. Ну, сегодня я, к счастью, понимаю Амалию лучше, чем тогда. Она переживала больше, чем все мы, просто непостижимо, как она перенесла все это и по-прежнему живет среди нас. Мать, может быть, переживала наше общее несчастье — потому что оно обрушилось на нее,— но переживала недолго; что она и сегодня еще както переживает его, этого сказать нельзя, да и тогда уже рассудок ее помутился. Амалии же не только переживала это несчастье, но и имела достаточно ума понять его; мы видели только следствия — она смотрела в корень, мы надеялись на какое-нибудь простенькое средство — она знала, что все уже решено, нам приходилось шептаться — ей приходилось только молчать, она смотрела правде в глаза, и жила, и переносила эту жизнь, и тогда и сейчас. Насколько нам при всей нашей беде было легче, чем ей! Нам, правда, пришлось уйти из нашего дома, в него переехал Брунсвик; нам указали эту хижину, на ручной тележке мы в несколько поездок перевезли сюда наше имущество, Барнабас и я тянули, отец и Амалия подталкивали сзади; мать, которую мы с самого начала сюда привели, каждый раз встречала нас, сидя на сундуке, тихим причитанием. Но я помню, что мы даже во время этих мучительных поездок, которые к тому же были унизительными, так как довольно часто мы встречали телеги, на которых везли урожай, и сопровождавшие их при встрече с нами умолкали и отводили взгляд,— что мы с Барнабасом даже во время этих поездок не могли не говорить о наших заботах и планах, и, заговорившись, иногда останавливались и только отцовское «эй!» снова напоминало нам о наших обязанностях. Но все эти разговоры — и после переезда тоже — нашей жизни не изменили, только теперь постепенно стала давать о себе знать и бедность. Родственники помогать перестали, средства наши были почти на исходе, и именно в это время начало возникать то презрение к нам, которое ты застал. Люди заметили, что мы не в силах выпутаться из истории с письмом и за это очень на нас рассердились; они не преуменьшали тяжести нашей участи, хотя точно о ней не знали, они чувствовали, что, наверное, сами выдержали бы такое испытание не лучше, чем мы, но тем необходимее было от нас отделиться; если бы мы все преодолели, они бы нас стали соответственно высоко уважать, но нам это не удалось, и то, что до этого было сделано лишь предварительно, сделали окончательно: перед нами захлопнули все двери. О нас теперь уже больше не говорили как о людях, фамилию нашу не произносили, когда бывали вынуждены о нас говорить, нас называли «барнабасовы», по имени самого невинного из нас, даже наша хижина приобрела дурную славу, и если ты заглянешь в себя, то должен будешь признать, что даже тебе при первом посещении показалось, что презрение это обоснованное; позднее, когда к нам снова стали иногда приходить люди, они воротили носы из-за совсем неважных вещей, из-за того, например, что эта маленькая керосиновая лампа висит там над столом. Где же ей еще висеть, как не над столом, но им это казалось невыносимым. И если мы эту лампу вешали где-нибудь в другом месте, их отвращение нисколько не уменьшалось. И все, что мы делали и все, что у нас было, вызывало такое же презрение.

Прошения

— И что же мы делали в это время? Худшее из того, что мы могли делать, то, за что нас по справедливости следовало презирать больше, чем за все остальное: мы предавали Амалию, мы преступали ее молчаливый приказ, мы не могли больше так жить, не могли жить совсем без надежды и мы, каждый по-своему, начали просить или домогаться, чтобы Замок нас простил. Мы знали, что не в состоянии что-либо исправить, и знали также, что единственная обнадеживающая связь с Замком, которую мы имели,— через Сортини, чиновника, благоволившего к нашему отцу,— как раз из-за этого происшествия стала нам недоступна, но несмотря на это мы принялись за работу. Начал отец, начались бессмысленные хождения с просьбами к старосте, к секретарям, к адвокатам, к писцам; большей частью его не принимали, а если благодаря хитрости или случаю, его все-таки принимали (как мы радовались при каждом таком известии, как потирали руки), то чрезвычайно быстро выпроваживали и больше не принимали никогда. Да и было уж слишком легко ему отвечать — Замку это всегда так легко. Чего он, собственно, хочет? Что с ним случилось? За что он хочет прощения? Когда и кто это в Замке тронул его хотя бы пальцем? Да, он разорился, потерял клиентуру и так далее, но это обычные в жизни явления, превратности ремесла и рынка — разве Замок должен всем заниматься? Занимаются-то, положим, всем, но нельзя же так грубо вмешиваться в процесс, так вот запросто и не имея в виду ничего другого, кроме интересов одного отдельного человека. Или, может быть, Замок должен послать своих чиновников, чтобы они побежали вдогонку за клиентами отца и возвратили их ему силой? Но, возражал тогда отец (мы все эти вещи и до и после подробно обсуждали дома, забившись в угол, словно прячась от Амалии, которая хотя и видела все это, но не мешала),— но, возражал тогда отец, он же не жалуется на разорение, все потерянное он бы с легкостью наверстал, все это было бы не так важно, если бы только его простили. «Но что, собственно, ему должны простить?» — отвечали ему, материалов на него пока не поступало, во всяком случае, в протоколах они еще не фигурируют, по крайней мере — в протоколах, доступных для широких адвокатских кругов; следовательно, ничего, насколько это можно установить, против него не предпринималось и не предпринимается. Или он может назвать официальное постановление, которое было издано против него? Этого отец не мог. Или имело место вмешательство какого-либо официального органа? Об этом отец ничего не знал. Ну так, раз он ничего не знает и ничего не произошло, то чего он, собственно, хочет? Что ему могут простить? В лучшем случае — то, что он теперь бесцельно надоедает службам, но как раз это и непростительно. Отец не сдавался, он тогда все еще был очень крепкий, а из-за вынужденного безделья времени у него было в избытке. «Я восстановлю честь Амалии, теперь уже недолго ждать»,— говорил он Барнабасу и мне по нескольку раз на день, но только очень тихо, так как Амалия не должна была этого слышать, и все же говорилось это только для Амалии, потому что в действительности он думал совсем не о восстановлении чести, а лишь о прощении. Но для того, чтобы получить прощение, он должен был сначала установить вину, а ее-то службы и отрицали. Он пришел к мысли (и это уже указывало на ослабление его рассудка), что от него скрывают вину, потому что он недостаточно платит, ведь до этого он всегда платил только установленные налоги, которые, по крайней мере при наших обстоятельствах, были достаточно высоки. Но тут он решил, что должен платить больше, и конечно, это было неправильно, потому что хотя в наших службах — простоты ради, чтобы избежать ненужных объяснений — и принимают взятки, достичь этим ничего нельзя. Но так как это была надежда отца, мы не хотели ее отнимать. Чтобы достать отцу средства для его расспросов, мы продали то, что у нас еще оставалось (а это было уже почти самое необходимое), и долго потом каждое утро испытывали удовлетворение от того, что отец, отправляясь с утра в путь, все-таки мог хоть несколькими монетами позвенеть в кармане. Мы, правда, весь день голодали, и при этом единственное, чего в действительности добились, достав деньги, было то, что мы поддерживали в отце состояние какой-то радостной надежды. Но едва ли это шло на пользу. Он изматывал себя своими хождениями, и то, что без денег очень скоро пришло бы к естественному концу, теперь затягивалось. Поскольку на самом деле ничего особенного за эти лишние деньги сделать было нельзя, то иногда какой-нибудь писец пытался хотя бы для видимости что-то сделать, обещал разузнать, намекал, что уже найдены некие следы, которыми будут заниматься не по обязанности, а только в порядке одолжения отцу, а отец вместо того, чтобы насторожиться, становился все доверчивей. Он возвращался с каким-нибудь таким явно бессмысленным обещанием так, словно уже нес в дом всеобщее благословение, и было мучительно видеть, как он,— всегда за спиной Амалии,— криво ухмыляясь и делая большие глаза, кивал на нее, желая дать нам понять, что спасение Амалии (которое никого так не поразит, как ее саму) благодаря его усилиям уже совсем близко, но что все это пока тайна и мы должны строго ее хранить. Так наверняка продолжалось бы еще долго, но в конце концов мы оказались уже совершенно не в состоянии доставать отцу все новые деньги. Хотя за это время Брунсвик после многих просьб взял Барнабаса в подмастерья (правда, только с условием, чтобы он приходил за работой вечером, когда стемнеет и приносил ее тоже в темноте,— надо признать, что Брунсвик ради нас в известной степени ставил под угрозу свое дело, но зато он и платил Барнабасу очень мало, а работа Барнабаса безупречная), однако этого заработка только-только хватало, чтобы нам совсем не умереть с голоду. С большой осторожностью и после долгих подготовок мы объявили отцу о прекращении нашей денежной поддержки, но он принял это очень спокойно. Рассудком он уже не способен был понять безнадежность своих ходатайств, но от непрерывных разочарований он все-таки устал.

Хотя он и стал говорить (он говорил уже не так отчетливо, как раньше, он раньше почти что слишком отчетливо говорил), что ему бы нужно еще совсем немного денег, завтра или даже сегодня он бы уже все узнал, а теперь все пропадет зря, все сорвется только из-за денег и так далее, но по его тону, по тому, как он

это говорил, было видно, что во все это он не верит. К тому же у него сразу вдруг появились новые планы. Раз ему не удалось доказать вину и вследствие этого официальным путем он дальше продвинуться не может, то он должен заняться исключительно просьбами и приступать с ними непосредственно к чиновникам. Среди них наверняка есть такие, у которых доброе, жалостливое сердце, к голосу которого они хотя и не могут прислушиваться на службе, но вне службы, вероятно, могут, если их застать врасплох в подходящий момент.

Тут К., до сих пор слушавший Ольгу совсем отрешенно, прервал рассказ вопросом:

— А по-твоему, это неправильно?

Хотя это и должно было стать ясно из дальнейшего рассказа, но он хотел получить ответ сразу.

— Нет,— ответила Ольга,— о жалости или о чем-то подобном вообще не может быть речи. Как мы ни были молоды и неопытны, мы это знали — и отец, естественно, тоже знал, но он забыл это, как и почти все остальное. Он придумал себе такой план: встать на дороге недалеко от Замка, там, где мимо проезжают чиновники и, если повезет, изложить свою просьбу о прощении. План, откровенно говоря, совсем бессмысленный — даже если бы и произошло невозможное и просьба действительно достигла ушей какого-нибудь чиновника. Разве какой-то один чиновник может прощать? В лучшем случае такой вопрос могли бы решить инстанции в целом, но, видимо, даже и они не могут прощать,— только судить. И вообще, разве какой-то чиновник, даже если он выйдет из своей кареты и пожелает заняться этим делом, сможет составить себе о нем представление по тому, что пробормочет ему отец, бедный, усталый, состарившийся человек? Чиновники очень образованны, но все же — только односторонне, по своей специальности чиновник с одного слова сразу схватывает всю цепь рассуждений, но что-нибудь из области другого отдела ему можно объяснять часами, и он, возможно, будет вежливо кивать, но не поймет ни слова. Все это, конечно, само собой понятно, ведь только попытайся даже мелкий служебный вопрос, какой-нибудь тебя же касающийся ничтожный пустяк, который чиновник решает одним пожатием плеч,— только попытайся разобраться в нем до основания — и тебе хватит дела на всю жизнь, и до конца не дойдешь. Но даже если бы отец и попал на компетентного чиновника, тот все равно ничего не смог бы решить, не подняв дела, тем более — на дороге; он ведь и не может прощать, он может только решать дело в официальном порядке и для этого опять-таки указать только официальный путь, но именно на этом пути отцу уже полностью не удалось ничего достичь. Как все это у отца должно было далеко зайти, если с таким новым планом он собирался куда-то пробиться! Да если б хоть какая-то, пусть даже самая ничтожная возможность такого рода существовала, так дорога там кишела бы просителями, но поскольку речь тут идет о невозможном, и это уже в самых младших классах вдалбливают каждому школьнику, то там совершенно пусто. Возможно, это тоже укрепило в отце его надежду; он находил для нее пищу во всем. А это ему очень требовалось: ведь в здравом рассудке человек вообще и пускаться бы не стал в такие сложные рассуждения, а с одного взгляда ясно увидел бы невозможное. Когда чиновники едут в деревню или обратно в Замок, это совсем не увеселительные поездки, и в деревне и в Замке их ждет работа, и едут они поэтому с огромной скоростью. И им даже в голову не придет выглядывать в окно кареты и искать на дороге просителей, ведь кареты загружены актами, над которыми чиновники трудятся.

— Но я,— возразил К.,— видел изнутри сани одного чиновника, там никаких актов не было.

В рассказе Ольги перед ним открылся такой огромный, почти неправдоподобный мир, что он не мог удержаться и не прикоснуться к нему своими маленькими приключениями, чтобы надежнее убедиться как в его существовании, так и в своем собственном.

— Возможно,— сказала Ольга,— но тогда это еще хуже, тогда, значит, у чиновника такие важные дела, что папки слишком ценны или слишком объемисты, чтобы можно было взять их с собой; такие чиновники приказывают тогда мчаться галопом. В любом случае, для отца никакого времени остаться не может. И кроме того, к Замку есть несколько подъездов. Иногда в моде один, и тогда большинство ездит там, иногда — какой-нибудь другой, тогда все устремляются туда. По какому правилу происходит эта смена, еще не выяснено. Иногда в восемь часов утра все едут по одной дороге, через полчаса — тоже все — по какой-то другой, через десять минут — уже по какой-то третьей, через полчаса, может быть,— снова по первой и так потом и ездят там целый день, но каждый миг может произойти какое-то изменение. Правда, возле деревни все подъездные дороги соединяются, но там уже все кареты мчатся, тогда как вблизи Замка скорость все-таки немного умереннее. И как нет закономерности и нельзя указать порядка выездов в смысле дорог, так же — и с количеством карет. Часто бывают, например, такие дни, когда вообще ни одной кареты не увидишь, а потом они опять едут одна за другой. И вот после всего этого представь себе нашего отца. В лучшем своем костю-

ме — скоро он будет у него единственным — каждое утро выходит он из дому, напутствуемый нашими пожеланиями удачи. Он берет с собой маленький значок пожарной команды (который он сохранил вообще-то не по праву), чтобы приколоть его за деревней; в самой деревне он боится его показывать, хотя значок такой маленький, что с двух шагов его почти не видно,— но отец считает, что он годится даже для того, чтобы привлечь внимание проезжающих мимо чиновников. Недалеко от подъезда к Замку есть одно коммерческое садоводство, которое принадлежит некоему Бертуху, он поставляет в Замок овощи,— там, на узком каменном цоколе садовой решетки, отец и выбрал себе место. Бертух терпел это, потому что он раньше был дружен с отцом и к тому же принадлежал к самым верным его клиентам: у него немного покалечена нога, и он считал, что только отец может сделать ему подходящий сапог. И вот отец сидел там день за днем, была хмурая дождливая осень, но он не обращал никакого внимания на погоду; утром в определенный час он брался за ручку двери и кивал нам на прощание, вечером он приходил (казалось, что с каждым днем он все больше горбился) насквозь промокший и валился куда-нибудь в угол. Первое время он рассказывал нам о своих маленьких происшествиях,— что, скажем, Бертух из сострадания и по старой дружбе бросил ему через решетку одеяло, или что в одной из проезжавших мимо карет он, кажется, узнал того или иного чиновника, или что его там уже опять узнал один кучер и в шутку хлестнул вожжами. Но потом он перестал об этом рассказывать, очевидно, он уже не надеялся хоть чего-то там достичь, он уже только считал своим долгом, своей безрадостной обязанностью ходить туда и проводить там весь день. Тогда и начались его ревматические боли; приближалась зима, выпал первый снег — у нас зима наступает очень рано; ну, вот он и сидел то на мокрых от дождя камнях, то на снегу. Ночью он стонал от боли и утром иногда бывал в нерешительности, идти ли ему, но потом все-таки перебарывал себя и шел. Мать висла на нем, не хотела отпускать, и он, видимо, напуганный тем, что члены его уже не слушались, позволял ей идти с ним, так заболела и мать. Мы часто бывали у них, приносили еду или просто приходили проведать, или пытались убедить их вернуться домой; сколько раз мы видели, как они сидят там, бессильно прислонившись друг к другу, на этом узком приступке, съежившись под тонким одеялом, которое их едва прикрывало, а вокруг — ничего, кроме серого снега и серого тумана, ни вблизи ни вдали, и за весь день — ни одного человека или кареты... если б ты видел, К., если б ты видел! Так продолжалось до того утра, когда отец уже не смог спустить с кровати негнущиеся ноги; это было ужасно грустно, он немного бредил в жару и ему казалось, что он видит, как в этот самый миг наверху у Бертуха остановилась карета, вышел чиновник, обежал взглядом решетку в поисках отца и, качая головой и сердясь, снова возвратился в карету. Отец в это время так кричал, словно хотел отсюда привлечь внимание чиновника наверху и объяснить ему, как невиновен он в своем отсутствии. И это было долгое отсутствие: больше он вообще туда не возвращался, недели напролет он был вынужден оставаться в постели. Амалия взяла на себя все: обслуживание, уход, лечение — и, в сущности, продолжает это, с перерывами, до сегодняшнего дня. Она знает целебные травы, успокаивающие боль, ей почти не требуется сна, она никогда не пугается, ничего не боится, ни разу не выказала нетерпения, она выполняла для родителей всю работу; в то время как мы, не в силах чем-либо помочь, лишь беспокойно толклись вокруг, она, что бы ни случилось, оставалась холодна и спокойна. Когда же самое худшее миновало, и отец, с осторожностью и поддерживаемый с двух сторон, уже снова мог выбираться из кровати, Амалия тут же отстранилась и оставила его нам.

Планы Ольги

— Теперь нужно было снова найти отцу какое-нибудь занятие, которое ему было еще под силу, что-нибудь такое, чтобы он мог по крайней мере верить в то, что это помогает снять с семьи вину. Найти что-то в этом роде было нетрудно: таким целесообразным, как это сидение перед садом Бертуха, было, в сущности, все что угодно, но я нашла кое-что такое, что даже мне подавало какую-то надежду. Всякий раз, когда в службах, или у писцов, или где-то еще заходила речь о нашей вине, упоминалось только оскорбление сортиньевского посыльного, а проникать дальше никто не осмеливался. Ну, сказала я себе, если, кроме оскорбления посыльного ничего не знают — пусть даже это только видимость,— то все можно снова исправить — пусть даже опять-таки только для видимости — если удастся помириться с посыльным. Ведь никаких же материалов, они говорят, не поступало, дело, следовательно, еще не попало ни в какую инстанцию, и посыльному в таком случае не возбраняется простить от своего имени — о большем тут речи нет. Все это могло, конечно, и не иметь решающего значения, было только видимостью и, соответственно, ничего, кроме видимости, не могло и дать, но отцу это все же доставило бы радость, а всех этих много

обещающих, которыв так его измучили, возможно, удалось бы немного окоротить — отец был бы доволен. Вначале, правда, надо было найти посыльного. Когда я рассказала мой план отцу, он вначале очень рассердился; дело в том, что он сделался чрезвычайно упрям и считал (это развилось у него за время болезни), что мы ему все время мешаем добиться окончательного успеха: вначале прекращением денежной поддержки, теперь — тем, что удерживаем в постели; кроме того, он вообще уже был неспособен полностью воспринимать чужие мысли. Я еще не дорассказала до конца, как мой план уже был отброшен; по его мнению, он должен был продолжать ждать у сада Бертуха, и поскольку он, конечно, был уже не в состоянии ежедневно подниматься наверх, мы должны были отвозить его туда на тачке. Но я ие отступала, и постепенно он смирился, при этом мешало ему только то, что он в этом деле целиком зависел от меня, ведь посыльного видела только я, он его не знал. Правда, слуги похожи друг на друга, и в том, что я узнаю того слугу, не была уверена и я. Тогда мы начали ходить в господский трактир и искать среди слуг. Хотя это был слуга Сортини, который в деревне больше не появлялся, но господа часто меняются слугами, и его вполне можно было встретить в свите какого-нибудь другого господина, а если бы оказалось, что его самого не найти, то, возможно, все-таки удалось бы получить сведения о нем от других слуг. Для этого, однако, нужно было ежевечерне бывать в господском трактире, а иам нигде не рады, в таком месте — тем более, ведь являться как посетители, которые платят, мы же не могли. Но оказалось, что мы все-таки можем пригодиться. Ты, иаверное, знаешь, каким мучением были эти слуги для Фриды; но по сути, это большей частью спокойные люди, обленившиеся и отяжелевшие от легкой службы. «Пусть тебе живется как слуге» — есть такая поговорка у чиновников, и на самом деле, в том, что касается беззаботной жизни, настоящими господами в Замке должны быть слуги,— и они умеют это ценить, и в Замке, где они живут по его законам (мне это неоднократно подтверждали), они ведут себя тихо и достойно; остатки этого можно заметить у слуг и здесь, но только остатки, а в остальном — из-за того, что в деревне замковые законы на них уже не полностью распространяются, они здесь словно перерождаются: дикие, необузданные, подчиняющиеся не законам, а только своим ненасытным вожделениям, животные. Их бесстыдство не знает границ, счастье для деревни, что они не могут без приказа покидать господский трактир, но в самом господском трактире с ними нужно стараться ладить; Фриде это давалось с большим трудом и поэтому ей было очень кстати, что она могла использовать меня для успокоения слуг; уже больше двух лет по крайней мере дважды в неделю я провожу ночь со слугами в хлеву. Раньше, когда отец еще мог ходить вместе со мной в господский трактир, он спал где-нибудь в пивной зале и ждал там новостей, которые должна была утром принести я. Их было мало. Того посыльного мы до сих пор так и не нашли; он, как говорят, все еще служит у Сортини, тот его очень ценит, и он должен быть при нем, когда Сортини уединяется в дальних канцеляриях. Слуги — почти все — его не видели так же давно, как и мы, и если кто-то из них все-таки утверждает, что за это время видел его, то это, вероятно, ошибка. Так что мой план должен был бы, в сущности, рухнуть, но все-таки это еще не совсем так; посыльного мы, правда, не нашли, и отца хождения в господский трактир и ночевки там (а может быть, даже и сочувствие ко мне — насколько он еще был на это способен), к несчастью, доконали, и он вот уже почти два года в том состоянии, в каком ты его видел, и при этом ему, может быть, еще не так плохо, как матери, чьей кончины мы ждем со дня на день и которая отодвигается только благодаря непомерным усилиям Амалии, но чего я все-таки в господском трактире достигла,— это установления определенной связи с Замком. Не презирай меня, если я скажу, что не жалею о том, что сделала. Как велика эта связь с Замком ты, наверное, можешь себе представить. И ты прав, эта связь не велика. Но все-таки я теперь знаю многих слуг, чуть ли не всех слуг всех господ, которые за последние годы приезжали в деревню, и если когда-нибудь мне случится прийти в Замок, я там буду не чужая. Правда, такие эти слуги только в деревне, в Замке они совсем другие, там они, наверное, уже никого не узнают, и в особенности тех, с кем у них были сношения в деревне, даже если они сто раз поклянутся в хлеву, что будут очень рады встретиться в Замке. Да я, впрочем, уже испытала, как мало значат все такие обещания. Но это, конечно, совсем не самое главное. Я имею связь с Замком не только через самих слуг, но, может быть — я на это надеюсь,— еще и благодаря тому, что кто-то, кто сверху наблюдает за мной и за тем, что я делаю (а управление большим штатом слуг, разумеется, крайне важная и хлопотная часть работы инстанций),— что, следовательно, тот, который за мной наблюдает, может быть, станет судить обо мне не так сурово, как другие; может быть, он увидит, что я — пусть каким-то жалким образом, но все-таки тоже борюсь за нашу семью и продолжаю попытки отца. Если на это так взглянут, тогда, может быть, мне простят

и то, что я принимаю от слуг деньги и расходую их на нашу семью. И еще другого я достигла,— это, правда, и ты поставишь мне в вину. Я много узнала от слуг о том, как можно обходным путем, минуя тяжелую и тянущуюся годами процедуру приема, попасть на замковую службу; при этом хотя и ие становишься официальным служащим, а только негласно и наполовину допущенным, и не имеешь ни прав ни обязанностей (то, что не имеешь обязанностей — хуже), но поскольку все-таки находишься поблизости от всего, то одно преимущество тут есть: можно уловить и использовать благоприятную возможность; ты — не служащий, но случайно для тебя может найтись какая-нибудь работа: служащего вдруг не оказывается на месте — зовут — бежишь на зов — и становишься тем, кем за минуту до этого еще не был; ты — служащий. Правда, когда представляется такая возможность? Иногда — сразу, только попал туда, только огляделся — и вот эта возможность уже представилась, не у всякого даже хватит присутствия духа вот так, новичком, сразу за нее ухватиться, в другой раа это уже длится годами, дольше, чем официальная процедура приема, а стать законно, официально принятым такой полудопущенный уже вообще не сможет. Так что здесь есть о чем подумать; но они к тому же еще умалчивают о том, что при официальном приеме отбирают очень педантично, и кандидатура члена какой-либо сомнительной семьи отбрасывается с самого начала; к примеру, такой кандидат подвергает себя этой процедуре, годами дрожит, ожидая результатов, со всех сторон с самого первого дня его удивленно спрашивают, как он решился на такое безнадежное дело, но он все-таки надеется — как ему иначе жить? — и через много лет, иногда — уже стариком, он узнает об отказе, узнает, что все пропало и жизнь его прошла напрасно. Правда, и тут бывают исключения, потому так легко на это и клюют. Случается, что именно сомнительные люди в конце концов оказываются принятыми, есть чиновники, которые прямо-таки против своей воли любят запах такой дичи, во время приемных экзаменов они втягивают носом воздух, кривят рот, закатывают глаза, такой человек кажется им чудовищно аппетитным, и они должны очень крепко держаться за кодексы законов, чтобы быть в состоянии противостоять ему. Иногда, правда, это способствует не приему такого человека, а только бесконечному затягиванию процедуры приема, которая тогда вообще не кончается, а только обрывается со смертью человека. Так что в приеме и по закону и иначе есть масса явных и скрытых трудностей, и прежде, чем в такие дела пускаться, очень рекомендуется тщательно все взвесить. Ну, тут у нас с Барнабасом не должно быть упущений. Каждый раз, когда я приходила из господского трактира, мы усаживались вдвоем, я рассказывала все то новое, что я узнавала, мы подробно обсуждали это целыми днями, и часто работа в руках Барнабаса не двигалась дольше, чем следовало бы. И тут я, может быть, с твоей точки зрения виновата. Ведь я знала, что рассказам слуг нельзя слишком доверять. Я знала, что им никогда не хотелось рассказывать мне о Замке, они всегда старались уклониться, каждое слово у них приходилось выпрашивать, а потом, начав уже говорить, они расходились, мололи чепуху, важничали, перекрывали друг друга преувеличениями и выдумками, так что ясно было, что в этих нескончаемых криках там, в темном хлеву, когда один сменял другого, в лучшем случае могло быть два-три жалких намека на истину. Но я асе пересказывала Барнабасу — так, как помнила, и он, аообще еще не способный отличить правду от выдумки и из-за положения нашей семьи почти томившийся жаждой по таким вестям,— он все впивал в себя и сгорал от нетерпения, ожидая, что будет дальше. И мой новый план основывался действительно на Барнабасе. От слуг ничего больше нельзя было добиться. Посыльный Сортини не отыскивался и никогда бы не отыскался; казалось, что Сортини, а вместе с ним и посыльный, удаляются все дальше, их вид и имена уже забывались и зачастую я должна была долго их описывать, не достигая этим ничего, кроме того, что их с трудом вспоминали, но дальше ничего про них сказать не могли. И в отношении того, что я жила со слугами, я, естественно, никак не могла повлиять на то, как об этом будут судить, и могла только надеяться, что это поймут правильно и что за это снимут немного вины с нашей семьи, но никаких признаков этого я не видела. И все же я продолжала, потому что никакой другой возможности добиться для нас чего-то в Замке я для себя не видела. Но для Барнабаса я видела такую возможность. Из рассказов слуг я при желании — а недостатка в таком желании у меня не было — могла заключить, что тот, кто принят на замковую службу, очень много может сделать для своей семьи. Но что в этих рассказах было достоверно? Это невозможно было установить, было только ясно, что очень немногое. Ведь когда, например, какой-нибудь слуга, которого я никогда больше не увижу, а даже если увижу, то вряд ли узнаю, торжественно меня уверял, что посодействует моему брату насчет какого-нибудь места в Замке или, если Барнабас как-то иначе попадет в Замок, по крайней мере поддержит его, то есть как-то подбодрит (потому что, по рассказам слуг, бывает, что соискатели

должностей во время чересчур долгого ожидания слабеют или запутываются, и тогда, если о них не позаботятся друзья, они пропали),— когда это и многое другое мне рассказывали, то предостережения эти были, по-видимому, обоснованные, обещания же, которые при этом давались, были совершенно пустые. Но не для Барнабаса: хоть я его и предостерегала от того, чтобы верить обещаниям, но уже того, что я их ему пересказывала, было достаточно, чтобы он принял мои планы. То, что я сама приводила в их пользу, действовало на него меньше, в основном на него действовали рассказы слуг. Таким образом мне, по существу, приходилось надеяться только на саму себя: с родителями вообще никто, кроме Амалии, не мог объясниться; Амалия, чем больше я по-своему продолжала старые планы отца, тем больше от меня отворачивалась, при тебе или других она со мной еще разговаривает, наедине — уже никогда; для слуг в господском трактире я была игрушкой, которую они яростно старались сломать (за два года я ни с кем из них ни разу не поговорила по душам — все только скрытничали или лгали, или несли вздор), так что мне оставался только Барнабас, но Барнабас был еще очень молод. Когда я увидела, как во время моих рассказов в его глазах появляется этот блеск, который у него с тех пор так и остался, я испугалась, но не остановилась, слишком многое казалось мне поставленным на карту. Правда, таких грандиозных (хотя и пустых) планов, как у моего отца, у меня не было; не было у меня этой мужской решительности, я не шла дальше желания загладить оскорбление посыльного и даже надеялась, что мою скромность мне засчитают как заслугу. Но чего не удалось добиться мне самой, я хотела теперь иначе и наверняка достигнуть через Барнабаса. Мы оскорбили посыльного и спугнули его из передних канцелярий, что же могло быть естественней, как предложить в лице Барнабаса нового посыльного для выполнения работы оскорбленного и таким образом дать возможность оскорбленному спокойно оставаться в стороне столько, сколько он захочет, сколько ему нужно, чтобы забыть оскорбление. Я, правда, хорошо понимала, что в этом плане при всей его скромности была и дерзость, что могло возникнуть впечатление, будто мы хотим диктовать инстанциям, как им решать кадровые вопросы, или будто мы сомневаемся в том, что инстанции способны сами распорядиться наилучшим образом — и давно уже так распорядились,— раньше, чем мы вообще додумались до того, что здесь можно что-то сделать. Однако, с другой стороны, я все-таки не верила, что инстанции могли так неверно меня понять, или что, если они это сделали, то сделали это умышленно, и, следовательно, все, что я делала, было с самого начала, без дальнейшего рассмотрения отвергнуто. Так что я не остановилась, и тщеславие Барнабаса делало свое дело. В это время приготовлений Барнабас сделался таким заносчивым, что сапожную работу стал считать для себя, будущего служителя канцелярий, слишком грязной; мало того, он даже осмеливался противоречить — и очень принципиально — Амалии, когда она (довольно редко) что-то ему говорила. Я охотно позволяла ему эту недолгую радость, потому что в первый же день, когда он пошел в Замок, и радость и заносчивость, как это легко можно было предвидеть, сразу исчезли. И вот началась эта видимость службы, о которой я тебе уже рассказала. Удивительно было, как Барнабас без всяких затруднений в первый раз вошел в Замок, или, точнее, в ту канцелярию, которая стала его, так сказать, местом работы. От этой удачи я тогда чуть не помешалась; когда вечером по дороге к дому Барнабас шепотом рассказал мне это, я побежала к Амалии, обхватила ее, прижала в угол и целовала, впиваясь губами и зубами так, что она заплакала от боли и ужаса. Сказать я от волнения ничего не могла, к тому же мы ведь так долго друг с другом не разговаривали, и я отложила разговор на следующие дни. Но в следующие дни уже больше не о чем было говорить. На этом, так быстро достигнутом, все и остановилось. Два года вел Барнабас эту однообразную, угнетающую жизнь. Со слугами совершенно ничего не получилось. Я снабдила Барнабаса маленьким письмом, в котором рекомендовала его вниманию слуг и одновременно напоминала им об их обещаниях, и Барнабас, как только видел какого-нибудь слугу, вытаскивал это письмо и протягивал тому; и даже если он, видимо, иногда попадал на слуг, которые были со мной незнакомы, и даже если знакомых его манера молча показывать письмо (потому что говорить он наверху не осмеливался) раздражала, то все равно это было позорно, что никто ему не помог, и для нас было избавлением (его, правда, мы и сами, и давно могли получить), когда один из слуг, которому, видимо, уже несколько раз надоедали этим письмом, скомкал его и выбросил в мусорную корзину. При этом он — так мне подумалось — мог бы даже сказать: «Примерно так ведь и вы обычно поступаете с письмами». Но как ни бесполезно в остальном прошло это время, на Барнабаса оно повлияло благотворно, если называть благотворным то, что он раньше времени старился, раньше времени становился мужчиной, а кое в чем даже выходил — серьезно и разумно — за пределы мужественности. Часто мне бывало очень грустно смотреть на

него и сравнивать его с тем мальчиком, которым он был еще два года назад. И при этом ни утешения, ни поддержки, которые от него, как от мужчины, я, наверное, могла бы получить, я совсем не имела. Без меня он вряд ли попал бы в Замок, но с тех пор, как он там, он от меня независим. Я — его единственная доверенная, но он высказывает мне, конечно, только малую часть того, что у него на сердце. Он много рассказывает мне о Замке, но из его рассказов, из тех мелочей, которые он сообщает, совершенно нельзя понять, почему свою смелость, которая всех нас, когда он был мальчиком, приводила в отчаяние,— почему он ее теперь, став мужчиной, напрочь утратил там, наверху. Правда, это бесполезное стояние и ожидание — день за днем, все снова и снова, без всяких надежд на какую-то перемену — изматывает, лишает уверенности и в конце концов делает уже неспособным ни к чему другому, кроме этого обреченного стояния там. Но почему же он и раньше не оказывал никакого сопротивления? В особенности, когда он вскоре понял, что я была права, и для удовлетворения тщеславия там ничего сделать нельзя, а вот для того, чтобы улучшить положение нашей семьи, видимо,— можно. Ведь там во всем — если не считать капризов слуг — царит умеренность, удовлетворения тщеславия там ищут в работе, и поскольку при этом превыше всего ставят само дело, то он совершенно теряется; детским желаниям там места нет. Но зато Барнабас полагал — так он мне рассказывал — что хорошо понял, как велики власть и знания даже тех очень все-таки сомнительных чиновников, в комнате которых он имел возможность находиться. Как они диктовали: быстро, полузакрыв глаза, отрывисто жестикулируя; как они одним движением указательного пальца, без единого слова отсылали этих ворчливых слуг, которые в такие мгновения тяжело переводили дух и счастливо ухмылялись; или как они находили в своих книгах какое-нибудь важное место, как с головой уходили в чтение, и как туда сбегались — насколько это было возможно в тесноте — остальные и тянули к ним шеи. Такие и подобные таким картины внушили Барнабасу большое уважение к этим людям и у него сложилось впечатление, что если бы только они его каким-то образом заметили и он смог бы немножко с ними поговорить — не как посторонний, а как коллега по канцелярии, хоть и из породы подчиненных,— необозримо многого можно было бы достичь для нашей семьи. Но как раз до этого еще не дошло, а сделать что-то, что могло бы это приблизить, он не решается, хотя прекрасно понимает, что несмотря на свою молодость, он в силу несчастных обстоятельств уже выдвинут в нашей семье на обречененное ответственностью место отца семейства. Ну, и чтобы уж признаться во всем: неделю назад пришел ты. Я услышала в господском трактире, как кто-то мимоходом сказал об этом, и не обратила внимания; пришел какой-то землемер, я даже не знала, что это такое. Но на следующий день, вечером, Барнабас приходит домой раньше, чем всегда (обычно я к определенному времени выходила и шла часть пути ему навстречу), увидев в комнате Амалию, он тащит меня на улицу, там прижимается лицом к моему плечу и плачет несколько минут. Снова он маленький мальчик, каким был прежде. С ним случилось что-то, до чего он еще не дорос. Словно перед ним вдруг открылся совсем новый мир, и счастья и тревог всей этой новизны он не в силах вынести. И при этом с ним ничего не случилось, кроме того, что он получил для доставки письмо к тебе. Но это, правда, первое письмо, первая работа, которую он вообще за все это время получил.

Ольга прервала рассказ. Было тихо, слышалось только тяжелое, временами хриплое дыхание родителей. К. небрежно, как бы только резюмируя рассказ Ольги, заметил:

— Прикидываетесь вы передо мной. Барнабас передал мне письмо как бывалый, загруженный делами посыльный, а ты — в точности, как Амалия, которая, значит, на этот раз была с вами заодно, изобразила все таким образом, как будто его посыльная служба и эти письма — так просто, не пришей не пристегни.

— Ты должен нас различать,— сказала Ольга.— Барнабас от двух этих писем снова стал счастливым ребенком, несмотря на все его сомнения в его деятельности. Эти сомнения — только для него и для меня, перед тобой же он старается держать марку, пытаясь вести себя как настоящий посыльный, то есть так, как, по его представлениям, ведут себя настоящие посыльные. И мне, например,— при том, что ведь теперь его надежда на получение обмундирования увеличивается,— пришлось два часа так перешивать его брюки, чтобы они стали хотя бы похожи на плотно облегающие брюки форменной одежды, и он мог бы перед тобой — тебя ведь в этом отношении, естественно, еще легко обмануть — в них появиться. Таков Барнабас. Но Амалия презирает эту посыльную службу, и теперь, когда, кажется, достигнут маленький успех (она легко может догадаться об этом по Барнабасу, и по мне, и по тому, как мы сидим с ним и шушукаемся),— теперь она презирает ее еще больше, чем раньше. Так что она говорит правду, и ты никогда не сомневайся в этом, не поддавайся заблуждению. Если же я, К., иногда принижала значение посыльной службы, то это было не для того, чтобы обмануть тебя, а от

страха. Те два письма, которые прошли через руки Барнабаса,— это первый за три года, впрочем, еще достаточно сомнительный знак милости по отношению к нашей семье. Эта перемена — если это перемена, а не обман: обманы случаются чаще, чем перемены — связана с твоим прибытием сюда; наша судьба стала каким-то образом зависеть от тебя; быть может, эти два письма — только начало, и сфера деятельности Барнабаса расширится за пределы этой, касающейся тебя посыльной службы, мы будем на это надеяться — до тех пор, пока сможем, но пока все тянется только к тебе. Ведь там, наверху, мы должны довольствоваться тем, что нам дадут, но здесь, внизу, мы, наверное, можем все-таки и сами что-то сделать: например, заручиться твоим расположением, или, по крайней мере, предохраниться от твоего предубеждения против нас, или, что самое важное, защитить тебя — насколько хватит наших сил и опытности — чтобы твоя связь с Замком (которой мы, возможно, могли бы жить) у тебя не пропала. Как же теперь лучше всего за это взяться, чтобы у тебя не возникло никаких подозрений, если мы с тобой сблизимся? — ведь ты здесь человек чужой и поэтому, конечно, полон по отношению ко всему подозрений,— обоснованных подозрений. Кроме того, ведь нас же презирают, и на тебя влияет всеобщее мнение, особенно через твою невесту; как же нам подобраться к тебе, не противопоставляя себя, к примеру,— хотя у нас совсем нет такого намерения,— твоей невесте и не задевая тем самым тебя? И эти послания, которые я, прежде чем ты их получил, внимательно прочла (Барнабас их не читал, как посыльный он себе этого не позволил), кажутся на первый взгляд не очень важными, устаревшими и сами себя обесценивают, отсылая тебя к старосте общины. Как же в таком случае нам следовало вести себя по отношению к тебе? Если бы мы подчеркивали их важность, показалось бы подозрительным, что мы переоцениваем такие явно неважные сообщения и, являясь теми, кто эти сообщения передает, тебе их расхваливаем, то есть преследуем не твои, а свои цели; кроме того, мы же могли уронить в твоих глазах сами эти сообщения и таким образом, крайне того не желая, тебя обмануть. Но если бы мы представили эти письма как не имеющие большого значения, это было бы точно так же подозрительно, так как — почему тогда мы занимаемся доставкой этих неважных писем, почему противоречат друг другу наши поступки и слова, почему мы так обманываем не только тебя, адресата, но также и того, кто дал нам это поручение, ведь он, конечно, не затем передал нам письма, чтобы мы своими объяснениями обесценивали их в глазах адресата? А держаться середины между этими крайностями, то есть правильно судить об этих письмах просто невозможно: они сами беспрерывно меняют свое значение; размышления, к которым они дают повод, бесконечны, и на чем именно при этом остановишься, зависит только от случая, следовательно, и суждение о них — тоже случайно. А когда к этому еще добавляется страх за тебя, то уже все перепутывается; ты не должен слишком строго относится к моим словам. Когда, к примеру, Барнабас, как это однажды было, приходит с известием, что ты недоволен его посыльной службой, и он с перепугу и, к сожалению, тоже не без обидчивости посыльного заявляет, что хочет с этой службы уйти, тогда я, разумеется, чтобы исправить эту ошибку, готова обманывать, лгать, предавать, творить любое зло, если только это поможет. Но тогда,— по крайней мере, я так считаю,— я это делаю не только ради нас, но и ради тебя.

В дверь постучали. Ольга побежала к двери и открыла. В темноту упала полоса света от чьего-то потайного фонаря. Поздний посетитель шепотом что-то спросил, ему что-то прошептали в ответ, но не удовлетворили этим, и он пытался проникнуть в комнату. Ольга, видимо, уже не могла его удержать и позвала Амалию, очевидно надеясь, что та, охраняя родительский сон, пойдет на все, чтобы удалить посетителя. И действительно, Амалия уже бежала туда; отстранив Ольгу, она вышла на улицу и закрыла за собой дверь. Тут же — это длилось лишь мгновение — она вернулась; так быстро она добилась того, что для Ольги было невозможно.

К. узнал затем от Ольги, что приходили к нему: это был один из помощников, который искал его по поручению Фриды. Ольга решила защитить К. от помощника; если К. захочет впоследствии признаться Фриде, что посетил их, он сможет это сделать, но это не должно было открыться через помощника. К. одобрил это. Однако от предложения Ольги провести у них ночь и подождать Барнабаса он отказался; вообще говоря, он, возможно, и принял бы его, ведь была уже глубокая ночь, и ему казалось, что, хочет он того или нет, он теперь уже так связан с этой семьей, что здесь для него — может быть, неудобное по другим причинам, но, учитывая эту связь,— самое естественное место для ночлега во всей деревне, и все же он отказался от предложения: приход помощника испугал его, ему было непонятно, каким образом Фрида, которая ведь знала его волю, и помощники, которые научились его бояться, снова так сошлись, что Фрида не побоялась послать за ним одного из помощников, кстати — только одного, в то время как второй, очевидно, остался при ней. Он спросил Ольгу, есть ли у нее кнут; кнута у нее не было, но был хороший ивовый прут, К. его взял; потом он спросил, есть ли в доме какой-нибудь другой выход, такой выход был — через двор, но для того, чтобы попасть на улицу, нужно было еще перелезть через забор соседского сада и пройти сквозь этот сад. Так К. и намерен был сделать. Пока Ольга вела его через двор к забору, К. постарался быстро рассеять ее тревоги; он заявил, что за ее маленькие уловки в рассказе он совсем на нее не сердится, а напротив, очень даже ее понимает, поблагодарил за доверие к нему, которое она выказала своим рассказом, и поручил ей сразу же, как только вернется Барнабас, послать его в школу, даже если еще будет ночь. Хотя послания Барнабаса — не единственная его надежда (иначе его дело было бы плохо), но отказываться от них он ни в коем случае не намерен, он намерен за них держаться и не забывать при этом Ольгу, потому что для него очень важна, чуть ли не важнее этих посланий сама Ольга, ее храбрость, ее осмотрительность, ее ум, ее самопожертвование во имя семьи. Если бы он должен был выбирать между Ольгой и Амалией, ему не пришлось бы долго раздумывать. И уже запрыгивая на забор соседского сада, он еще успел сердечно пожать ей руку.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Выбравшись на улицу, он вверху, поодаль, разглядел, насколько позволяла хмурая ночь, помощника, который все еще ходил взад-вперед перед домом Барнабаса; иногда помощник останавливался и пытался через занавешенное окно посветить в комнату. К. окликнул его, тот без видимого испуга прекратил свое разнюхивание и направился к К.

— Кого ты ищешь? — спросил К. и проверил на колене гибкость ивового прута.

— Тебя,— ответил помощник, подходя.

— А кто ты, собственно? — спросил вдруг К., так как это, кажется, был не помощник.

Он выглядел старше, утомленнее, морщинистей, но круглей лицом, и походка его была совсем не похожа на юркую, словно намагниченную походку помощников, она была медленной, немного хромающей, лениво-расслабленяой.

— Ты меня не узнаешь? — спросил человек.— Иеремия, твой старый помощник.

— Так,— сказал К. и снова слегка выставил ивовый прут, который уже было спрятал за спину.— Но ты выглядишь совсем иначе.

— Это потому, что я один,— сказал Иеремия.— Когда я один, тогда и веселой юности больше нет.

— А где же Артур? — спросил К.

— Артур? — переспросил Иеремия.— Этот славный малыш? Он бросил службу. Но ты тоже был немного груб и суров с нами. Его нежная душа не выдержала. Он возвратился в Замок и подает жалобу на тебя.

— А ты? — спросил К.

— Я мог остаться,— сказал Иеремия,— Артур подает жалобу и за меня.

— На что же вы жалуетесь? — спросил К.

— На то,— ответил Иеремия,— что ты шуток не понимаешь. Что мы такого сделали? Немного пошутили, немного посмеялись, немного твою невесту подразнили. Но все, кстати, согласно заданию. Когда Галатер посылал нас к тебе...

— Галатер? — спросил К.

— Да, Галатер,— сказал Иеремия.— Он тогда как раз замещал Кламма. Когда он посылал нас к тебе, он сказал (я это точно запомнил, потому что мы же из этого исходили): «Вы отправляетесь туда как помощники землемера». Мы сказали: «Но мы ничего не понимаем в этой работе». А он нам: «Это не самое важное, если потребуется, он вам объяснит. Самое важное — чтобы вы его немного развеселили. Как мне сообщают, он все воспринимает слишком серьезно. Он сейчас пришел в деревню, и это для него сразу же — большое событие, в то время как в действительности это вообще ничто. Это вы должны объяснить ему».

— И что же,— спросил К.,— Галатер был прав, и вы выполнили задание?

— Этого я не знаю,— ответил Иеремия.— За такое короткое время это было, наверное, и невозможно. Я знаю только то, что ты был очень груб, и на это мы жалуемся. Я не понимаю, как ты — ведь ты тоже всего лишь служащий, и даже не служащий Замка — не можешь понять, что такая служба — это тяжелая работа, и что очень некрасиво — так нарочно, почти по-детски затруднять работнику его работу, как ты это делал. С какой беспощадностью ты оставил нас замерзать у решетки! — а как ты Артура, человека, который по нескольку дней переживает каждое сердитое слово, чуть не пришиб кулаком на матраце, или как ты за мной сегодня гонялся по всей деревне, по сугробам,— что я потом час в себя приходил после этой травли. Я ведь уже не молод!

— Дорогой Иеремия,— сказал К.,— во всем этом ты прав, только тебе бы следовало изложить это Галатеру. Он послал вас, потому что сам так захотел, я вас у него не выпрашивал. И поскольку я не просил вас, то вполне мог отправить вас обратно, и, между прочим, с удовольстви-

ем сделал бы это мирно, а не силой, но вы, очевидно, хотели, чтобы все произошло именно так. Кстати, почему ты сразу, когда вы ко мне пришли, не говорил так же прямо, как теперь?

— Потому что был на службе,— сказал Иеремия,— это же само собой понятно.

— А теперь ты уже не на службе? — спросил К.

— Теперь уже нет,— ответил Иеремия,— Артур в Замке от этой службы отказался, или, по крайней мере, там идет разбирательство, которое должно окончательно освободить нас от нее.

— Однако ты все еще ищешь меня так, словно ты на службе,— заметил К.

— Нет,— сказал Иеремия,— я ищу тебя, только чтобы успокоить Фриду. Потому что когда ты ради барнабасовых девиц ее бросил, она была очень несчастна — не столько из-за потери, сколько из-за твоего предательства; правда, она уже давно видела, что к этому идет, и уже много из-за этого выстрадала. Я просто еще раз подошел к окну школы посмотреть, не образумился ли ты, наконец. Но тебя там не было, только Фрида сидела на скамье в классе и плакала. Тогда я, следовательно, пошел к ней, и мы соединились. И вообще, все уже устроено. Я теперь коридорный в господском трактире, по крайней мере до тех пор, пока в Замке не рассмотрят мое дело, а Фрида снова в пивной. Так для Фриды лучше. Не было ей никакого смысла становиться твоей женой. Даже ту жертву, которую она собиралась тебе принести, ты не сумел оценить. Сейчас, правда, эта добрая душа еще временами сомневается, не получилось ли с тобой несправедливо: что, может быть, ты все-таки не был у этих барнабасовых, и хотя, естественно, никакого даже сомнения не могло быть насчет того, где ты, я все-таки пошел установить это раз и навсегда, потому что после всех волнений Фрида в конце концов заслужила право спокойно спать — и я, разумеется, тоже. Так что я, следовательно, пошел и не только нашел тебя, но, кроме того, еще убедился, что эти девицы бегают за тобой как на веревочке. Особенно эта черная тебя защищала, прямо дикая кошка. Ну, у каждого свой вкус. Но во всяком случае, обход через соседский сад можно было не делать: я эту дорогу знаю.

Итак, это все-таки произошло: это можно было предвидеть, но нельзя было предотвратить. Фрида ушла от него. Ну, это не окончательно, не должно быть, так плохо это не будет. Фриду можно будет отобрать обратно, она легко поддается чужому влиянию, даже влиянию этих помощников, которые считают положение Фриды аналогичным своему и, раз они теперь уходят, то и ее потащили за собой; К. надо будет только появиться перед ней, напомнить ей все, что говорит в его пользу — и, полная раскаяния, она снова будет его, в особенности, если ему как-нибудь удастся оправдать визит к этим девушкам успехом, которого он достиг у них. Но несмотря на эти рассуждения, которыми он пытался успокоить себя в отношении Фриды, К. не успокаивался. Еще недавно в разговоре с Ольгой он хвастался Фридой и называл ее своей единственной опорой,— что ж, опора оказалась не самой прочной; чтобы отнять Фриду у К., не понадобилось даже вмешательства кого-то могущественного, хватило и этого не очень аппетитного помощника, этого тела, которое иногда производило такое впечатление, словно оно не совсем живое.

Иеремия уже начал удаляться, К. вернул его.

— Иеремия,— сказал он,— я хочу говорить с тобой совершенно откровенно, ответь и ты мне честно на один вопрос. Мы ведь теперь не состоим в отношениях господина и слуги, чему рад не только ты, но и я тоже, так что у нас нет никаких причин друг друга обманывать. Вот я на твоих глазах ломаю прут, который был предназначен для тебя, потому что не из страха перед тобой я выбрал дорогу через сад, а для того, чтобы захватить тебя врасплох и этим прутом тебя пару раз обласкать. Ну, уж не обижайся на меня за это, все это уже в прошлом; если бы ты не был для меня слугой, которого мне навязали службы, а просто знакомым, то, хотя твой вид меня иногда немного и раздражал, мы наверняка отлично бы друг с другом поладили. А то, что мы в этом смысле упустили, мы отлично могли бы и теперь наверстать.

— Думаешь? — сказал помощник и, зевая, зажмурил утомленные глаза.— Я, конечно, мог бы объяснить тебе это дело подробнее, но у меня нет времени, мне надо к Фриде, детка ждет меня, она еще не вышла на службу; наверное, чтобы забыться, она хотела сразу кинуться в работу, но я уговорил хозяина дать ей еще немного отдохнуть, и нам все-таки хочется хоть это время провести вместе. А что касается твоего предложения, то у меня, конечно, нет никаких причин тебе врать, но и не больше причин что-то тебе доверять. Потому что у меня ведь не так, как у тебя. Пока меня связывали с тобой служебные отношения, ты, естественно, был для меня очень важной персоной — не из-за каких-то твоих качеств, а из-за служебного задания — и я бы для тебя все сделал, что бы ты ни пожелал, но теперь мне до тебя дела нет. И это переламывание прута меня не трогает, оно только напоминает мне, какого дикого господина я имел; чтобы расположить меня к тебе, это не подойдет.

— Ты так разговариваешь со мной,— сказал К.,— как будто уже абсолютно точно известно, что тебе никогда больше не придется меня опасаться. Но на самом деле ведь это не так. Ты ведь скорее всего еще от меня не свободен, так быстро здесь дела не решаются...

— Иногда — еще быстрее,— перебил Иеремия.

— Иногда,— сказал К.,— но ничто не указывает на то, что так произошло и в этот раз, по крайней мере, ни у тебя, ни у меня письменного решения на руках нет. Следовательно, рассмотрение еще только идет, и я через мои связи пока что никак не вмешивался, но я это сделаю. И если оно кончится не в твою пользу, то окажется, что ты не очень-то позаботился о том, чтобы твой господин хорошо к тебе относился, так что, может быть, не стоило даже ломать этот прут. И хоть ты и увел Фриду, от чего тебя сейчас так невероятно распирает гордость, но, при всем уважении к твоей персоне (которое у меня есть, даже если у тебя ко мне его уже нет), нескольких моих слов Фриде будет достаточно — я это знаю,— чтобы разорвать ту паутину лжи, которой ты ее опутал. Ведь только ложью можно было сманить у меня Фриду.

— Я твоих угроз не боюсь,— заявил Иеремия.— Ты же не хочешь, чтоб я был у тебя помощником, ты вообще боишься помощников, только со страху ты ударил бедного Артура.

— Возможно,— сказал К.— От этого было не так больно? Возможно, таким способом я еще не раз смогу показать мой страх перед тобой. Я вижу, что быть помощником для тебя не очень-то радостно, а для меня, несмотря на весь мой страх, наоборот, самое развлечение — заставить тебя быть им. Причем на этот раз я позабочусь о том, чтобы получить тебя одного, без Артура; я смогу тогда уделить тебе больше внимания.

— Ты думаешь, я хоть самую малость всего этого боюсь?

— Да, я думаю,— сказал К.,— что немного ты, конечно, боишься, а если ты умен, то сильно боишься. Иначе почему же ты до сих пор не ушел к Фриде? Скажи, ты что — ее любишь?

— Люблю? — удивился Иеремия.— Она — хорошая, умная девушка, бывшая возлюбленная Кламма, следовательно, во всяком случае достойна уважения. И если она непрерывно просит меня избавить ее от тебя, почему бы мне не сделать ей одолжение, тем более, что я и тебе тоже никакого огорчения не причиняю, ты же утешился у этих проклятых барнабасовских.

— Вот теперь я вижу, что ты испугался,— сказал К.,— испугался самым жалким образом и пытаешься заморочить мне голову. Фрида просила только об одном: избавить ее от одичавших, похотливых как псы помощников; к сожалению, у меня не было времени как следует выполнить ее просьбу, и вот последствия моего упущения.

— Господин землемер! Господин землемер! — закричал кто-то на всю улицу.

Это был Барнабас. Он подбежал, еле переводя дыхание, но не забыл поклониться К.

— Мне удалось,— проговорил он.

— Что удалось? — спросил К.— Ты передал Кламму мою просьбу?

— Не вышло,— сказал Барнабас.— Я очень старался, но это было невозможно; я протиснулся вперед, стоял целый день — хотя меня не приглашали — так близко у конторки, что один раз писец, которому я загородил свет, даже меня оттолкнул; когда Кламм отрывался от книги, я привлекал к себе внимание — хотя это запрещено — поднимая руку, пробыл дольше всех в канцелярии, остался там потом уже только один со слугами и очень обрадовался, когда увидел, что Кламм возвращается, но это было не из-за меня, он только быстро посмотрел еще что-то в одной книге и сразу же снова ушел, а я все еще стоял не двигаясь и под конец слуга почти что вымел меня метлой в дверь. Я признаюсь во всем этом, чтобы ты не был снова недоволен моей работой.

— Что мне от всех твоих стараний, Барнабас,— сказал К.,— если они не имели успеха.

Перевел с немецкого
Г. НОТКИН

Окончание следует

Иосиф БРОДСКИЙ

▣ ▣ ▣

Я входил вместо дикого зверя в клетку,
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,
жил у моря, играл в рулетку,
обедал черт знает с кем во фраке.
С высоты ледника я озирал полмира,
трижды тонул, дважды бывал распорот.
Бросил страну, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город.
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,
надевал на себя что сызнова входит в моду,
сеял рожь, покрывал черной толью гумна
и не пил только сухую воду.
Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;
перешел на шепот. Теперь мне сорок.
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.

24 мая 1980 г.

НА СМЕРТЬ ЖУКОВА

Вижу колонны замерших внуков,
гроб на лафете, лошади круп.
Ветер сюда не доносит мне звуков
русских военных плачущих труб.
Вижу в регалии убранный труп:
в смерть уезжает пламенный Жуков.

Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражьих тупей,
блеском маневра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо, в опале,
как Велизарий или Помпей.

Сколько он пролил крови солдатской
в землю чужую! Что ж, горевал?
Вспомнил ли их, умирающий в штатской
белой кровати? Полный провал.
Что он ответит, встретившись в адской
области с ними? «Я воевал».

К правому делу Жуков десницы
больше уже не приложит в бою.
Спи! У истории русской страницы
хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входили в чужие столицы,
но возвращались в страхе в свою.

Маршал! Поглотит алчная Лета
эти слова и твои прахоря.
Все же прими их — жалкая лепта
родину спасшему, вслух говоря.
Бей, барабан, и военная флейта
громко свисти на манер снегиря.

1974

ШВЕДСКАЯ МУЗЫКА

К. Х.

Когда снег заметает море и скрип сосны
оставляет в воздухе след глубже, чем санный полоз,
до какой синевы могут дойти глаза? до какой тишины
может упасть безучастный голос?
Пропадая без вести из виду, мир вовне
сводит счеты с лицом, как с заложником Мамелюка.
...так моллюск фосфоресцирует на океанском дне,
так молчанье в себя вбирает всю скорость звука,
так довольно спички, чтобы разжечь плиту,
так стенные часы, сердцебиенью вторя,
остановившись по эту, продолжают идти по ту
сторону моря.

В связи с публикацией, обращаясь в редакцию, И. Бродский просил передать ***«сердечный привет читателям «Невы» и городу, любимому мной».***

▣ ▣ ▣

Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга,
нет! как платформа с вывеской Вырица или Тарту.
Но надвигаются лица, не знающие друг друга,
местности, нанесенные точно вчера на карту,
и заполняют вакуум. Видимо, никому из
нас не сделаться памятником. Видимо, в наших венах
недостаточно извести. «В нашей семье — волнуясь,
ты бы вставила,— не было ни военных,
ни великих мыслителей». Правильно: невским струям
отраженье еще одной вещи невыносимо.
Где там матери и ее кастрюлям
уцелеть в перспективе, удлиняемой жизнью сына!
То-то же снег, этот мрамор для бедных, за неименьем тела
тает, ссылаясь на неспособность клеток —
то есть, извилин! — вспомнить, как ты хотела,
пудря щеку, выглядеть напоследок.
Остается, затылок от взгляда прикрыв руками,
бормотать на ходу «умерла, умерла», покуда
города рвут сырую сетчатку из грубой ткани,
дребезжа, как сдаваемая посуда.

▣ ▣ ▣

Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве.
В эту пору — разгул Пинкертонам,
и себя настигаешь в любом естестве
по небрежности оттиска в оном.
За такие открытья не требуют мзды;
тишина по всему околотку.
Сколько света набилось в осколок звезды,
на ночь глядя! как беженцев в лодку.
Не ослепни, смотри! Ты и сам сирота,
отщепенец, стервец, вне закона.
За душой, как ни шарь, ни черта. Изо рта —
пар клубами, как профиль дракона.
Помолись лучше вслух, как второй Назорей,
за бредущих с дарами в обеих
половинках земли самозванных царей
и за всех детей в колыбелях.

ОСЕННИЙ КРИК ЯСТРЕБА

Северо-западный ветер его поднимает над
сизой, лиловой, пунцовой, алой
долиной Коннектикута. Он уже
не видит лакомый променад
курицы по двору обветшалой
фермы, суслика на меже.

На воздушном потоке распластанный, одинок,
все, что он видит — гряду покатых
холмов и серебро реки,
вьющейся точно живой клинок,
сталь в зазубринах перекатов,
схожие с бисером городки

Новой Англии. Упавшие до нуля
термометры — словно лары в нише;
стынут, обуздывая пожар
листьев, шпили церквей. Но для
ястреба это не церкви. Выше
лучших помыслов прихожан,

он нарит в голубом океане, сомкнувши клюв,
с прижатою к животу плюсною —
когти в кулак, точно пальцы рук —
чуя каждым пером поддув
снизу, сверкая в ответ глазною
ягодою, держа на Юг,

к Рио-Гранде, в дельту, в распаренную толпу
буков, прячущих в мощной пене
травы, чьи лезвия остры,
гнездо, разбитую скорлупу
в алую крапинку, запах, тени
брата или сестры.

Сердце, обросшее плотью, пухом, пером, крылом,
бьющееся с частотою дрожи,
точно ножницами сечет,
собственным движимое теплом,
осеннюю синеву, ее же
увеличивая за счет

еле видного глазу коричневого пятна,
точки, скользящей поверх вершины
ели; за счет пустоты в лице
ребенка, замерзшего у окна,
пары, вышедшей из машины,
женщины на крыльце.

Но восходящий поток его поднимает вверх
выше и выше. В подбрюшных перьях
щиплет холодом. Глядя вниз,
он видит, что горизонт померк,
он видит как бы тринадцать первых
штатов, он видит: из

труб поднимается дым. Но как раз число
труб подсказывает одинокой
птице, как поднялась она.
Эк куда меня занесло!
Он чувствует смешанную с тревогой
гордость. Перевернувшись на

крыло, он падает вниз. Но упругий слой
воздуха его возвращает в небо,
в бесцветную ледяную гладь.
В желтом зрачке возникает злой
блеск. То есть, помесь гнева
с ужасом. Он опять

низвергается. Но как стенка — мяч,
как паденье грешника — снова в веру,
его выталкивает назад.
Его, который еще горяч!
В черт-те что. Все выше. В ионосферу.
В астрономически объективный ад

птиц, где отсутствует кислород,
где вместо проса — крупа далеких
звезд. Что для двуногих высь,
то для пернатых наоборот.
Не мозжечком, но в мешочках легких
Он догадывается: не спастись.

И тогда он кричит. Из согнутого, как крюк,
клюва, похожий на визг эриний,
вырывается и летит вовне

механический, нестерпимый звук,
звук стали, впившейся в алюминий;
механический, ибо не

предназначенный ни для чьих ушей:
людских, срывающейся с березы
белки, тявкающей лисы,
маленьких полевых мышей;
так отливаться не могут слезы
никому. Только псы

задирают морды. Пронзительный, резкий крик
страшней, кошмарнее ре-диеза
алмаза, режущего стекло,
пересекает небо. И мир на миг
как бы вздрагивает от пореза.
Ибо там, наверху, тепло

обжигает пространство, как здесь, внизу,
обжигает черной оградой руку
без перчатки. Мы, восклицая «вон,
там!» видим вверху слезу
ястреба, плюс паутину, звуку
присущую, мелких волн,

разбегающихся по небосводу, где
нет эха, где пахнет апофеозом
звука, особенно в октябре.
И в кружеве этом, сродни звезде,
сверкая, скованная морозом,
инеем, в серебре

опушившем перья, птица плывет в зенит,
в ультрамарин. Мы видим в бинокль отсюда
перл, сверкающую деталь.
Мы слышим: что-то вверху звенит,
как разбивающаяся посуда,
как фамильный хрусталь,

чьи осколки, однако, не ранят, но
тают в ладони. И на мгновенье
вновь различаешь кружки, глазки,
веер, радужное пятно,
многоточия, скобки, звенья,
колоски, волоски —

бывший привольный узор пера,
карту, ставшую горстью юрких
хлопьев, летящих на склон холма.
И, ловя их пальцами, детвора
выбегает на улицу в пестрых куртках
и кричит по-английски: «Зима, зима!».

1975

С первых своих шагов в поэзии Иосиф Бродский поражал такой силой подлинного лиризма, таким оригинальным и глубоким поэтическим голосом, что притягивал к себе внимание не только сверстников, но и тех, кто был намного старше и несравненно сильнее нас.

О своем я уже не заплачу,
Но не видеть бы мне на земле
Золотое клеймо неудачи
На еще безмятежном челе.

В этом четверостишии Ахматова с устрашающей прозорливостью предсказала начинающему поэту его славную и трагическую судьбу. Что касается «золотого клейма», то поэтический эпитет поддержан зрительным впечатлением: у рыжеволосого поэта, когда он читал стихи, проступали на высоком лбу мелкие капельки пота — характерное свойство рыжих людей с ослепительно белой кожей в минуты волнения.

Стихи Бродского расходились в списках, в обход и поверх печатного станка, убедительнейшим образом доказывая изначальное, врожденное свойство поэзии завоевывать сердца с голоса, с лёта.

Увы, чем сильнее звучал этот голос, тем подозрительнее относились к нему те, кого Блок в своей пушкинской речи назвал «чиновниками», собирающимися «направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение».

В 1964 году Бродский за «тунеядство» был осужден и выслан в глухую деревню Архангельской области. Там он провел полтора года. Самое удивительное, что это произошло в конце хрущевского, как говорится либерального, периода. Большие поэты, как большие деревья, притягивают к себе молнии. Как тут не вспомнить самого прекрасного нашего поэта, умудрившегося оказаться в ссылке в александровские, сравнительно легкие, голубоглазые, маниловские времена?

За Бродского заступились Ахматова, Твардовский, К. Чуковский, Шостакович, очень многое для его освобождения сделала рано умершая Ф. Вигдорова — в 1965 году Бродский был возвращен в Ленинград.

Четыре стихотворения — вот все, что удалось опубликовать Бродскому в родной стране. В 1972 году, перед самым отъездом, он подарил мне подборку своих стихов, вышедших на Западе, с шутливой, но красноречивой надписью: «Дорогому Александру от симпатичного Иосифа в хорошем месте в нехорошее время».

Место было хорошее. Помню, несколько ранее, весной, мы случайно встретились на Крюковом канале. Бродский был бледен и возбужден. Вот тогда он сказал мне о предстоящем отъезде (вопрос еще не был окончательно решен, но решался в эти минуты в какой-то высокой инстанции). Зайдя по пути к дорогому для него человеку, жившему на Римского-Корсакова, чтобы сообщить эту новость, мы пошли к нему домой на Литейный — и в моем присутствии раздался телефонный звонок. Звонили из учреждения; Бродский ответил: «Да» — вопрос был решен. Опустив трубку на рычаг, он закрыл лицо руками. Я сказал: «Подумай, ведь могли и передумать, разве было бы лучше?»

Нет, лучше бы не было. Речь шла о спасении жизни и спасении дара.

Пересадка на чужую почву была вынужденной и тяжелой. Там, в Соединенных Штатах, пришлось перенести две операции на сердце. Помните, у Мандельштама: «Видно, даром не проходит шевеленье этих губ, и вершина колобродит, обреченная на сруб».

Нет, дар не оскудел, не потускнел, но чего это стоило человеку, принужденному учиться «у них — у дуба, у березы»? Можно только догадываться.

Несколько слов о поэзии Бродского. Поражает поэтическая мощь в сочетании с дивной изощренностью, замечательной виртуозностью. Поэзия не стоит на месте, движется, растет, требует от поэта открытий. В ней идет борьба за новую стиховую речь. Сложнейшие речевые конструкции, разветвленный синтаксис, причудливые фразовые периоды опираются у Бродского на стиховую музыку, поддержаны ею. Не вяло текущий лиризм, а высокая лирическая волна, огромная лирическая масса под большим напором. На своем пути она захватывает самые неожиданные темы и лексические пласты.

Однажды в разговоре Бродский внушал мне, что поэт должен «тормошить» читателя, «брать его за горло». Я сопротивлялся, как мог, уверяя его, что есть и другая поэзия, не принуждающая читателя себя любить, оставляющая ему ощущение свободы. Но как сильна, как мужественна его позиция!

Несколько романтическая, не так ли? Поэт, по Бродскому,— человек, противостоящий «толпе» и мирозданью. В поэзии Бродского просматривается лирический герой, читатель следит за его судьбой, любуется им и ужасается тому, что с ним происходит. С этим, как всегда, связано представление о ценностях: они усматриваются не в жизни, а может быть, в душе поэта. С земными «ценностями» дело обстоит неважно. Оттого и вульгаризмы, грубость, соседство высокого и низкого, чересполосица белого и черного.

Бродский — наследник байронического сознания. Любимый его поэт в XX веке — не Анненский, не Мандельштам, а Цветаева! Но, конечно же, брал он уроки у многих, в том числе — у Пастернака.

Необходимо сказать об одной, редкой особенности — ориентации не только на отечественную, но и на иноязычную традицию. Бродский связан с польской, но прежде всего — с английской поэзией, он блестяще переводил с польского Галчинского, с английского — Джона Донна, Элиота, Одена. (Вот почему пересадка на чужую почву, как и для Набокова, оказалась болезненной, но не губительной).

Одно из самых прекрасных ощущений, данных человеку на земле,— переживание совершающейся справедливости, самой возможности ее в этой жизни. Мы присутствуем сегодня при таком торжестве в самых разных, и не только литературных, областях. Вот еще один завораживающий пример — возвращение поэзии Бродского в родную страну при жизни поэта.

Александр КУШНЕР



Владимир РЕКШАН



КАЙФ

почти документальное повествование

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Где-нибудь в багдадской или стамбульской кофейне сидят над чашечками с кофе южные люди и кейфуют, то есть, насколько я понимаю, проводят в приятном, расслабляющем безделии лишнее время.

Я же сижу на табурете за столом, привалившись спиной к горячей печке и передо мной полупустая чайная кружка с потемневшей, выжатой, скучной долькой лимона. И этот цитрусовый штришок недавней трапезы — единственное, что дает право праздно размышлять о мусульманском кейфе: ведь за окнами минус тридцать пять гибельных градусов Цельсия, а в двух десятках метров от моего временного жилища начинается Ораниенбаумский парк, скованный лютой зимой. Я снимаю жилье возле парка за сороковник в месяц, чтобы как-то пережить и переработать зиму, но для печали нет оснований. Парк не скучен и прекрасен. Верхний пруд перед Меншиковским дворцом закрыт льдом и снегом, а подо льдом, пусть и не бурная, как осенью, живет вода, вытекает из пруда через плотину, колеблется черной речушкой в желтоватых торосах, набирая силу на выходе из парка. Черная речушка с клецками снежных бугорков...

А в ноябре желто-кремовые стены дворца отражались в воде и небо отражалось в воде, делая голубой воду и тончайший ледок, даже не ледок — лединец, разноцветный от неба и стен...

Но все-таки — зима. Пора вставать, но я еще долго сижу за столом, размышляя о южном кейфе, наблюдая, как за окнами гаснет день. По полу сифонит от окна к двери. У меня густая, криво остриженная борода и поредевшие, немытые волосы. Мыться в такой мороз мука и сущая нелепость. Опять в половине домов полопались водопроводы. Значит, спасибо и за этот северный кейф над чашкой чая с цитрусовой коркой.

— Кайф,— говорю я,— кайф. Да, удивительна судьба слов! Они ведь — как люди... Но у нас-то говорят кайф, естественней тут громкое русское «а», заменившее «е»,— этот протяжный крик муэдзина.

Мне нравится разговаривать с самим собой. Вынужденное и желанное одиночество предоставило-таки возможность выговориться.

Так бы и сидеть возле печки, предаваясь необязательным рассуждениям, но пора выходить на лютую улицу.

Я допиваю быстрым глотком остывший чай и закашливаюсь до слез.

У меня насморк и мне тридцать шесть лет...

В июне 1968 года мне исполнилось восемнадцать. Я уже мог жениться и мне предстояло служить в армии. Но от армии у меня имелась отсрочка, а новым правом просто не успел воспользоваться.

В июне 1968 года я оказался в Париже, через месяц после знаменитой студенческой полуреволюции. Деревья валили на баррикады и в Латинском квартале теперь множество пней, а стены располосованы красным: «Нет капитализму! Нет социализму! Да здравствуют Че Гевара и Мао!» Увидев аккуратные пни в районе Сорбонны, я долго гадал: «Чем пилили? Бензопилой, наверное?» Как-то не представлялся парижский студент с двуручкой.

В маленьком городке Ля-Бурже, где родился Паскаль (это если от Парижа на юг через Дижон — то ли в Бургундии, то ли в Шампани, то ли во Франш-Конте), состоялся матч молодежных команд СССР — Франция по легкой атлетике, в котором

я принимал участие. Неожиданно мы матч проиграли. После проигрыша нас долго везли автобусом в разноцветном, густом, знойном французском вечере, высадив возле здания, стилизованного под старинный постоялый двор. В том здании состоялось нечто вроде товарищеского ужина. На нем наши французские коллеги и сверстники вели себя так, что на Средне-Европейской возвышенности подобное бы квалифицировалось как мелкое хулиганство. Коллеги переворачивали столы, били посуду и все это легко и весело, словно праздновали полупобеду своей полуреволюции. И еще они пели «Мишел» Леннона и Маккартни. Я знал эту песню с пластинки «Битлз» «Резиновая душа» и подпевал незатейливый, казалось тогда с особым смыслом, припев:

— Ай лав ю, ай лав ю, ай лав ю!

К июню 1968 года я знал полтора десятка аккордов на гитаре, в которых и упражнялся без устали. Я был молод, полон честолюбивых амбиций и самонадеян. Впереди была вся жизнь.

Побывав в местах, где буквально накануне бунтовала молодость, я утвердился в юношеском нигилизме и через год в Сочи, где состоялся ответный матч, явился в рваных джинсах, рваной футболке, с волосами до плеч, с первой щетиной и гитарой, озадачив тренеров сборной. Те все спрашивали о здоровье. Но в нездоровье я уже был не один. С Лехой Матусовым после тренировок где-нибудь на скамеечке под платанами брякали на гитаре по очереди. И в Ленинграде хватало единомышленников. Даже существовали в Ленинграде настоящие рок-группы, но на их выступления я попасть не мог и поэтому пытался собрать собственную.

Где-то в шестьдесят пятом по ленинградскому радио прокрутили безобидную песенку «Битлз» — «Герл», сообщив, что исполняют ее «наши друзья, грузчики из Ливерпуля». «Грузчики» быстро разбогатели, достигнув классово чуждых коммерческих вершин, и быстро переориентировавшись, друзей стали поносить почем зря. Умельцы тогдашней контрпропаганды добились того, что скоро российские тенейджеры уже бегали друг к другу с магнитофонными кассетами и крутили их сутки напролет на худых отечественных магнитофонах.

Отец научил меня когда-то исполнять на мандолине «Коробейников», используя тремоло, и этого опыта оказалось достаточно, чтобы с самонадеянностью восемнадцатилетнего, освоив на гитаре несколько звучных аккордов в первой позиции, я начал выдавать первую песенную продукцию.

Пройдя все стадии полового созревания, школу и Университет, наслушавшись «Битлз» и «Роллинг стоунз», я с восторгом человека, выросшего на диетическом питании и вдруг отведавшего восточных перченых блюд, набросился на рок. Молодость жаждала остроты, и поклонение гонимому року давало ее в полном объеме.

В Америке молодежь бунтовала против вьетнамской войны, в Европе против всего сразу, а в авангарде бунта шла рок-музыка. Музыкальное явление, впитывавшее по ходу всякие звуковые традиции, ложившиеся на четный ритм, оно наполнилось молодежным нигилизмом и нам, коль уж созрели и жаждали остроты, ничего не оставалось, как отращивать волосы, переодеваться в рваное, выпиливать из спинок кроватей деки для электрогитар и в спешном порядке искать объекты для отрицания.

Битлы, красивые аккуратные юноши, певшие красивые аккуратные песенки, стали по-хорошему злыми и небритыми и подтвердили участие в мировом молодежном восстании гениальными пластинками — «Оркестр клуба одиноких сердец Сержанта Пеппера» (1967) и «Двойной альбом» (1968). Негр Джимми Хендрикс стал играть с белыми музыкантами Митчеллом и Редингом и потряс мир двадцатилетних своей говорящей, кричащей, рыдающей гитарой. Джим Моррисон из «Дверей» сделался символом протеста молодой Америки и вместе с Дженнис Джоплин уже приближался к той грани, за которой начиналась посмертная слава. Ян Андерсон, Джо Кукер, Род Стюарт, «Прокл Харум», «Лед Зеппелин», «Пот, кровь и слезы», «Великий мертвец» и много, много прочих — да, это были имена! Мерси-бит, ритм-энд-блюз, первые сполохи хард-рока... Толпы хиппи мечтали об Индии, наркотики же еще не стали болезнью миллионов и миллиардной преступной коммерцией, а лишь казались одним из условных символов восстания.

Мик Джаггер, лидер «Роллинг Стоунз», теперешний мультибогач, почти не уступал в популярности Джону Леннону после исполнения своей и Кейса Ричарда композиции «Удовлетворение». «Стоунз» выпускают в пику битлам две прекрасные пластинки «Сатаник» (1967) и «Банкет нищих» (1968). На картонном развороте еще можно увидеть гитариста Брайана Джонса, но его уже нет в живых — первая жертва арьергарда наркотиков, первый мученик в реформаторском воинстве рок-н-ролла. Скоро с ним в ряд встанут Джоплин, Моррисон, Хендрикс...

Элвис Пресли, кажется, сказал афоризм:

— У каждого свой рок-н-ролл.

Выпилив лобзиками деки из родительских кроватей, приладив грифы, звукосниматели и струны, мы, доморощенные нигилисты, сбивались в рок-группы, которых к концу шестидесятых бунтовало в каждом вузе по несколько. В «америках» рок-

музыку уже скупал большой бизнес, а нас же, по Пресли, ждал свой рок-н-ролл, который, подлец, испортил жизнь многим...

Боб Галкин прыгал с шестом, Леха Матусов прыгал с шестом, я прыгал в высоту без шеста, а Мишку Марского звали среди своих Летающим суставом за худобу и подвижность. Он учился в Высшем художественном промышленном училище имени Мухиной, «Мухе», в актовом зале которого мы и репетировали в окружении тяжелых гобеленов, резных дверей и витражей, допущенные в этакую роскошь с нигилистическими задумками при попустительстве деканата.

Боб Галкин пытался освоить четные ритмы на барабанах, Леха Матусов никак не мог совладать с бас-гитарой, я претендовал на первую гитару, а Мишка Марский колотил по клавишам рояля так, что мне, несмотря на освоенный нигилизм, делалось страшно.

Мы собрали по сусекам пару плохоньких усилителей, плохонькую акустику, пыльный лаокоон проводов, хреновенькие микрофоны. К барабанам нашим постыдился б притронуться барабанщик пионерской дружины.

Не подозревая дальнейшего развития событий и педагогически поддерживая увлечение музыкой, вспомнив об успешно разученных мной в отрочестве «Коробейниках», мама подарила мне чехословацкую гитару «Иолана-Star-V», купленную по случаю и стоившую фантастически дешево по сравнению с нынешними ценами — сто шестьдесят рублей.

Я сочинял музыку, по ходу осваивая квадрат и нисходящие гармонии, сочинял слова, подгоняя мужские и женские рифмы, сочинял аранжировки, узурпировал полномочия дирижера и диктатора, не терпящего возражений. Бывал неосознанно жесток к друзьям.

Однажды, рассерженный непонятливостью нигилистов, я объявил на репетиции конкурс дураков. «Побеждал» тот, кто более ошибался. Леху, кроме прочего, заставлял еще и выбивать чечетку, воплощать, так сказать, режиссерскую задумку.

Не знаю, почему они слушали меня, а не надавали по шее. Я требовал, требовал, требовал, не понимая, как можно ссылаться на очередную сессию, очередную девицу, на что-то там еще, а не бросить все и репетировать, репетировать, репетировать. Их молодецкие заботы казались предательством по отношению к нигилизму. Вся жизнь была впереди, подходил к концу шестьдесят девятый год.

Теперь-таки, через столько лет, рок-музыку перестали замалчивать или только ругать. Вдруг ее стали нахваливать почти без разбору, вдруг объявилось множество людей, желающих писать о ней или с ее помощью. И поселившись в Ораниенбауме с видом на царские чертоги, я неожиданно испугался, что распишут ее по необязательным страницам. Куда ж мне тогда деваться со своими воспоминаниями?..

Волосатикам вслед плевали старушки, хмурились милиционеры. Иногда за длинные волосы могли побить. Несколько раз, возвращаясь с репетиции вечером, мне приходилось защищать честь и защищать кулаками. Родители перестали со мной разговаривать. В припадке какого-то юношеского безумия я ночами слушал новую музыку, записи или пластинки, днем сочинял сам, вечерами репетировал в «Мухе», терроризируя товарищей, доставал динамики, сколачивал акустические колонки, паял провода, таскал, таскал, сотни раз таскал аппаратуру по этажам «Мухи», из «Мухи» и в «Муху», когда нас гнали оттуда и возвращали обратно. Мне не исполнилось еще и двадцати.

Тогдашние городские рок-группы, если и пели собственносочиненное, то лишь в виде кокетливой добавки к «фирме». Это называлось снять один к одному. «Лесные братья», «Аргонавты» и «Фламинго» копировали лучше всех. Мы же репетировали свое, тяп-ляп, ржавые гвозди и горбыли, но — свое. Творили, елки-палки, наперекор Востоку и Западу. Как въедливый юноша, ночами я вслушивался не только в рок-н-роллы, но и, накупив по дешевке, в записи Вивальди, Баха, лютневой музыки, Малера и прочих, оплодотворяя в памяти рок-н-роллы гармониями великих. Впрочем, это лишь расширяло кругозор, не прибавляя ничего к «скайфлэ», музыке подворотен, которую я сочинял. Правда, тогда мы временно репетировали в окультуренном подвале ЖЭКа. Выходит, это была подвальная музыка.

В результате «конкурсов» и иной террористической деятельности Боб и Леха отдались безраздельно прыжкам с шестом, а их место заняли блистательные «слухачи», рыжие Лемеговы из Академии.

В подвал на репетицию Серегу принесли, а Володя пришел сам. Он сел за барабаны, дрянные барабаны ожили, запели на разные голоса, принесенный Серега перебросил ремень баса через плечо, басовым глиссандо вонзился в первую четверть. У меня аж слюнки потекли: такая получалась кайфовая ритм-секция!

Серега и Володя учились на архитектурном с Альбертом Асадуллиным, вместе музицировали до поры, но Альберт, сильный тенор, уже присматривался к профсцене. У брательников имелась солидная практика, они были выразительные, с рыжими усами, рослые парни. Средний рост нашего нигилистического сборища равнялся ста

восьмидесяти пяти сантиметрам, а это тоже имеет значение. До сих пор я считаю, что для успеха в первую очередь следует понравиться девицам в зале, а девицам в зале и не в зале отчего-то больше нравятся высокие.

Тогда же велись переговоры с Михаилом Боярским. Он учился в Театральном на Моховой, неподалеку от «Мухи». Там же, на Моховой, он репетировал с «Кочевниками» в малюсеньком зальчике, одно время мы репетировали параллельно.

Помню лето, зной, шпили отражаются в воде, ангелы и кариатиды. Берем лодку напрокат и гребем по каналу Грибоедова в ласковой тополиной июньской метели. Боярский говорит, будто намеревается собрать группу, голосами аналогичную «Битлз». У меня басо-баритон, у него — высокий баритон. Мои нигилисты не аналогичны «Битлз», а идеи Боярского не устраивают нас. И наш «Санкт-Петербург».

Названию, прическам и иным аксессуарам нигилисты тогда, да и теперь, уделяли значительную часть своей нигилистической деятельности.

— ...«Санкт-Петербург»,— сорвалось с языка во время праздного толковища.

Рыжие братаны и Летающий сустав замерли, молчали долго, цокали языками, и же, вспотев от удачи, ждал.

— «Санкт-Петербург»? — переспросил Летающий сустав.

— Круто! — сказали рыжие братаны.

Да, мы родились в этом городе, выросли в старом центре и город жил в нас и станет жить до последнего дня, мы плохо умели, но сочиняли сами, на родном языке, а ведь иные (многие!) доказывали:

— Рок не для русского языка! Короткая фраза англичанина — в кайф, а русская — длинна, несуразна и не в кайф! Не врубаетесь?

Это оскорбляло. И мечталось, пусть не на уровне четкой формулировки, проявить себя, доказать, что приобретенные возрастом обязанность служить в армии и право жениться должны быть дополнены необходимостью обязанности и права на свой крик; словно новорожденные, мы мечтали закричать по-русски: «Мы есть!»

Я написал композицию «Сердце камня» и посвятил ее Брайану Джонсу: «И у камня бывает сердце, и из камня можно выжать слезы. Лучше камень, впадающий в грезы, чем человек с каменным сердцем...» Ми-минор, ре-мажор, до-мажор, си-мажор по кругу плюс вторая часть — вариации круга, да страсти-мордасти басо-баритона и ритм-секции. Я написал боевые композиции «Осень» и «Санкт-Петербург».

У меня в «допетербургские» времена имелся некоторый опыт: провал на вечере биологического факультета в ДК «Маяк», случайный наш квартет первокурсников играл плохо и нас освистали; однажды помогал играть на танцах в поселке Пери ансамблю, собранному из охтинских рабочих парней — помню пыльный зальчик, помню, как перегорели усилители, помню, дрались в зале из-за девиц и помяли заодно кого-то из оркестрантов...

Уже запекались по утрам на парапетах первые льдинки. Днем же сеял дождик, а встречный ветер боронил невские волны. Той осенью семидесятого года я рехнулся окончательно. Часть жизни, что была впереди, начиналась.

У «Санкт-Петербурга» появилась «мама», «рок-мама» Жанна — взрослая, резкая, выразительная женщина-холерик. Она устраивала джазовые концерты (с Дюком Эллингтоном и его музыкантами организовала встречу в кафе «Белые ночи»; в припадке восторга городские джазмены повыдавили там стекла и снесли двери), устраивала концерты первым нашим самостийным рок-группам и, побывав случайно на репетиции «Санкт-Петербурга», решила содействовать нам.

Сошедший с ума, я получил с ее помощью неожиданное приглашение выступить на вечере психологического факультета Университета. Нам даже обещали заплатить сорок рублей.

Стоит вспомнить, как концертировали первые рок-группы. Контингент болельщиков был не столь велик, сколько сплочен и предан, рекрутировались в него в основном студенты. В вузах же, под видом танцевальных вечеров, и проходили концерты. Зал делился по интересам — к сцене прибивались преданные, а где-то в зале все-таки выплясывали аутсайдеры прогресса. «Муха», Университет, Академия, Политехнический, «Бонч», Военмех — надо б там вывесить мемориальные доски.

Рок-групп наплодилось, словно кроликов, каждую субботу выступали в десятке мест. Героические отряды болельщиков проявляли поистине партизанскую изворотливость, стараясь проникнуть на концерты, поскольку на вечера пропускали только своих учащихся, а посторонних боялись, зная, чем это может кончиться. Но все одно кончалось. Отчего-то наиболее удачно просачивались через женские туалетные комнаты. Иногда влезали по водосточным трубам. Иногда приходилось разбирать крышу и проникать через чердак. Главное, чтобы пробрался в здание хотя бы один человек. Этот человек открывал окна, выбивал черные ходы. Если здание оборонялось, и местные дружинники перехватывали хитроумных лазутчиков, шли повзводно напролом, пробивали бреши, срывая с петель парадные двери, и растекались по коридорам. Бред какой-то! Видимо, не я один сошел с ума той осенью семидесятого года...

Мы привозим на Красную улицу нашу электрическую рухлядь. Там в низеньком особнячке, дугой обнявшем двор с булыжным старинным покрытием, расположился факультет психологов. Актовый зал оказался с небольшой низкой сценой, с большими, до пыльного потолка, окнами.

Расставляли с брательниками и Мишкой усилители и акустику, пробовали микрофоны и пытались разобраться в проводах. Эти красивые рослые парни не волновались. Я им заговорил зубы, затерроризировал уверенностью, а сам же уверен не был, и теперь мне было зябко, нервничал. Жизнь еще только была впереди и это теперь легко делать выводы и теоретизировать о происхождении и социально-музыкальных составных рок-музыки и причинах ее успеха.

Громко появилась Жанна, «рок-мама»:

— С премьерой вас, мужики! — Голос у нее высокий и ломкий. Она на таких, как мы, насмотрелась, а на меня, тогда глянув, добавила: — Перестань, право, дурить. Теперь уже ничего не исправишь,— и довольно засмеялась.

— И нет. И-надо пор-репетировать.— Я еще и заикаться стал.

— Какие к черту репетиции! Поздно! Идите в комнату и ни о чем не думайте. Будете слушать рок-маму или нет?

— Жанна! — крикнул Мишка.— Из «Мухи» человек двадцать придет. Не знаю, как провести.

— Да,— сказал Серега, отрываясь от гитары, а Володя пояснил: — И из Академии притащатся. Надо провести. Они все с бутылками притащатся.

— Какие бутылки! — прикрикнула Жанна.— У вас же премьера!

— Я вам дам бутылки! — Я вспомнил о диктаторских полномочиях, перестал заикаться и дрожать.

— Шутки, шуточки,— успокоил Серега, а мне опять стало страшно.

Особенного ажиотажа устроителями вечера не ожидалось, так как «Санкт-Петербург» еще никому не известен. Возможно, нас именно поэтому и пригласили. Но к вечеру народ начал подтягиваться. «Аргонавты» играли в тот день в Военмехе, а туда было пройти труднее всего. Кто-то, видимо, знал, что на психфаке вечер, и рок-н-рольльщики с кайфовальщиками (как-то надо называть ту публику), сняв осаду с Военмеха, рванули на Красную улицу. Особнячок взяли «на копье», между делом, даже не причинив ущерба.

За сценой находилась небольшая артистическая, я смотрел в щелку на толпу, запрудившую зальчик. Холодели конечности, била дрожь, а моим нигилистам — хоть бы что. А Жанне — только б веселиться в центре внимания.

Я не боялся публики, привычный к публике стадионов, и вдруг разом мое безумие устремилось в новое русло:

— Встали! Готовность — минута! Первой играем «Осень»!

Я стоял в гриме, разодетый в малиновые вельветовые брюки и занюханную футболку. На ногах болтались разбитые кеды. Коллеги мои были под стать, а тогда, надо заметить, на родную сцену даже самые отпетые рокеры выходили причесанные и в костюмчиках.

— Ну и ну,— сказал Серега и подкрутил рыжие усы.

— Во, правильно. Щас покайфуем,— улыбнулся Летающий сустав.

— Облажаемся, вот и покайфуем,— хмыкнул Володя.

— Пора, мужики,— засмеялась Жанна.— Я пока окно открою. Ничего, со второго этажа спрыгнете, если бить станут.

— Играем «Осень», а потом блюз! И провода не рвать! — Я устремился к двери, коллеги за мной. Дернул ручку на себя, помедлил,— из зала неслись голоса и табачный дым — помедлил, сбросил кеды и выбежал на сцену босиком.

Мы врезали им и «Осень», и «Блюз номер 1» и «Сердце камня» без пауз, поскольку страшно было останавливаться, а остановившись поневоле и услышав ликование, выразившееся в свисте, топоте, битье в ладоши, бросании на сцену мелких предметов, остановившись и сфокусировав зрение, и различив их лица, насмешливо-приветливые, возбужденные, вакхические и юные, эти милые теперь мне лица моей юности, остановившись поневоле, я зло понял, что зал теперь уже наш.

Мы играли дальше под нарастающий гвалт, я метался по сцене, как пойманный зверь, размахивая грифом гитары и падая на колени, хотя никогда не метался и не падал на репетиции, и не собирался метаться и падать, но так подсказал инстинкт и не подвел, подлец, поскольку вечер рухнул триумфом и началась на другой день новая и непривычная жизнь, жизнь первой звезды городского молодежного небосвода волосатиков, властелина сердец, властелином стал на четыре долгих года «Санкт-Петербург»...

Через неделю мы выступали в Академии и весь город (условный город волосатиков) пошел на штурм. Двери в Академии сверхмощные, а лабиринты коридоров запутанные и шанс устоять у администрации имелся. Но вокруг Академии стояли строительные леса, замышлялся ремонт фасада, и это решило исход дела.

«Санкт-Петербургу» предоставили в распоряжение спортивный зал и теперь нам обещали через профком шестьдесят рублей.

Все желающие не смогли пробиться а Академию. Главные двери уцелели, но защитникам пришлось распылить и без того ограниченные силы и гоняться за волосатиками по лесам, походившим издали, говорят, на муравейник. Администрация пыталась перекрывать двери внутри здания и это, отчасти сдерживая натиск, лишь отдаляло развязку.

Случайный имидж премьеры, вызванный страхом и инстинктом самосохранения, стал ожидаемым лицом «Петербурга» и было б глупо не оправдать ожиданий.

Малиновые портки оправдали себя, а босые ноги — особенно. Я добавил к костюму таджикский летний халат в красную полоску, купленный год назад в Душанбе, а на шею повесил огромный будильник.

В спортзале не предполагалось сцены и мы концертировали прямо на полу. На шведских стенках народ сидел и висел, как моряки на реях, перекладины хрустели и ломались, кто-то падал. В разноцветной полутьме зала стоял вой. Он стоял, и падал, и летал. И все это язычество и шаманство называлось вечером отдыха.

Я сидел на полу по-турецки или по-таджикски и сплетал пальцы на струнах в очередную композицию, когда вырубили электричество. Сквозь зарешеченные окна пробивался белый уличный свет. В его бликах мелькали тени. Стоял, падал, летал вой и язычники хотели кого-нибудь принести в жертву. Тогда Володя стал лидером обесточенного «Петербурга» и на сутки затмил славу моей «Осени». Он проколотил, наверное, с час, защищаемый язычниками от поползновений администрации. Он был очень приличным барабанщиком, даже если вспоминать его манеру играть теперь. Особенно хорошо он работал на тактовом барабане и особенно удавались ему синкопы. Он играл несколько мягковато и утонченно для той агрессивной манеры, что желал освоить, но таков уж его характер, а ведь именно характер формирует стиль...

Братьев Лемеговых все же не исключили из Академии. Наше выступление даже пошло на пользу — ремонт здания уже нельзя было откладывать на неопределенное потом.

В родительской квартире на проспекте Металлистов (то ли в честь Фарнера или Гилана на радость теперешним «металлистам») я оставался один и с утра телефон не умолкал, напоминая о славе и подстегивая самолюбие.

Звонили и по ночам. Приходилось выбегать из постели в коридор, пока не успели проснуться родители.

Слышались в трубке смешки, долгое дыхание, перешептывание, хихиканье. Утром звонили приятели по делу и с лестью, а по ночам звонили не по делу девицы: «Вы извините... хи-хи... Вы, конечно, нас простите... хи-хи... Может, вы не отказались бы сейчас к нам... хи-хи... Сейчас приехать вы можете?» Отчего-то ночные звонки злили. Я, естественно, мог приехать, а иногда даже хотел, но теперь приходилось быть настороже.

Пришлось на ходу досочинять программу, убирать из нее некоторые песни лирико-архаического толка, заменяя на тугой около-ритм-энд-блюз. По утрам я колотил на рояле, тюкал известными мне аккордами и манкировал Университет. Чиркал на бумажке:

Мои гнилые кости давно лежат в земле.
Кофе, кофе, кофе, ты — аутодафе!

Это сочинение так и не дожило до сцены.

— Ты, как вино, прекрасна. Опьяняешь, как оно. Ты для меня, как будто веселящее вино! — а вот это стало супер-боевиком.

«Петербург» довольно быстро привык к славе и стоили мы теперь около восьмидесяти рублей. Но рублей не хватало, поскольку усилители у нас были плохонькие, акустика хреновая, микрофоны вшивые, а провода запутанные. Этих рублей не хватало никак.

И еще я собирал пластинки. Собрал десяток пластинок «Битлз» в оригиналах «Парлафона» и «Эпплз» от «Плиз, плиз ми» до «Лет ит би», десяток «Роллинг стоунз», «Стенд ап» и «Бенефит» андерсеновского «Джезро Талла» плюс охапку классической музыки.

В начале 1970 года я в последний раз отличился на спортивном поприще, выиграв «серебро» на Зимнем первенстве страны среди юниоров по прыжкам в высоту, а весной в Сочи повредил коленный сустав, а в конце года, залеченное казалось бы совсем, порвал колено еще раз. На перекрестке судьбы с юношеским вселенским задором думалось возможным все — и причуды первой звезды рока, и суровая олимпийская стезя.

Мой тренер, великий человек, сокрушался:

— Он хиппи! Я же был в Америке и видел таких с гитарами. Он же настоящий хиппи! Сделайте же с ним что-нибудь!

Но я не относился ничуть к бездеятельным хиппи. Я являлся деятельным безумцем молодежности, не понимая, в начале какой тропы нахожусь.

Во второй половине шестидесятых к року относились у нас в стране административно-культурные единицы снисходительно-доброжелательно, а к концу десятилетия надменно и обиженно-индифферентно. Кажется, в 1969 году ленинградский состав «Фламинго» выступал в Политехническом институте и перед выступлением у «Фламинго» сломались усилители (добрая наша традиция). Пока усилители чинили специалисты, публика чинила залу ущерб, вырабатывая по Павлову рефлекс на отечественный рок. Тот день стал переломным во взаимоотношении административно-культурных единиц и любителей новой музыки. Вышел указ, обязывающий иметь всякому ансамблю в составе духовую секцию, запрещающий исполнять композиции непрофессиональных авторов, обязывающий всякую группу приезжать в Дом народного творчества на улицу Рубинштейна и сдавать программу комиссии, состоящей из тех же административно-культурных единиц. Однако! Мы и такие, как мы, мыкались по случайным помещениям, из которых нас гнали взашей по поводу и без повода, мы скопидомничали, собирая жалкие рубли на аппаратуру, мы, собственно, были вольными поморами, а нам предлагали крепостное право, нам предлагали оставаться народной самодеятельностью, но ничего не делать самим. Разрешалось лишь мыкаться и скопидомничать.

Однако систему пресечения еще не отработали, но это был первый шаг, точнее подталкивание к подполью. Удавалось еще концертировать в вузах, но противникам уже удавалось пресекать концертирования. К началу 1971 года в стылом ленинградском воздухе запахло войной...

Коля Басин, условно его так назовем, рослый и восторженный бородач, заметно выделялся из публики тех лет. Он считался реликвией и гордостью города (условного города волосатиков), потому что никому более не то чтобы не удавалось, а даже и не мечталось получить посылку от самого Джона Леннона. А Коля Басин получил. После раскола «Битлз» Джон собрал «Пластик Оно Бенд», который выступил с концертом в Торонто. Коля Басин поздравил 9 октября 1970 года Джона Леннона с тридцатилетием, а благодарный Джон Леннон прислал Коле Басину пластинку с записью концерта в Торонто. Там Джон исполнил «Дайте миру шанс» и под его лозунгом проходят сейчас массовые форумы борцов за мир. «Коле Басину от Джона Леннона с приветом» — такой автограф на невских берегах не имел цены.

Этот-то Коля Басин и вызвал меня к себе по очень важному делу. Не помню точно, но, кажется, стояли холода и я долго трясся в трамвае, пока добрался до Ржевки. В этом несуразном районе, где деревянные частные дома соседствовали с застройками времен малых архитектурных излишеств, и жил корреспондент лидера «Битлз». Найдя дом, я поднялся по лестнице и позвонил. Мне открыл Коля Басин. Он был одет в широкую, не заправленную в брюки, белую рубаху и домашние тапочки. Мы обнялись по-братски. Я довольно сдержан в проявлении чувств, но так полагалось в этом доме. Мы прошли в комнату, по которой сразу можно было представить жизненные приязни хозяина. На стенах висели фотографии «битлов», особенно Джона, стеллажи были заставлены коробками с магнитофонными пленками, тут же стоял магнитофон и колонки, проигрыватель, пластинки стопками лежали повсюду, а увесистые, величиной с рождественский пирог, альбомы составляли, пожалуй, главную достопримечательность. Коля Басин работал художником-оформителем и, судя по этим альбомам, художником-оформителем являлся отменным. Несколько альбомов он посвятил «Битлз», имелся альбом, повествующий об истории отечественного рока. В нем хранились редчайшие фотографии и если б его сейчас издать, то издание б пользовалось спросом и его можно было б обменивать населению на макулатуру. И это без обидного подтекста.

Коля Басин сказал:

— Есть идеи. Есть замечательные идеи. Сейчас придет наш человек и все расскажет, а пока, извини, старик, я поставлю Джона.

Он поставил Джона, закрыл глаза и, сидя в кресле, стал раскачиваться под музыку Джона, кайфовать, а я стал ждать нашего человека, поскольку ехал на Ржевку не кайфовать, а слушать идеи.

Скоро наш появился. Худощавый и белокурый, с нервным лицом, с прозрачными глазами, и очень внимательными глазами, одетый в серый костюм, светлую рубашку, галстук. На лацкане пиджака поблескивал комсомольский значок, и не просто значок, а с золотой веточкой. Такой значок должен был говорить об особых полномочиях. Тогда я представлял нашего человека другим — волосатиком в поношенной экипировке, так я выглядел сам, но Коля Басин предупреждал — придет наш, а я верил Коле Басину.

— Арсентьев,— представился человек с полномочиями.

Он смотрелся года на двадцать четыре.

Арсентьев сел, потер зябко ладонь о ладонь, помолчал и начал говорить, словно не для меня, а вообще, лишь изредка бросая короткие взгляды:

— Есть идея организовать клуб. Некое сообщество людей, объединенных одними интересами и таковой опыт уже имеется по организации фотоклубов, филателистиче-

ских и нумизматических клубов. С молодежью, увлекающейся рок-музыкой, дело обстоит не просто, но есть мнение, которое я представляю, что стоит попробовать и объединить их, и сбить нездоровый ажиотаж, который музыкантам только вредит, и дать рост наиболее талантливому.

— «Санкт-Петербург» — самая крутая команда в городе! — это Коля Басин перестал кайфовать и включился в разговор.

Арсентьев посмотрел на меня внимательно и продолжил:

— Но и много, естественно, противников. Поэтому мы должны сперва организоваться, представить программу действий, провести ряд мероприятий и поставить противников перед фактом. Эта анархия, это «каждый за себя» — ничего не даст. Может, стоит подумать и приобрести общую клубную аппаратуру и тем гарантировать профессиональное звучание всякого выступления.

— Да, да, аппаратура нужна! — Я был согласен. Я был согласен объединиться хоть с чертом лысым, чтобы гарантировать профессиональное звучание, и не мог сдержать волнения перед нашим человеком, обладающим полномочиями.

— Уже согласились «Аргонавты», «Белые стрелы», «Славяне» и даже «Фламинго». Мы победим, старик! — воскликнул Коля Басин.

Помню, опять было холодно, но лед на Неве уже сошел. Мне велели явиться в один из воскресных дней к Медному всаднику, что я и сделал. Большая группа волосатиков по велению Арсентьева также явилась к памятнику. По ходу приветствуя знакомых, подхожу к Летающему суставу.

— Чего ждем? Что-то будет, Мишка?

— А все ништяк, чувачок, ништяк! Зачем-то ведь звали.

Я завидовал простоте его реакций, чувствуя, что неожиданная слава делает меня осторожным и даже пугливым.

Подходили знакомые, посмеивались, подошел Коля Басин, восторженный голос его слышался издалека. Он был в кожанке времен Пролеткульта, кепке восьмиклинке, сшитой из потертой джинсовой ткани, крупный круглый значок на лацкане кожанки с «I Love Jonh» походил на мишень, и вся наша пестрая группа походила на мишень. Но выстрела не произошло. Раздалась команда и мы двинулись к дебаркадеру, что стоял у парапета напротив Медного всадника, и, к общему удивлению, погрузились на речной трамвайчик, который тут же и отвалил от дебаркадера.

Появился Арсентьев. В аккуратном плаще строгой расцветки, с аккуратным пробором. Он вежливо приветствовал каждого рукопожатием. Ладонь у него оказалась холодная, а пальцы цепкие и сильные. Руководителям групп предлагалось пройти в овальную каюту, а рядовым деятелям рок-музыки — в общую.

— Касты какие-то,— расстроился Мишка.— Вы, значит, брахманы, а мы пушечное мясо рок-н-ролла? Н-да. Ништяк!

В овальной каюте собралась элита и Арсентьев повторил более развернуто то, что я уже слышал на Ржеаке, и предложил наметить конкретный план и проект Устава создаваемого Клуба. Говорили много глупостей, Арсентьев конкретизировал и поправлял, а еще конкретизировала и поправляла такая же белокурая и голубоглазая, как Арсентьев, молодая женщина, так же строго и аккуратно одетая и причесанная. Арсентьев и Белокурая сидели рядом. Дебаты продолжались бесконечно в я вышел в общую каюту, где оказалось веселее в бесшабашнее. Брякала посуда, курили — табачные облака клубились над головами рок-н-ролльщиков, запах горчил.

Музыкальная общественность изъявила желание и желание исполнилось — речной трамвайчик подошел к ближайшему дебаркадеру и выборные от рок-н-ролльщиков рванули в ближайший гастроном. По их возвращении круиз продолжился.

В итоге приняли на речном трамвайчике Устав, довольно жесткий Устав, многое вапрещалось, постановили скинуться по двадцать рублей в кассу Клуба и от Арсентьева получили указание ждать следующие указания.

Этот вольный, разинский круиз добил сомневающихся, и теперь мы представляли из себя ярых сторонников долгожданного Клуба, что принесет долгожданную легальность, признание и профессиональное звучание.

А пока что квинтэссенцией сезона, катаклизмом года, землетрясением нравов... «Мухинскому» училищу исполнялось сколько-то там круглых лет. Нас, как сиюминутных знаменитостей, чуть не слезно просили украсить выступлением «Санкт-Петербурга» юбилей. Мы и украсили, чем смогли.

На вечер прибыло много выпускников прежних лет и они, придя по пригласительным билетам к началу вечера, увидели огромную толпу, сгрудившуюся у дверей, запрудившую даже пол-улицы, на которую выходил фасад училища. Испуганный милиционер пытался объясниться с толпой через мегафон, но толпа имела навык, толпа стояла стеной, и обладатели пригласительных билетов в большинстве не смогли попасть в училище, а наиболее активных, возмущавшихся вслух, пытавшихся пробиться к дверям юбиляров, милиция как раз и забирала. Имевшая же навык толпа напирала, но напирала, не нарушая явно предписаний социалистического общежития.

Я оказался в толпе, и меня передали через толпу к дверям на руках. В самом училище оказалось не лучше. Затейливые коридоры барона Штиглица походили на цыганский табор. Единственно, что не жгли костров. Осторожность и пугливость во мне прогрессировали и приводили к противоположным проявлениям. И хотя я более не практиковал выбегать на сцену босиком, но на колени все же падал, и метался зверем, и прыгал через колонки, и кричал в микрофон про «осень» и «сердце камня». А Володя лишь еще более преуспел в синкопах, а Серега еще и дул в губную гармонику, а Мишке хоть и было иногда не до клавишей, но зато еще более он соответствовал прозвищу Летающий сустав, летая по сцене с бубном и чаруя экзальтированных болельщиц.

Теперь я даже ставил под удар родителей: они занимали довольно серьезные должности на производстве, и на одном из совещаний по идеологии упомянули «так называемую рок-музыку», упомянули и «Санкт-Петербург», приписав ему чуть ли не монархистские настроения.

Я этого не понимал. Мы ведь просто сочинили музыку и слова к ней. И просто выступали не бог весть на каких подмостках. Может, это была хреновая музыка и слова, но мне казалось, что, наоборот, «Петербург», запевший па родном языке, достоин пусть не поддержки, но хотя бы невмешательства. И я очень надеялся на Клуб, на Арсентьева и на его значок с золотой веточкой.

По сложной системе конспиративных звонков узнаю — ночью, на улице Восстания, в здании бывшей гимназии произойдет встреча лучших клубных музыкантов с польской рок-группой «Скальды», приехавшей в СССР на гастроли. Иметь при себе три рубля на организационные расходы. Играют с нашей стороны «Фламинго» и «Санкт-Петербург». Под утро — «джем», то есть совместное и импровизационное выступление музыкантов из разных составов. Лишнего не болтать. Аппарат выкатывает «Фламинго».

Не болтая лишнего, собираемся и едем в метро, встречаем в дороге Никиту Лызлова, бывшего участника одной из университетских групп. Никита учился на химическом и там устраивал «Петербургу» концерт.

Не болтая лишнего, зовем Никиту с собой.

— Ночью! Концерт со «Скальдами»? Бред! — У Никиты крупное, вытянутое лицо и широкий лоб марксиста, грамотная усмешка и прочный запас юмора.— Но ведь разыгрываете!

Заключаем пари и едем, на улице Восстания находим гимназию — тяжелое, мертвое, без света в окнах здание. В дверях быстрая тень — открывают. Поднимаемся по гулкой, пустой лестнице и оказываемся вдруг в большом ярком зале, с узенькими, занавешенными окнами. Народу мало — все знакомые. Но незнакомое чувство простора и свободы в ограниченном просторе гимназии, в которую они вошли по-человечески через дверь, а не через пресловутую женскую туалетную комнату, это незнакомое состояние делает их робкими, тихими, даже серьезными.

Знакомят со «Скальдами». Братаны Зелинские, Анджей и Яцек, с сотоварищами — очень взрослые и соответственно пьяные славяне. Арсентьев тут же, и Басин, и всякая музобщественность, обычный мусор, которого — чем с большим напором катила река рок-н-ролла — всегда хватало.

Играет «Фламинго», играет «Санкт-Петербург». С помощью проигранного Никитой пари разошлись-таки в непривычной обстановке и комфорте, и я свое откувыркался по сцене и падал несколько раз на колени, про себя понимая, что пора менять имидж «Петербурга», имидж ярых парубков на что-то другое, на имидж людей не стремящихся к успеху, а достигших его.

Братья Зелинские, надломленные гастрольным бражничеством и буйством ночного сейшена, на вопрос Росконцерта — с каким из советских вокально-инструментальных ансамблей «Скальды» согласились бы концертировать? — ответили:

— Если пан может, то пусть пан даст нам «Санкт-Петербург»,— ответили и, говорят, заплакали.

Пан из Росконцерта не знал про «Санкт-Петербург», а если и знал, то знал так, как знала Екатерина II про Пугачева — страшно, но очень далеко, а между мной и им не один полк рекрутов и не один Михельсон — преданный генерал...

После комфортного сейшена на улице Восстания конспиративный авторитет Арсентьева и, конечно же, Басина стал непререкаемым. Мне же казалось — я более не распоряжаюсь полностью своим детищем, своим «Санкт-Петербургом», а становлюсь исполнительным унтером в железном легионе Арсентьева.

Его адепты, закатив невидящие глаза, повторяли: «Идея».— «Наша идея».— «Идея нашего Клуба».— «Мы не позволим, чтобы кто-то предал нашу идею!» — «Наша идея священна!»

«Однако черт с ними,— думалось мне.— Должны же быть и толкователи, священные авгуры, стоики и стойкие талмудисты. Если есть священная идея, то, пусть их, значит, она есть. Главное, Клуб — это глоток свободы, это минимальный комфорт, это будущие концерты без глупой тасовки с администрацией, которой вечно объясняй, что

ты не чайник и не монархист, и не бил ты окон и не сносил дверей, хотя и рад, что кто-то бил и сносил, поскольку, если ты, администратор, видишь в нас монархистов, то мы видим в тебе козла вонючего, а точнее монархиста в квадрате, ведь это нужно быть стопятидесятипроцентным монархистом, чтобы услышать в наших лирических, пардон, песнях прокламацию абсолютизма!»

В чем никогда не было дефицита, так это в дураках.

Мы же стояли в первых их рядах...

А землю все-таки пробудило тепло, от тепла земля проросла травой, деревья — клейкими листочками. Ночи же от весны к лету становились все светлее, пока не вылиняли, как тогдашний мой «Wrangler», купленный за тридцатку и застиранный до цвета июньских ночей.

Я отвечаю теперь не только за «Санкт-Петербург», но и за группу кайфовальщиков, любителей подпольных увеселений. «Санкт-Петербургом» я распоряжаюсь не полностью, но зато кайфовальщики теперь в моих руках.

По системе конспиративных звонков узнаю время и номер телефона. Звоню. Голос женский.

— Группа номер пятнадцать,— называю.

— Двадцать три — тридцать,— отвечает.— Адрес — улица X, дом Y.

Звоню кайфовальщикам и договариваюсь возле Финляндского. Конспирация вшивая. Из цветасто-волосатой толпы, пугающей своим видом спешащих к субботним электричкам трудящихся, ко мне пробиваются кайфовальщики из группы номер 15 и сдают по трехе. Погружаемся толпой в удивленные трамваи и, громыхая, укатываем на улицу X, дом Y.

На Охте находим дом — школа нового, индустриально-блочного типа. А ночь светлее юности...

Арсентьев и подруга его белокурая — словно клуха и петух, а яркий галстук Арсентьева только подчеркивает сходство.

В зале битком. Несколько киношных софитов стоят возле сцены, а на сцене мрачноватые поляки из группы обеспечения «Скальдов» раскручивают провода. Сдаю трешницы кайфовальщиков Арсентьеву в фонд Клуба. Разглядываю мрачноватых поляков и ту аппаратуру, что они подключают. Аппаратура что надо — «Динаккорд» и клавиши «Хаммонд-орган». Появляются братья Зелинские с сотоварищами. Такие веселые. Они опять в России на гастролях. И полтыщи кайфовальщиков в зале становятся все веселее. А в спецкомнате поляков веселили на трешницы кайфовальщиков.

«Скальды» выходят на сцену играть на «Динаккорде», а зал орет им, а старший Зелинский пилит на «Хаммонд-органе», а младший — на трубе или скрипке. И сотоварищи пилят на басе и барабанах. А когда «Скальды» на прощание играют «Бледнее бледного» из «Прокл Харум», в зале начинается чума. Или холера. Какая-то эпидемия с летальным исходом в перспективе.

— Ну, полный отлет! — кричит Летающий сустав, а рыжие Лемеговы ухмыляются нервно.

Эпидемия продолжается и когда «Скальды» уходят со сцены в ту комнату, где их поджидает Арсентьев и Белокурая с парочкой приближенных добровольцев-официантов из рок-н-ролльщиков.

Мрачноватые поляки сворачивают «Динаккорд» и «Хаммонд». Мы только хмыкнули.

Пока кайфовальщики чумеют в зале и на ночной лужайке возле школы, «Аргонавты» вытаскивают свои самопальные матрацно-полосатые колонки, а я думаю, что и это, пожалуй, сгодится для бандитско-музыкального налета.

Играют «Аргонавты»,— нормально играют и нормально поют, и лучше всего поют на три голоса из «Бич Бойз», но это так — вчерашний день. А сегодняшний день — это мы, «Санкт-черт возьми!-Петербург», думаю я, чувствуя, как привычный озноб пробегает по телу, и это значит — выступление получится.

И оно получается. Рвем «Аргонавтам» все провода. В зале то же самое. Только в квадрате. Или в кубе.

Далее Зелинский на четвереньках выбирается на сцену и «джемует» по клавишам, а перед ним пляшут ленинградские мулаты Лолик и Толик до тех пор, пока Зелинский не падает в оркестровую яму. Веселая жизнь! Кайф!..

Хранится у меня пара затертых фотографий той ночи июня 1971 года. Косматый молодой человек в белых одеждах бежит по сцене с гитарой. Лица не видно почти. Тут же Серега, Володя, Мишка — дорогие моей памяти товарищи, объединенные порывом настоящего «драйва», музыкального движения, гонки. И по мгновению, вырванному фотографом, можно восстановить вкус времени, как по глотку воды — вкус реки; а вкус тех лет — терпкий, с горчинкой противостояния, через которое входящее поколение больших городов пыталось, путаясь в чащобах, осознать себя. Да и не все вышли из чащи к ясным горизонтам, но ведь начинались те самые семидесятые, о которых теперь сказано миром скорбно и зло. И не хочу я героизировать или романтизировать

наше стихийное противостояние тому, о чем теперь сказано миром скорбно и зло, но лишь предположить, что молодости, может быть, дан дар предчувствия больший, чем опыту... Да, опыта у нас не было совсем...

Параллельно с концертами Арсентьева еще проходили не централизованные новой властью выступления, и тут стоит вспомнить двухдневный шабаш в Тярлево в большом деревянном клубе, на сцене которого «Санкт-Петербург» набрал-таки еще очков сомнительной популярности в компании с другими популярными тогда рок-группами — не стану врать и называть их, поскольку не помню точно. Но точно помню — Коля Басин лез целоваться от восторга, а после рок-н-ролльщики и кайфовальщики победно шли к станции, но по дороге рок-н-ролльщиков и кайфовальщиков, возглавляемых Колей Басиным, атаковали тярлевские дебилы и гоняли по картофельным полям, удовлетворяясь, правда, лишь внешним унижением пришельцев.

Весной и летом 1971 года прошло несколько ночных концертов, организованных Арсентьевым.

Лично я передал ему значительную сумму из трешниц кайфовальщиков и как-то, прикидывая перспективы, неожиданно пришел к простой и страшной мысли: «Ведь это же просто афера! Нас же просто подсекли, словно рыбину на блесну, на блестящий значок с веточкой! Мы раньше работали и получали от профкомов несчастные восьми-, десятирублевки и покупали, пропади они пропадом, усилители и динамики. Но теперь-то все в руках Арсентьева, а что-то не слышно о признании, о Клубной собственности, мы лишь глубже и глубже опускаемся в подполье, уже чувствуется его сырость и шорох мышей, и далекий пока оскал крыс!»

Молодость болтлива, а я был молод, резок и, придя к страшному выводу, стал болтать на всех рок-н-ролльных углах. И не только я — еще несколько смельчаков допетрило до аналогичных выводов. После речей наших только что не крестились и, наговорившись вдосталь, я лично успокоился, тайно надеясь на ошибку. Но волна, так сказать, пошла, и где-то в августе, кажется, «Санкт-Петербург» вызвали на своеобразный рок-н-ролльный «ковер», а точнее в пивной зал «Медведь», что напротив кинотеатра «Ленинград» в полуподвальчике.

Мы с Мишкой притащились в полуподвальчик и, оказалось, полуподвальчик ангажирован Арсентьевым и в этом пивном «Медведе» нас, то есть «Санкт-Петербург», должны судить.

За несколькими столами над кружками и сушеными рыбными хвостами сидели волосатики, но не музыканты в основном, а, скажем так, музыкальная общественность. «Они предали нашу идею»,— сказал один нервный. «Они никогда не были преданы нашей идее»,— сказала одна невзрачная. «Они пытались провалить наш Клуб, его идею и идею его порядка»,— сказал один с выдвигающейся вперед, словно ящик из письменного стола, челюстью.

— Чего это они? — удивился Мишка.— Эй, мужики! Пивка плесните!

«Они, мало сказать, недостойны»,— сказал другой нервный. «Если чего они и достойны...» — сказала другая невзрачная. «Если и достойны, то осуждения и...» — сказал другой, вперяя в нас вытаращенные глаза, эти два протухших желтка.

Поднялся Арсентьев, быстрым зябким движением переломил пальцы, остановил говоривших движением руки. Он был в костюме и галстуке, хотя на улице стояла жара. На лацкане подмигивал значок с веточкой.

— Дошли слухи,— сказал он и мягко улыбнулся,— но я как-то не верю.

— Конечно! — это Коля Басин не выдержал.— Вы что же! — крикнул он нам.— Ведь неправда, что вы не достойны!

— А в чем дело? — спросил я.

— В том,— быстро ответил Арсентьев,— что разговоры, исходящие из «Санкт-Петербурга» и ему подобных — это кинжальный удар в спину Клуба, нашей организации. И именно в тот момент, когда решается его судьба, когда сделано много. Возможна и критика, но предательство — есть предательство. А с предателями...

— Да скажи, что не так! — Басин чуть не плакал.

Все лица пивного «Медведя» обратились к нам.

Я повторил все, о чем болтали на рок-н-ролльных углах.

— Ясно.— У Арсентьева еще более побледнело лицо.— Ясно, ясно.— Он помолчал, еще переломил пальцы и продолжил: — Предлагаю группу «Санкт-Петербург» исключить из Клуба.— Все в пивном «Медведе» замерли.— И не просто исключить,— голос Арсентьева стал крепче, а по щекам поднялось зарево румянца,— а исключить и добиться его полного бойкота! Его полной изоляции! — голос накалялся и переходил в крик: — Мы не позволим! Никогда мы не позволим предателям разрушить здание долгожданного...— Он кричал и крик его завораживал, и я уже жалел, что связался с обладателем такого значка и такого крика.

Арсентьев замолчал, и все проголосовали за исключение.

Я был убит. Но вдруг Мишка, разрушая истерическую пивную тишину, засмеялся:

— Да ну их к хренам, юродивых. Кто они и кто мы, вспомни!

Через день мы с Мишкой укатили на Ярославщину валять дурака и валяли дурака там до осени, а осенью несколько раз ходили как кайфовальщики на трехрублевые «сейшены» Арсентьева, а после узнали, что Арсентьев арестован.

Каждый из нас получил по повестке на улицу Каляева. Там, в следственном отделе, мы сидели в долгом коридоре, поджидая свою очередь, и лично я не был рад, что оказался прав, я с тоской вспоминал ночные концерты, понимая, что верить теперь не смогу всякому, кто придет с предложением легальности, и понимая, что таких предложений в ближайшее время не последует.

Выяснилось — Арсентьев носил значок не по праву и в смысле значка он, собственно говоря, не являлся никем. Усталый человек из следственного отдела механически задавал вопросы: был ли там-то и там? сдавал ли трешницы и сколько? и про речной трамвайчик, и про «Скальдов». «Прочтите, распишитесь, свободны». Мы свободно выходили из следственного отдела и тут же устраивали на бульварчике имени Каляева недолгие толковища, а после расходились по своим рок-н-ролльным берлогам, не верящие ни во что. И получалось, что в пивном «Медведе» вечевали в основном одни, общественность, а на Каляева таскали других, артистов, творцов, так сказать, бедных.

Коля Басин рассказывал, что, узнав об аресте Арсентьева, он в ужасе убежал в лесок, что рос невдалеке от его дома на Ржевке, убежал со знаменитым подарком Джона Леннона и зарыл пластинку в лесу до более счастливых времен...

Судили Арсентьева весело. Это походило на «сейшн» — в пыльный зальчик понабилось полгорода волосатиков. Если б Фемида не была слепа по природе своей, глаза б ее на это не смотрели.

Свидетели толпились в коридоре, хватало свидетелей. Подошла и моя очередь. Женщина-судья с высокой прической разрешила женщине-прокурору с коротко подстриженными, филированными волосами задать новому свидетелю вопрос.

— Вы участвовали в деятельности так называемого Рок-клуба? — Женщина-прокурор старалась смотреть проницательно.

— Да, я принимал непосредственное участие в деятельности так называемого Рок-клуба.

Женщина-прокурор посмотрела на судью. Судья молчала. Более вопросов не последовало, и мне разрешили остаться в зале. В тесном вольерчике на скамейке сидел Арсентьев. Ему, похоже, было скучно и он смотрел в зал, лишь иногда шевелил губами, повторяя, видимо, про себя покаянное слово.

Постепенно все свидетели перекочевали из коридора в зал, и никому судья не задал вопросов. Мы были, я понял, свидетелями обвинения.

Белокурая девка Арсентьева сидела в первом ряду и реагировала живо на действия участников суда.

Адвокат поймал прокурора на нарушении презумпции невиновности Арсентьева, а по поводу Клуба и денег доказательств не оказалось, не было, одним словом, состава преступления. Суду прокурор смог предъявить лишь два подделанных Арсентьевым бюллетеня, и за это Арсентьев после покаянного слова получил год исправительных работ на стройках страны, а Белокурая, проходившая также по делу о бюллетенях, получила год условно.

Билеты на «сейшены» не продавали, а то, что я и такие, как я, собирали трешницы и сдавали их в липовый Клуб, так то — частные пожертвования, которые не запрещены, и разошлись эти пожертвования на организацию «сейшенов» и на угощения.

Мы после прикидывали, сколько могло уйти на орграсходы — большая часть пожертвованных трешниц должна была остаться. Получалось, славянские гости продули почти годовой доход всех ленинградских рок-групп. Я славянских гостей, конечно, трезвыми не видел, но все-таки трудно поверить в подобную раблезиаду.

Болтунов, я уже говорил, хватало, и задним числом выяснилась странная удачливость концертных афер. Основной прием Арсентьева: он звонил в какой-либо из райкомов комсомола, представлялся работником Ленфильма и просил содействия в предоставлении зала для съемок кинокартины о современной молодежи. Даже давал на случай телефон. Где-нибудь на Петроградской стороне в частной квартире возле телефона с похожим на ленфильмовский номером сидел человек и ждал звонка. Но никто ни разу не проверил. Райком подыскивал школу, платилась аренда, привозились киношные софиты, которые имитировали съемку, и «сейшн» удавался на славу.

Не знаю, уж на что рассчитывал Арсентьев — такое бесконечно продолжаться не могло, ведь в деле оказались задействованы сотни, если не тысячи людей...

Дурной пример, впрочем, заразителен, и то, что Арсентьев проводил под прикрытием значка и конспирации, арсентьевисты (Петрарка — петраркисты) стали делать чуть ли не среди бела дня. Правда, в этом пока не было злого коммерческого умысла, но лишь голый энтузиазм. Ленинградский рок, увидевший новый путь, уводящий от вузовских танцулек, пошел с властью, как говорят футболисты, в кость, не надеясь более на легальность и не желая ее.

Вот один из типичных менеджеров пост-арсентьевской поры: Вова Пенос,—

низенький, остроносенький, шепелявенький зануда и добрый малый. То ли поляк, то ли польского происхождения. Знаток польского языка и польских правов. В чем лично я сумел вполне убедиться. На его доброй совести два мероприятия.

Как-то утром звонок:

— Пливет. Польская лок-глуппа «Тлубадулы» сегодня плиедет в «Муху» с аппалатам. Они очень хотят познакомиться с «Санкт-Петелбулгом». Холошо?

Хорошо-то хорошо. Но в «Мухе» уже кто-то пустил слух, и «Муха» не училась с утра, а полным составом во главе с ректором, деканами и их семействами, которым уступили первые престижные ряды, сидели в актовом зале, ожидая исторической встречи «Трубадуров» и «Санкт-Петербурга».

Вова Пенос владел, как показали события, польским языком в пределах... не более чем в пределах своей фантазии, и за час до исторической встречи выяснилось, что никакой аппаратуры знаменитые тогда поляки не привезут, и мы с Летающим суставом рванули на Моховую улицу, где тогда опять делили со студентом ЛГИТМИКа Боярским репетиционный зальчик. Мишка сгоряча сковырнул замок и с кладовки Боярского, откуда мы позаимствовали в предчувствии международного скандала усилитель и провода. Все равно аппаратуры не хватило. «Трубадуры» шли на вечеринку в узком кругу с российскими музыкантами, а оказались перед страждущим эстетических удовольствий залом и сгоряча исполнили полусоставом (пришли «трубадуры» не в комплекте) бессмысленный блюз на рояле под барабаны и бас. Декан и ректоры с семействами также ждали эстетических удовольствий, и хотя блюз прозвучал вполне сносно, но ради единственного блюза не стоило срывать учебный процесс. Пришлось и с Боярским после разбираться — пропал один из его проводов.

На совести Вовы Пеноса и особо выдающаяся встреча с Марылей Радович и приехавшей с ней на гастроли группой «Тест». Этот добрый малый арендовал на ночь плавучий разухабистый кабак «Корюшка». Но «Санкт-Петербург», Марылю и «Тест» по ресторанным правилам следовало закусывать. Сто ресторанных посадочных мест по семь рублей. Деньги собрали, передали в «Корюшку», и там на семьсот рублей обещали нарубить салатов и наквасить капусты.

Гости начали съезжаться к одиннадцати, и приехало нечесаных любителей изящных искусств под салат и капусту человек пятьсот, которые, отодвинув столы, повалились на пол. Полякам обустроили кабинет, «Санкт-Петербург» грохнул ритм-блюзовской увертюрой — и веселье завертелось. Марыля Радович, звезда все-таки европейского класса, посматривала на валявшихся рок-н-ролльщиков и кайфовальщиков с неподдельным интересом, не предполагая, должно быть, увидеть подобное на чопорных невских берегах.

«Тесту» тоже захотелось покрасоваться перед любителями изящных рок-н-ролльных искусств, и они после увертюры «Петербурга» вдарили по джаз-року. Выдающаяся встреча проходила на втором этаже «Корюшки», и сцена находилась возле лестницы. В начале первого, когда «Тест» уже вовсю шуровал в упругих дебрях джаз-рока, а любители изящного, словно древнеримский легион опившихся наемников, кровожадно кричали в наиболее упругих тактах хромого пятичетвертного размера, в начале первого по лестнице поднялось, довольно одинаково одетых,— только один зачем-то нахлобучил мотоциклетный шлем,— с десяток крепеньких ребят, предложивших посредством пресловутого мегафона, чтобы «Тест», Марыля, «Петербург» и валявшиеся на полу легионеры, чтобы быстро-быстро, десять минут на все дела, иначе...

Иначе говоря, "Корюшка" трудилась по закону до курантов и в «Корюшке», видимо, оценили внешность и шепелявость Вовы Пеноса, а оценив, решили, что почему бы не взять те семьсот рублей, которые он с таким раением навязывал.

Гости приехали к одиннадцати, в двенадцать «Корюшка» закрывалась, и ее умные работники вызвали наряд, дабы укротить разошедшихся клиентов.

— Ресторан закончил работу. Па-прашу!

У барабанщика «Теста», что никак не мог съехать с хромого пятичетвертного размера, конфисковали барабанные палочки.

Поляки ничего не поняли, но поняли, что надо быстро-быстро уходить и ушли...

Куда только не заносило «Санкт-Петербург» с осени семьдесят первого по весну семьдесят второго! Неведомым вывихом судьбы мы оказались в клубе Сталепрокатного завода, куда нас сосватал толстозадый черноокий негодяй Маркович — еще один из пост-арсентьевской плеяды. В предновогоднее утро пришлось «Санкт-Петербургу» выступать ранехонько в жилищно-эксплуатационной конторе. Клуб Сталепрокатного завода осуществлял, кажется, шефство над жилконторой, и мы там музицировали при гробовом молчании и под ненавидящими взглядами двух десятков окрестных дворников и непроспавшихся сантехников.

Из клуба Сталепрокатного завода «Санкт-Петербург» довольно быстро выперли, а Маркович стырил у нас остродефицитный басовый динамик 2-А-11 и чуть не стырил пару еще более дефицитных динамиков 2-А-32. Пришлось ловить черноокого и угрожать убийством.

Нищенствуя и мыкаясь по случайным зальчикам и концертам, мы сдружились с такими же горемыками из рок-группы «Славяне» Юрой Беловым, Сашей Тараненко, Женей Останиным и Колей Корзининым. Сплотило же нас в группу музыкальных злоумышленников совместное концертирование на вечере в Университете, с которого пришлось убегать в пожарном порядке. «Славяне» были ребята славные и веселые, а с такими горемычничать в самый раз.

Наступали новые времена. Короток все же был до поры век кайфовальщика и рок-н-ролльщика — с первого по пятый курс. Диплом для большинства становился перевалом, преодолеть который представлялось возможным, лишь отбросив все лишнее, и среди лишнего оказывался рок. За перевалом начиналась цветущая долина зрелости, отцовства (или материнства) и подготовка к штурму иных, более сложных служебных вершин.

Наступали новые времена. Рок уже размывал вузовские дамбы, уже появились отчаянные, лепившие из рока жизнь, делавшие его формой жизни, роком-судьбой, шедшие на заведомое люмпенство, ставившие на случайную карту жизни, не зная еще какая масть козыряет в этой игре. Кое-кто уже докайфовался до алкоголизма, появились свои дурики, шизики, крезушники с тараканами в извилинах. Многие, правда, играли в дуриков и шизиков — ух, эта веселая игра! Кое-кто уже поигрывал с транквилизаторами, торчал на анаше. Нет-нет, да и звякал среди кайфовальщиков шприц. Нет-нет, да пропадали в аптеках всякие-разные таблетки. Но это все было так — легкие тучки на горизонте...

С одной стороны рыжих Лемеговых караулил диплом, с другой стороны — портвейн. И уже маячила перед Серегой фантастическая женитьба на молодухе-изменнице, а мое диктаторство, сглаженное нечаянной славой, дремало до поры.

В разумных пределах трудности сплачивают сообщества, а в неразумных разрушают.

Как-то Лемеговы взбрыкнулись, и я послал их. Они были славные парни, мягкие, очень талантливые и гордые той гордостью, которой может обладать лишь тонкий, глубоко чувствующий, ранимый человек. Такая мягкость вдруг оборачивается гранитным упорством. Лемеговы не покаялись, и «Санкт-Петербург» потерял полсостава, основу «драйва», единоутробную ритмическую группу.

Но и «Славяне» не уцелели, проходя через тернии. Саша Тараненко, главный электронщик «Славян», хотел еще в творческой свободы, тайно лелея амбиции. Он уговорил славных и гордых Лемеговых работать с ним, а я плюс Мишка, плюс Белов, Останин и Корзинин стали притираться друг к другу, пробовать репетировать, думали, как сложить новую программу, чтобы новый «Петербург» не уступал прежнему. Я еще надеялся на диктаторство и в итоге был провозглашен Первым консулом, что справедливо, поскольку собрались-то под вывеской «Санкт-Петербурга», моего детища, но Юра Белов был пианистом почти профессиональным, а Николай Корзинин был барабанщиком, если и не явно ярче Лемегова, то уж профессиональней во сто крат, с опытом игры на трубе и хоровой практикой в пионерские времена. Белов и Корзинин сами сочиняли музыку и хорошо сочиняли, просто им не хватало сумасшедшей ярости, присущей «Петербургу», и концертной удачи.

Очередные авантюристы устраивали очередные авантюры. Теперь без всяких профкомов платили до сотни за отделение, а иногда и вообще не платили, если авантюру прикрывали власти, а иногда не платили авантюристы просто по своей авантюристической прихоти.

Новым составом мы выступили на Правом берегу Невы в неведомом мне зале с балконом, с которого свалился во время концерта в партер кайфовальщик.

Кайфовальщик не пострадал, а мы убедились, что «Санкт-Петербург» приняли и в новом составе, и очень приняли простенькую лирическую композицию «Я видел это». Она даже стала на время гимном гонимых рок-н-ролльщиков, и Коля Басин всякий раз поднимался в партере со слезами, текущими по заросшим щетиной щекам, и подпевал вместе с залом:

— Я видел э-это! Я видел э-это!

Если трезвой литературоведческой мыслью попытаться оценить исполняемые «Петербургом» строки, то получится ерунда, наивность и глупость инфанта (а именно так и оценивают почти всегда тексты рок-групп).

— Я,— там пелось,— видел, как восходит солнце... Я видел, как заходит солнце...— и еще: — Как засыпает все вокруг...— и еще пару слов насчет молчания, а последняя строчка: — Как заколдован этот круг,— и припев: — Я видел э-это!

И вот я думаю сейчас и не могу додуматься. Наверное, здесь оказалась закодированной трагедия юности, почувствовавшей, как время вколачивает ее в структуру жизни, в ее жесткую пирамиду. Наверное, семиотический смысл этих слов обнимал главное, иначе ведь успех не приходит...

На моей совести много хорошего, а много и нехорошего. И одно из нехорошего — это выступление в школе номер 531 на проспекте Металлистов. Школа как школа, но ведь я там учился и был юношей, уважаемым, спортивной знаменитостью и председателем Ученического научного общества. На счету нашего общества не значилось ровным счетом ничего, но добрым учителям я должен был запомниться юношей опрятным и доброжелательным.

Бывший мой соученик, издали причастный к року, парень сметливый и жадный, и знавший о разгуле подпольной музкоммерции, подъехал к директору школы, полноватой, пожилой женщине, наврал ей, что смог, воспользовавшись ее добрыми чувствами, и договорился в выходной день использовать актовый зал. Мы провели в школе номер 531 рок-н-ролльный утренник, получилось нечто вроде «Утренней почты». В ранний час кайфовальщики вели себя смирно и мы смирно поиграли им ватт на двести. Несколько композиций Юра Белов исполнил без моего участия, а в некоторых композициях «Санкт-Петербурга» не участвовал Мишка. Он печально околачивался по сцене с бубном, понимая, кажется, что жестокий закон эволюции перевел его или почти перевел в должность бубниста.

С кайфовальщиков мой соученик собрал по два рубля и потирал, думаю, от жадности руки. А может, и ноги.

Все было нормально. Но вот посреди среднесумасшедшего по накалу ритм-блюза я заметил, что дверь в актовом зале отворилась и в дверях остановилась пожилая, полноватая, седая женщина. Это была директор. Она жила неподалеку от школы и решила заглянуть и побеседовать с бывшими учениками.

Повторяю, в зале было все нормально. Но нормально для меня, и я был нормален для себя, но не для нашего бедного директора. Она постояла с минуту в дверях, дождалась окончания среднесумасшедшего ритм-блюза, сделала шаг назад и аккуратно прикрыла дверь...

Где-то в начале 1972 года у меня вдруг зажило колено. Я еще не сомневался в олимпийских победах, ревностно следя за прессой и за тем, как прогрессируют бывшие сверстники и конкуренты. Я лечил колено всеми известными способами, но оно не проходило почти два года, иногда в самые неожиданные минуты выскакивали мениски, которые я научился забивать обратно кулаком. Иначе нога не сгибалась. Случалось, мениски выскакивали и на сцене, приходилось забивать их на место между припевами и куплетами. Скакать по сцене я все-таки мог, а вот тренироваться — нет.

Я плюнул и перестал лечиться, и колено вдруг зажило.

Явился на стадион, на меня посмотрели горестно, а тренер, великий человек, сказал:

— Давай попробуем.

Меня называли хиппи, а я им не был и вовсе не отказывался от спортивного поприща.

«Санкт-Петербург» же не выходил из штопора славы, но мешал дух недоговоренности. Мишка маялся с бубном, а Юра Белов тащил все новые и новые песенки. К тому же распалась довольно занятная группа «Шестое чувство», и вокруг «Петербурга» слонялись безработные бас-гитарист Витя Ковалев и барабанщик Никита Лызлов, не претендовавший в тот момент именно на барабаны, поскольку Николаю Корзинину он был не ровня, а претендовавший просто на искрометное дело, которому он мог предложить свою предприимчивость, ум, веселый нрав и некоторую толику аппаратуры «Шестого чувства», совладельцем каковой и являлся с Витей Ковалевым.

В апреле семьдесят второго я уехал в Сухуми на спортивный сбор, а вернувшись в Ленинград заболел инфекционным гепатитом, желтухой, и чуть не сдох в Боткинских «бараках» от ее сложной асцитной формы. То есть началась водянка. Кто-то из врачей все же догадался назначить мне специальные таблетки, после которых я выписал за сутки ведро и побелел обратно.

В первые дни, мучаясь от болей, я читал бодрые записочки, присылаемые друзьями-товарищами по року. Валера Черкасов (о нем — впереди), помню, прислал открытку с текстом приблизительно такого содержания: «Говорят, ты совсем желтый. И говорят, ты вот-вот сдохнешь. Нет, ты, пожалуйста, не сдыхай. Ты ведь, желтый-желтый, обещал поменять мой „Джефферсон эрплайн" на твой „Сатаник". Так что давай сперва поменяемся, а после подохнешь. С японским приветом, Жора!».

Опять наступило лето и началось оно яро — дикой жарой, безветрием, лесными пожарами. В СССР приехал Никсон, а клубника поспела аж к началу июня. Назревала разрядка.

Женя Останин приносил в больницу книги по технике рисования, в котором я упражнялся, лежа под капельницей, а когда я, прописавшийся и побелевший обратно, смог выходить на улицу, то и выходил, и мы с Женей гуляли по территории больницы, подглядывали в полуподвальчик прозекторской, где прозекторы потрошили недавних гепатитчиков. За деревянным забором, отделенные от аристократов-гепатитчиков, весело жили в деревянных домиках дизентерийщики. Аристократы относились к ним с презрением и называли нехорошим словом. Женя Останин учился на художника, и говорили мы с ним о сюрреализме.

Ботва на моей яйцевидной башке достигла рекордной длины, главврач стал требовать невозможного, а Коля Корзинин с Витой Ковалевым пришли заключать соглашение. Билирубин и трансаминаза еще шалили над нормой, а Никсон уже подписал исторические документы. Мы-то не подписывали ничего, но устно решили: отныне «Санкт, его величество, Петербург» есть: Коля Корзинин — барабаны, Витя Ковалев — бас, Никита Лызлов — просто хороший человек и чуток рояля, и плюс мой билирубин и трансаминаза. Остальное же побоку. Дело есть дело. Дело-то есть дело, но молодость все же еще и жестока.

Родители, испуганные сыновней водянкой, взяли меня опять белого и похудевшего из больницы на поруки и стали кормить диетическими кашами, от которых я сбежал в компании с Колей Зарубиным, будущим барабанщиком группы Валеры Черкасова «За». Но это он позже стал *за* что-то, а тогда мы просто прихватили бонги, дудочку, мало денег и уехали в Ригу, где из себя изображали неизвестно кого с бонгами и дудочкой, а из Риги решили махнуть в Таллин автостопом, модным по слухам хитчхайком — сжал кулак, большой палец вверх и тебя якобы везут добрые водилы, которым скучно в дороге.

Послушав случайную девчонку, последней электричкой доезжаем зачем-то до Саулкрасты, курортного поселка, конечной станции и попадаем под дождик. Ругая девчонку, бредем в мокрой ночи, бредем по мокрому саду и в саду том натыкаемся на дощатую эстраду с крышей и ложимся спать мокрые на доски под крышу, где вдруг сладко засыпаем, а когда просыпаемся, то видим вокруг утро накануне первого солнца, в котором поют птицы, в котором сухо опять, в котором хочется дышать и жить. А в сотне метров оказывается море. И на диком пляже в лучах свершившегося солнца Коля Зарубин легонько пробегает пальцами по бонгам, кожа на бонгах откликается приятным невесомым звуком, а я, как дурак, свищу на дудочке то, что не умею, и так хорошо, как никогда. И думаем мы, что так все и надо...

Летом тогда рок-н-ролльщики обычно отдыхали, словно хоккеисты перед сезоном, но лето кончилось. Похудевший от инфекции до комплекции стандартного кайфовальщика, я довольно быстро наел спортивные килограммы и более на дудочке не свирещал.

Еще недавно впереди ожидала вся жизнь. Теперь за спиной уже дымились первые руины.

К семьдесят второму году ленинградские рок-н-ролльщики и кайфовальщики освоили хард-роковые вершины «Лед Цеппелин» и «Дип Пепл». Тогда эти снеговые-штормовые покорялись упрямыми и немногими, ждавшими от рока уж вовсе неистового кайфа — это теперь там проложены комфортабельные шоссейки, по которым на туравтобусах катают «Земляне» чубатых пэтэушников.

Партизанский имидж «Санкт-Петербурга» времен Лемеговых с его полуимпровизационным и сатанинским началом в ритм-блюзовым плюс хард-роковым «драйвом» и со светлыми проблесками слюнявой лирики уступил место жесткой конструкции продуманных аранжировок и коллективному договору сценической дисциплины. Если Лемеговы были мягки, даже застенчивы, что и подталкивало их порой к стакану, то Коля Корзинин оказался равно талантлив, как и непредсказуем. Что меня поразило — однажды, еще в «Славянах», на одном из «сейшенов» Арсентьева он в паузе между композициями заявил в микрофон из-за барабанов:

— Сейчас я спою для друзей и жены. Остальные могут валить из зала.

Его, в общем-то, освистали, но он только озлился, и только небрежнее, алогичнее, с запаздыванием, заканчивал брейками такты. Так он в выработал манеру — неповторимую, узнаваемую и очень экономную. Внутренне, мне теперь кажется, Коля всегда не доверял залу, был даже враждебен ему, и если все-таки достиг популярности, то лишь потому, что толпе кайфовальщиков ничего не оставалось, как полюбить человека, плевавшего на них: плевать на зал — это высший кайф. Элис Купер тоже плевал, но уже и в прямом смысле, блевал и даже бросал в зал живого удава...

Осенью семьдесят второго года «Санкт-Петербург» много выступал, поставив целью улучшить звучание до полупрофессионального. Когда-то мы с Летающим суставом купили у промышленных несунов восемь качественных динамиков 4-А-32 по тридцать пять рублей за штуку и тем создали некое промышленное накопление. Но лучше б и не начинать. Тут только начни. Можно всю жизнь улучшать и улучшать, и все одно не улучшишь до абсолютной лучшести, так и не поняв в ошибочном начале, что музыка, если есть, она в тебе. И хороша она или нет — зависит от того, хорош или плох ты. И что ты сам абсолют, и шкала отсчета в тебе, а посредники диффузоров, ламп и прочих ухищрений — это Сцилла и Харибда, и между ними доулучшала звучание до бездарности не одна сотня талантов.

Сейчас, в середине 80-х, гитара электрическая, соответствующая уровню и на которой не стыдно и не «в лом» концертировать отечественному еврокласса рок-артисту (а такие есть), стоит у перекупщиков где-то под три тысячи рубликов. К такой гитаре положено иметь «флэйнджер», «бустер», «квакер» и еще сколько-то «примочек», придающих звуку характер. Итого: плюс еще несколько сотен. Если рок-артисту вздумается петь и в пении он также желает соответствовать еврокласcу, то он должен истратить сотен пять или семь на евромикрофон типа «Маршалл». Но евргитара и евромикрофон через что-то усиливаются и это что-то «Динаккорд» или «Пи вэй» и это что-то стоит еще тысячи. Да клавиши, да компьютер-драм, да то да се. Отечественная группа еврокласса стоит, как небольшой эсминец. Звук у нее, как у небольшого истребителя. Собирает она на свои идиотические маевки по несколько тысяч юных лоботрясов (умножим хотя бы на три и получим «кассу» концерта), но ставка рок-артиста еврокласса за концерт рублей пятнадцать, а бывает и меньше. При выступлении на стадионе она удваивается, но все одно надо концертировать две жизни, чтобы накопить эти тысячи. Есть, однако, нынче выход. Если ты действительно рок-артист еврокласса или в тебе такого увидели, то тебя пригласят, тебя обласкают, тебя арендуют. Есть теперь рок-«папы». «Папа» — это тот, кто выкатывает рок-группе аппарат, и часто рок-«папы» на афише фигурируют художественными руководителями. За те пятьдесят или сто тысяч это не так уж и много. В Ленинграде рок-«пап» практически нет, поскольку Ленинград — город не очень богатых людей, и здесь такую сумму не так просто украсть. Есть, правда, один, дает интервью как руководитель популярного в пригородах рок-ансамбля. Сей художественник сколотил капиталец, спекулируя инструментами и аппаратурой, иногда и просто обманывая доверчивых артистов. Бас-гитарист «Червовых гитар» рассказывал мне, что знает нашего художественника, что наш художественник «кинул» барабанщика из рок-группы Чеслава Немена на полторы тысячи рублей и что он, поляк, хочет продать художественнику за это самопальный «Стратакастер»-бас с нестроящим грифом.

Дипломатическо-дирижерские семьи также поставляют на рок-н-ролльный небосвод рок-«пап», но это уже московские дела.

То есть столь пространной жалобой я хочу сказать, что в начале семидесятых еще не было ни «пап», ни «дядьев», была какое-то время у «Петербурга» «рок-мама» — взрослая, небогатая женщина. Одним словом, соединив имевшееся у «Петербурга» до инфекционного гепатита с тем, что прибыло после, мы получили полный комплект некачественной, хотя и громкой по тем временам, аппаратуры. В лице Вити Ковалева «Петербург» получил серьезное подкрепление. Это теперь проф-рок-артистов обихаживают инженеры звука, инженеры света, разные мастерские и спекулянты. Тогда приходилось все делать самим, и представьте себе, что мог напаять гуманитарный состав «Петербурга» времен Лемеговых. Витя Ковалев, мастеровой, рабочий телеателье, привел в относительный порядок некачественный наш аппарат и кроме того значительно укрепил классовый состав «Петербурга». Никита Лызлов заканчивал химический факультет Университета и тоже был поближе к технике.

За гуманитарную часть деятельности отвечали мы с Колей и к осени семьдесят второго, внутренне соревнуясь, сочинили несколько новых «боевиков», которые и отрепетировали и представили рок-н-ролльщикам и кайфовальщикам.

Однажды полузнакомец подбросил листки со стихами, попросив прославить, и листки эти вдруг попались на глаза. Часть стихов, как выяснилось позднее, оказалась украденной у Аполлинера, а на один неожиданно сочинилось. Текст, правда, пришлось править и переписывать, остались от него рожки да ножки, но на одной строке н тем не менее прокололся. Назвал композицию «Лень» и начинал ее четырехтактовым заковыристым «рифом», повторявшимся два раза с напором, а после возникал минор, точнее до-минор, и начинались минорные слова:

— Издалека приходит день, приходит день, сменяя утро...

Объявив время и место действия, во второй уже нахрапистой части композиции я утверждал, что:

— И так всю жизнь, так каждый день все изменить мешает лень!

Третья часть композиции в мягко рокочущем квадрате до-мажора объявляла:

— Я этим городом дышу,

— и далее строчка, всегда вызывавшая овации кайфовальщиков и довольные усмешки рок-н-ролльщиков и мое недоумение по поводу ее странного успеха: — ...курю с травою папиросы.

Строчка эта — одна из немногих, уцелевших из первоисточника полузнакомца. Я же тогда не курил вовсе, редко когда мог позволить себе пригубить с Лемеговыми, сохраняя надежду на олимпийскую славу. Я знал, конечно, что анаша называется «травой», и знал, что кое-кто из рок-н-ролльщиков ее курит, а кайфовальщики, кажется, курят вовсю. Но это было абстрактное знание — Лемеговы в смысле кайфа оставались славянофилами и «трава» в тексте полузнакомца связывалась у меня просто с плохими папиросами — табаком наполовину с травой.

Но получалось — я символ эскапизма, этакий прокламатор психоделии, «пыха», «улета». По поводу «кайфов» тогда позиции у меня не имелось вовсе, но иногда, особенно после того, как Лемеговы срывали концерт или репетицию своей приязнью к португальским винам, иногда я устраивал Лемеговым скандал и выгонял их вместе

с собутыльниками. Но — «трава»? Сообразив, я заменил «с травою» на «с тобою». Это вызвало интересную реакцию: начинался рокочущий до-мажор, пелся текст, но все равно зал взрывался криками, как бы понимая — да, зажимают рот артистам, не дают свободы в искусстве. Меня никто не зажимал, но за ошибки или глупость в искусстве приходится платить.

Николай предложил для концертирования несколько отличных сочинений: «Позволь», «Хвала воде», «Санкт-Петербург № 2».

Негуманитарный Никита разродился текстом, а Николай приложил музыку и получился еще один номер — «Спеши к восходу».

— После долгой ночи, после долгих лет — будет утра сладость, будет солнца свет!

Так пелось в припеве, и всем нравилось. С восходами и заходами у «Санкт-Петербурга» все было в порядке. Что восход должен принести — оставалось неясным. Теперь я знаю, что восход может принести и похмелье, а заход, наоборот,— короткое счастье. Но ведь в двадцать с небольшим думалось напрямую: солнце, свет, белое — добро; ночь, темень, черное — зло. Жаль, что возраст превращает наивную веру в ее негатив.

«Санкт-Петербург» очень любили, все, что ни сочиняли и ни пели мы, нравилось до коликов восторга, а эти колики восторга необходимы забравшемуся на сцену, раскрепощая его и выявляя совершенно неожиданные дарования.

Но это все гуманитарные абзацы. Итак — аппаратура.

Грубая статистика гласила: где-то каждое третье выступление срывалось, «не канало», из-за аппарата. Иногда срывалось смешно. Никита Лызлов устроил «Петербургу» еще при Лемеговых коммерческое мероприятие в Павловске. Часть билетов скупили павловские аборигены, часть разошлась среди городских кайфовальщиков. Отстраиваем аппаратуру — блеск! Своя плюс клубная — блеск, да и только! В зале уже воркует публика, пора выходить, но вот выясняется, что напряжение в Павловске к вечеру село, звук из динамиков прет с искажением и музыкальная коммерция может кончиться избиением артистов. Нужен выпрямитель, он каким-то образом что-то там выпрямит, но выпрямителя у «Санкт-Петербурга» нет. Гонец летит за выпрямителем, а я поручаю бойкому знакомцу, просочившемуся за кулисы на правах сомнительного друга, выйти на сцену и поговорить. О чем угодно. Вроде лекции о рок-музыке. Минут на двадцать. Бойкий знакомец выходит под аванс оваций и начинает гнать лапшу о «Петербурге», о том, какая это выдающаяся, великая... стараясь занять время, по ступеням восходящих эпитетов добирается и до... гениальная группа сейчас выступит в Павловском деревянном клубе. Зал уже плачет, представляя себе Павловск музыкальным эпицентром мира, а нам пора уж выходить на сцену, поскольку гонец с выпрямителем не прискакал покуда, а задерживать начало — значит больно слететь по лестнице эпитетов...

Жизнь все-таки дороже славы. Занавес с хрустом распахивается, мы искаженно чешем начало апробированного боевика «Ты как вино», зал, не разобравшись, вопит, но скоро смолкает и также молчит после, грустно понимая, кажется, что не готов еще воспринимать гениального...

На стадионе отнеслись к моему гепатиту как к уловке волосатика и сказали:

— Волк всегда смотрит в лес.

В Университете же, пропустившего по болезни сессию и представившего справку, отпустили с богом в академический отпуск.

Судьба искушала волей, а воля — это слишком высокий и отчаянный кайф. Привыкший к дефициту времени, я не решил искушать молодую свою жизнь, хотя и мог обоснованно посвятить целых двенадцать месяцев диетическому питанию, прописанному докторами. Николай хвастался все время — работаю, мол, ночами в метро тоннельным рабочим, сплю, иногда лишь чего-нибудь, если очень попросят. Звоню Николаю, спрашиваю:

— Как думаешь, Коля, метрополитен не откажется от трудовых усилий еще одной звезды рок-музыки?

Николай отвечает невразумительно, но, кажется, меня там ждут с нетерпением. Следует проехать до «Балтийской», что-то обойти, открыть какие-то двери, свернуть налево, а после направо. Еду до «Балтийской» и убеждаюсь — все не так. И обойти не то, и двери не те, и сперва направо, а уж после налево. Но главное совпадает — вакансия тоннельного рабочего второго разряда не занята и я занимаю ее, пройдя флюорографию и терапевтический осмотр. Сообщив счастливое известие Николаю, слышу опять же невразумительное о том, что он, мол, увольняется, и это меня отчасти печалит, но печаль поверхностна, поскольку еженощный труд дает еще один шанс прикупить микрофонно-усилительной дребедени. И это меня манит как временное призвание в этом мире борьбы за призвание постоянное.

Вот и первая ночь трудовая на участке «Маяковская» — «Гостиный Двор» — «Василеостровская». Нормальная осенняя гнилостная ночь. Несколько сумеречных теток, угреватый дядька и парочка таких же, как я, парубков — перед нами держит на

планерке речь симпатичный мужчина в форменном кителе. Помалкиваю, слушаю. Жду, когда объявят отбой. То есть отправят спать в какие-нибудь специальные спальные комнаты.

Но объявляют наоборот. Поднимаемся по эскалатору наверх, мне вручают отбойный молоток и этим молотком я всю слякотную ночь долблю асфальт перед «Гостиным», в душе оправдывая человека в форменном кителе — что ж, мы понимаем, все должно быть честно, бывают ведь авралы. Они бывают, убеждаюсь и на следующий день, бродя в катакомбах под эскалатором с холодным шлангом в руках, из которого вылетает тяжелая брызгливая струя воды, и водой этой я вымываю из катакомб дневную грязь. «Да, аврал на аврале»,— думается мне все шесть месяцев ночей, в которых не сплю, в которых я мотаюсь по тоннелям с молотком и колочу неведомые дырки в тюбингах для неведомой банкетки, катаю бочки, тружусь, одним словом, во славу настоящего призвания, сочиняя вслух среди подземного эха: «Грязь — осенняя пора-а, что ни делаешь все зря-а. И мешает мне увлечься бесконечность — бесконечна-а!» — а эхо только «бу-бу-бу» в ответ.

Во славу настоящего призвания «Санкт-Петербург» отчаянно гастролирует по бесконечным подмосткам, шаг за шагом приближаясь к звучанию полупрофессиональному и отдаляясь от непрофессионального в том смысле, что микрофонно-усилительной дребедени накупаем мы все больше, а с мастеровой ловкостью Вити Ковалева организуем ее хаос в стоящий рок-н-ролльный реквизит. Но это — бесконечное восхождение по склону без вершины.

Однажды в полдень той же слякотной осенью на проспект Металлистов почти врывается соученик по истфаку.

— Запри дверь,— говорит, и я замечаю, как он возбужден.

— Да что запирать? Заперто.

— Нет, проверь, заперты ли двери! — Он достает из сумки сверток, разворачивает.

Вздрагиваю и иду проверять, хорошо ли заперты двери.

Возвращаюсь и спрашиваю с дрожью в голосе:

— Что это? — Глупый вопрос, поскольку понятно, что это.

— Глупый вопрос. И так понятно, что это. Ты понимаешь, на что я пошел?

— Нет,— отвечаю я.— На что ты пошел? Только не ври.

Он не врет, а так вот разом в лоб. И еще он говорит, что всегда стремился как-то быть в искусстве, но покамест он может только так быть в искусстве, то есть он дарит это мне, нашему «Петербургу», потому что наш «Петербург» — это и его «Петербург», а «Санкт-Петербург» — это в кайф.

— Я не понял. Я могу это просто так взять?

— Да. Я пошел на воровство.

— Нет... Да... То есть нет!.. То есть, конечно, да.

Мой сокурсник срезал на телевидении, где подрабатывал грузчиком, микрофон. Такие я видел только в программе «Время». Микрофон сработали западно-немецкие умельцы Австрии и ФРГ, и ему цены нет. Цена-то есть — по Уголовному кодексу. Но ведь есть же и призвание. С такими друзьями, думается мне, «Санкт-Петербург» доберется и до профессионального звучания. Доберется, даже если у этого склона и нет вершины.

И вот мы карабкаемся по ней в связке и без страховки, и в связке нашей появляется свежеиспеченный выпускник средней школы Никитка Зайцев. Не помню, кто привел безусого, соломенно-кудрявого, пухлогубого Никитку, но он так лихо въехал со своей скрипкой-альтом в наши с Николаем композиции, что даже я, теперь уже строгий консерватор стиля и имиджа, не смог отказать. И теперь нас пятеро в связке над пропастью и кайф наш еще круче — так говорят болельщики.

А авантюристы все устраивали авантюры во славу призвания «Санкт-Петербурга» и своих бездонных карманов.

Очень взрослый и малословный тенорок по фамилии Карпович вписывает «Санкт-Петербург» отконцертировать несколько слякотных вечеров в Ораниенбауме, в спортивном манеже, который на несколько вечеров станет танцевально-концертной территорией. Нас даже законно оформляют на незаконные ставки, и в манеже мы законно-незаконно отыгрываем сколько положено и как просят. А просят не очень-то того. Но без Лемеговых имидж «Санкт-Петербурга» и так уж не очень-то того. Это как в трикотаже, когда 50 процентов шерсти, но и 50 процентов синтетики.

На мне новая рубаха консервативного покроя и брюки в серую полоску. Я как бы устал от успеха, но иногда еще могу раз-другой дрыгануть ножкой, а Никитка — наоборот, молодой бычок, козлик, волчонок. Не знаю. Но удачно смотрится. Николай за барабанами строг, зол и алогичен. Мастеровой Витя Ковалев словно в полудреме маячит возле Николая за моей спиной, Никита же за роялем, более склонный к демократизму и открытому веселью. Все продумано и все в кайф.

В Ораниенбауме кайфовальщики довольны, а рок-н-ролльщики смакуют каждое соло Никитки, звукоизвлечение у него действительно изумительное, и смакуют мои

броски из баса в свистящий фальцет. И правильно делают, потому что все продумано. И все и кайф.

Даже бессвязное сочинение «Бангладеш» долгим ухарским «драйвом» покорнет манеж Ораниенбаума: «Кто имеет медный щит, тот имеет медный лоб, кто имеет медный лоб, тот играет в „Спортлото"! — и тут вонзается скрипичный «риф», а после него: — Бангладеш! Мы за Бангладеш!»

Покорив манеж положенное количество раз, приезжаем в кассу за заработной платой и убеждаемся зрительно, что законно оформлено на незаконные ставки кроме нас еще человек десять.

Козырной туз у манежных деятелей Карповича опять же на руках. Заявление или чье-то постановление, короче, бумага, гласящая, что вокально-инструментальный ансамбль «Санкт-Петербург», не имеющий никаких каких-то там прав, устроил в манеже Ораниенбаума трехдневный шабаш, выразившийся в безнравственном хождении на головах, на ушах и еще, кажется, на зубах по сцене с призывами сорвать общегосударственное дело «Спортлото»...

Проторенная кривая возвращает нас в Университет, где на химическом факультете невероятными организационными ухищрениями Никита Лызлов получает ангажемент. Слово иностранное звучит затейливее. Затея, однако, без выкрутасов под банальным лозунгом «вечера отдыха» тамошних химиков. Кайфовальщики это уже проходили и знают наизусть. Они с радостной кровожадностью наполеоновской гвардии прорывают хилые кордоны «химических» дружинников, оккупируют огромный узкий и пыльный зал клуба на Васильевском.

Вечер — да. Но отдых под вопросом. Предложившие все это под затейливым словом «ангажемент» долго не решаются объявить начало отдыха, но все же решаются, испуганные перспективой вместо отдыха стать свидетелями демонтажа их любимого клуба, и отдыхаем мы, «Санкт-Петербург», обиженный Карповичем, и наполеоновская гвардия, обиженная хилостью сопротивления, по полной, так сказать, схеме, а схема эта такова, что вспоминают ее иногда и по сей день.

Долой респект и да здравствует весь спектр отработанного дрыгоножества, «драйва», дурацкого «Бангладеша», догепатитного сатанинства, додуманного импровизацией духарного дизайна душ! (Как говорить о музыке без аллитерации, когда лишь глухой согласной я все можно передать хоть что-то?)

Это пришло вдруг, этакая находка! Пустой бутылкой стал играть на «Иолане», как на гавайской гитаре. После бутылку — бац! — вдребезги. Страсти зала — также вдребезги на режущие осколки якобы объединенных в одну пятисотенную глотку, поющую прощание с юностью.

Нас Карпович бьет авантюрой и доносами — бац! — Никитка взлетает на смычке, как черт (ведьма?) на метле.

Нас карикатурят в столбцах газетные неосведомленыши — бац! — Николай ломает педаль и рвет, богу твоя мама, пластик тактового.

Нам пеняют за то, что мы есть, но мы-то есть, потому что есть вы — бац! — микрофонной стойкой с размаху по крышке рояля.

Нас боготворят кайфовальщики, потому что им это в кайф, а этого — бац! — и не могу понять теперь и, как ни пытаюсь, не оживить в себе простоты понимания той слякотной осени накануне разрядки.

После химфака Валера Черкасов (о котором — впереди) увязался в попутчики. По пути долго и тупо доказывал:

— Понимаешь, это уже почти уровень, почти Европа!

— Да, я понимаю — мы живем в Европе. Но почему лишь почти?

— Понимаешь, еще чуть-чуть — и вы прорветесь. Вот именно! Вы прорветесь, а вместе с вами и все мы.

— Да, я понимаю — мы прорвемся.

Но не понимаю, почему мы прорвемся, если я стану музицировать порожней зеленой посудой и колотить железом о рояль не в припадке обиды, а заведомо стану музицировать бутылкой, и впервые, кажется, я подумал, что мы действительно куда-то прорываемся, а прорываться куда-то — это гораздо страшнее, чем просто так. Но ничего, подумал я, не бывает просто так, подумал впервые и, похоже, впервые затосковал о тех, таких уже давних днях, когда восторженным юношей утомлял себя в спортзале, наивно представляя простоту и непреложность олимпийской стези...

Мы долго отходили после «вечера отдыха», а потом прикинули кой-что кое к чему и купили чехословацкий голосовой усилитель «Мьюзикл-130» за шестьсот или семьсот рублей, собрали голосовую акустику из восьми качественных динамиков 4-А-32, добрали инструментального усиления до уровня «голосов», обнаружив неожиданно, что полупрофессиональная аппаратура у нас уже есть.

Стена не имела вершины, но вот она — долгожданная плоскость, где можно переночевать, разбив палатку и запалив костерок, погужеваться до поры, передохнуть и поглядеть друг на друга, поглядеть в глаза и подумать что дальше.

Никитка рвался в абитуриенты. Никита стал заниматься с ним, готовить к экзаменам по точным наукам. У Николая росла дочь, и предстояло ему тоже как-то устраиваться, а не врать всем, будто работаешь ночами неизвестно где. У Вити Ковалева тоже росла дочь, а жена справедливо ждала спокойствия.

И меня припекала жизнь: начиналась педпрактика, заканчивался академический отпуск, время диеты, прописанной врачами. Я снова появился на стадионе — мне только ухмылялись в лицо. Один слабак в прыжках, почему-то завистник, вечно врал, будто опять видел меня пьяным, хотя я чтил диету, помня о пережитой водянке и болях, и врал про «Санкт-Петербург», будто опять мы после выступления подрались (!) со зрителями. Я продолжал работать в метро, и сутки мои складывались занятно: с ноля-ноля мимо до утренних курантов подземка, с одиннадцати часов педпрактика в школе, днем стадион, затем репетиция, какая-никакая была ведь и личная жизнь, случались концерты, а к полночным курантам опять ждала подземка. Где-то в промежутках спал. Чего только не выдержишь, когда тебе чуть за двадцать. До поры и выдерживал, пока не стал засыпать на работе стоя. Весной семьдесят третьего я из метро уволился.

На курсе педпрактику мою признали лучшей. Простым, как маргарин, способом добился почтительности у класса, прокрутив им во время внеклассной работы подборку музыки «Битлз» и проведя письменный опрос о понравившемся...

Опять была весна, весна семьдесят третьего. На проспекте Науки в кургузом клубике подростков мы репетировали, упиваясь полупрофессиональным звучанием, композицию «22 июня», в подкладке мелодии которой пытались рефреном уложить кусок из известной симфонии Шостаковича. Жена Николая принесла текст и приятно сложился двенадцатитактовый традиционный блюз «Если вас спросят». Но трудно о музыке говорить, трудно рассказать, как репетировали, ведь заранее никто партий не расписывал, они рождались в процессе, так сказать. Это, думаю, было самое радостное — присутствовать при рождении номера, мелодию и текст которого сочинил сам. И даже репетиции случались искренней концертов. На концертах-то было все ясно заранее. Там делался заведомый кайф и заведомо было ясно, что придется выкладываться и выходить со сцены в мыле, но достигнутый успех уже не так интересен в повторах, как путь к нему...

Утро случилось сумрачное, и я долго просыпался, проснулся, поставил «Таркус» — сенсационный альбом «Эмерсона, Лэйка и Палмера», фантастического трио пианиста Эмерсона, записавшего позднее в рок-манере «Картинки с выставки» Мусоргского, очень корректную и сильную пластинку...

Долго трясся в холодном трамвае, опаздывал на репетицию. Возле торгового центра, в его пристройке располагался подростковый клубик, стояли Никита, Николай и Витя. Увидел их издалека и почуял неладное — о чем-то они, похоже, спорили, а Николай отворачивался, делал шаг в сторону, возвращался.

Никита увидел меня и побежал навстречу.

— Ага, вот и мы! Привет.— Он возбужден, без шапки, а куртка расстегнута.— Все у тебя в порядке? Все? — спрашивает он, а я вздрагиваю. «Что-то не так? Где? Что? Что там еще?» Нервы я уже поиздергал бесконечным восхождением по отвесной стене за последнее трехлетие.

— Что там еще? — спрашиваю Никиту, и мы подходим к Николаю и Виктору.

— Сказал ему? — спрашивает Витя у Никиты.

— Сам скажи! — нервно вскрикивает Никита.

— Он умрет,— говорит Витя.

— На фиг, на фиг, на фиг все! — говорит Николай.

— Что за черт! Говорите же!

Никита и Витя переглядываются. Николай вздыхает и проговаривает:

— Ничего, не умрешь. Сгорело все. Ночью пожар был. Все и сгорело. Тушили пожарники. Сгорело сто клюшек, двести шайб и шлемы еще.

— Какие клюшки? Что сгорело? Говорите, сволочи!

— Все сгорело. Вся аппаратура.

Мы стояли возле урны. Из урны торчал бумажный мусор, на урне белели засохшие плевки. Я сел на урну и улыбнулся.

— Все врете. Убью.

— Не врем,— сказал Витя.— Нечего опаздывать. Сходи и посмотри.

Я сходил. Да, клюшки сгорели. Жалко. Такие новенькие были клюшки, шайбы и шлемы для клубных подростков. Как теперь клуб охватит подростков спортивным воспитанием? Ничего, жизнь воспитает. Воспитывает же она меня и моих мужиков.

Я стою в дверях и смотрю. Врут, сволочи, не все сгорело. Обуглившиеся остовы колонок, словно печные трубы военных пепелищ, стоят-таки, и еще железа целая груда. Врут, сволочи!

Сволочи шаркают по лестнице и останавливаются возле молча. Я плáчу и не смотрю

на них. Я смеюсь и не смотрю на них и выговариваюсь матом. Витя ковыряется в почерневшем металле, пачкается сажей, молчит, вздыхает.

— Чемодан-то, мужики, дернули. С микрофонами «Мьюзикл» дернули и подожгли остальное.

— Да! Чемодана нет? — Никита роется в останках реквизита и подтверждает: — Чемодана нет с усилителем.

— На фиг все,— говорит Николай и шаркает по лестнице вниз.

А затем мы едем в милицию и там предлагаем свою версию серьезному капитану. Он слушает, морщится, набирает несколько цифр на телефоне и говорит в трубку непонятные слова, а после смотрит на нас с укоризной, смягчается и соглашается:

— Лады, пишите заявление. Все. Пишите.

Мы пишем, а капитан опять звонит, спрашивает, слушает и нам говорит:

— Пожарники утверждают, что загорелось от искры. Там рядом дорожники асфальт жгли и ветерок мог искру занести через фрамугу.

Он и сам не верит, но он серьезный человек, у него ЧП.

— Тут, понимаешь, убийство, а вы...— говорит он, мрачнея, смягчается и повторяет: — Лады, пишите. Поищем.

Он поискал и не нашел.

В клуб нас взял один из бывших баскетболистов. Бывал на концертах и предложил место для репетиций. Свой вроде парень, нервный только, но вроде свой. Говорят, он поигрывал в картишки. И, говорят, проигрался. Теперь-то я уверен, что он и дернул чемодан с микрофонами, чтобы рассчитаться за проигрыш, а остальное поджег, заметая следы. И замел. На тысячу с хвостиком дернул, а на две сжег. Свой парень. Его вызывал капитан. Кажется, вызывал. Кажется, поговорили. Но и только. У капитана было убийство. Нас этот хренов картежник тоже подстрелил, но...

Для Вити Ковалева (понятно, классный парень, мастеровой из телеательe, улучшил классовый состав и сотня прочих достоинств, и на басе, когда его не третировал Николай, выделывал выдающиеся коленца) настал звездный час. Он достал диффузоры для «тридцать вторых» динамиков и для басовых и заменил сгоревшие, заказал деревянные части для барабанов — их в аварийном порядке исполнили неизвестные мне умельцы — перелатал усилители, оживив их. У нас опять был полный комплект некачественной аппаратуры приличной громкости, и при желании можно было начать восхождение к необжитым вершинам полупрофессионального звучания...

С ворами мне доводилось встречаться в жизни достаточно часто. На стадионе не раз воровали тренировочные костюмы, однажды прохожие алкоголики стащили целую сумку престижного легкоатлетического добра: два «фирменных» костюма, кроссовки из лосиной кожи, шиповки «адидас», майку сборной Франции. После школы, когда делались первые музшажочки и появилось первое желание приобрести что-нибудь электрическое, один из дворовых умельцев взялся продать мою вполне приличную коллекцию марок и «забыл» все десять кляссеров с марками в такси. Соученик по Университету, умный и противный циник, поражавший мое юное воображение второкурсника регулярной нетрезвостью, однажды взял мой портфель с зачеткой, конспектами и, главное, с двумя пластинками английской рок-группы «Трэффик», под каким-то предлогом вышел на минутку и... встретился случайно лет через пять, испуганный, забитый, оправдываясь тем, что, вот, только с зоны и не бей, мол. Я не бил, было жалко. В поселке Юкки после концерта у нас, нищих рокеров, украли поганый усилитель и тактовый барабан. Упоминавшийся Маркович тоже ограбил нас. Зашел я через десять лет в пивбар «Жигули» и увидел его за стойкой жирным, солидным хозяином жизни, то есть пивного крана. Он был рад увидеться, поболтать, вспомнить славные денечки и даже не взял денег за две кружки пива. Был у меня друг. Красивый, талантливый, остроумный. Победил в девятнадцать лет на крупных международных соревнованиях. О нем писали. Он любил Элвиса Пресли и «Роллинг стоунз» и частично сформировал мой музыкальный вкус. Для нас с Лехой Матусовым он долго оставался чем-то вроде маяка, поскольку все у него получалось. И еще он очень нравился женщинам. И еще он очень рано начал попивать, а затем и просто пить, оставаясь, однако, до поры красивым и талантливым. А я собирал пластинки. У меня уже собралось десятка полтора рок-пластинок в оригиналах и десятка три хорошей классики. Все это пропадает из моей комнаты на проспекте Металлистов весной семьдесят первого непонятным образом плюс сто пятьдесят рублей казны «Петербурга». Довольно скоро по множеству косвенных, множеству словечек, жестов, встреч, звонков, чьему-то пробалтыванию, скоро становится ясно — обокрал-то талантливый друг. Запасные ключи от квартиры висели всегда у двери — бери кто хочет. Он, видать, и взял. Встречаемся иногда и об этом не говорим, а об остальном говорим по-приятельски. А теперь вот картежник...

Лозунг: «Грабьте друзей — это безопасно!»

О ворах можно говорить бесконечно и даже интересно о них говорить, даже со странным уважением мы обсуждаем, бывает, их ловкость...

Но ведь Витя-то Ковалев возродил аппаратуру! И ничего другого не оставалось, как продолжить восхождение. И если стена бесконечна, то вовсе и не имеет значения, в какой точке ее ты находишься, отброшенный лавиной обстоятельств. Важно движение, как факт, как содержание молодости.

Мы не ставили осознанных целей и не ждали от нашей музыки ничего, чего б можно было исчислить абзацами славы или деньгами. В начале семидесятых рок стал для моего поколения и круга чем-то вроде кузни, где тебя испытывают на прочность и где из тебя не важно что выковывают, но или закаляют или перекаливают.

Я начинал чувствовать, что перекаливаюсь.

Отчаянным весенним броском по бесконечной стене мы наконцертировались почти до истерии, от которой я спасался на стадионе, ворочая тяжести, бегая и прыгая, в надежде воссоздать в себе спортивный талант, набросившись на спорт, как англичанин на ростбиф, а Никита Лызлов корпел над дипломом.

Несостоявшийся абитуриент Никитка, закосивший армию Николай и страдавший от язвы желудка Витя Ковалев спасались по-другому. Это другое сплотило их надолго, это другое сожгло мосты и лишило запасного выхода, который был у нас с Никитой.

С этим другим подъезжал все время Валера Черкасов и однажды он подъехал с банкой химического реактива, которым «дышал» и которым предлагал дышать Вите, Николаю и Никите. Это другое мне всегда не нравилось, не нравилось инстинктивно, и я, пользуясь правом Первого консула, обычно гнал с репетиций юных «пыхальщиков» — приятелей Никитки.

Во время концертирования на престижной и традиционной для тогдашней рок-музыки площадке Военмеха Никитка в «Бангладеш» загнул соло минут на пятнадцать и это был его кайф, и кайф Николая, Вити.

Я подошел и вывернул ручку громкости до нуля, но Никитка еще долго водил смычком по обесточенному альту, не понимая, а когда понял, вывернул за моей спиной ручку от нуля до предела и вонзился солом в куплет. Пришлось пресечь кайф бывшего школьника коротко и жестко — я просто выдернул разъем и выдернул так, что оборвался припой.

Но еще жило в концертах привычно-лиричное: «Любить тебя, в глаза целуя, позволь,— пел Николай, и зал привычно был готов позволить все, все из того, чего ждал.— Позволь, как солнцу позволяешь волос твоих коснуться,— и позволял он мне строить терцию Николаю.— Ты надо мной смеяться. Позволь с тобой смеяться!» — а после такой терции я еще верил, что могу заткнуть рот любому соло и лишь окрика или жеста достаточно для того, чтобы движение «Санкт-Петербурга» продолжалось без конца, движение, как факт, как содержание молодости. Но движение по бесконечной стене равно неподвижности.

Весенним истерическим концертированием мы лишь оплатили долги, образовавшиеся после восстановления некачественной аппаратуры.

Я же так старательно искал спасения на стадионе, что на меня перестали смотреть тамошние, как на пропащего, а мой тренер, великий человек, опять рискнул и предложил в середине апреля поехать под Сухуми на сбор, предложил таким образом готовиться к летнему сезону. Он предложил, я согласился и уехал, и все лето без особого успеха пытался доказать всем, что спортивный талант еще не пропал.

Летом мы несколько раз встречались на репетициях. Несколько раз «Санкт-Петербург» кокетливо выступал без Первого консула на незначительных концертах. Там Николай играл на гитаре, пел свои песни, а Никита подменял его на барабанах.

В сентябре «Санкт-Петербург» взялся за новую программу. Соскучившийся по музыке, я страстно репетировал целый месяц, а в сентябре улетел в Фергану на осенний оздоровительный сбор, где были беззаботные дни, дешевые райские фрукты с базара и легкие тренировки. Я давно не был так спокоен, впервые, кажется, осознав, как должно выглядеть счастье, и жалея после, что октябрь пролетел так быстро.

Вернувшись в Ленинград, я застал «Петербург» в клубе Водонапорной башни за репетицией новых сочинений Николая.

— Я давно не знал тебя такой! — отличным, жарким ритм-блюзом встретили меня.

Я был согласен с ритм-блюзом, но испортил в итоге репетицию праздной моралью и требованием немедленно разучить две мои новые песни, не разработанные толком, путал слова и аккорды, бодро покрикивал на Николая и Витю, а Никитке шутливо предложил вообще заткнуться и встать в угол в качестве профилактического наказания. Я не понимал, что загорелый, откормленный, натренированный, имевший запасные выходы в спорте и дипломе истфака, что одним только видом своим вбиваю клин в трещину, разделившую «Петербург». Я был достаточно молод и соответственно глуп, чувства мои оказались хотя и яростны, но поверхностны. Иначе б догадался прекратить эти окрики, сытое ерничество, догадался б увидеть в своих товарищах талантливых артистов, загнавших себя на сомнительную тропу, то есть, нет, оставшихся вдруг на бесконечной стене без человека, взявшегося, пообещавшего тащить вверх, вдруг, если и не вышедшему пока из связки, то явно ослабившего ее...

Весной Николай попросил выделить денег на покупку недостающих барабанов — малого и бонгов. Мы решили выделить из общей кассы и в несколько заходов передали ему двести рублей. Наступил ноябрь, а барабанов нет. Хронически обворовываемый, я организовал расследование, благо его объект был всегда под рукой и не мог скрыться, и довольно просто выяснил, что никаких барабанов и не будет. Хронически обворовываемый и видящий воров теперь часто в в друзьях, припомнив Николаю трудовой семестр в метрополитене, я организовал какую-то китайскую кампанию по шельмованию товарища и изрядно в ней преуспел. Странно улетучился с годами дар внушения, видимо, теперь не хватает для этого однозначности мышления и узости представлений о должном. А тогда я мог говорить часами о том, на чем зацикливался, я и говорил весь ноябрь о несостоявшихся барабанах, и неожиданно Витя Ковалев, после часовой обработки, предложил:

— Давай его прогоним — не могу больше. Ведь ты прав. Мы выкладываемся, ишачим, а он...

Шел дождь. Мы стоим возле Финляндского на кольце сто седьмого, и я поражаюсь выводам, сделанным Витей. Я вовсе не предполагал гнать Николая. Он являлся автором доброй трети «петербургской» продукции и вообще нравился мне.

— Как выгоним?

— А так! — Витя раскалялся на глазах и уже повторял произнесенное, убеждая и меня, и себя: — Выгоним к чертям. У меня есть барабанщик. Так невозможно жить, когда вот так... вот деньги... Он же с тараканами и с ним никогда ничего не поймешь. И он еще, понимаешь, он вечно поносит меня, а я ведь, считают, первый в городе басист. Выгоним и выгоним...

На следующий день я подловил Никиту на химфаке и сказал:

— Надо гнать Николая, потому что так нельзя жить, когда кто-то, когда нам так плохо, может за счет нас. Мы ведь дали ему на бонги в малый, но не пройдет, хватит, нас сволочи уже кидали сто раз и чтобы еще и свой!

Никита посмеивался, посмеивался, нахмурился.

— Куда? Зачем? Николая гнать? Лемега позвать? Брать деньги, когда нам плохо... Это плохо... Но все-таки... Может, не гнать? Может, дать срок? Месяц. Дадим месяц?

Неожиданно повалили финансово заманчивые предложения. Одно за другим. После лета студенты еще не растратили в студенческих пирушках силы и стройотрядовские деньги. Вуз за вузом проводили «вечера отдыха», и наши дела стали заметно поправляться. Мне б прекратить китайское шельмование товарища, но уже несло меня с горки и — эх! все побоку! лететь бы и лететь! Казалось, что подобным жертвоприношением все исправится, казалось, что выгнать человека можно понарошку, не сломав отношений, а слава и будущее «Петербурга» уцелеют.

Я говорил: «Гнать, гнать надо». Витя говорил: «Так невозможно жить, когда вот так вот деньги». Никита говорил: «Ха, можно и гнать... А может, срок дать?» — «Пять лет,— отвечал сам же.— Без права переписки». Никитка же права голоса не имел, а Николай ходил затравленный, но барабанов не нес.

Теперь мне неприятно думать, что я был так жесток и глуп...

А студенты проводили «вечера отдыха».

Некое содружество студентов проводило «вечер» в банкетном зале гостиницы «Ленинград» и желало нашего содействия. Мы согласились содействовать за сто рублей гонорара и привезли некачественную аппаратуру в небольшой зал гостиницы, где и установили ее заранее напротив длинного банкетного стола. «Санкт-Петербург», собственно, не играл в ресторанах, поскольку это считалось дурным тоном в поскольку программа у нас была сугубо концертная. Студенты, видимо, удачно потрудились летом и желали не просто слушать концерт, но и закусывать при сем.

Отстроив аппаратуру днем, явились, как договаривались, с командиром недавнего стройотряда к половине девятого, чтобы начать концерт в девять.

Студенты оказались в основном мужеского пола, сидели они за длинным столом угрюмо, набычившись, сняв пиджаки, распустив галстуки и закатав рукава.

Начинаем концерт и чувствуем — что-то не так. Никаких тебе восторгов, аплодисментов, на нас просто не смотрят. Обидно, ну так что — играем себе и играем.

Дверь в банкетный зал приоткрывается, и в нее, я вижу, просовывается белая угро-финская голова. За головой появляется тело, и по одежде я понимаю — это действительно угро-финн, а точнее просто финн из соседней Суоми. Слушает, вежливо хлопает после финального аккорда. Скоро уже их несколько возле дверей. Слушают и хлопают этак вежливо, одобрительно. Скоро они уже, человек с двенадцать, сидят за индеферентным столом возле студентов. Кто-то из отдыхающих студентов взмахом руки пригласил их за стол. Сидят, выпивают, закусывают, аплодируют.

А студенты все также — угрюмо и набычившись. Не реагируют ни на «Санкт-Петербург», ни на странных гостей. Тут мы и понимаем, что студенты так успели отдохнуть до девяти, то есть до начала концерта, что сил и сознания у них осталось лишь на угрюмость и на набыченность.

Лишь бывший командир пытается прогнать блондинов, тянет то одного, то другого за локти; блондины согласно кивают и стараются напоследок ухватить что-нибудь на вилку. Командир жалуется:

— Столько заработали — жуть! На той неделе гуляли в «Москве». На позапрошлой в «Неве». Денег еще навалом, а сил более нет. Что делать, а?

Он не знает что делать, а мы, похоже, знаем. Надо гнать Николая. На эту тему переговорено с избытком, уже и не говорим. Что говорить? Гнать надо. Но не гоним. На одной из репетиций в Водонапорной башне я вдруг начинаю поносить несправедливо Виктора, а Никитку затыкаю привычно. На Николая и не смотрю. По-людски толковать могу только с Никитой. А дома с родителями затяжная окопная война. Один месяц покоя и счастья все же не перевешивает четырех лет кайфа...

В конце декабря у нас несколько концертов на «вечерах отдыха» с закусками, а в середине декабря мы с Никитой заняты в Университете. В репетициях перерыв.

Даже Витя не звонит и не заходит, хотя живет рядом, зато звонят круглые сутки малознакомые олухи и от звонков нет ни покоя, ни радости. Я прошу брата-девятиклассника:

— Если позвонит кто, говори, что я умер.

Он и говорит. Эффект потрясающий — полгорода волосатиков гуляет поминки, оплакивая безвременно угасший талант.

Звонит Никита: «Ты что, умер?» — «Да, я умер. Во сколько завтра собираемся?» — «В пять у Водонапорной».— «Кто-нибудь звонил?» — «Никто не звонил. То есть покоя не дают по поводу твоей смерти. Но ни Витя, ни Николай, ни Никитка — эти не звонили».— «А они, сволочи, знают, что у нас игра?» — «Как же! Знают».— «Значит, в пять у башни. До завтра».

Завтра в пять прихожу на улицу Воинова, там клуб Водонапорной башни, и встречаю Никиту.

— Слышь, а наши уже уехали.

— Не подождали, сволочи. И ладно — таскать барахло не придется. Знаешь куда ехать?

— Я ж и договаривался. Это на Охте.

Едем на Охту и находим двухэтажную «стекляшку»-кафе. На улице мороз. Продрогшие, спешим на второй этаж, мечтая побыстрее согреться, и я еще лелею желание обругать «сволочей» за самовольный отъезд из Водонапорной башни.

Колонки и микрофонные стойки расставлены, провода аккуратно прибраны — Витина работа. Он навинчивает микрофоны, а Николай возится с барабанами.

— Здорово, сволочи,— говорю я.

Оглядываю зал, замечаю нескольких незнакомых волосатиков, боязливо посматривающих на меня.

— Это что,— говорю с напором,— опять двоечник притащил?

— Нет,— Витя докручивает на стойку микрофон, подходит, мнется, посмеивается, говорит: — Тут дело такое... Отойдем-ка.

— Никита, будь другом, достань «Иолану» из чехла! Пусть отогревается.

Никита кивает.

Мы с Витей отходим к лестнице.

— Чего у тебя?

— Такое дело...— Витя мнется.

— Говори же. Мне настраиваться надо. Кстати, штекер припаял?

— Такое дело... Н-да. Мы тут две недели думали.

— Умные.

— Подожди.— Витя собирается с духом и начинает говорить не коротко, но ясно: — Мы решили отделиться. У Никиты учеба. У тебя учеба и спорт. Это все хорошо. Вы побаловались, побаловались и привет. А нам как? Потом все с начала? Да и вы с Николаем не сошлись. Никто не виноват. У вас свои дела. Вы в рок-н-ролле люди случайные, а мы поставили жизнь. За аппаратуру частями выплатим. Сегодня играем без тебя и Никиты. Можете подождать и получить деньги.— Витя смягчается и просит: — Останемся друзьями?

Я чуть не задохнулся:

— Это ты видел? Друзьями! У-у, сволочи!

Я иду к Никите и смеюсь над ним:

— Ты случайный, понял? — Он не понял.— Они жизнь поставили! У них жизнь каждый день стоит, а у нас — случается! Я из них, сволочей, очаровашков сделал, а они — случайные! — Никита не понимает.— Ты не понимаешь? Нет? Нас выгнали! Меня эти сопли выгнали из «Санкт-Петербурга», который я сделал...

Витя подошел и положил руку на плечо.

— Успокойся, старина. Мы не сволочи. У нас теперь другое название.

— Убери руку, дружок.— Я сбрасываю его руку и отворачиваюсь.— У вас не может быть названия. У вас и имени-то нет.

— «Большой железный колокол»,— говорит Витя и начинает злиться.— Хватит, не воняй тут.

Я неожиданно успокаиваюсь:

— Ладно, перестаю вонять. Что играть станете? Моих чур не играть.

— Мы две недели репетировали.

Набиваются в «стекляшку» рок-н-ролльщики и кайфовальщики, а мы с Никитой садимся за крайний столик и тоже кайфуем. Хорошо сидеть и кайфовать, когда другие поставили жизнь. Ничего поставили, думаю про себя с завистью. Николай играет на гитаре, а на барабанах колотит Курдюков. Мишка Курдюков — был такой барабанщик. Майкл! Когда они его успели подцепить, сволочи! Здорово спелись, сволочи, хотя Николай на гитаре и не пашет, но в сумме нормально звучит, кайф! А мы с Никитой кайфуем за сиротским столиком семимильными шагами, и через полтора часа кайф оборачивается икотой и головной болью.

— А ничего. А? Ничего, это, они рубят,— икает Никита.

— «Большой железный колокол», понимаешь,— икаю в ответ.— У них колокол, бля, а у нас икота.

— Ты кайфуй, сиди. Щас денег дадут.

— Кайфую. Главное, никакого тебе обходного листа.

— Кайф!

Мы получаем сотню пятерками, делим пополам и выходим на мороз. Сугроб на сугробе и сугробом погоняет — зима. Вихляя, подкатывает автобус. Я достаю пачку пятерок и выбрасываю ее на ветер. Подхваченные поземкой, пятерки вальсируют по сугробам.

— Деньги на ветер,— говорю я.— И ты выброси, Никита. Выброси.

— Нет,— отвечает Никита.— На фиг надо. Не выброшу. Ты пижон, старичок. Это работа.

— Это кайф,— не соглашаюсь я.— А кайф не стоит ничего. Ничего, кроме жизни.

— Вот-вот. Вот ее я и приберегу на случай.

Мы садимся в автобус и, долго икая, едем неизвестно куда...

Однако развод затягивается на неделю. Через Витю уславливаемся с «Колоколом» — те концерты, о которых договаривался я или Никита, работаем «Петербургом».

Привычно улыбаясь кайфовальщикам и рок-н-ролльщикам и дрыгая ножками, срываем несколько лавровых венков, получая по сотне от предновогодних студентов, и последний раз выступаем на «сейшене» с закусками в гостинице «Советской», где на последнем этаже арендовали большой банкетный зал организованные кайфовальщики из недавних стройотрядовцев. То ли благосостояние росло, то ли солнечная активность виновата, но в конце семьдесят третьего почему-то «Петербург» приглашали концертировать именно в кабаки.

Играем, дрыгаем ножками, кощунственно поем о том, чем жили вместе и с чем терзались на бесконечной стене.

Нас с Никитой не устраивает отставка по предложенной модели: вы, мол, случайные, а мы вам выплачиваем. Но в Водонапорной башне знают вахтеры Витю и Николая, и сейчас грузовик с глухим кузовом ждет, чтобы отвезти обратно. Вот именно — грузовичок. После концерта получаем сотню за поддельный кайф и долго грузим электродерьмо в грузовичок. Я подруливаю к ленивому водиле и, сунув десятку, прошу сперва подбросить на проспект Металлистов. Туда ехать — делать крюк, но водиле за десятку все равно.

Новый год на носу, и это наш последний общий кайф. Я сажусь в кабину к водиле, а Витя, усмехаясь, говорит:

— Напоследок с шиком, да?

— С шиком, старичок, с шиком.

Мужики залезают в глухой кузов, и грузовичок фигачит по морозным улицам на проспект Металлистов.

Заезжает во двор, останавливается. Выпрыгиваю из кабины и распахиваю кузов.

— Вылезайте, сволочи, приехали.

— Ага,— говорит Витя, вылезая.— Черт, а куда это приехали?

— Ты приехал, куда ты, гад, за милостыней ходил.

Никита поясняет:

— Такой попс, мужики. Сперва подсчеты — потом расчеты.

— Аппарат оставим у меня, подобьем бабки, а после разберемся, кому что.

«Колокол» молчит. Витя сморкается, Никитка плюется, а Николай просто молчит и курит.

— Обжилите? — спрашивает Витя.

— Жилить нечего,— отвечаю я.— Помогайте таскать.

— На хрен еще и таскать,— ругается Николай и уходит с Никиткой, а Витя все-таки остается помогать.

Развод по-славянски с дележом сковородок, самоваров и мятых перин.

Итог нашего восхождения обиден и насмешлив: Никита — минус пятьсот рублей, я — минус пятьсот тридцать рублей, Никитка — по нулям, Витя — минус двести рублей, Николай — плюс двести сорок.

На этом, собственно, история славного детища моего «Санкт-Петербурга» заканчивается, но не заканчивается жизнь, и эта жизнь — веселая и честолюбивая штука — не дает покоя, хотя помыслы мои все на стадионе и надежды жизни все там, но не верится, что более не кайфовать на сцене, бросая свирепые и презрительные взгляды на зал, кайфующий и вопящий.

Я призываю под обтрепанные знамена удалых Лемеговых, сочиняю публицистическую композицию «Что выносим мы в корзинах?», сделанную в трех — но каких! — аккордах, и пытаюсь подтвердить законное право суверена рок-н-ролльных подмостков. Отдельные схватки с «Колоколом», «Землянами» и прочими вроде б и подтверждают силу, но объективный закон уже привел ленинградский рок к раздробленности, бессилию и временной импотенции. Грядут уже времена «Машины времени», когда аферисты-подпольщики и кайфовальщики воспрянут духом и завертятся серьезные дела с московским размахом, помноженным на ленинградскую истерическую сплоченность.

Весной семьдесят четвертого я перепрыгиваю в высоту 2,14 на Зимнем первенстве страны, где побеждаю многих именитых, ближе к лету защищаю диплом, у меня рождается дочь, меня вот-вот забреют в армию на год... Как-то с Никитой в нестандартном состоянии крови и печени появляемся на выступлении «Колокола», где выползаем на сцену и с помощью Вити рубим мой супербоевик «С далеких гор спускается туман», как бы прощание с бесконечной стеной без вершины. После я крошу гитару о сцену под вой кайфовальщиков и прощальный плач «Колокола», после еду один домой, вдруг понимая, что — все, не могу, не хочу, истерия, невроз, хочу тихо-тихо прыгать, бегать и ничего не знать и не слушать.

Продаю свою часть аппаратуры, пластинки, магнитофон, обнаруживая перед собой новую отвесную стену, и стена эта — олимпийская и у нее тоже нет вершины, по крайней мере, для меня.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Фельдшер задирает подол белого халата и мочится на угол деревянного барака. Я останавливаюсь, опускаю на снег ведро, полное серебристого антрацита, а он, фельдшер, не переставая мочиться, повторяет надоевшее:

— Топить, топить надо! Температура падает.

Но температура на котле за восемьдесят, и я не виноват, что холодно в старом дырявом бараке возле пирса. Фельдшер стар, но не дряхл, он морщинистый, худой и низенький, напоминающий то ли морского конька, то ли черепаху без панциря. С утра фельдшер мучается похмельем и пристает к кочегарам.

Возле котла после улицы жарко. Я выворачиваю антрацит в ржавую бадью и начинаю чистить топку. Ажурные и горячие пласты шлака, ломаясь, вываливаются в широкий совок. Я выхожу на улицу и опрокидываю совок над сугробом, коричневатая пыль летит по ветру, а снег шипит и плавится. Тридцатипятиградусный мороз прорывается под свитер, и я со странным удовлетворением вспоминаю про хронический тонзиллит, подтверждающий мое петербургское происхождение.

В моем возрасте, мне тридцать шесть, в моем тонзиллите и нежданном кочегарстве нет ничего трагического. У меня есть серьезное гуманитарное дело, в котором, я чувствую, назревает удача, а кочегарка — это честный способ временной работой оплатить временное жилье с окнами на царский парк и золоченые ораниенбаумские чертоги.

Я возвращаюсь к котлу, закрываю дверь, долго сижу, греюсь, смотрю на огонь и курю. Ох, и надоел же мне этот фельдшер! У меня независимая комнатушка возле медсанчасти, но мне хочется посидеть здесь и не думать о гуманитарном деле, к которому следует принуждать себя каждый день, поскольку еще на стадионе так учили и я свято верю, что принуждать себя стоит ко всякому делу, в котором рассчитываешь на успех. Я и принуждаю, хотя лень кокетлива и влечет, как женщина. До тридцати я был добротным, словно драп, профессиональным спортсменом и до тридцати это было хорошим прикрытием для непрофессионального гуманитарного дела.

Но иногда хочется — чтобы сразу, чтобы без долгих терзаний на долгом пути, каждый шаг познания на котором лишь отбрасывает от загаданной цели, чтобы с простодушием новичка сразу победить и успокоиться.

И вот позапрошлой осенью мы встретились нечаянно на Староневском и поговорили, укрывшись от дождя в парадной.

— Ты ведь знаешь,— сказал Николай,— нас уволили.

— Знаю,— соглашаюсь.— Говорил кто-то.

Мы курим и вспоминаем то, что почти забыли. Николай отмякает и неожиданно признается:

— Жениться хочу.
А я ему:
— Совсем меня запутал,— говорю.
А он:
— Нет, это фиктивно,— говорит.— Год за кооператив не плачу! Представляешь, директор столовой из Конотопа. С золотыми зубами. Пудов на шесть в сумме,— усмехается, прикуривает от зажигалки и продолжает: — Как нас из кабака погнали, Витя на курсы пошел и теперь цветные телевизоры чинит. Говорит, что денег, как у дурака махорки.
— Это называется «приехали»,— говорю я.
— Это может называться как угодно,— говорит Николай.
— Никита, считай, доктор наук. А Никитка?
— Не знаешь? Полтора года получил.
— Как же так?
— А вот так. Кайф!
Мы молчим и молча расходимся, а через неделю встречаемся в общежитии «корабелки» в холодной комнате, заставленной электродерьмом, и наша встреча глупа, смешна и глупа. Смешно то, чем мы занимаемся в «корабелке» полгода, забыв: я — о гуманитарном деле, Николай — о золотозубой конотопчанке. Мы репетируем музыку! Дюжину лет назад я навострил от нее лыжи и так шустро чесал прочь не оглядываясь, что вот опять оказался в замусоренной комнате, полной электродерьма. Спасибо Жаку — длинному, носатому оптимисту. Это он командует электродерьмом и бас-гитарой, на которой и утюжит с посредственным упорством.
— Ты, Жак, похож на Паганеля. Или... не знаю. На изобретателя. На изобретателя пипетки!
Шутка подходящая.
— Ха-ха, изобретатель пипетки! — смеемся мы, а Жак больше всех.
Он хороший парень и давно не пьет.
Мы — это мы плюс Кирилл на клавишах и Серега на первой гитаре, молодые мужики и почти виртуозы. Я же дюжину лет как не первая гитара, я вообще никакая гитара, просто я опять все сочинил, а у мужиков хватило ума, чтобы транжирить полгода и согласно раскрашивать простецкие гармонии. А как же — ведь первая в России, как паровоз Черепановых, первая «звезда» рока! Я так долго не вспоминал этого, что теперь хочется говорить об этом на каждом углу. А Николай, похоже, помнил об этом всегда.
Весной на площадке Рок-клуба в приличном зале, где есть сцена и занавес, куда не попадешь без милицейского или культпросветовского блата, мы выступаем ва концерте перед клубными троглодитами, шишки которых отводят нам место в первом нафталинном отделении. Празднуется какой-то юбилей, и в первом отделении выступают старые пеньки рок-н-ролла. Отдавая должное желаниям троглодитов на ретроспекцию, я знакомлю их со сценическими примочками пятнадцатилетней давности, то есть выбрасываю в зал на потраву троглодитам концертный пиджак, полчаса усердно пою и бегаю по сцене. Троглодиты кровожадно потрошат пиджак, а это значит: я со своим тонзиллитом, а Николай с конотопщицей, мы еще, выходит, конкурентоспособны.
— Один по весенним лу-жам иду туда, где еще я ну-жен. Лужи теребит ветер. Мой город лучше всех на свете!
После отделения за кулисы набивается рота почитателей, таких же старых пеньков, поздравляют с возрождением из пепла непонятно во что и поздравляют так, что по весенним лужам еле добираюсь туда, где еще я нужен.
— Попс! Крутой кайфовый попс! — пристают целый месяц знакомые троглодиты, от которых я шарахаюсь в ужасе, поскольку лишь на время отложил серьезное гуманитарное дело и боюсь, так сказать, испортить себе реноме, а Коля Мейнарт, серьезный критик из Таллина, оказавшийся на концерте, пишет: «Наш ветеран похож на человека, уснувшего у пылающего огня и проснувшегося у потухшего костра. И вот теперь он тщетно дует на угли, пытаясь возродить былое пламя. Грустно, но трогательно».
Наверное, так выглядело со стороны. Но ведь я дул на угли для того, чтобы согреться, а не для того, чтобы приготовить завтрак. Этими завтраками я уже сыт по горло...
Снега нет совсем, но и зелени пока нет. И хотя солнце почти по-летнему оккупировало дни, небо еще холодно, а город кажется сиротским, неприбранным с грязными сырыми газонами и мусором в каналах — этих удивительных сточных канавах, оправленных в классический гранит.
Неуютно и в пригороде Шушары, в котором под афишу, чин-чинарем, мы концертируем за символические, зато легальные рубли вместе с экстравагантно-веселой группой «Аукцион». Эти ребята работают в «новой волне» остроумно и с жениховским напором, который и сублимирует в декадентский спектакль.
Танец с условными саблями, исполненный в Рок-клубе месяц назад, дает право «Городу», так мы теперь называемся, играть второе отделение. Мы играем вдруг настолько собранно, что нас теперь уже (правда, не без происков со стороны приятелей-начальников в современном, узаконенном временем рок-жанре, отведших нам с Николаем место в величественной гробнице романтического начала, в какой-то пирамиде, в неприступности мертвого величия) приглашают, нам позволяют принять участие в очередном фестивале рок-музыки.
И, раскрутив колесо опять, я думаю: «Да, мы утерли нос женихам и показали настоящий „драйв“. А мертвая легенда, как подкачанная шина, обрела упругость, и колесо завертелось. Но тогда у нас было по одной мысли, а вместе, как сжатые пальцы, мы становились кулаком. Теперь только у меня пятьдесят мыслей и все о разном. И у Николая сто пятьдесят. Да сколько еще у наших виртуозов! И мы — как открытая ладонь...»
Я шурую в топке котла длинной кривой кочергой и вспоминаю о том, как опять все сочинил и отпечатал тексты в трех экземплярах и в добродушном учреждении народного творчества мне заверили их печатью, поскольку в моих текстах не было крамолы. Смотря что принимать за крамолу. Ее не было и тогда в нынешнем понимании, как нет ее теперь в понимании прошлом. Главное! У меня не хватает молодости для диктаторства, и я не могу потребовать от виртуоза Сереги, чтобы он сжал свое виртуозство, а не размочаливал по всем тактам так, будто выговаривается на гитаре в последний раз. Я не могу объяснить Кириллу, что все верят в его вкусный и быстрый пианизм, и не стоит ему состязаться с Серегой, выплескивая вместе с водой из ванной младенца моей певческой мысли. А Николаю я уж и подавно не говорю, а надо бы сказать:
— Коля, хорош! Ты, я знаю, отличный и тонкий аранжировщик, а я стихийный недоносок. Но всякое сценическое действие имеет смысл, только если обречено на успех. Нас же спасет только энергия, а во мне ее хватит, пожалуй, на разок-другой...
У меня нет права ломать им кайф, и я не говорю ничего.
А город тем временем почти повеселел зеленью и похорошел.
Я нарочно сочиняю бредовую композицию а ля «я памятник воздвиг», в которой пространно утверждаю, что все теперешнее чушь собачья, а я да Николай, мы еще дадим всем про это самое. Композиция называется «Мужчина — это рок».
Намереваясь подтвердить делом объявленные претензии на мужчинство и желая как-то подпитать серьезное гуманитарное дело, я отправляюсь за неделю до фестиваля в дачный поселок Дивинское с топором и пилой. Володя Мартынов, старинный приятель времен бандитских налетов на «Муху» и химфак, а теперь округлившийся и лысеющий макетист, нечаянно получил заманчивое предложение. Заманчивое предложение — это сруб в двенадцать несчастных венцов, это стропила, это ломовая работа и быстрые деньги. «Что ж, мужчина — это рок»,— соглашаюсь я на его предложение поучаствовать в плотницкой затее. А если рок — это я, то и плевать на злое майское комарье и мошку, от которой на ночь приходится заматываться в тряпье, но даже сквозь тряпье до утра поют под ухом кровососущие гады; а если рок — это я, то и плевать, что бревна мокры и тяжелы, офигеть можно, и может развязаться пупок, но видать его хорошенько когда-то завязали, и мы эти офигенные бревна раскатываем и рубим пазы и замки целую неделю, поскольку рок там или нет, но у Мартынова семья и сыну нужен мопед, а у меня серьезное гуманитарное дело и если б раньше знать, насколько оно серьезно, то, может, и хватило б ума подыскать себе дело посчастливей и повеселей. А повеселей — сочинять песенки и дрыгать ножками на сцене, хотя и это веселье обошлось много кому боком, и, махая топором перед фестивалем, я прихожу к временному выводу: «Ведь и нет, брат, такого дела в нашей пролетающей жизни, которое не потребовало б хоть малости пота и мозолей до крови...»
Тут поспевает и настоящая кровь. Мы заканчиваем нижний венец и на скобах пытаемся приподнять семиметровое, сырое офигенное бревно и посадить на замки. Всесильный рывок — и Володя отлетает в сторону, падает на топор, разрубает запястье, бежит к палатке, я бегу за ним, ищу бинт, пугаясь, глядя, как сочится кровь из зажатой раны... Рана не так страшна, как показалось со страху, но все равно надо ехать в город и накладывать швы. Но все одно я собираюсь ехать в город, чтобы после топорино-комариной недели правомочно заявить с фестивальной сцены все, что думаю о мужчинах...
Да, есть товарищи-начальники, не желающие видеть в нас с Николаем ничего, кроме мумий. В том десятилетии они подходили на цыпочках, и мы их знаем, как солдат томление, и теперь им не в кайф, если мумии оживут и, не дай бог, выскажутся с фараонской бесцеремонностью.
— Почетное право открыть фестиваль мы предоставляем «Городу»,— объявляют на собрании артистов перед боем.
«Ага,— думаю я,— открывающий всегда в пролете. На нас станут электродерьмо отстраивать. Открывающие всегда проваливались на их фестивалях».
— «Модель» и «Алиса» в первый день после «Города», а во второй день с утра... так-так... и вечером «Аквариум»... а потом...
— А жюри? — спрашивают артисты.

Такие-то и такие-то,— отвечают начальники рок-н-ролла.

— Это же враги первостатейные! — не нравится артистам.

— Еще мы проведем в жюри таких людей, которые станут отстаивать принципы и наши идеи.

«Конечно, идеи! — злюсь я.— Всегда находятся идеи и те, кто желает их отстаивать. Ведь безболезненно и выгодно, не умея ничего, иметь идеи и намерения их защитить».

Я думаю и о том, как умеют они сплотиться вокруг любой малости, дающей возможность, не умея ничего, иметь все.

А теперь говорят о билетах, а это тасовка номер один.

Начинается ругань. Делят билеты. И это не смешно.

— Участникам давали по пять! — кричат артисты.

— А теперь по два,— отвечают начальники.

Ругань продолжается. И все делят билеты. Это не смешно, потому что артист готовится к любительскому фестивалю год, тратит время жизни и деньги, и не получает за работу ничего. За его работу получает ДК, продавая тысячи билетов, много кто получает, но меньше всего артист. Будет неправдой сказать, что артист не получает ничего. Фестиваль — это пять концертов, а если тебе как участнику дают пять комплектов, то в сумме выходит двадцать пять билетов, которые перекупщики оторвут с руками, ногами и головой до червонца за билет, то есть, сокращая билетные льготы для выступающих, сокращают их возможную зарплату.

Я всегда говорил, что хуже всего быть рок-артистом, а лучше всего защищать идею и не уметь ничего.

ДК продает тысячи билетов, но не через кассу. По заявкам на предприятия. Наверное, и по липовым заявкам. У маклеров комплект фестивальный стоит до сотни и комплекты берут, еще как берут, ведь на фестиваль приезжают из разных городов провинциальные троглодиты, и им не жаль на троглодитство своих провинциальных денежек.

Ругань ни к чему не приводит. Выдают по два комплекта. Я бы артистам объяснил, как получить по пять в одну секунду. Я же знаю, как тасуются на билетах в принципе, и в принципе чую крутежку за версту, но мне просто лень организовывать восстание. Наверное, приятелям-начальникам потому и радостней думать, что мы с Николаем мертвые, великие мумии.

Я подхожу после собрания и говорю:

— Первыми — это ж подставка. Я и так вылезаю раз в пятилетку, а вы меня подставляете.

— Нет. Ты не прав. Во-первых, «Городу» логичней открывать фестиваль. Ты сам понимаешь. Во-вторых, выкатывает ЛДМ «Динаккорд», и вы успеете покатать программу.

— «Динаккорд»? — спрашиваю я.— Будет «Динаккорд»? И дадут покатать программу?..

В последний день весны почти жарко. К двум часам лечу в ДК катать программу на «Динаккорде». До-мажорная губная гармошка «Хоннер» со мной, театральная драная футболка со мной, театральные тапочки со мной. Ага, я же звезда рок-н-ролла и от меня до Земли несколько световых лет!..

Сценический образ подсказывает бытие — я мужик с топором в руке, от меня должно нести махоркой и сивухой. Решили «Городом» сгоряча: в конце отделения под гвоздящий «риф» Сереги колуном порублю на дрова дюжину чурок. Но не нашелся колун и желающие приволочь чурки. Зато Николай обещал подыскать на стройке, которую охраняет сутки через трое, пару новеньких, но незаметно расколотых кирпичей. Мужчина — это рок! Буду поддельно ломать кирпичи на сцене. Хватит с троглодитов и липовых кирпичей...

Я прилетаю в ДК гонять на «Динаккорде» программу, но «Динаккорда» нет еще, зато есть Николай. Он стоит злой с приятелем возле запертых служебных дверей. Приятель желает пройти на открытие фестиваля и заготовил целую сетку классических русских взяток.

— Не открывают,— говорит Николай не здороваясь.— Охренели.

Я стучусь в стеклянную дверь.

«Мы этому вшивому домику культурки план за так делаем, а они...» — думаю, но не говорю ничего Николаю, а спрашиваю:

— Жак где?

— А-а! Изобретатель пипетки. Он внутри, говорят, на сцене ковыряется.

— Короче,— говорю.— Пойдем-ка на солнышке загар половим.

— Пойдем к реке,— говорит Николай.— У Пети тут... Лучше у реки.

«Понятно,— думаю.— Конечно, Петя. Как нас эти Пети любят, и как не прочь теперь с ними поякшаться Николай».

— Пойдем,— соглашаюсь,— хоть к реке, хоть куда.

ДК чист, благообразен, светел, а за ним мазутный обрыв к Неве.

По нему мы спускаемся к самой воде и устраиваемся возле ржавой бочки. Петя шуршит свертком.

— Ты не забыл — нам играть сегодня. Сыграешь?

— Нормально, все нормально, старик.

— А это? — Я киваю на Петю и его сверток.

— Только лучше будет.

Тепло так, и вода рядом, сидеть бы и сидеть. И никакой, главное, истерии после плотницких забав. Кайф!

— А кирпичи! — спохватываюсь я.

— Вспомнил,— усмехается Николай и расстегивает сумку.— Держи.— Он достает гладкий яркий кирпич с симметричными дырками, словно это сырный оковалок.

— Совсем не видно, что сломанный.

— Целый день искал!

Николай мне не нравится. Но я не диктатор, и его право нравиться или не нравиться мне.

Над обрывом появляется Жак.

— «Динаккорд» е? — спрашивает Николай.

— Нет,— кричит Жак с обрыва.— Везут.

— Пойдем? — предлагаю Николаю.— Настроиться надо. Да и с барабанами разберешься.

— Пускай они меня позовут,— говорит Николай.

— Ладно, сиди. Позовут, когда надо будет.— Я поднимаюсь, но и Николай поднимается.

— Дождешься их,— говорит.— Ладно, покачумали.

Мы поднимаемся к Жаку. Тот посматривает на Николая и посмеивается. Возле ДК уже шеренга милиции и толпа троглодитов. Нас пропускают в стеклянную дверь служебного входа и мы находим свою артистическую комнату.

— Виртуозы явятся, нет?

— Все нормально. Они за «примочками» полетели.

Слоняюсь по полупустому ДК, сижу в буфете над стаканом сока, мотаюсь по фойе, где разглядываю разноцветную выставку с фотографиями модных рок-артистов.

Наташа-фотограф смеется за спиной:

— Я ваших фотографий не делала. Скажи Николаю спасибо. Слайды мои посеял...

«Плевать мне на твои фотки»,— думаю, но тут же неожиданный холодок обиды растекается под сердцем. У Наташи-фотографа целый архив негативов. Она снимает уже лет... не знаю сколько, но много. Даже штамп свой — «Наташа: поп-фото». Желающие могут приобрести фотки любимых рок-артистов по рублю за фотку. А Николай, значит, ей насолил, и она, выходит, не станет нас продавать по рублю. Да и кому мы нужны! Были б нужны, намолотила б кубометр фоток и не помнила б обид. Я всегда говорил, что рок-артистом быть хуже всего.

Но хуже всего то, что желанный «Динаккорд» привозят только за час до начала. Сто человек, наверное, бегает с причиндалами рок-труда, но они-то могут спрессовать время и извлечь через час хороший звук, а я вот, мне, можно сказать, арии петь, «Бориса Годунова» и «Фигаро» одновременно, если по качеству и — нет, то по отдаче трижды — да; а вот как мне в оставшихся шестидесяти минутах собрать себя, Николая и наших виртуозов в кулак, привыкнуть к залу и звуку в зале, походить по сцене и пробно подрыгать ножками и по десятку тактов из каждой арии врубить перед пустым залом?..

Жак чокнулся от сотни бегающих человек, а ведь ему лично следует разобраться с пультом, которого он до того и в глаза не видел. Кто только не достает Жака! Со сцены орут виртуозы, просят звука в мониторы, а он смотрит в точку и ноль реакции.

— Жак,— отвожу его и впихиваю в кресло где-то в девятом ряду.— Жак, слушай меня внимательно.

— Все будет нормально,— отвечает Жак.

— Да, все уже нормально, но послушай, Жак. Ты слышишь? — Жак не слышит.— В конце мой номер с гитарой. «Мужчина — это рок». Да, Жак? Ты обещал притащить двенадцатиструнку. Притащил?

Жак не слышит. Я хлопаю его по плечу и предлагаю:

— Выпить хочешь?

До него доходит. Он мотает головой и отвечает со смешком:

— Нет, я не пью. Знаешь, я екнусь сейчас. Ничего в пульте не понимаю... Все будет нормально.

— Гитару ищи.

— Гитара. Конечно!..

За кулисами тасовка из кучи парней, но больше из девок, которых провели без билетов по липовым спискам артисты за разделенные симпатии. Вот девки и колба-

сятся тут. В зал уже впускают троглодитов, и трендит звонок. Из тасовки возникает Жак с самопальным «Стратакастером» типа «Джипсон».

— Я ж говорил,— говорит Жак, и я примеряю гитару, как примеряют чужой пиджак, когда нечего одеть на вечеринку и некогда выбирать.

— Ты говорил,— соглашаюсь я.

В нашей комнате Николай и Петя, а виртуозы, кажется, еще возятся с «примочками». Николай выглядит прилично и говорит:

— Не сходи ты с ума. В нашем возрасте это не прилично.

— Тогда скажи Пете, чтобы доставал из свертка.

Мы так сидим недолго плюс «пепси-кола» из домкультуркиного буфета и уже балагурим, а Николай говорит:

— Главное, чтобы Кира не завелся.

— Хватит и Сереги. Ты прав.

Объявляют в динамике на стене, что пора выползать, и мы выползаем в театральных тапочках, футболочках, джинсишках и пиджачках, чуть покачиваясь от переживаний, выползаем в тасовку коридора и и кричу:

— Кира где?

— Я здесь,— возникает Кирилл.— Мой выход.

— Твоя увертюра, Кира. Дай им.

Там сцена желтеет от огней и шум троглодитов. Туда-сюда, объявляют в микрофон, фестиваль, значит, жюри, вот, козырь на козыре и то да се, пару шуточек, свет сжимается и в полусвет выходит Кирилл увертюрить на клавишах. В полусвете сцены Кира гоняет по клавишам рояля, электроклавишам органа и сентизатора табунок тридцать вторых и шестьдесят четвертых. Заряжает в программу булькающий бас, отбегает на дюжину саженей, а я говорю мужикам:

— Готовность!

Кирилл разбегается и в прыжке бьет по клавишам кулаком, вызывая взрыв звуков в «Динаккорде», а мы выпрыгиваем под взрыв клавишей и взрыв троглодитов. Кайф!

Серега начинает гвоздить «рифом», на восьмом такте набегает на «малые» палочками Николай, а в девятом я запеваю «хит» из прошлого десятилетия: «Двери свои открой...» Тогда это волновало кайфовальщиков... «Смотри, наши души, наши души летят...» Теперь у Сереги супер-«риф» и супер-«Динаккорд» у всех нас. «На древней дороге, где свет, пыль и мир...»

Древняя дорога продолжается, на ней мы в арьергарде времени и н вря ие настоял, чтобы не вылезать с «Древней дороги». Coda! И троглодиты прохладно постукивают ладонями.

— ...На столе стакан, а в стакане чай...

Вперед по древней дороге в пыли, поднятой обогнавшими лимузинами, на скрипучей арбе, на медленной арбе в пыли одиночества и отставания...

— Посидим молча, посидим! Посидим молча!

Coda! И троглодиты, вняв призыву, сидят молча.

Ня ноты молчания. Гвоздят Серега и Кира «рифом», одолженным у «Куин». Пора уже дрыгать ножками и выколачивать молчание из троглодитов, если не выходит чистым, понимаешь ли, искусством. И дрыгаю, благо бывший профессионал в смысле ног. Ну и черт с ним! На сцене за успех брата задушишь. Coda!.. Чуток шума есть и пара одобрительного свиста пополам с неодобрительным.

— Вперед, Серега!

Мы убегаем со сцены, и Серега один в одиноком белом луче наступает на троглодитов своим виртуозством и ему минусово свистят враги кивков в «хард», но у Сереги не кивок в «хард», они ничего не понимают в виртуозстве, им бы только неформально объединиться вокруг все равно чего, и Серега «перепиливает» их минусовые свистки, оживляя одобрение, после которого к Сереге присоединяется Николай, Жак и Кира, а мне три минуты отдыха и мыслей: почему не катится и где «драйв», почему в пригороде Шушары катилось, а теперь «драйва» нет? Тут не объяснишь — нет и нет. И нет времени разобраться, остановить арбу и на обочине пикникнуть и ля-лякнуть под глоток родниковой воды и сигарету. Три минуты, как три копейки, уже в прошлом, а я на сцене опять и недавнее прошлое мое стоит за кулисами...

Драматическая, программная моя ария. В ней хотел чистым плачущим кристаллом обо всем разом. Без маски, без стёба, без шизовки, без всего того, что обрекает на успех, без теперешнего декаданса, без подкрашенных губ и глáзок, кокетничающих с патологией, без всего того, что оккупировало сцену моего любимого жанра, от которого я чесанул много лет назад...

Припев наступает из соль-мажора в си-минор, в фа-диез-минор, в си-минор, как «у попа была собака», по кругу, кайф!

— Слышишь ли хруст в сплетенье ветвей? — Я слышу хруст в голосовых связках, их нет смысла жалеть раз в пятилетку.— В этой ли чаще пропасть нам! — Через двадцать минут голос от форсажа сядет, станет першить в горле, но через двадцать минут

будет все равно.— Сплетенье жизни в сплетенье смертей! В этом городе, как в чаще лесной! — Соль-мажор, ми-минор... по кругу, по кругу, кайф!..— В этом городе шаг за шагом! нота за нотой проживу себя-а! Кто мне поможет и кто подскажет, как жить в этом городе, в этой чаще лесной! — Кажется, связки лопнут, словно мачты в бурю, но паруса уже закатаны к перекладинам и падает голос с хрипящих высот в риторику полушепота: — Кто там идет за тобой? — За ним синкопа, как хромая собака, и опять: — Кто там идет за мной? — В полунапряжении, готовясь к броску в третьей части, когда голос с Серегиным «рифом» в одну дуду станут заполнять четверти си-минора и ми-минора, спотыкаясь на фа-диезе, а я поперек такта программно завою: — Спаси меня («риф» и подпевка унисоном), спаси! — Пропускаю четверть, догоняю фоновым речитативом: — Так надо, да! («Риф» и подпевка унисоном.) — В этом городе, кто поможет мне! — спотыкаюсь на фа-диезе и обрываюсь полукатарсисом в наступившей code...

Потом я помню в общих чертах. Я дрыгал ножками и изображал тупое фуэте. Болело плечо, натруженное топором, и спина, офигевшая от бревен. Я дрыгал ножками, крутил фуэте, поглядывая, как Николай колотит, и переврал несколько раз слова, смазав две codы.

Странно, но теперь между залом и рок-артистами отношения довольно враждебные. С неформальными объединенцами надо заигрывать, и с ними заигрывают те, кто работает в рок-н-ролле профессионально. Слава богу, мы не работаем профессионально, и, слава богу, в фестивальном зале фифти-фифти неформальных объединенцев и знакомых зрителей, последние и оживают назло неформальным объединенцам и стучат ладонями уже в нашу пользу...

Нарочно всех ругаю и прославляю себя, подбрякивня на «Стратакастере» типа «Джипсон». Мужики отвалили со сцены на пока, и теперь мой сольный номер. Нестандартно долго всех поименно ругаю и хвалю себя, и только под завязку выбегают мужики и в последнем припеве, когда я хрипло декларирую уже и себе надоевшее: «Мужчина — это рок!» — обозначают мужики контрапунктом «Барыню», а я сбрасываю с плеча «Стратакастер» типа «Джипсон» и лечу на авансцену, где меня поджидают кирпичи. Гвоздь, одним словом, программы. Троглодиты уже не рычат на нас и, чтобы закрепить в их явчных мозгах родившуюся доброжелательность, поднимаю первый кирпич...

Кирпич новенький такой — фиг подумаешь, что сломан. Шмяк! С размаху о колено поддельно разбиваю разбитый и неуправляемая половина летит в первый ряд, задевая заслуженную певицу эстрадного жанра, оказавшуюся там по большому блату, а вторая половина попадает в усилитель «Динаккорда» и гасит в нем лампу. Ломаю второй кирпич, рву на себе футболку — ух! мужчина — это рок! — и убегаю за сцену. Можно было просто натащить кирпичей груду, а не репетировать музыку полгода неизвестно зачем.

— Крутой кайфовый попс! — такого более знакомые троглодиты не говорят, только многозначительно хмыкают за спиной, а в газете «Смена» через неделю читаю:

«Открывала фестиваль группа „Город“. В ее составе мы увидели Нашего Ветерана — живую „реликвию“ ленинградской рок-музыки. Жаль, постоянные гитарные „запилы“ и невыразительный вокал подпевки не позволили Нашему Ветерану доиести до зрителей свои интересные тексты».

Осенью в Рок-клубе по рукам ходили бумажки, сочиненные тамошними мыслителями, и в них:

«Группа „Город“ была с ностальгической теплотой встречена теми, „кому за тридцать“, и с глубоким недоумением — молодежью. Дело в том, что руководители „Города“ — Наш Ветеран и Николай Корзинян — в прошлом являлись организаторами первой в Ленинграде русскоязычной рок-группы „Санкт-Петербург“. Это было еще в начале 70-х, и легенды об этих сказочных временах передаются из уст в уста и по сей день... Наш Ветеран неоднократно предпринимал попытки „камбэка“, и в этот раз все, казалось, должно быть удачно: Корзинин — на барабанах, „Жак“ Волощук (экс-„Пикник“) — бас, блестящий гитарист Сергей Болотников да и сам Ветеран в неплохой форме

Но что-то не сложилось. Хотя „ветеранские“ тексты — одни из самых интересных, они совершенно русские, а нежелание „Города“ становиться в позу „героя“ глубоко симпатично. Но для Нашего Ветерана — это хобби. А хобби — есть хобби. Результат — неполная отдача на сцене... Так что, увы, все шоу „Города“ смахивало на пышную свадьбу, где возраст невесты исчисляется седьмым десятком. „Горько“! И обидно»...

Иду в ледяных сумерках вдоль пирса, вдоль заборов и кирпичных зданий к вокзалу. В электричке тепло и дурно пахнет. Мне ехать час почти, дремать и зевать. В безделии часа и зевоте я вспоминаю, как в семьдесят четвертом, развалив «Петербург», Николай, Витя и Никитка полетели, закусив удила. Они стали первыми номерами среди концертирующих перед рок-н-ролльными люмпенами и два сезона поддерживали кайф на высшей отметке, пока не оказались в Красноярской филармонии, куда их заманили

пресловутым длинным рублем. Ох, намерзлись и наголодались, рассказывал Витя, они там, обжиленные в итоге должностными филармонистами. Их наняли в «чесовую» команду подыгрывать певцу-махинатору, и высшая отметка их кайфа не канала вовсе в тамошней филармонии. После «Колокол» перевоплотился в кабацкий бэнд и сперва успешно «карасил» в гостинице на Чегете, куда съезжалась окологорнолыжная публика. Там мужики отхарчились на «карасях» и привыкли к сытой жизни. «Караси» присылают зв персональный музыкальный заказ, он стоит пять или десять рублей, и случалось «карасей» за вечер хоть пруд пруди. А местные кавказские жители расплачивались анашой. У них анаши больше, чем денег, хотя и денег навалом.

Тогда мужиков и накрыли случайно. Приехали серьезные люди и нашли в джинсах у Вити «масть». Серьезные люди приехали разобраться по поводу предыдущего кабацкого бэнда, через который в Ленинград шли крупные партии «масти». Витя выезжал в Ленинград отнекиваться и отделался в итоге легким испугом, но «караси» на Чегете шли и шла «масть». Никитка закайфовал серьезно и сел на кокнар, а теперь вот — на полтора года. Он был уже на кокнаре, когда его пригласили в Москву работать в известном, а теперь так и просто маститом проф-рок-оркестре. Он там здорово поиграл на скрипке и гитаре, вернувшись после в Ленинград с короткой славой и без единого гроша. Он мне показывал при нечаянной встрече венгерский музыкальный журнал, на обложке которого красовался в полный рост с «Телекастером» наперевес. Внизу обложки, в ногах у Никитки, помещалась небольшая фотография «Лед Зеппелин».

Мне час почти ехать до города и, вспомнив Никитку, я стал вспоминать тех, кому кайф рок-н-ролла вышел боком. Н-да, здесь мы похоже, вышли на уровень мировых стандартов.

Я вспоминаю Валеру Черкасова из группы «За», его толковые суждения о музыке и суждения вообще и то время, когда он решил не писать диплом в Университете, а стал «дышать» химией. Была такая у рок-люмпенов мода, и мне тогда это казалось смешным. Но, вдруг, я узнал, что Валера пытался покончить с собой: взял два скальпеля, упер в стол и уронил на них голову, стараясь попасть скальпелями в глаза. Он не умер, даже уцелел один глаз, но не уцелел разум. Он сам хвастался диагнозом: параноидальная шизофрения. Он стал страшен в общении, словно черные щупальца безумия душили тебя в его присутствии. Говорят, он пытался переложить на музыку Конституцию, озвучивая ее двумя аккордами параграф за параграфом и записывая на магнитофон. Через несколько лет он умер на кухне своей однокомнатной, жарким летом умер в одиночестве, и пришлось жильцам ломать дверь — страшный запах разложения проник в соседние квартиры.

Пусть не многие так «кайфовали», но зато с лютым российским упорством. Несколько лет назад умер Александр Давыдов из популярных «Странных игр». Несколько отличных музыкантов отсидело за «кайф» сроки. Добрый мальчик с мягкой улыбкой, приличный поэт, сочинявший тексты для Николая, попался в милицию с двумя граммами «пластилина». Отделался легким испугом условного срока. Мальчик проскочил зрелость и похож на старика.

Да и без «кайфа» кайф рок-н-ролла поразбросал и покосил многих. Российское наше лютое упорство!

Жора Ордановский лет десять упорствовал, пока его «Россияне» не стали в начале восьмидесятых первой рок-группой города. В январе восемьдесят четвертого Ордановский пропал без вести (в мирное-то время!), и недавно в Рок-клубе провели концерт в его память.

Был у Вити Ковалева приятель, друг детства. Тоже Жора, тоже, как Витя Ковалев, мастеровой, с выразительным лицом парень и крупными рабочими руками. Тот Жора очень любил «Дип Пепл». Он так любил «Дип Пепл», что изловчился жениться на английской девице и уехал в Англию, чтобы ходить на концерты «Дип Пепл». Ходил, наверное. Приезжал через несколько лет, привез Вите Ковалеву «фирменные» басовые струны. Сидел у Вити на кухне и молчал. Лишь сказал, что работает садовником. И все. Витя Ковалев говорил, будто у английского садовника Жоры такие руки, такие мозолистые и натруженные, что руки нашего тракториста по сравнению с его, Жориными, сойдут за холеные руки пианиста или фокусника.

А Мишка Марский, да-да, Летающий сустав, умотал то ли в Бостон, то ли в Чикаго. И умотал, свинья, даже не попрощавшись.

Я бы мог много вспомнить разного и страшного, на целую повесть! Но электричка уже тормозит возле платформы Балтийского вокзала, и пора вспоминать, для чего я, нарушив трудовую дисциплину, оставил кочегарку и прикатил в город...

У меня в трудовой книжке имеется выдающаяся запись: «Руководитель семинара по рок-поэзии». Работай я в собесе, за такие записи не начислял бы пенсии. А мне и не начислят, поскольку никакой рок-поэзии нет. Однако осенью восемьдесят четвертого я заключил с Домом народного творчества договор, по которому обязался обучать слушателей семинара этому несущественному ремеслу.

На общеклубном собрании торжественно объявили о начале работы семинара и в ближайший понедельник в скромной комнате меня поджидало человек с тридцать. Аудитория представительная. От квазихиппи до резких мальчиков в черных кожанках с бритыми макушками. Троглодиты, олухи царя небесного и неформальные объединенцы — так расписал их мысленно по сословиям. Я хоть и полный георгиевский кавалер рок-музыки, но предстоящее меня волновало. Я прихватил гитару и побрякал олухам перед разговором, как бы давая понять, что свой. Свой не свой, но работа началась.

Но ведь это невыносимо трудно заниматься тем, чего нет!

Сперва я пытался вести разговор в торжественно-академическом стиле и несколько распугал немытых рокеров амфибрахиями. Работать приходилось в потемках, методом тычка и, тыкаясь так, я набрел на «Поэтику» Аристотеля и стал плясать от «Поэтики», как от печки. Получилось ненавязчиво и весело. Немытые рокеры приносили сочиненные тексты, распевали их под гитару, а мне приходилось каждый раз устраивать представление, дабы, ругая услышанное, не тревожить революционных рок-н-ролльных чувств и не заслужить обвинений в конформизме. За достижение почитаю разоблачение плагиата в творчестве одного троглосеминариста. Подправленный до народного ума текст Гумилева выдавал за свой.

Стиль, вроде, был найден, дело двигалось, но как-то пришли трое вежливых таких, в кожаных курточках, с челками, внимательными взглядами и полуулыбками. С магнитофоном пришли и вежливо слушали мои разглагольствования, а в перерыве один спросил:

— Мы хотим показать и обсудить тексты.

Настроение у меня было приподнятое, я только что удачно шутил и разделывался с троглодитскими сочинениями.

— Что ж, давайте тексты. А группа как называется?

— «Труд».

— Оригинальное название! У вас и запись есть?

— Да,— отвечает подошедший, а те, что с ним, уже прилаживают к розетке магнитофонный провод.

— Что ж, давайте тексты,— повторяю.

Мне протягивают картонную коробку от бобины, на которую наклеено «Труд», вырезанное заглавие всесоюзной газеты, и несколько газетных информаций.

— А где тексты?

— А вот. Мы исполняем уже опубликованное и хотелось бы залитовать. Ведь опубликованное литуют сразу, да?

Немытые рокеры (конечно они мытые, просто я так привык их про себя звать) собрались слушать. Бобины закрутились, из динамиков полетели смутные звуки,— выкрики, бряканье нестроящих гитар, а я стал вчитываться в опубликованные тексты. Одна информация говорила о том, что неподалеку от Бонна собрались неонацисты на очередной шабаш, то да се, и, мол, неонацисты активизируются. В «музыкальном» варианте смысл выворачивался наизнанку и доходил до слуха лишь многократный рефрен, исполняемый под стук пивных кружек: «Неонацисты активизируются! Неонацисты активизируются!» Дальнейшие композиции развивали тему. Немытые рокеры веселились, приняв все за шутку, а я растерялся... Я родился через несколько лет после войны, а они после первых полетов в космос. Мы, вроде, говорили про одну музыку, про «Битлз», «Стоунз», про «хард», «рэггей» и прочее, но принадлежали, получалось, к разным цивилизациям. Я не мог шутить над такой... музыкой будет сказано неправильно... а они шутили, а эти трое еще и сочиняли такую.

Немытые рокеры, эти в основном славные олухи, троглодиты, объединенцы и девушки, искренние в своем неосмысленном до конца несогласии с ложью и жестокостью жизни, они ждали моей реакции, представляя, видимо, как я стану возмущаться и буду нелеп в клокочущем гневе. Я же хотел не возмущаться, а набить хари молодцам из «Труда», спустить их с лестницы, чтобы отбили они свои скотские мозги... Но это было б поражением, и я не набил им хари за провокацию, за Джона Леннона, за мою минувшую юность. Нет, я не проиграл, но и не нашел путей к победе.

— Вы их залитуете, да? — Трое вежливых в курточках смотрели с полуулыбочками.— Ведь опубликованное литуют сразу, да?

— Да,— согласился я и не проиграл,— это опубликовано... Но ведь есть авторское право. И я залитую вам тексты, если вы принесете согласие авторов заметок на исполнение,— но и не выиграл.

Курточки застегнуты, магнитофон собран, ушли без улыбочек и даже без полуулыбочек, но и мне не до смеха...

Руководство Дома народного творчества посчитало, что условия договора я выполнил, и со следующей осени семинар продолжился. Решил так: пусть немытые рокеры учатся стройно высказываться по поводу рок-музыки. Учась высказываться, они разберутся с мыслями, а разобравшись с ними, научатся стройно высказываться на

бумаге, то есть сочинять слова, если неймется, к музыке рок. Но немытые рокеры — бу-бу, в кайф, не в кайф — робко рассуждают и коротко. Удлинять беседы приходилось мне опять же, и к концу второго сезона я навострился рассуждать о рок-н-роллах пространно и красиво. Хоть с закрытыми глазами, хоть посреди сна или любви, оторви меня от гуманитарного моего дела, от борща, в парилке к голому с веником подойди и, отдышавшись, я скажу:

— Уже много лет разрушается национальное музыкальное мышление у россиян, и можно определенно сказать, что у теперешнего поколения его просто нет. Поставьте в ряд мальчиков разных национальностей, от каждой республики по мальчику, и попросите спеть. Всякий республиканский мальчик споет национальное, а российский мальчик споет про Крокодила Гену...

Если после бани, борща, любви, сна — дать собраться с памятью, и докажу это примером из собственной жизни. Мы уже не мальчиками оказались во Франции. Нам уже тюкнуло по восемнадцать и на банкете мы могли хватануть винца. На банкете французы горланили хором общие свои песни, вдруг смолкли, предложив нам, из России, спеть. Нас оказалось человек шесть из команды в боковой от главного зала комнате и нам очень хотелось спеть им так, чтобы... Но проще с гранатой под танк! Будет уместным сутрировать ситуацию до кощунства! Мы не знали полностью ни одной песни! Очень, до дрожи хотелось спеть им так, чтобы... Спели «Калинку». И в ней мало что помнили, кроме «саду ягодка малинка, малинка моя». Собственно, «Калинка» не народная песня, а стилизация, так что позор на наши головы.

— Из чего складывается национальное музыкальное мышление? — начну я вопросом, если уж начну высказываться.— Я не теоретик, конечно, но думаю, подобное мышление складывается из религиозной музыки, которую человек слышал и исполнял в церкви или на улицах во время религиозных шествий и музыки бытовой, самосочиненной, что сопровождала россиянина от рождения до смерти, называемой условно теперь народной. Церковь отделили от государства и атеизм — стержень нашего мышления. Так! Но почему прекрасную церковную музыку отделили вместе с культом, вместо того чтобы переправить ее на профессиональную сцену и оставить в сознании? Видимо, страшно, что проскользнут в памяти слушателей отдельные мало понятные им церковно-славянские слова. А западную религиозную музыку можно. А Бортнянского нельзя... Бытовая же народная музыка осталась в сельской местности, да вот из сельской местности почти уехали все в города. Бытовая народная музыка погибла вместе с прежней полупатриархальной деревней...

Говорю как человек сугубо городской: музыкальный вакуум в наших головах, и его заполняют восемь с половиной композиторов и пять с половиной поэтов-песенников. И они не виноваты в этом. Почему и не сочинять песни за тысячи рублей авторских отчислений? В век стандартной еды, одежды, мыслей мы стандартно поем про крокодилов, динозавриков, кашалотиков, дельтапланы, каскадеров, виндсерфинг, много про что поем, про то, что лучше бы и не знать... Но тысячи и тысячи рублей в наше танцующее и кайфующее время стало возможным заколачивать и на отечественном роке, так что и российский рок почти раздавила холодная махина стандарта...

Помню, был влюблен сокровенно в девушку, страдал. Увидел через несколько лет случайно и узнал, что пошла она по рукам...

Ах, да! Два сезона мучил и раздражал семинар некто Д. С выбритым пробором, отутюженный, всегда в галстуке, как комсомольский секретарь, поэт постпостсимволистского толка прибился случайно с напором жениха. Рвался писать манифесты и декларации, несколько раз предлагал свергнуть меня и назначить его. А третий сезон начали без Д. Он исчез. Наверное, его жениховский напор увенчался успехом в естественном направлении.

У меня набралась полная авоська рок-н-ролльных виршей, и сгоряча я стал проводить изыскания по семиотике рока и, кажется, нащупал контуры знака неавторства и знака вторичности. Словно прошлогоднюю солому корова, так начинающие немытые рокеры дожевывают «сны», «свечи», чертовщину и мистику, дзэн, медитацию, наркотики.

«Век информации. Мир растворен в газетных столбцах. Хочется петь, но губы зажаты в тисках», потому что «жалкая пародия на Homo sapiens», «нагим ты с рождения впал в нирвану», «эти стихи мне нашептывал демон», и «я хочу, чтобы путь познания был долог», чтобы «уйти прочь с наступлением рассвета», хотя «гордый демон на стоянке такси спрячет крыло под серым плащом», так что в итоге «смотри на мир сквозь цветные стекла, пока часы не пробили полночь». Такой, так сказать, круговорот личности в природе. Такая путаница. Такая каша в голове. Гречневая наша российская каша рок-н-ролла.

Но ведь они хотят высказаться, они неловко прорываются сквозь чащу родного наречия...

Все может быть, пусть даже дзэн и медитация, черт с ними, но не может быть наркотиков. Как им объяснить, как рассказать о черных щупальцах безумия? Хорошо,

что пока метафорические наркотики у большинства. Сколько уже рокеров подохло от таких метафор, ставших былью! Ведь это тулупчик с чужого плеча, а точнее — джинсишки с чужой задницы, а примеривать джинсишки с чужой задницы — нет, это не талантливо.

Запад! С Запада к нам пришли все основные виды цивильного искусства — балет, станковая живопись, поэзия, роман. Теперь пришел сверхцивильный, урбанистический рок. Но раньше, что ни приходило, не касалось непосредственно неграмотного большинства. Раньше рынок цивильного искусства был узок и не было стандартов массовой культуры. Пришел Байрон, а стал Пушкин, пришел аббат Прево, а стал Достоевский. Дело не в примерах! Дело в том, что были «Битлз», в приняли «Бони М», был Джимми Хендрикс, а приняли «Модерн Токинг». Были великие рок-артисты, а навязывать стали стандарт эротики и звуков. А по собственным росткам национального рока прошлись тяжеленными сапогами глупости. Но теперь зачесали в макушке и, пропустив за последнее десятилетие через профсцену всю пошлятину доморощенную и «уценёнку» рока «забугорного», заморозив в прессе Шевчука из «ДДТ», Науменко из «Зоопарка», Гребенщикова из «Аквариума» и прочих разных, проросших на гибельных наших суглинках и болотах, проснулись вдруг, выдернули из равноправной грядки «Аквариум» и чистят, приглаживают, причесывают, шелушат ботву, готовя к употреблению Гребенщикова как поп-звезду самопального свечения... Но дело не в «аквариумах» конкретно. Дело в массовой глупости или трусости проявить ум...

Смотрю передачу: гонят рок-номер, после его обсуждают должностные лица, сиди в кресле,— так да сяк; гонят еще рок-номер и опять рассуждают. Не плохо так рассуждают, а, вот, в рок-номере на всю страну рок-мальчики пели про то, что, дескать, «трава», она, туда-сюда, моя любовь к тебе больше или меньше любви к «траве» и прочия, прочия... «Трава» — это марихуана, анаша, гашиш. Это каждый знает. А каждый третий из тех, кто знает, курит. А знают ли те, кто в креслах? Не знают? Нечего тогда сидеть в креслах и заниматься тем, в чем не рубишь...

Сколько-то лет назад удивился, когда понял, как поперла в средства массовой информации поп-культура. Затем вместо удивления пришла уверенность: это все враги шуруют! Хотят нас изнутри взорвать! А теперь думаю — какие враги! Дураки! С нами в идеологии воевать не нужно. Главное дуракам не мешать — они нас в итоге изнутри и взорвут...

Ладно! Уже третий сезон я обучаю троглодитов, олухов царя небесного, неформальных объединенцев и девушек.

Мы с Николаем не предавались на сцене каннибализму, и успешным наше концертирование можно назвать с натяжкой. Но все-таки, если шибко захочешь, просто стать звездой рока, если был ей раньше. Этому и не научишь. Это где-то в печенке, в поджелудочной или предстательной железе.

А как им хочется! Как бы им объяснить, что имеются занятия в мире и понадежнее!

Как-то не так на небе расположились звезды и порядочный семинар превратился неизвестно во что. С каждым разом все больше пролетариев рок-труда забредало на занятия. Особенно после того, как перед ними сильно выступил кудрявый талант из Новосибирска — Наумов. Сильный гитарист, словообильный и торчковый, клевый, кайфовый автор текстов. И правда, да-да, все очень сильно, но опять это заигрывание с наркотиками в текстах... Пусть торчково, кайфово, клево сделано, но — не надо. Ведь метафора искусства кончается могилой жизни. Но как объяснить? И кто объяснит мне, почему в Ленинграде наркотик приобрести проще, чем туалетную бумагу?

В ноябре прослушивали трио «Зря». Троглодитов и остальных набилось человек с пятьдесят, и, собственно, обсуждение оказалось сорванным. Трио «Зря» медитировало. Это мы знаем — медитация. Такая штука. Аккуратная музыка, а кайфа нет, потому что нет «драйва». «А без кайфа,— говорят рокеры,— нет лайфа».

А в конце декабря пришел Фрэнк. Есть такой человек. Не хочу вспоминать, но вспоминаю Валеру Черкасова, когда встречаю Фрэнка. Он долго приставал, просился выступить на семинаре. Мы договорились. И в конце декабря пришел Фрэнк на занятия, и вместе с ним пришло сто человек неформальных объединенцев, настолько неформальных и настолько объединенцев, что мои олухи, троглодиты и девушки забились по углам, а пришедшие с Фрэнком валялись на полу, курили, входили, выходили и плевали на руководителя. А Фрэнк... Унты стоптанные на каблуках, рваные джинсы, волосня с перхотью ниже плеч и глаза в разные стороны. Бледное, серое лицо и высокий, гадкий, бесовский голос мучает блюз:

— Свобода есть, свобода пить, свобода! Свобода спать с кем хочешь из народа...— или:

— Я — бич, бич!..

Автостоп, хипповые прокламации про то, как он, такой-сякой, не так уродился и прочая антимилитаристская окрошка с психоневрологическим уклоном.

Всего час бесовских игр, завораживающих, затягивающих в черную воронку без дна...

Для того я и нарушаю трудовую дисциплину кочегара, чтобы на улице Рубинштейна встретиться с троглодитами и девушками в скромной аудитории. Я иду от Владимирской по Загородному. Витрины магазинов занавешены льдом, и прохожие в меховых, шерстяных драпировках спешат не глядя друг на друга. Но и радужную надежду вселяют холода — может, разом, словно динозавры давно, вымрут в городе «панки» и иже с ними, разгуливающие и в ледяном январе без шапок.

Действительно холодно. Я надел на себя все, чем обладаю из одежды, но все равно приходится передвигаться почти бегом. И слава богу — ведь я опаздываю. Опаздываю всю жизнь. Где-то ведь на пирсе в Ораниенбауме огонь в топке моей занимается все сильнее, превращаясь в новую субстанцию огня-флогистона, и хотелось бы успеть вернуться до того, как перегорит уголь, улетучится в пространство тепло, а холод заморозит воду в трубах и разорвет трубы льдом, приговаривая ту часть меня, ведающую топкой, к ужасным дисциплинарно-административным карам.

Протискиваюсь в тугую дверь и поднимаюсь по сумрачной, скучно освещаемой лестнице. На втором этаже смолят никотин олухи, троглодиты, объединенцы и девушки. «Здравствуйте»,— я говорю, а они нестройно: «Здравствуйте»,— а девушка посмелее: «Вот и учитель воскресной школы»,— говорит, а я: «Правильно,— соглашаюсь.— Фрэнк, зараза, нас чуть не угробил. Воскрешать пора».

Прохожу в коридор, а из коридора в аудиторию.

— Здравствуйте,— говорю тем, кто в коридоре и в аудитории. А там все те же — олухи, троглодиты, объединенцы и девушки.

— Здравствуйте,— отвечают мне.

Они рассаживаются и затихают. Человек тридцать все-таки есть. Я хочу собраться и сказать как рассуждаю последнее время. Ведь в смысле души мы сейчас возле, в который раз, разбитого корыта или, точнее, перед развороченной кладкой, развороченной на кирпичики, хотя который раз строили на века. Да, получилась нелепость. Но кирпичики-то целы, и все-таки стоит строить здание нового самосознания, в котором жить нам и нашим детям с рок-н-роллами там или без. Ведь, вы, девушки, родите детей, может, от олухов царя небесного и родите, а те дети родят себе других детей... Но, нет, я долго шел к таким рассуждениям и неизвестно еще куда пришел.

— Ничего себе маевочку нам прошлый раз Фрэнк устроил.

— В кайф! — смеются в ответ.

— Да, но я не хочу, чтобы меня выгнали с работы. Такая запись в трудовой книжке погорит!

— В кайф! — смеются в ответ.

— В кайф-то оно в кайф, но сегодня все будет тихо, мирно и занудно. У кого слабый мочевой пузырь, прошу сходить облегчиться. Перекуров не будет. Я сегодня вам мемуары почитаю. Свои! Избранные места почитаю, так сказать, в педагогических и честолюбивых целях. Я волнуюсь, однако!

Публика молодая, ей бы пошуметь, она и шумит.

За моей спиной рояль. С оборота бью в до-мажор обеими руками. Олухи, троглодиты, объединенцы и девушки затихают. Жаль, что мухи спят до лета, а то был бы слышен их полет. Я достаю папку с листами и раскладываю их перед собой, шуршу ими, откашливаюсь, вспоминаю неожиданно все, словно жизнь это не смена лиц и мест, словно происходила она сразу, словно на битловском «Сержанте» возникают люди, люди, люди, цвета и даже запахи, терзания и ревность возникают будто впервые, ненависть, наивность и честолюбие юности, друзья и ссоры с друзьями, враги, хиппи и то, что неожиданно открылось в звуке, что помогло выжить в юности, может, это самое трудное — выжить в юности и дожить до того, что называется человеком; я откашливаюсь, беру верхний листок и глухим, чужим каким-то голосом начинаю:

— В июне тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года мне исполнилось восемнадцать лет.

CODA

Заканчивается повесть, но продолжается жизнь. Весной восемьдесят седьмого освободился Никитка и мы встретились у него, возле рояля: Никитка, Витя, Николай и я. Очень давно я не виделся с Никиткой и сперва просто не узнал в рослом и дюжем мужчине давешнего юношу со скрипкой.

— Круто, мужики, круто сети-то плести.— Там Никитка не мог выполнить каких-то норм по плетению сетей, но сторожа узнали о былом сотрудничестве Никитки со Стасом Наминым и с сетей сняли.— У нас такой крутняк, такие гитаристы сидели,— говорит Никитка, называя группы и фамилии рок-артистов.

— А у меня рассеянный склероз,— жалуется Витя.— Видели, как ноги волочу? Белое пятно в медицине. Четыре месяца в больнице — ноль. Онемение членов!

— Инвалид рок-н-ролла,— говорит Николай.

— Жертва безудержной юности,— говорю я.

Мы сидим возле рояля и вдруг договариваемся выступить на рок-н-ролльной маевке Коли Басина, который — жив, жив, курилка! — ангажировал под это дело Клуб железнодорожников.

И зал неожиданно аукнулся довольным воем.

Лето же началось очередным рок-фестивалем в комсомольском Дворце молодежи, на котором «Петербургу» позволили заместить инвалидную вакансию, в пределах которой мы и порезвились, как пятнадцать лет назад,— Никитка порвал четыре струны, я почти порвал голосовые связки, а Николай казенные барабаны. Даже Витя пытался совладать с рассеянным склерозом. Могло получиться и хуже. Даже так нас приняли на ура, но главное, что с нами, нет, рядом с нами был Никита Лызлов.

Катапульта перестройки забросила его в кресло зама гендиректора по науке некоего объединения, в котором он, дай бог, когда-нибудь защитит докторскую, и тепершняя масть не позволила ему появиться на сцене, но все-таки он находился рядом — бегал за струнами для Никитки, когда тот рвал их, щелкал фотоаппаратом на память.

За неделю комсомольско-рок-н-ролльного мероприятия на Петроградской стороне выпили все плохие кислые вина и закомплексовали тамошнюю милицию, которой, похоже, в условиях проснувшейся демократии, предложили особо руки кайфовальщикам не заламывать, но быть начеку. Хватательный рефлекс у милиции, впрочем, в крови, и поэтому постоянно кого-то задерживали и постоянно кого-то отпускали. Всех моих знакомых задержали по разу, Президента Рок-клуба задержали и отпустили, меня и самого стоило задержать и отпустить, но тут на комсомольскую сцену стали забираться «панки». Шведо-канадские же дипломаты забегали с видеокамерами. Первые «панки» поливали зрителей из кислотно-пенного огнетушителя и «погасили» заодно пару усилителей «Динаккорда» на полторы тысячи золотых рублей, вторые «панки» обтошнили себя перед концертом и матерились в микрофон, третьих «панков» попытались побить «металлисты» из Пскова, одетые в настоящие кольчуги, и возле сцены началось побоище... Все-таки была и музыка. Был Шевчук, был Науменко и Барзыкин, иногда было в кайф. Была и гласность. По стенам раскатали куски обоев, и каждый мог выразиться письменно. И выражались.

Эти сатурналии, эти ипотезы, эти гестрионско-скоморошьи дела изучались старательно хорошими ребятами из комсомола. Они могут еще три пятилетки их изучать и не понять ничего, если не уяснят себе гносеологическую сущность сего базарно-смехового, эротическо-языческого, существовавшего всегда под иными личинами, социально-громоотводного явления, нашедшего основу в африканском, примитивном, пещерном ритме.

Впрочем, о дадзыбао-обоях. Мне удалось умыкнуть ту их часть, что касалась «Петербурга». Для того мы и собрались через пятнадцать лет, ведь такого сам не придумаешь, а ведь как-то надо заканчивать повесть. Откликов оказалось достаточно и не очень обидных, а сверху резким почерком наискосок чья-то восторженная рука начертала: «Бэби, я обторчался вчерняк!».

Вот она жирная черта итога, дебет и кредит рок-судьбы. «Бэби, я обторчался вчерняк!». На этом, собственно, можно и ставить точку. Но я все-таки поставлю многоточие...



Дмитрий ПРИТУЛА

Не опоздать!

Отработав пятнадцать лет на поликлиническом приеме и в больнице, я считал, что знаю жизнь, но, перейдя семь лет назад на «Скорую помощь», понял, что прежде только догадывался об окружающей жизни. Нет, разумеется, я и прежде не в вольных струях эфира парил, и прежде лечил битых пьяных людей, но лишь «скорая помощь» предоставила возможность составить понимание массовости жителей этого дна.

Субботний вечер, десять часов. У шестидесятилетней выпивающей женщины тяжелый инфаркт миокарда. Надо везти больную, но я не могу найти человека, который помог бы снести носилки вниз. Жильцы дома без звонка и стука входят в квартиру (иные в майках, иные босиком), даже высказывают сочувствие заболевшей: «Все путем, бабуля, все будет гуд-хорошо!» — но ни одному я не могу доверить нести носилки, потому что и самих себя они носят с трудом. Поиски мои оказались безуспешными — во всем подъезде пятиэтажного дома не было ни одного трезвого мужчины. Как всегда, выручили женщины.

А вот другая сценка.

Мужчина увидел из окна, как двое парней копают картошку в его огороде, и он вышел защитить свое добро. Один из парней замахнулся тяжелой палкой, и у людей, ожидавших автобуса в двадцати шагах от огорода, не было сомнений, что парень раскроит череп хозяину огорода.

Но этого не случилось. Потому что мужчина вдруг схватился за сердце, захрипел и упал. И умер. А огородные грабители, прихватив мешок, спокойно удалились. Куда? До закрытия винного магазина оставался еще целый час. Значит, можно успеть продать мешок картошки и купить бутылку. То есть получается, за мешок картошки... человеческая жизнь.

А бывает — и за стакан. Дочь этим стаканом тюкнула свою собутыльницу-мать за то, что та оказалась проворнее и первой опрокинула в рот последний стакан бормотухи.

Да, у пьяниц и алкоголиков свой мир, свои законы, своя нравственность. Вот пьющая семья: пятидесятилетняя женщина, ее двадцатишестилетняя дочь и их двадцативосьмилетний сожитель. Молодые не вычеркивают из своего содружества пожилую женщину только потому, что она — единственный из них работающий человек.

Только не надо понимать, что все они маются, страдают, считают себя отверженными. Нет, отверженные, в их понимании, те, кто не пьет. Они же, как правило, веселы, агрессивны, склонны даже и подшутить над врачом, приехавшим на вызов.

Помню, склонился над сидящим на стуле мужчиной, чтоб перевязать разбитый его лоб. Пока мои руки были заняты бинтом, мужчина потрогал мой халат — достаточно ли он чист, потом наклонился и шумно вычистил свой нос в полу халата. И какие же озорные глаза были у него при этом!

Но я сейчас о другом. Не раз удивлялся, что эти люди нередко живут в хороших квартирах, в то время как многие их трезвые сограждане в условиях гораздо худших. И я спрашивал, каким образом они получили жилье? «А дети на что?» — отвечали мне. «Но где же дети?» И снова в ответ: «А интернаты на что?»

Как-то был на вызове у знакомого директора школы. Пока ждали действия лекарств, разговорились. «Что самое трудное в моей работе?» — спрашивал он. Я гадал. Нежелание детей учиться? Раннее половое созревание? Наконец, сообразил — неблагополучные дети. «Да, главная забота,— сказал он,— некуда девать детей, чьи родители лишены родительских прав. Не хватает мест в детских домах и интернатах. Их мало, не успеваем строить. Да и лишение родительских прав — это самая крайняя мера. Хоть и пьянчуги, но иной раз, смотришь, покормят ребенка, оденут. Лиши их прав — и это с них снимается. Днем мы таких детей покормим в школе, а вечером? Как и где они спят? Не знаете?»

Нет, знаю, езжу по вызовам, вижу...

Вот семеро малолетних детей. Они голодны. Их мать ушла по своим делам и два дня не появляется. Соседка купила детям два батона. Старшие честно разделили их на семь частей, и одну часть скормили младшему, груднику. Теперь он кричит от болей в животе.

Двенадцатилетний мальчик в пустой квартире. Мебель — только койки и табуретки. Правда, телевизор есть и работает. Десять часов вечера. «А где мама?» — «Она четвертый день у дяди Коли».— «А где сестра?» — «Она еще не пришла». Сестра состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних — ей семнадцать лет, не учится и не работает, вечерами ошивается у гостиниц. «А ты ужинал?» — «Нет». Потому что в квартире поесть совсем ничего нет. Он позавтракал после второго урока, пообедал после четвертого в школе, бесплатно. Это все.

Хороший мальчик, вежливый, охотно отвечает на вопросы, не смотрит на взрослых исподлобья, привычно ожидая от них неприятностей. И учится, что удивительно, хорошо. То есть почти без троек — дневник, разумеется, показал охотно.

Сколько он может терпеть недоедание? На сколько дней уйдет мать в следующий раз? Что придумает мальчик, чтобы раздобыть еду? Мать родительских прав не лишена. Что мальчик сделает через год? Через два? В какую он пойдет компанию, если его пообещают накормить?

Я еще несколько раз приходил сюда. Однажды застал мать этого мальчика. Она смотрела телевизор. Мальчик, обняв мать за шею, опустив голову на ее плечо, смотрел вечернюю передачу. Несомненно, он был счастлив, оттого что мама дома.

Сестра же его проявляет чудеса изобретательности, чтобы не учиться и не работать. Она устраивается куда-нибудь, берет справку, несет ее в инспекцию по делам несовершеннолетних и на работу не выходит. А то говорила матери, что учится в ПТУ в Ленинграде, и полгода они вместе ездили на семичасовой электричке (мать работает в городе). Только войдут в метро, мать едет к себе на работу, а дочь, развернувшись, возвращается домой досыпать.

Когда мы говорим о школьной реформе, я вспоминаю именно этого мальчика. Он покуда любит мать (что в этой среде редкость), он хочет учиться (и это еще бóльшая редкость), он записан в две библиотеки (что просто неправдоподобно), он не курит и не ходит в подвалы (о которых ниже).

Еще одна история, но с уже определившимся концом. Деревянный домик на отшибе города. Маленькая кухонька и маленькая же комнатка, в которой койка с брошенным на нее лоскутным одеялом, стены оклеены фотографиями кинозвезд и женщин, рекламирующих колготки. На кухне мальчик варит пшенную кашу. Ему тринадцать лет.

Отец его три года назад повесился в дровяном сарае — утомился от запоя.

Тут такое совпадение, вернее, подробность (а наш быт страшен именно подробностями). Был морозный вечер, в сарае темно, кто-то из соседей обрезал веревку, и повесившийся рухнул в дрова. Так вот из-под дров его вытаскивал именно я — «скорая помощь» должна засвидетельствовать смерть.

Пятнадцатилетняя сестра этого мальчика все время живет у своего семнадцатилетнего друга, а в этом домике они со своими друзьями веселятся. Мальчик в это время или на кухне сидит, или идет погулять — это зависит от погоды.

Мать иной раз дает детям деньги на еду (они получают пенсию за отца), а сама все время у сожителя. Через два месяца даже рожать собирается.

Через пять дней после нашего посещения мальчик и двое парней постарше угнали днем казенную «Волгу» и забрали из нее шубу. Вечером того же дня угнали «Ниву» и сняли с нее все, что могли. Когда их поймали, они сразу во всем признались.

Так все-таки что делать с тем вон пареньком, который хочет учиться, читает книги и не ходит в подвалы? В детский дом? Но он не хочет в детский дом. Он любит мать и хочет жить с ней.

Конечно же, было бы упрощением сводить все беды детей к беспробудному пьянству родителей. Случалось видеть среди детей, состоящих на учете в детской комнате милиции, и тех, чьи родители пьют умеренно. Правда, вовсе непьющих встретить не довелось. Чего не было, того не было.

А теперь о подвалах, в которых дети проводят досуг.

Что Дома пионеров и Дома культуры не в силах заинтересовать всех детей — общее место. И эти «незаинтересованные» обживают подвалы домов, сносят туда старую мебель и проводят там свой досуг.

Милиция с этим активно борется, закалачивает подвалы, но дети снова и снова забираются туда (причем есть подвалы любимые и нелюбимые), слушают там музыку, попивают вино, курят.

Но и это вроде бы полбеды на фоне того, что можно считать бедой уже настоящей — в подвалах «дышат». Даже появилось слово «дышать», как слово — «пить». Твой дышит? Нет. А твой? Дышит, подлец. Да, в подвалах ребята дышат одурманивающими заменителями наркотиков. Надышавшись, обалдевают, чувствуют головокружение, слабость в ногах

и спят. Дышат они не только в подвалах, но и в открытых люках (там тепло, правда, вода хлюпает) на теплотрассах. Надышатся и несколько часов спят. Ну, подбитые воробьи. Но любимое место, конечно же, подвалы. Там тепло и музыка играет.

В прошлом году девятилетний мальчик так надышался, что его не удалось спасти.

Картинка, когда дети надышатся, не для слабонервных. Тусклый свет. Играет магнитофон. Стоит спертый кислый запах. На диване и на полу спят, скорчившись, подростки. В углу кого-то тяжело рвет. Дети спят в тяжелом одурении, глаза у них стеклянные и косят. Пять парней четырнадцати-пятнадцати лет и две девушки лет шестнадцати. Когда их растолкали, чтобы вывести, они невероятно ругались, особенно девушки.

На следующий день в инспекции по делам несовершеннолетних, куда их вызвали, они, конечно же, были тихи и испуганны.

Испуг понятен — во-первых, милиция, а во-вторых, боязнь, что сообщат в школу или ПТУ («путягу», как они говорят). Конечно, сообщат — обязаны. Но тут так: когда случаи эти были редкими, школа выпускала «молнии» — позор, пятно на школу и так далее. В коридоре дети кричали: «Дорогу наркоманам!», в столовой: «Покормите наркоманов, они ослаблены!», и некоторые от стыда перестали ходить в школу. Но когда случаи стали уже не единичными, эти общественные порицания прекратили.

Родители, узнав о своих «дышащих» чадах, безнадежно спрашивают: что же делать? «Вот и семья хорошая, отец придет из плавания, что я ему скажу?». А пареньку ставят хроническую пневмонию, он и сам считает, что надо перестать «дышать», но его неудержимо тянет. «А мой мальчик правдивый — когда вечером надышится, утром обязательно признается. Да я и сама знаю, когда он дышит — от него пахнет кислым таким запахом. Я ночью встаю и нюхаю. Что же мне делать?»

Ответ понятен — контроль и лечение. Надо обратиться к психиатру, мальчику нужно стационарное лечение — единственный выход. Но матери снова и снова спрашивают: что делать?

И я вместе с этими женщинами постоянно задаю себе этот же вопрос. Нет, не только с теми, которые «дышат», но вообще с неблагополучными детьми, число которых год от года растет.

Да, что делать?

Почему этот девятилетний мальчик постоянно убегает из дома, ночует в электричках, в депо, на вокзалах?

Почему вот эта двенадцатилетнаяя девочка нещадно лупит детей слабее и младше себя, норовя непременно ударить в солнечное сплетение, по почкам, в пах? Каждому случаю можно найти объяснение, но почему этих случаев так много?

Чтобы понять, что же происходит с нашими детьми, я попросил разрешения у инспекторов по делам несовершеннолетних присутствовать на их приемах, ходить вместе с ними в неблагополучные семьи. Их труд иначе как подвижническим назвать не могу. Молодые женщины, у каждой семья, малолетние дети, и ходить до одиннадцати часов вечера в любую погоду по домам, куда тебя не особенно зовут, видеть усталые, бледные, с синячками под глазами лица детей, беседовать с ними и с их не самыми замечательными родителями, и видеть обшарпанные стены, иногда, правда, напомню, оклеенные фотографиями кинозвезд и рекламой колготок, и вдыхать кислый непроветриваемый запах недавно выпитого — и при этом сострадать, жалеть этих ни в чем не виновных детей — да, это труд подвижнический.

И когда однажды, захлестнутый отчаянием и пониманием, что вряд ли что можно поправить, я спросил, а есть ли смысл в этой работе, одна из этих женщин очень просто ответила: «Кто-то ведь должен им хоть сопли подтереть». Это так, и все же я задаю себе прежний вопрос: что делать?

Я знаком с женщиной, дом которой всегда открыт для ребят из детского дома. Да, действительно, если вы хотите что-нибудь сделать, делайте хоть что-нибудь...

В начале этого года я рассказал обо всем этом в газете «Ленинградская правда». В ответ пришло много писем с предложениями делать то-то и то-то, чтоб справиться с общей нашей бедой. Главный путь, предлагаемый читателями,— путь благотворительности. Он очень, конечно, важен, даже перечислить все предложения читателей невозможно, остановлюсь на некоторых из них.

Во многом, настаивают читатели, виновата школа, она покуда не справляется с воспитанием наших детей и не соответствует требованиям сегодняшнего дня. Нужно смелее проводить школьную реформу. Маловато нынче Макаренко в школах, а без них дела не поправить. Кто-то предлагает увеличить число групп продленного дня, другие же, напротив, считают, что безделье в этих группах развращает детей.

Немало предложений улучшать работу инспекций по делам несовершеннолетних районных управлений милиции, но для этого нужно расширить штаты и дать инспекторам больше прав. И все единодушны, что не следует жалеть денег на детские дома и интернаты, что работать в них должны лучшие учителя, а средствами массовой информации необходимо освещать эту работу, привлекать к обездоленным детям молодых учителей. И, конечно же, нужно сделать все, чтоб интернаты помогли детям поскорее забыть родительский дом. Нет сомнения, что число мест в детских домах и интернатах должно соответствовать числу неблагополучных детей. Недопустимо, чтоб дети, нуждающиеся в еде, одежде, иногда и в ночлеге, месяцами ждали туда путевку.

Мы еще недостаточно используем и те возможности, что имеем. Известно, спорт отвлекает детей от бездельного досуга, порока. Правда, со спортом положение таково, что в секции берут только наиболее талантливых счастливчиков, всех прочих относя к бесперспективным. Нужно призвать к ответу спортивных руководителей, деньги налогоплательщиков следует направлять не только на воспитание чемпионов, но главным образом на спортивную работу с обычными детьми. При каждом ЖЭКе непременно должна быть создана спортивная площадка, секции, нужно искать тренеров, и это не обязательно должны быть общественники — не надо экономить копейки там, где мы теряем миллионы.

Конечно, родительскую любовь ничто не может заменить, но смягчить нравы может искусство — к примеру, кружки рисования, художественной самодеятельности. Автор одного из писем — молодой искусствовед считает, что создание при каждом ЖЭКе духового оркестра отвлечет детей от токсикомании.

А кого оставят равнодушным призывы взять шефство над детьми из детских домов? Если каждая благополучная семья будет опекать двух-трех детей, приглашать их на субботы и воскресенья, то новый дом станет для этих детей родным домом. Многие спрашивают, куда им обратиться, чтоб осуществить свое намерение. Ответ может быть один — в ближайший детский дом, интернат.

А разве не интересно предложение создать фонд, куда можно было бы переводить деньги, вещи, продукты для обездоленных детей? Замечательное, на мой взгляд, предложение.

Ну, и разумеется, нужно позаботиться и о том, чтобы имеющие детей женщины могли работать хотя бы на два часа меньше. Автор такого предложения, наверное, не случайно вспомнил давнюю миниатюру Райкина: если бы отцу платили чуть больше, а мать работала чуть меньше...

Да, предложений много, и все они призывают к действию. Сейчас любое дело — благо. Губительно только безделье. Клубы для детей, улучшение работы школ, строительство новых детских домов и интернатов (нет смысла повторяться) — все это поможет справиться с общей бедой.

Однако на одном удивленном вопросе читателя следует остановиться. Вот этот вопрос: а где комсомол? А правда, где? Комсомол много лет руководит пионерской организацией, так, может, стоит вглядеться пристальней и увидеть не только чистеньких детей в белых рубашках и красных галстуках, но и детей заброшенных, пропадающих? Пока до нас доносятся лишь речи о новых формах работы с ними.

Желающих исправить нашу общую беду у нас найдется достаточно. Но усилиями отдельных людей можно поправить лишь кое-что. Мне это кажется полумерами. Нужен иной качественный уровень отношения, заботы, решения проблем, связанных с неблагополучными детьми. Я постоянно задаю себе вопрос: можно ли что-то поправить или мы уже опоздали?

Убежден: чтобы понять причину беды с детьми, надо ответить на давний вопрос: что с нами происходит? Каждый знает, что что-то происходит, и нужно теперь определить меру вот этого «что-то».

Пьянство, наркомания, проституция, преступления несовершеннолетних. Кто виноват в этом прорыве? Вроде бы никто один не виноват, но вместе с тем виноваты все. Каждый в отдельности. Виноват своей жизнью. Бездуховностью, вялостью, благодушием. Но особенно, конечно, своей ложью. Мы как-то незаметно за долгие годы привыкли лгать самим себе и друг другу, мы привыкли выдавать черное за белое, плохое за хорошее, хорошее за лучшее. Всего более нам приятно быть оптимистами, приговаривая, что все на свете хорошо в этом лучшем из миров, наша же задача — возделывать свой сад, мы из оптимизма сделали своего рода религию, и уж в этом состоянии можно замечать только хорошее, а плохое испарится и без нашего участия, само собой. Почему мы на это надеемся? А так жить удобнее. В самом деле, зачем знать правду, если от нее больно, если она хоть на короткое время лишает душу привычного уюта.

Потому-то мы так любим поговорку про пророка, которого нет в своем отечестве. Нет, мы любим пророка, но только того, кто уверяет, что все будет хорошо. А на того, кто указывает на наши беды и на наши несовершенства, мы сердились (и продолжаем сердиться), мы не давали им высказаться, да и не хотели их слушать.

Потому что нам надо и в литературе что-нибудь такое, подальше стоящее от наших конкретных забот, быта, реальной беды. И чем описываемая жизнь отдаленнее от нас, тем она нас больше забирает. Потому нам так интересно узнать, к примеру, как жили цари и герои триста и три тысячи лет назад, что они ели, как они спали, нам бы вот грезить при чтении, нам бы витать где-то высоко и далеко,

и ахнуть на этом глубоком вздохе — жили ведь люди!

Да, но если мы не хотим знать правду о себе, то тогда не надо хвататься за голову или за сердце, узнав, что наши дети не так хороши, как хотелось бы. Они точно такие, как мы с вами. Они — наше отражение. Дети таковы, каково общество — это всем известно. В пьющем обществе будут рано спиваться дети; лгут взрослые — и дети не станут говорить правду; дурят себя красивым оптимизмом взрослые, и дети станут себя дурить — вином, наркотиками, еще чем угодно. Несомненно, имеет место упадок нравственности. К тому, что сказано, добавим взяточничество, коррупцию и прочие недавно преданные гласности язвы. Да, упадок. Причем развивавшийся постепенно, но каким-то обвалом захвативший в последние годы наших детей.

Поэтому давайте посмотрим на себя — а здоровы ли мы с вами, приближаемся ли мы к идеалам нравственности, завещанной нам русской классикой? Может, все-таки стоит признать, что за последние десятилетия мы отдалились от этих идеалов? Признаем, что уровень нашей нравственности упал (именно в этом уровне нравственности я, к примеру, и вижу главную угрозу нынешней перестройке), может, все-таки наберемся смелости да и скажем, что наши дети ни в чем не виноваты, они не очень здоровы, потому что не вполне здоровы мы.

При этом, разумеется, у нас будут оправдания, что мы — как не согласиться — по одежке протягиваем ножки, мы таковы, какими нас лепит окружающая жизнь, бытующая форма существования.

Конечно, можно иной раз встрепенуться — о, нет, я не глина, и место моего обитания — не гончарный круг, и я не хочу быть горшком, да и мой начальник — не слишком искусный гончар.

...Нашу станцию «Скорой помощи» вселили в помещение, от которого из-за сырости отказался банно-прачечный комбинат. К тому же забыли вставить рамы, подвести отопление. Приближалась зима, и мы усиленно жаловались. Приехало городское начальство. Общее недовольство высказывал я. Видно, говорил раздраженно, потому что один из начальников доверительно спросил: «А почему вы нас не любите?».— «А потому что вы временщики»,— доверительно же ответил я.

Когда начальник — временщик, это беда. Но худшая беда, когда временщиком понимает себя каждый. Он как бы взялся ниоткуда, он как бы на минутку заскочил на эту землю и усквозил далее, а что будет после — да какая ему разница, если его не будет? Психология временщика известна: никто не вспомнит обо мне, ни о моих делах, никто не разберется, украсил я землю или, напротив того, загадил ее. Он не задумывается над тем, что не инопланетяне и не чужестранцы загаживают наши великие и невеликие озера, отравляют большие и малые реки. Уж помолчим о качестве наших продуктов, товаров, бытового и медицинского обслуживания. Это ведь все наших рук дело, временщиков.

Господи, ведь если подумать да если отбросить подробности нашей жизни, то ведь она, жизнь, прекрасна. Да и как иначе считать, если есть на белом свете море, снег, музыка, поэзия, наконец, дружба и любовь. Да, жизнь могла бы быть замечательной, если бы мы сами не отравляли ее. Я смирился со всем — с бытом, личной жизнью и литературной судьбой, даже с неизбежностью смерти, но я никак не могу смириться с тем, что мы загаживаем и собственную жизнь, и свою родину, и свое будущее.

В двадцати шагах от моего дома Финский залив, в нескольких километрах от моего дома строится дамба. Там, где еще несколько лет назад мы играли в футбол, вонючее болото. В заливе купаются только отчаянные смельчаки. Ежедневно я вижу, как залив умирает. Я хоть что-нибудь сделал, я хоть пикнул против этого? Да, никто никому не нужен, голос слабый и неначальнический не был бы услышан, это так, и все же! Это у Мартынова «если б и никто не пикнул, все равно молчать я не могу». Очень даже могу. Как и почти все мои земляки. И молчу. Вот если тебя обсчитают в магазине или обувь не так хорошо отремонтируют — это да. Или вот что автор сгустил краски. Это тоже да.

А вот замечательный парк и знаменитый дворец. Перед ним фабрика резиновой обуви выбрасывает ядовитые газы. Причем делает это как-то гангстерски — рано утром или поздно вечером, то есть когда не работает санэпидстанция (хотя эту станцию никто и не боится, а все же). И я написал письмо, что фабрика отравляет парк (шли имена Меншикова, Петра Третьего, Екатерины Второй), правда, рядом с фабрикой жилые дома, но я нажим сделал на архитектурные ценности.

Меня пригласил мэр города, и был со мной, ничего не скажу, очень любезен, и он обещал, что эту галошную фабрику через несколько лет уберут, решение принято и вопрос, считайте, решен, он закрыт, и, пожалуй, больше писать не стоит — вопрос-то закрыт. Мэр прекрасно понимал, что никто ничего не уберет, и я это тоже понимал. Более того, он понимал, что я это понимаю. И налюбовавшись вдоволь друг другом, наулыбавшись и наговорив любезностей, мы расстались к взаимному удовольствию. Он на время отвязался от доверчивого придурка, я успокоил свою совесть. Временщики!

Еще раз возвращаюсь к письмам. И вот почему. Это даже удивительно, в чем только не видят читатели причины неблагополучия детей. В токсикомании виновата западная музыка, особенно «металл» (соответственно, требуют запретить ее), и новые танцы (требование запретить брейк), и западные туристы, особенно активно зашустрившие к нам в последнее время (соответственно, ограничить туристические путешествия). Виноват кто угодно, только не мы с вами.

И что не меньше удивляет — это поток писем с предложениями карательных мер. Конечно, главным образом, карать предлагают пьющих родителей. В резервации их надо! Наказывать сурово и даже стрелять. Или вешать. Многодетным матерям, у которых дети беспризорные, запретить рожать, делать соответствующие операции, то есть стерилизовать. Не давать им жилья. А у которых дети в интернатах, жилье, новое, хорошее, отбирать. Ну, что еще? Человек не имеет права быть начальником, если его ребенок «дышит». И все случаи предавать гласности, в газетах печатать, мол, ребенок такого-то начальника «дышит».

И опять резервации. Но уже для детей. Если убедились, что ребенок «дышит» или уже наркоман, его надо изолировать на долгие годы, чтоб не вовлекал в свои паскудства здоровых покуда детей.

Этого требуют и восьмидесятилетняя пенсионерка и молоденькая девушка-парикмахер.

Да, хрупкая беляночка с нежным румянцем на щеках настаивала — убивать их и убивать. И уточнила — стрелять. Я сперва думал, что это относится к алкоголикам, и переспросил. Беляночка даже возмутилась: родители, само собою, стерилизовать их и стрелять! Но она была сурова и к детям. Отлавливать их, несколько лет подержать взаперти, и если не исправились, то стрелять. А проку от них чуть, если в пятнадцать лет наркоманы, зато вреда много.

Господи, это как? Где ж это милость к падшим? Ведь у нее будут дети. Она будет сурова с ними или милосердна?

Тут на хирургию привезли девятилетнюю девочку с отморожениями. При осмотре увидели на теле девочки синяки. Это что? А это папа лупит ее за плохие отметки, вот в последний раз наказывал ремнем с бляхой. Сегодня, ожидая наказания, она убежала из дому в чем была. А мороз был под тридцать.

Господи, да когда же мы поймем, что только милосердие может спасти мир. Только одно оно и есть показатель здоровья общества. О, как суровы мы к оступившимся, мы требуем непременной их изоляции. И как суровы мы к тем, кто мыслит хоть чуть иначе, чем мы сами. К ним-то мы, пожалуй, всего менее милосердны. Может, все беды наши оттого как раз идут, что очень уж мы немилосердны.

Да, сейчас нам прежде всего нужны милосердие и смелость. Так наберемся смелости, посмотрим на себя внимательно и признаем, что мы не так уж примерно живем. И когда поучаем своих детей, может, задумаемся, а есть ли смысл советовать им брать с нас пример. Мы-то все суетимся, будто собираемся жить век, жадно рвем и хапаем, отважно лжем и при этом призываем детей быть честными, смелыми и трудолюбивыми. Оно и понятно, не говорить же им: лги, как я, воруй, как я, бери взятки, как я, бездельничай, как я.

Может, не станем говорить, что правда заведет нас слишком далеко? Напротив того, стремиться будем узнать о себе именно всю правду. И не станем шельмовать людей, которые эту правду говорят, и не будем бояться написанного и произнесенного слова?

Здесь мы говорим о бедах наших детей. Понятно, что беды сами собой не испарятся. Но давайте для начала увидим всю картину бедствия. Ну, к примеру, сколько в стране алкоголиков? Зарегистрированных? Незарегистрированных? Пьяниц, считающих себя здоровыми людьми, но медленно превращающихся в алкоголиков? Пять миллионов? Двадцать? Сорок? Сколько? И вообще — почему из этого делают государственную тайну? Не попытка ли это загнать болезнь внутрь? Официальная цифра — шесть миллионов. Я спросил у знакомого нарколога, почему именно шесть. Он ответил — в Америке семь, у нас должно быть хоть немного меньше. Это ли не розовощекий оптимизм?

Да, во всем мире растут алкоголизм, наркомания, преступность среди несовершеннолетних. Но разве это утешение — если всем плохо, то ничего страшного, если и тебе нехорошо?

Я не знаю, что происходит с детьми в других странах. Я знаю, что с нашими детьми — беда. И мне, как всем, хотелось бы знать, сколько у нас детей неблагополучных. Нет, не живущих в интернатах (это, конечно, известно соответствующим учреждениям), а детей недоедающих, не знающих книг, родительской любви и просто человеческого участия.

Короткая фраза из письма ветерана трех войн: «А жаль! Могли ведь! Поздно!».

Никому не дано знать, поздно или нет. Но чтоб не было поздно, мы должны пройти путь очищения, возможный лишь при знании всей правды. Нет иного пути остановить упадок нравственности.

Пожалеем наших детей. Иначе мы останемся без будущего. И в этом случае нас и проклянуть-то будет некому.



Двумя перьями

В. КАВТОРИН, В. ЧУБИНСКИЙ

РОМАН И ИСТОРИЯ

Диалог в письмах

В. В. Чубинскому

Едва проглотив начало «Детей Арбата», мы с Вами, Вадим Васильевич, сговорились обсудить этот роман, уделив основное внимание образу Сталина...

Но теперь, когда роман дочитан и жжет душу, у меня, право же, нет сил откладывать наш диалог! А посему — не заменить ли ультрасовременный жанр беседы под магнитофон старомодною перепиской? Разумеется, «трактаты в дружеском письме» давно вышли из моды, но... почему бы и не попробовать? Проиграем в живости, зато, возможно, выиграем в серьезности, а ради этого рискнуть стоит.

Это первое. И второе: когда роман прочитан до конца, мне совсем не хочется ограничивать наш диалог образом Сталина.

Нет, нет, во второй и третьей частях он не потускнел — наоборот, приобрел ту степень многомерности и противоречивости, которая отличает вживе воплощенное от просто хорошо продуманного, измышленного. И в первых же откликах читатели, критики, художники именно образ Сталина отмечают как самую яркую художественную удачу романа.

«Рыбаков предпринял смелую попытку воссоздать внутренний мир Сталина этой поры, его истинный характер, реальные причины и мотивы его поведения и принимаемых решений.

Перед нами — отнюдь не одномерная фигура, покрытая в зависимости от позиций и настроений пишущих то ослепительным лаком, то густой черной краской.

Как полученную некогда травму руки, этот человек с давних лет несет и душевную щербину. В нем таится не только понятная, временами сообщающаяся и читателю искренняя боль за отцовскую неприкаянность, но и болезненно разросшаяся память обо всех испытанных на самой заре жизни тяготах и унижениях и даже о куда более поздних уколах своему самолюбию.

Все это оборачивается невероятной жаждой самоутверждения, своеобразного реванша, которая постепенно все более трансформирует, скорее даже — деформирует его взгляды — от защиты таких же обездоленных, каким был он сам, к заботам о том, как надежнее управлять людьми; от атак на твердыни прежней власти — к тайным мыслям о „бастионе страха, который необходимо возвести, чтобы защитить народ и страну" (но не в последнюю очередь — упрочить свое собственное положение)».

Прошу прощения, Вадим Васильевич, за столь обширную выписку. Статью А. Туркова в «Литературной газете» Вы, конечно же, читали. Хорошая статья. Умная, доказательная. Впрочем, и другие критики говорят о том же — о высокой степени исторической и психологической достоверности созданного А. Рыбаковым образа Сталина. Тут можно бы, как говорится, просто «присоединиться к предыдущим ораторам», но...

Но, признаться, это почти единодушное принятие нашей критикой рыбаковского Сталина меня не только радует, но и смущает.

Вот, например, насчет «густой черной краски»... Перебираю в памяти все, что читал в последние годы о И. В. Сталине, и почему-то этой краски не нахожу... Если она и была, то довольно давно. В последние же полтора-два десятилетия в ход шел чаще «ослепительный лак». Тут-то за примерами ходить недалеко.

«Он (Жуков.— *В. К.*) размышлял о Сталине как верном соратнике Ленина, мудром продолжателе его учения и величайшем военно-политическом стратеге с железной волей и непостижимой глубиной ума». Размышления героя могут, конечно, и не совпадать с авторскими... Но дальше. Сместив Жукова с поста начальника Генштаба, Сталин в этом романе рассуждает так: «Эти товарищи (военные.— *В. К.*) потом, наверное, говорят: „Я предупреждал товарища Сталина, а он поступил по-своему..." А как предупреждал, какими доводами, с какой мерой доказательности?.. Если б наше правительство, Центральный Комитет партии могли полностью положиться на кого-нибудь из военных, думаю, что Сталину не пришлось бы брать на себя главное командование...

Крепкая память Жукова точно воспроизвела слова Сталина, и он всматривался в их смысл критически, с желанием в чем-то возражать, хотя понимал, что Сталин имел основание рассуждать именно так».

Автор, похоже, даже не чувствует, какой издевкой, каким дьявольским глумлением оборачивается весь этот пассаж для тех, кто помнит о «товарищах военных», Сталину возражавших (недостаточно, выходит, убедительно?), а потому и до войны-то не доживших. Или роман написан лишь для беспамятных?

И это, увы, не прошлое. Я цитирую роман И. Стаднюка «Москва, 41-й», опубликованный в «Молодой гвардии» два года назад, а ныне объявленный в планах «Роман-газеты». «Ослепительный лак», как видим, позиций своих не сдает.

Но дело даже не в этом. Трудно, согласитесь, представить себе человека, для которого образ Сталина в романах И. Стаднюка и А. Рыбакова был бы равно приемлем. Так почему же нет споров, почему и тот и другой образ критика расхваливает одновременно? (Прошлым летом многие газеты висали о «Детях Арбата» и тогда же «Молодая гвардия» — о романах И. Стаднюка.)

Нет, этого не поймешь, если не вспомнишь, что за два последних десятилетия все мы изрядно привыкли к тому, что писать о многом, в том числе и о Сталине, надо не то, что думаешь, а то, что надо. Или — молчать. И в дружных торопливых восторгах по поводу рыбаковского Сталина многое идет отсюда, от наконец-то разомкнутых уст, от прерванного мучительного молчания.

Но — столь ли существен этот момент, надо ли о нем говорить, а тем более именно с него начинать разговор о романе? По-моему, надо. Ибо отсюда проистекает одна странная особенность: дружно принимая роман, выражая восторг и благодарность, мы тем не менее благополучно обходим некоторые наиболее острые вопросы, писателем в нем поставленные. Приглушаем, уполовиниваем...

Примеры? Их нетрудно найти даже в упоминавшейся уже статье А. Туркова, одной из лучших. Помните, он говорит о «бастионе страха», который Сталин считает необходимым «„возвести, чтобы защитить народ и страну" (но не в последнюю очередь — упрочить свое собственное положение)». Да почему же так мягко: «не в последнюю очередь», когда из всей логики созданного А. Рыбаковым образа следует, что в первую, именно в первую?! Что эта вот неизбывная забота о личной власти все в сталинских рассуждениях переворачивает и подминает...

«Наука, литература, техника,— рассуждает в романе Киров,— требуют свободного обмена мыслями. Насилие станет мертвой преградой на пути развития страны... Логика исторических процессов неумолима. Сталину придется подчиниться этой логике». Да, «логика исторических процессов» именно такова, но Сталин-то был подчинен совсем иной логике: «Чтобы в кратчайший срок страну крестьянскую превратить в страну индустриальную, нужны неисчислимые материальные и человеческие жертвы. Народ надо заставить пойти на жертвы. Для этого нужна сильная власть, внушающая народу страх... Если при этом погибнет несколько миллионов человек, история простит это товарищу Сталину». Как видим, вопрос о том, нельзя ли обойтись без жертв, Сталиным не ставится. Почему? Да потому, что в цепочку рассуждений изначально введен еще один, все определяющий постулат: «кто выступал против *него*, должны быть уничтожены. Народ должен знать, что выступать против *него* — значит выступать против советской власти».

Тут, Вадим Васильевич, позвольте мне небольшое отступление. Хочу быть правильно понятым. Весь этот разговор о необходимости отказаться от привычных смягчений и скруглений я завел не для того, чтоб кого-то поймать, упрекнуть... Нет, цель этой предварительной декларации — заставить себя самого удержаться от привычного, ибо и я тем же временем и тем же *молчанием* воспитан.

Вот, нашел у Михаила Шатрова, обрадовался и сразу же на отдельный листок выписал: «Одна из самых больших трагедий мирового революционного движения связана с именем И. В. Сталина. Почему и как произошла эта трагедия — вот главные вопросы, которыми болеет каждый человек, которому небезразлична судьба этого движения».

Что я сам давно «болею» этими вопросами, Вы знаете — был у нас такой разговор. О том, что главное не в «разоблачении» сталинских жестокостей и несправедливостей, но в том, чтобы понять, как и почему вызрело в нашем обществе все то, что весьма неточно именуется «культом личности И. В. Сталина». Понять, как и почему,— только в этом гарантия неповторения.

Разговор был... А вот написано не было. И теперь с удовольствием выписываю, готовлюсь куда-нибудь вставить цитатку... Да отчего ж с удовольствием, а не с досадой, что кто-то опередил? Можно, конечно, сказать, что М. Шатров серьезный художник, один из крупнейших

знатоков истории революции, как тут, мол, не порадоваться, что наши мысли совпали? И это правда, но — увы! — еще не вся. Ибо — не оттого ли с удовольствием выписываю я будущую цитату, что так, в кавычках, мысль становится как-то привычнее и даже... безопаснее?

Молчание — дурная, опасная школа. Для литератора — особенно. И перестать пугаться собственных мыслей, научиться додумывать и договаривать до конца, выдавить из себя «комплекс пешки»,— это, по сути, вопрос жизни и смерти. Не только для меня, и даже не только для моего поколения. Так что, если где-то заметите за мной это стремление увильнуть от конечных выводов, спрятаться за привычное,— схватите за руку и ткните носом!

Но вернемся к разговору о Сталине. Хочу Вам напомнить — раз уж всплыло здесь имя Михаила Шатрова — одну сценку из «Брестского мира». Ту самую, где Ленин, столкнувшись с непониманием большинства соратников, грозит уйти с поста председателя Совнаркома. Куда уйти, зачем? В массы! Непосредственно к массам намерен он обратиться со своей идеей...

Вот, по-моему, ситуация, совершенно невозможная для Сталина, не правда ли? Но почему? Дело, мне кажется, не в индивидуальных характерах, не в сталинской нелюдимости. Выступать на митингах он не любил, но умел. Его «неколебимая уверенность, что его знания — предел мудрости», не одному Будягину, но многим «импонировала больше, чем эрудированное красноречие других». И все же невозможно вообразить, чтоб Сталин, отказавшись от реальной власти, решился вновь начать с пропаганды в массах своей идеи. Скорей уж он с легкостью переменит идею. Вот, только что говорил: «выход... дала средняя точка зрения — позиция Троцкого»,— но через день возобладала точка зрения Ленина, и он уже за нее, и уже грозно вопрошает несогласных: «не означает ли уход товарищей с ответственных постов фактического ухода из партии?»

М. Шатров (его «Брестский мир» выстроен, кстати, строго по документам) уловил эту сталинскую «гибкость» уже в самом начале его пути государственного деятеля, чуть ли не на следующий день после превращения подпольщика и революционера в носителя власти. А. Рыбаков, реконструируя во внутренних монологах своего героя логику его чувств и поступков, пытается уловить закономерности, присущие всему жизненному пути Сталина, и путь этот предстает читателю непрерывным рядом измен.

Измена политике, в верности которой дана публичная клятва: «то, что намечалось Лениным „всерьез и надолго“, продолжалось совсем недолго. Сталин ликвидировал нэп, утверждая при этом, что выполняет заветы Ленина... вместо социалистической демократии, которой добивался Ленин, Сталин создал совсем другой режим».

Измена друзьям и сподвижникам, чья поддержка привела его к власти: «Истинный вождь приходит САМ, своей властью он обязан только САМОМУ СЕБЕ,— думает Сталин у Рыбакова.— Не они выбрали его, а он их выбрал. Не они его вытолкнули вперед, а он их вытянул за собой...»

И наконец, измена самой идее: «Что руководит революционером, что ведет его по тернистому пути? Идея ⟨...⟩ Нет! Идея — лишь повод для революционера. Всеобщее счастье, равенство и братство, новое общество, социализм, коммунизм — лозунги, поднимающие массу на борьбу. Революционер — это характер, протест против собственного унижения, утверждение собственной личности».

Писателем — сказано. А вот критика, главная задача которой в том и состоит, чтобы переводить художественные образы писателя «на язык общественной мысли и тем превращать их в акт национального самосознания» (определение Ю. Буртина, очень, по-моему, верное.— «Новый мир», 1987, № 6.),— критика, восхищаясь романом, как-то робеет еще сформулировать главный, быть может, вывод, со всей несомненностью из него следующий: стремление Сталина во что бы то ни стало завоевать и удержать личную власть привело его на путь фактической измены идее социализма.

Робость перед подобным выводом можно бы понять, будь у критики какие-то сомнения в верности романного образа его историческому прототипу, но ведь никто таких сомнений не высказал! Конечно, догадка художника — довод далеко не для всех убедительный, тем более, что документ, впрямую ее подтверждающий, вряд ли появится — таких признаний потомкам не оставляют. Но за нее, за эту догадку, и самый мощный, самый несокрушимый довод: иного, вне ее, объяснения политической практики Сталина мы не найдем. И это надо, надо наконец-то сказать: настоящим коммунистом Сталин никогда не был. Ни до революции, ни, тем более, после.

Впрочем, я ведь начал с того, что мне не хочется ограничивать предмет нашего диалога образом Сталина. К этому позвольте и вернуться. Ибо роман Рыбакова дает, по-моему, прекрасный материал для размышлений о вопросах более спорных и, в конечном итоге, более важных.

Хочу напомнить один наш давний и не-

завершенный спор. Если помните, я говорил, что, сводя все беды тридцатых годов исключительно к личности Сталина, мы тем самым сильно преувеличиваем роль личности в истории. Смысл Вашего ответа, если не ошибаюсь, сводился к тому, что роль такой личности, как Сталин, позволяет вообще по-новому взглянуть на старый этот вопрос.

Спор наш, несмотря на некоторую его философскую отвлеченность, имеет, по-моему, самое практическое отношение к поискам ответа на тот архиважный вопрос, как и почему произошла трагедия нашего общества, связанная с именем Сталина. Где искать ее причины?

Если все негативные особенности нашего общественного развития в конце двадцатых и в тридцатые годы сводятся непосредственно к воздействию на него Сталина и способов руководства, им насаждавшихся, тогда, вероятно, нам следует обратиться к событиям, разворачивавшимся в узком кругу партийных руководителей накануне и непосредственно после смерти Ленина. К тому, о чем в романе Рыбакова весьма убедительно размышляет сам Сталин: «Они не поняли главного: партийный аппарат — не дубинка (против Троцкого.— *В. К.*), партийный аппарат — это рычаг власти. Передав ему этот рычаг, они и вручили ему всю полноту власти. ЕГО гений в том, что он единственный это понял. Впрочем, Ленин тоже понял, но не сразу, а спустя почти год, поздно понял!»

Кстати, в этих событиях много неизученного, не до конца понятого, я представляю, с какой жадностью накинулись бы мы на серьезную историческую работу о них. И все же мне кажется, что подлинный ответ на вопрос «почему» надо искать не только здесь. Не только в конкретных промахах конкретных лиц.

Читая «сталинские» главы «Детей Арбата», я то и дело мысленно обращался к одной из горьковских статей 1918 года. В ней Алексей Максимович наметил два типа деятелей революции: революционера «вечного», подлинного и — «революционера сего дня». Последний, «не ощущая своей органической связи с прошлым мира... считает себя совершенно свободным (вспомните ту неподражаемую «вольность», с которой перекраивал Сталин и Москву, и историю, и судьбы целых народов!..— *В. К.*), но внутренне скован тяжелым консерватизмом зоологических инстинктов, опутан густой сетью мелких, обидных впечатлений, подняться над которыми у него нет сил. Навыки его мысли понуждают его искать в жизни и в человеке прежде всего явления и черты отрицательные; в глубине души он исполнен презрения к человеку...»

Не правда ли, беглый этот контур охватывает всю суть детально прорисованного Анатолием Рыбаковым образа? А между тем никак ведь не скажешь, что это написано Горьким о Сталине. Выходит, личность Сталина не есть некий исключительный феномен — она типична, то есть в ней сконцентрированно выражены черты, идеи и настроения и вне ее реально существующие, для данной исторической ситуации неизбежные, но в других — «размытые», недопроявленные.

А если так, если, придя к власти, Сталин лишь проявил и усилил некие черты и тенденции окружающей действительности, в них же найдя для своей власти опору,— тогда главные ответы на вопрос «как и почему» нужно, конечно, искать в социально-психологической истории общества, в том, как сложно взаимодействовали в нем новые идеи и старые привычки, жажда идеала и инерция насилия, стремление к единству и скороспешная подмена его единым лозунгом, и многое, многое другое...

Вот с этой точки зрения давайте и посмотрим на «Детей Арбата» как на художественную модель нашего общества начала тридцатых.

Рыбаков строит свой роман как будто бы без особых затей — все линии разворачиваются параллельно, повествование покорно следует за хронологией, не забегая вперед и почти не заглядывая назад, в прошлое героев. Но эта простота обманчива. «Детям Арбата» присуще одно, редчайшее в наши дни, несмотря на обилие романов, качество — романное мышление. Смысл романа, движущая его идея не принадлежат ни одному из героев, ни одна из изображенных судеб целиком этот смысл не вмещает — только все вместе, в сложном, противоречивом взаимодвижении.

Основной сюжетный узел — арест Саши Панкратова — затрагивает впрямую далеко не все население романа, но именно в соотнесении с ним каждый из героев проявляет нечто в себе важнейшее, судьбоносное.

Население романа — это в первую очередь «дети Арбата», поколение, воспитанное эпохой, энтузиасты. Те, чьи «сердца наполнялись гордостью. Вот она, их страна, ударная бригада мирового пролетариата, оплот мировой революции. Да, они живут по карточкам, отказывают себе во всем, зато они строят новый мир».

Анатолий Рыбаков любит это — свое! — поколение, часто даже любуется им, болеет за него и все же ни на что в нем глаз не закрывает. Усвоим и мы эту любящую беспощадность взгляда.

Не будем говорить о доносчике Ковалеве, о мелком демагоге Кареве, оставим в стороне брата и сестру Марасевичей,

которые «принимали действительность как данность, как неизбежные условия существования» и старались лишь получше устроиться в этих условиях, что сделало Вику стукачкой и потаскухой, а Вадима — театральным критиком, «удивительно умевшим держать нос по ветру»,— тут все ясно.

Возьмем лучших из этого слоя, искренне верящих в социалистический идеал, искренне считающих себя несгибаемыми борцами за переустройство мира — Лену Будягину, Нину Иванову, Максима Костина... Отчего так робки их попытки заступиться за Сашу? Я имею в виду даже не бессилие что-нибудь предпринять, но внутреннюю готовность смириться. Отчего Лена так легко поверила Шароку, его росказням о некой антипартийной организации в Сашином институте? Или — чем, в сущности, продиктованы рассуждения Нины: «она (мать Саши.— *В. К.*) по другую сторону, потому что Саша тоже по другую сторону. Дико, но это так. Нина помнит, каким был Саша в школе, но трогательная школьная дружба недостаточна для политического доверия... Шарок в прокуратуре. И это тоже дико.

И все же есть жестокая, но неумолимая логика истории. Если оценивать коммунистов только по личным качествам, то партия превратится в аморфную массу прекраснодушных интеллигентов».

Нина себя в сущности заговаривает, привычными словесными формулами заслоняясь от фактов. Ее «и все же есть жестокая...» — слишком похоже на вековечное: «Чур меня, чур!..»

А помните недолгую победу Саши? Когда Сольц восстановил его в комсомоле и в институте, Саша «был счастлив. Дело не в том, что он всем доказал. Он отстоял нечто гораздо более значительное, он защитил веру этих ребят». И вот через несколько дней, когда «вся история с Сольцем показалась нереальной», неожиданно выяснилось, что, хотя эти ребята ни себя, ни друг друга защитить не умеют, вера их защищает себя отлично — запросто вытесняет из сознания своих носителей все, что не укладывается в ее «отче наш».

Впрочем Саша и сам плоть от плоти этого поколения. Было время, когда он так же неприязненно, как Нина на его мать, смотрел на старуху Травкину — «семья врагов»! А разве уже в тюрьме он не готов был поверить, что «здесь нет честных коммунистов, здесь сидят за дело. И Савелий за дело, и Чернявский, и он, Саша, за дело — пожалел Криворучко, проявил слабость и платится за это»? Это ведь вера его защищалась — столь яростно, что чуть самого Сашу не погубила. Да многих, верно, и погубила. Сашу спас тюремный библиотекарь, который «отозвался на его голос, показал Саше пример человечности, бесстрашия и доверия». И после этого открылось вдруг Саше: «Это не человеческие слова, это шаманские заклинания. Шаманили Лозгачев и Азизян, шаманил Баулин...»

Вы знаете, по-моему, память об этой незащищенности лучших, светлых и цельных людей своего поколения перед словесным «шаманством» и образует внутреннюю энергию рыбаковского повествования. Ею диктуется особая пристальность и требовательность его анализа: дойти, открыть, отчего же были так бессильны они, прекрасно, казалось бы, вооруженные волей, мужеством, верой...

Но оставим детей, присмотримся к отцам, к «железной когорте» старых партийцев. Впрочем, общего портрета тут не получится. Жизнь их разводила порой далеко.

Вот, например, директор института Глинская, уже намеченная, ближайшая жертва Ягоды и К°. Но ей это, понятно, еще неведомо, и когда Саша сообщает о вызове к Сольцу, Глинская пугается. Чего? Того, что при ее участии совершена несправедливость? Увы!.. «Она представила себе, как на съезде тот же Сольц или Ярославский, а может, и Рудзутак приведут в своей речи случай с Панкратовым как пример бездушного отношения к будущему специалисту». Логика-то вполне «аппаратная», бюрократическая: важен не подлинный смысл факта, а то, как факт будет использован, не пострадает ли собственное благополучие...

А вот Арон Сольц, «совесть партии», фигура документальная, очень зримо и достоверно воссозданная Рыбаковым. Вот уж кто не разучился смотреть на дело прямо, бесстрашно видя его внутреннюю, человеческую и партийную суть. Сольца не испугаешь, не собьешь никакой демагогией, ибо он отлично помнит, за что сидел в тюрьмах,— за счастье вот этих ребят, за то, чтоб они смеялись, а не зеленели от страха!

И все же вмешательство его в Сашину судьбу «нереально». Он разрубает некую паутину, а она тут же срастается снова — из нее не вырвешься! Зря, что ли, снуют, суетятся вокруг него, ткут эту паутину маленькие аппаратные человечки: «чиновник наклонился к бумагам, пробежал глазами. Его лицо снова стало равнодушным. Материал оформлен правильно. И сколько бы Сольц ни кричал...»

Мужества не занимать и Ивану Будягину. Лицом к лицу со Сталиным он не дрогнет, все скажет, зачем пришел. И мудрости не занимать — факты он видит широко, в их подлинной взаимосвязи. «„Саша не случайность“.— Он сказал это тем же тоном, каким в прошлый раз говорил о том, что Черняк уже не секретарь райкома».

«Что-нибудь готовится на съезде? — думает в ответ Рязанов.— Что же? Группа, фракция, вербовка единомышленников и голосов?»

Друзья, соратники, но... Один не решился высказаться ясней, другой неправильно понял, и пути разошлись. Навсегда. «Беспощадные к подлинным врагам, они заражали друг друга взаимной нетерпимостью, любое несогласие воспринимали как предательство, подбирая ему соответствующую идеологическую рубрику». Это написано критиком В. Кардиным о героях совсем другого романа, трифоновского «Исчезновения», но о героях, заметим, из той же «железной когорты», а потому и сюда замечательно это подходит.

И все же: только ли инерция внутрипартийной борьбы разобщала старых партийцев? Ведь у нас-то речь о тех, кто все время был в одном стане... Что же накладывает печать на уста одного и на слух другого? Мне кажется — все то же омертвение идей, превращение их в непререкаемые постулаты, в веру, которая, как известно, не рассуждает и потому с громадным трудом пропускает в сознание все ей противоречащее. А противоречило ей в жизни уже слишком многое.

Читая «Детей Арбата», я не раз вспоминал ленинское письмо от 26 марта 1922 года: «Если не закрывать глаза на действительность, то надо признать, что в настоящее время пролетарская политика партии определяется не ее составом, а громадным, безраздельным авторитетом того тончайшего слоя, который можно назвать старой партийной гвардией. Достаточно небольшой внутренней борьбы в этом слое, и авторитет его будет если не подорван, то во всяком случае ослаблен настолько, что решение будет уже зависеть не от него» (ПСС, т. 45, стр. 20). Как трагично, что именно эти ленинские слова оказались пророческими!

И все же, чтобы не ошибиться, давайте проверим себя еще раз. Поставим вопрос так: чьей силой оборачивается их слабость?

Среди героев романа есть лишь один, кто от главы к главе становится все увереннее, все сильнее и все более свысока поглядывает на «детей Арбата» и «железную когорту» старых большевиков. И это... Юра Шарок!

Когда-то, «когда Саша Панкратов, тогда секретарь школьной комсомольской ячейки, выходил на трибуну и начинал *рубать*, Юра чувствовал себя беззащитным». «Увиливаешь, Шарок!» — фраза эта ему и во сне являлась. Потому что и в самом деле увиливал, никогда *своим* не жертвуя. А Саша жертвовал сам и от других требовал.

Но время менялось, и мещанский инстинкт мимикрии заставлял Шарока все лучше понимать действие его тайных пружин. По отношению к окружающей жизни в нем была острая наблюдательность врага. Он первый понял, как много значат слова, потому что это были *их* слова, *своими* он не считал их никогда. И потому вертел эти слова так и этак, примеряя и подгоняя, как подгоняют чужое платье. Процесс этой постоянной примерки чужих слов описан Рыбаковым замечательно: «Он сам добивался этого назначения? Почему же сам? Просто не отрывался от завода. И когда его спросили, хочет ли он после института вернуться обратно, ответил „хочу“. А что должен был ответить? Он гордился вниманием к его судьбе, судьбе простого советского человека». Ловко-то как — комар носа не подточит! Да «никому и в голову не приходило искать в его словах тайный смысл. Слишком верили сами, чтоб ставить под сомнение веру товарища».

«Слишком верили», и ловко присвоенные словесные формулы определяли *их* отношение к Шароку. *Их* — от интеллигентных девочек, опекавших и холивших в школе «простого рабочего паренька», до старого чекистского воробья Березина, которого Шарок, как мальчика, провел на мякине деланной «искренности». И чем ловчее приспосабливает он *их* словесные формулы, тем сильнее его тайная, родовая *к ним* враждебность.

Поскольку словесные формулы для него лишь инструмент обмана, мимикрии, постольку и жизни, фактов ее, Шароку они не застят: «Будягин прочитал ему мораль о советской юстиции, а что он в ней понимает? Он отстал со своей наивной партийной совестью. Возникла сила, гнущая в дугу и не такие дубы». Оказавшись в системе НКВД, Шарок предается величайшему сладострастию мещанина — сладострастию тайной власти: «он, Шарок, создан для этой работы... У Шарока бы никто не вывернулся, перед ним никто бы не оправдался, он не верит ни в чью искренность — невозможно искренне верить *во все это*, а тот, кто утверждает, что верит, врет».

Круг замыкается, обнаруживая источник силы Юры Шарока,— он не в нем, не в Дьякове, не в Баулине... «Шаманить» им позволяет только завороженность словесными формулами других — «детей Арбата» и «железной когорты» их отцов.

Да, путь к негативным явлениям тридцатых годов — это не только волюнтаристская ликвидация нэпа и насильственно форсированная коллективизация, неузнаваемо исказившие ленинский план построения социализма, это еще и... Нет! Это — прежде всего!! — путь подмены

борьбы идей борьбой за влияние групп, путь признания всякого мнения, не совпавшего на данном этапе с мнением большинства (к тому же порой весьма искусственно создаваемого), ошибкой, а всякой ошибки — преступлением.

И трезво посмотрев правде в глаза, надо признать, что на этот путь общество наше толкала не только чья-то злая воля, но и широко распространенные в нем настроения. Причем это зачастую были настроения, осудить которые, как говорится, язык не поворачивается. Что, например, может быть прекраснее стремления к единству? И как не понять жажды идеала, горячей веры в то, что избранный тобою путь — единственная дорога ко всеобщему счастью? А жажда немедленной практической работы, святое нетерпение, при котором всякие споры (многим к тому же и непонятные) кажутся лишь досадной помехой. Все это можно понять и трудно осудить, но если сюда прибавляется отсутствие у громадного большинства навыков демократической жизни (а откуда им взяться в стране, только что избавившейся от самодержавия, и в партии, совсем недавно вышедшей из подполья?); если сюда прибавляется опасная инерция насильственных действий (вчера они были необходимы, сегодня вредны, но ведь привычны-то по-прежнему), пренебрежение возможностями исторического и государственного творчества масс; если, наконец, навыки такого творчества и в самом деле невелики, ибо веками глушились все тем же крепостничеством... Не эта ли гремучая смесь и была той силой, что толкала идейные споры к крайнему обострению и вражде, а затем и к насильственному их подавлению?

Идеи живы, лишь развиваясь. Лишь в постоянном движении, при постоянной критической проверке и корректировке практикой. Застывшие, официально признанные единственно правильными и неколебимыми, они превращаются в предмет полурелигиозного поклонения и материал для демагогического «шаманства» Бауланых, Шароков и прочих. Застыв, закаменев, они не могут не обернуться против тех, кто свято в них верит. Полное единогласие не может не быть показным. А потому — и это очень ярко прослеживается в судьбах героев А. Рыбакова — путь к полному единогласию оказывается фактически путем деидеологизации [1] общества. С одной стороны — победа оказывается на стороне тех, для которых «идея — что дышло» — от Шарока до Сталина; с другой... Посмотрите, кто в романе не побежден, кто внутренне Сашу не предал? Мать, Варя, Зина, Максим Костин, не умеющий забыть, что «Саша его сберег, а он Сашу не уберег»...— люди, живущие и действующие не столько по убеждению, сколько непосредственно по человеческому чувству. Их немало в романе и в жизни их было много, но стать *силой* они не могли, ибо сплачивает, объединяет людей только убежденность, идея.

Для полноты картины надо присмотреться еще к двум романным фигурам, быть может, самым трагическим. Трагическим в том смысле, что они, как ни горько нам это осознавать, сами несут в себе семена своей будущей гибели.

Марк Рязанов, легко, почти бездумно предавший племянника, «скатившегося до тюрьмы и ссылки в Сибирь», вряд ли вызовет читательские симпатии. И все-таки... Все-таки нужно признать, что сестра, обвиняющая его фактически в полном забвении былых идеалов: «„В селах живут миллионы!“ А ты видел, как они живут? Когда-то раньше, молодой, ты любил петь „назови мне такую обитель“, помнишь?.. „Где бы русский мужик не стонал“, помнишь?» — тоже не совсем права.

Ибо он — помнит. Это его глазами видим мы запруженные людьми вокзалы, перенаселенные бараки, бесконечные очереди... Зрелище это отзывается в душе его болью и именно потому требует немедленного оправдания: «Таковы беспощадные законы истории, таков закон индустриализации. Это конец старой деревни... конец собственническому началу. Творится новая история. И все старое рушится с болью и потерями». Но наркотическое действие словесных формул все же неспособно заглушить в нем память о потерях и боли. И потому он настаивает: нужны не только завод, но и «жилища, механизация, социальные и бытовые учреждения». Готов спорить даже с грозным своим кумиром, готов поставить на карту свою судьбу, арестовав прибывшую на завод комиссию...

Нет, Рязанов не изменил идеалам, и все же к тем, что «еще не ощутили постепенного отступления от ленинских принципов», критики, по-моему, отнесли его опрометчиво, ибо...

Вы заметили, как видит Рязанов тех самых людей, ради которых ставит на карту судьбу? «Вокзальные толпы»; «перенаселенные бараки»; «большая толпа»... Он же не различает лиц! А кому противопоставляет строптивого своего племянника? Комсомольцам со стройки,

[1] Понимаю, как неожиданно, почти шокирующе для многих звучит этот термин в применении к предвоенному десятилетию. И все же — настаиваю на нем! Любовь к поколению «детей Арбата» не должна помешать нам понять, что мы вряд ли сумеем осмыслить уроки истории, если будем по-прежнему закрывать глаза на разницу между человеком идейным и человеком, обмятым и зашоренным пропагандистским прессом. Это очень разные люди!

которые не рассуждают о Сталине, а строят социалистическое общество. «Они ни в чем не упрекнут товарища Сталина. Сталин — символ их жизни, их беспримерного труда»...

«Они ни в чем не упрекнут...» А он *их* спрашивал? Нет, разумеется. Нельзя спрашивать толпу, в которой не различаешь лиц. Ее можно жалеть, даже желать ей счастья,. ее нужно вести, а можно и гнать ее, ибо «не милосердием совершаются исторические повороты». Она — объект управления, глина истории. Это ведь от Рязановых у нас пошло: «я построил», «мой завод», «с народом надо уметь»... Нет, он не «еще не ощутил» — он и не мог ощутить отхода от ленинских принципов, поскольку сам не является их носителем.

Когда-то Рязанов воевал против царизма, против унижения человека его чудовищной бюрократией. Но — не от нее ли и усвоен им этот барский взгляд на народ, как на послушную глину для собственного деяния? Нет, человек, неосознанно несущий в себе этакий кусище прошлого, не может быть сильным. Ему только кажется, что он шествует по жизни уверенной походкой победителя. Его отрицание самоценности каждой человеческой личности, это «неосознанное прошлое» уже заложило мину под его же будущее: «Ты не защитил невинного. Тебя тоже некому будет защитить».

Из всех героев А. Рыбакова Киров, пожалуй, единственный, кто ясно понимает, «какую цель преследует Сталин. ⟨...⟩ он нагнетает обстановку террора, в то время как никакого повода для террора нет». Но и другое он понимает яснее многих: «Выступить против Сталина — значит выступить против страны и партии. Никто не поддержит». Что ж... Это и в самом деле было невозможно. Но все-таки — почему?

Два момента в размышлениях Кирова представляются мне особенно важными в поисках ответа на этот вопрос.

Первый: Сталин добивается от него опровержения брошюры Енукидзе. Киров не может согласиться, не может пойти против правды. Но и возразить Сталину ему по сути нечем, ибо «утверждение о том, что Сталин — преемник Ленина, было необходимо партии, он, Киров, это утверждение принимал, на некоторые отступления от истины пришлось идти». Формула «Сталин — это Ленин сегодня» не без участия Кирова стала фактом массового сознания — временный маневр с истиной обернулся долговременными оковами лжи. Выхода нет.

Второй: несколько раз, то в споре со Сталиным, то в одиноких своих раздумьях возвращается Киров к блестящей своей победе — разгрому зиновьевской оппозиции в Ленинграде. Сторонники Зиновьева, добиваясь поддержки большинства, прибегали к тактике силового пропагандистского давления. Кирову удалось в короткий срок переубедить многих. Но — прибегнув к той же тактике. И он понимал, что многие не столько переубеждены, сколько подавлены, растеряны, утратили доверие к собственному политическому мышлению и чутью. «В течение ряда лет он тактично, настойчиво убеждал ленинградских коммунистов, что их недоверие к Сталину безосновательно, политика Сталина единственно правильная. А убедить в этом ленинградских коммунистов было непросто». И плоды этой блестящей победы оборачиваются теперь «сознанием собственного бессилия», ибо «никто не поддержит». Выхода нет. И тут в силу вступили инерционные процессы массового сознания, вера в несокрушимые авторитеты и конечные истины. И Кирову, человеку идеи, некуда теперь идти со своими идеями и сомнениями. Остается надеяться на «логику исторических процессов». Она действительно неумолима. Но люди, увы, в силах не только ускорить ее, но и затормозить. Иногда — сильно.

Почему я так настойчиво пытаюсь найти корни негативных явлений тридцатых годов в массовых социально-психологических процессах? Нет ли здесь некой попытки обелить личность Сталина? Нет. Мне не симпатичны потуги некоторых авторов (например, Вяч. Горбачева) изобразить Сталина этакой «жертвой бюрократического аппарата», объяснить многие его действия тем, что «жизненная реальность... дезавуировалась и трактовалась слишком угоднически... бюрократическим аппаратом». Слишком древним духом веет от этой «теории» — духом сказок о грозном царе-батюшке и коварных его воеводах... Но и противоположные попытки — свести все тяжелое и мрачное в судьбах огромной страны к злой воле одного человека — кажутся мне столь же наивными. К тому же, меня не столько занимает то, «что произошло с Иосифом Виссарионовичем Сталиным, соратником Ленина и в то же время его полным антиподом, участником революционного движения в России, объективно сделавшим столько для поражения его, движения, сколько не сделали все наши классовые противники вместе взятые» (М. Шатров), сколько то, что же происходит с нами, почему мы так долго, робко и мучительно, со многими отступлениями и колебаниями изживаем наследство тех лет.

Доктор экономических наук Г. Попов уже писал в связи с романом А. Бека «Новое назначение», что «и Н. С. Хрущев, и все мы думали, что, устранив из

Административной системы культ личности, мы уже решим все проблемы нашего будущего... Система нам отомстила».

И я думаю, Вадим Васильевич, что она способна отомстить нам еще раз, если мы не поймем до конца, с чем именно нынче прощаемся, с чем наступил «последний расчет». А проститься надо не только с бюрократической системой «сверхцентрализации», не только с попытками подменить самоуправление трудящихся управлением трудящимися «для их же блага» (вспомните Рязанова), но прежде всего — с претензиями на конечную истину, на всяческие решения «раз и навсегда»; надо проститься с представлениями о том, что лозунг и указание способны звменить обсуждение и убеждение, с анархической нетерпимостью, с показушным единомыслием, со всякими попытками ввести демократию в некие бюрократические «берега», с любыми «временными маневрами» вокруг истины — и со многим другим, составлявшим ту часть массового сознания, что была питательной средой для вызревания «культа личности И. В. Сталина».

Вот, по-моему, те главные выводы, к которым приходишь, размышляя о романе «Дети Арбата». Но, быть может, глазами историка роман прочитывается по-другому?

С уважением

В. Кавторин

P. S. Перечитав, вижу, что слишком многое нужно бы сюда добавить. Понятно, обо всем и не скажешь, а кое к чему мы с Вами, быть может, еще вернемся. Но вот о чем хотелось бы сказать, не откладывая,— о пути идейного и нравственного созревания, пройденном Сашей Панкратовым в ссылке. Правда, тема большая, а письмо мое и без того разрослось безобразно, и чтобы быть предельно кратким, напомню лишь это: «При всем вашем благородстве, Саша, у вас есть одна слабинка: из осколков своей веры вы пытаетесь склеить другой сосуд. Но ничего не получится: осколки соединяются только в своей прежней форме».

Это говорит ссыльный философ Всеволод Сергеевич, и в этом, по-моему, квинтэссенция пути Саши. Ведь он в какой-то момент поверил: «идеей, на которой он вырос, овладели баулины, лозгачевы, дьяковы, они попирают эту идею и топчут людей, ей преданных...» Поверил и ошибся: они овладели лишь словесными формулами, но идея осталась жить помимо и вопреки им. И его попытки найти иной идеал обречены на неудачу. Всякая замена на прежнему оказывается ненастоящей, «заячьей» жизнью: «осколки соединяются только в прежней форме». Социалистическому идеалу нет достойной замены! Только путь к нему может быть путем истинного возвышения личности.

Эта величайшая жизнестойкость, эта *незаменимость* нашего идеала и объясняет, по-моему, то, что даже «культ личности» с его неисчислимыми бедами не смог его уронить «во мнении народном».

В. К.

P. P. S. Извините, еще пару слов. Успели ли Вы прочитать книгу И. Пантина, Е. Плимака и В. Хороса «Революционная традиция в России 1783—1883 гг.» («Мысль», 1986)? В ней есть одна мысль, имеющая, по-моему, непосредственное отношение к нашему разговору. Главными идейно-психологическими корнями нечаевщины авторы считают «неосознанное следование традициям самодержавно-феодального угнетения, неспособность психологически преодолеть их в процессе борьбы... с этим же угнетением». Не поможет ли это понять и исток всего, что мы привычно именуем «атмосферою культа личности». Как Вы думаете?

В. К.

В. В. Кавторину

Не буду скрывать от Вас, Владимир Васильевич, что первой моей реакцией на Ваше письмо была некоторая растерянность. Оказалось, что во всех основных вопросах, касающихся «Детей Арбата», мы с Вами солидарны. Как же быть? Нет оснований для спора — зачем же затевать диалог?

И все же я решился отвечать Вам. Может быть, само изложение моей позиции выявит какие-то не затронутые Вами аспекты волнующих нас вопросов. Или даже неожиданно для нас самих обнаружит если не расхождения по существу, то некие оттенки мнений, которые окажутся не столь уж маловажными. Ведь роман переворошил такие глубинные пласты нашей прошлой жизни, связанные тысячами нитей с жизнью сегодняшней, затронул такие сложнейшие и кровоточащие проблемы, что разобраться в них с ходу и прийти к каким-либо исчерпывающим заключениям не сможем по отдельности ни Вы, ни я, не сможет и десяток критиков. Оценка романа как художественного произведения — да, пожалуйста, на это нас станет уже и сейчас. Определение же меры приближения писателя к истине в изображении исторических событий и деятелей (а без этого никак не обойтись!) — дело куда более сложное. В конечном счете оно может быть сделано лишь после того, как многостороннее научное и художественное исследование высветит все уголки нашей истории. На пути у такого исследования десятилетиями стояли (частично и сейчас стоит) искусственно возведенные и очень прочные заборы, в которых лишь кое-где удалось выломать одну-другую доску. Заборы есть и в наших собственных головах. Разрушить их должны мы все, всем миром. И заниматься этим нужно уже сегодня, безотлагательно и бесстрашно.

Вот почему я поднимаю брошенную Вами перчатку, рассматривая, однако, нашу эпистолярную дуэль не как полемическую схватку двух оппонентов, а как своеобразную форму помощи себе и другим в уяснении того, насколько адекватное воплощение нашел один из трудных отрезков пройденного нами пути в романе А. Рыбакова. А следовательно — помощи в подходе к пониманию существа этого пути.

Думаю, что для начала было бы полезно высказать свой взгляд по поводу того, какое место занимают «Дети Арбата» в нашей литературе. У романа Рыбакова много противников, гораздо больше, чем можно было *пока* судить по печатным изданиям. Против романа все, кто заражен сталинистскими предрассудками и иллюзиями. Их голоса уже слышны и становятся громче. И потому каждый голос в поддержку писателя не останется втуне.

А место романа пока (опять-таки *пока*) уникально, иначе не скажешь. Уникальность же эта определяется только и исключительно образом Сталина. Без него этот роман о начале 30-х годов был бы, вероятно, произведением значительным и интересным, но... одним из многих. Сейчас он — единственный в своем роде. В нем действительно впервые в нашей художественной литературе предпринята попытка показать Сталина изнутри, причем не в отдельных эпизодах (такое встречалось и раньше), а во всем (или почти во всем) объеме его внутренней жизни, психологии и мировоззрения. Крупнейшим достижением автора я считаю смелую по замыслу и блестящую по исполнению реконструкцию политической философии Сталина, которая объясняет не просто его поступки в той или иной отдельно взятой ситуации, а всю, так сказать, линию его поведения на протяжении десятилетий. Безумная вакханалия избиения миллионов людей, развернувшаяся в годы, которые последовали за описанными в романе событиями, не может (подобно многим другим акциям Сталина вплоть до самой его смерти) найти объяснения в каком-либо «просчете»: слишком уж циклопические размеры она приняла. Не может быть объяснена при помощи одной лишь психологии и, рискну написать, психиатрии (без которой, наверно, тоже не обойтись). Здесь налицо продуманная и последовательно осуществляемая линия, опиравшаяся на определенный комплекс взглядов. Этот комплекс и пытается воспроизвести А. Рыбаков. Можно с чем-то в его попытке соглашаться и не соглашаться, можно с ним спорить, что-то можно и отвергать, можно, наконец, превзойти его в постижении и художественном воплощении образа Сталина — но за ним навсегда останется заслуга первопроходца (во избежание недоразумений: первопроходца в *советской художественной* литературе; в мире немало написано о Сталине, но бо́льшая часть написанного по разным причинам остается недоступной нашему широкому читателю).

Если уж на то пошло, именно Сталин, а отнюдь не Саша Панкратов,— истинный главный герой романа. На Саше держится сюжет, его образ и его судьба имеют самостоятельный интерес. И все-таки все мы, проглатывая страницу за страницей, с нетерпением ждем, когда же, наконец, снова появится низкорослый, узколобый и рябой виртуоз политической интриги и начнет на своем своеобразном и сразу же узнаваемом наречии излагать свое исповедание веры. В романе немало сильно написанных страниц и мастерски разработанных характеров. Есть фрагменты и образы менее удавшиеся писателю. Но нигде его мастерство не поднимается на такой высокий уровень художественности и зрелости, как на страницах, посвященных Сталину. Слово «перевоплощение» обычно применяют к актерам. Но что же это такое, как не перевоплощение? Создается полная иллюзия того, что мы слышим (именно слышим!) живого Сталина со всей своеобычностью голоса и акцента, индивидуальными особенностями мыслительного процесса и стилистического оформления мыслей. Кому привелось Сталина читать и слышать, тот едва ли избежит этой иллюзии. Вот бы поучиться у Рыбакова тем многочисленным авторам, которые вкладывают в уста исторических героев дословные отрывки из их речей и сочинений и считают, что задача решена! Рыбаков идет тем путем, которым и должен идти подлинный художник. Он проник в психологию героя, он проникся его психологией, как бы перевоплотился в него, стал думать и чувствовать, как он, и заговорил его языком.

В отличие от большинства литературных произведений, роман «Дети Арбата», долго ожидавший своего часа, был прочитан и оценен некоторыми деятелями культуры еще до выхода в свет. Затем появились и печатные отклики. В них много справедливого и бесспорного. Но высказаны и суждения, на которые хочется возразить.

Первое из них касается документальной основы романа. Сам писатель, к сожалению, внес дезориентацию в читательские ряды упорным подчеркиванием преобладающей роли домысла в создании образа Сталина. Попробуй теперь поспорить с автором, уж он-то знает, как было дело! И вот уже то тут, то там читаешь ехидные намеки на писателей, которые, дескать,

своими эмоциями и домыслами искажают историческую правду. Не знаю, зачем Рыбакову понадобилось принижать проделанную им работу по изучению исторических документов, печати, мемуаров, исследований, свидетельств очевидцев и участников событий. Насколько я могу судить, работа эта огромна и скрупулезна. Сочинения же самого Сталина писатель, похоже, знает наизусть. Мне кажется, что далеко не все наши историки-профессионалы, развращенные навязанными сверху запретами и установками, так тщательно и так полно изучают источники, как это сделал А. Рыбаков. Поэтому я смело утверждаю, что, во-первых, «Дети Арбата» могут быть по праву названы (что и сделал В. Каверин) «исследовательским романом», и, во-вторых, проделанный писателем анализ психологии и взглядов Сталина имеет не только художественное, но и научное значение. Рыбаков предложил нам гипотезу, но гипотезу убедительную. С ней должен будет считаться любой исследователь, если только он серьезно и ответственно относится к своему делу.

Из сказанного следует, что я считаю весьма высокой степень исторической достоверности романа Рыбакова. Дело не меняется от того, что он кое-что домыслил: без домысла не обойтись иной раз и в научном исследовании, а уж в художественном произведении он просто необходим. Лишь бы он не грешил против исторической правды в высоком смысле слова. Не вызывает возражений и то, что писатель допустил кое-какие хронологические сдвиги. Например, поразительные по своей антиисторичности оценки Ивана Грозного Сталин высказал в беседе с С. Эйзенштейном и Н. Черкасовым в феврале 1947 года, и Черкасов с восторгом поведал о них миру в «Записках советского актера», вышедших в 1953 году. Но Сталин, конечно, мог придерживаться аналогичных взглядов на родственного ему по духу царя уже в начале 30-х годов, и потому появление их в романе Рыбакова возражений не вызывает. А. Лацис в своей статье «С точки зрения современника» («Известия», 17 августа 1987 г.) отметил допущенные писателем фактические неточности. Я мог бы пополнить их перечень. Но не стану этого делать, потому что не в них суть. Хотя, конечно, лучше бы их не было, ибо противники романа будут рады ухватиться за все, что может подорвать его престиж в глазах читателей.

Ведь беда наша заключается еще и в том, что большинство читателей плохо подготовлено к правильному восприятию и справедливой оценке «Детей Арбата». Их, то есть читателей, десятилетиями пичкали таким скудным и многократно профильтрованным набором сведений об истории нашей страны и партии, что непредвзятый взгляд на вещи и объективное изложение событий воспринимаются как нечто сенсационное и разрушительное по отношению к общепринятым представлениям. К сожалению, во всеобщем интересе к «Детям Арбата» есть элемент сенсационности. Да и не могло не быть его. А ведь по существу никаких сенсаций в романе Рыбакова нет. Он просто пишет о вещах, которые долгие годы утаивались от общественности и потому были забыты, пользуется источниками, значительная часть которых, как я уже говорил, остается почти недоступной и потому не существует для читателей. Печально, когда простое воспроизведение исторической реальности кажется потрясением и разрушением основ. Но если Рыбаков что-нибудь и разрушает, то только фальшивых идолов.

Неподготовленность читателей мешает им подчас правильно воспринять кое-какие даваемые Сталиным чисто субъективные оценки исторических лиц. Мне приходилось в частных разговорах сталкиваться с любопытной реакцией на роман. Все привыкли с уважением относиться, скажем, к С. М. Кирову или Г. К. Орджоникидзе. И вдруг читаем сталинские непочтительные мысли о них. И наше недоумение и протест, как ни странно, обращаются не против Сталина, а против писателя. Как мог он такое написать об уважаемых людях? С другой стороны, никто, вероятно, не запротестует, читая сталинские отзывы о Г. Е. Зиновьеве как «этом болтуне Гришке», «демагоге Гришке», «ничтожестве Гришке» и тому подобное. В самом деле, сама фамилия эта стала настолько одиозной, что любой ругательный эпитет будет воспринят без удивления. Фактически же речь идет о видном политическом деятеле, который многие годы был одним из крупнейших руководителей партии и Коминтерна. К слову сказать, Сталин отлично знал ему цену, и потому можно усомниться в правдоподобии соответствующих мест в романе. Но и это, конечно, не может повлиять на общую оценку авторской концепции.

Бесспорно, предпринятый А. Рыбаковым анализ Сталина и сталинщины далеко не полон. Он не затрагивает, например, проблемы социальных корней мировоззрения Сталина и вообще его характеристики как явления социального. Говорю это не в упрек Рыбакову. Он честно сделал свое писательское дело, представил нам свое понимание Сталина как человека, как личности. А дальше уж начинается миссия философов, социологов, историков или, как теперь принято говорить, обществоведов. Это уже их задача — раскрыть сущность Сталина как порождения общественных отношений и как субъекта общественной борьбы. Повторяю: писатель сделал то, что обязан был сде-

лать. Не меньше, но и не больше. А вот авторам некоторых откликов на роман я порекомендовал бы не сводить феномен по имени Сталин к «трагедии одиночества», к сиротливому детству, комплексу ущербности и неполноценности, жажде самоутверждения и прочее. Все это, конечно же, было. Но — не исчерпывает сути Сталина как политического деятеля.

Упоминание об этих откликах дает мне повод прервать на время разговор о Сталине, чтобы высказать и другие возражения писавшим о романе.

Никак не могу согласиться с утверждением В. Каверина, что роман «Дети Арбата» — «художественное произведение, не ставящее перед собой политические цели». И обеими руками подписываюсь под словами А. Лациса: «Если бы нечто подобное произошло, такое замечание было бы равносильно признанию художественной неудачи». Но я пошел бы дальше. «Дети Арбата», на мой взгляд, по справедливости можно и нужно назвать «политическим романом». Это именно политический роман, каким он должен быть, то есть произведение, делающее политику, политические события и идеи объектом художественного исследования и воплощения. Особенности нашего литературного процесса недавних лет привели к тому, что сам термин «политический роман» оказался несколько дискредитированным, ибо некоторые достаточно влиятельные авторы использовали его для прикрытия и оправдания художественной несостоятельности своих писаний. Но политика не противопоказана искусству, как не противопоказаны ему философия, экономические проблемы (вспомним Бальзака), да и вообще все виды духовной и практической деятельности человека. Роман Рыбакова — еще одно тому доказательство.

Существенное, по-моему, возражение — сразу двум авторам. Тому же В. Каверину (который, вообще-то говоря, высказал и немало тонких и справедливых замечаний о романе), написавшему: «Он (А. Рыбаков.— *В. Ч.*) добросовестный летописец, не испытывающий ни радости, ни печали, ни гнева». И в особенности — Л. Аннинскому, противопоставляющему роман «Дети Арбата» той «дури и спекуляции», которая может быть написана о Сталине: «Сколько славословий рабских и сколько ярости — мстительной, тоже рабской! — может излиться на эту фигуру, как уже изливалось».

Да позволит мне почтенный критик заметить, что если ярость и «рабское» чувство, то им охвачен раб взбунтовавшийся, раб, который хочет избавиться и от рабского состояния, и от рабской психологии. Трудно представить себе освобождение от рабства без священной ярости. Так вот: я утверждаю (и никто меня в обратном не переубедит), что А. Рыбаков охвачен этой священной яростью, этим справедливым гневом (не говоря уж о печали, не к месту упомянутой Кавериным). Но это — ярость и гнев особого рода. Они сродни чувству, с каким ученый изучает раковую опухоль, чтобы найти средство избавить человека от нее и порождаемых ею метастазов. Чтобы исследование увенчалось успехом, ученый должен сохранять спокойствие, трезвость ума, если хотите, «объективность». Но он ненавидит болезнь и более всего хочет ее искоренить. Ira facit poetam, гнев рождает поэта, говорили древние римляне. Думаю, что без гнева Рыбакову попросту не удалось бы создать такой живой, полнокровный, «объемный» образ «великого вождя народов».

Не хочу никого обижать, но думаю, что ненависть к сталинским преступлениям — единственно законное чувство для человека со здравым смыслом, не замутненным мифами умственным взором и не утраченной способностью к сопереживанию и состраданию. При условии, конечно, если этот человек располагает достаточной информацией о характере и масштабах этих преступлений. Знать и вспоминать без ярости о страданиях многих тысяч расстрелянных, подвергнутых пыткам, загнанных в лагеря, сосланных в чужие края *невинных* людей, о преждевременной гибели миллионов людей на фронтах, в блокаде, в фашистском плену или оккупации в результате пресловутых сталинских «просчетов» — вспоминать без ярости обо всем этом могут, по моему разумению, только субъекты с рыбьей кровью и нацеленностью на собственное благополучие. Таких субъектов много. Но к лицу ли нам примыкать к их сонму?

К нашему общему несчастью, однако, для большинства из нас информация о размахе злодеяний и действительной обстановке в сталинские времена остается книгой за семью печатями, а мифотворчество процветало слишком долго. Отсюда — большое количество «добросовестно заблуждающихся» поклонников Сталина. Над многими до сих пор тяготеет воспоминание, как они шли в бой под лозунгом «За Родину! За Сталина!», как под этим лозунгом погибали советские бойцы. Но ведь этот факт характеризует только патриотическое умонастроение сражавшихся с фашизмом, их представление о Сталине как достойном руководителе Родины и армии. Он вовсе не оправдывает реального Сталина и сталинских дел. В свою очередь, их вера в правомерность этого лозунга ни в коей мере не ставит под сомнение подлинность и глубину их патриотизма. Но вообще-то отнюдь не возникший стихийно, а придуманный в высо-

ких кабинетах и спущенный вниз лозунг, до неприличия похожий на свой аналог царских времен, коренным образом противоречил марксистскому, пролетарскому принципу: «Никто не даст нам избавленья — ни бог, ни царь и ни герой!» В период гражданской войны никому даже не приходило в голову восклицать: «За Ленина!».

В статье Ю. Борисова «Человек и символ» («Наука и жизнь», 1987, № 9) говорится: «Будучи крупным талантливым организатором, Сталин вместе с тем внес большой личный вклад в рост индустриальной мощи страны, в победу в войне. Осложняя и создавая экстремальные ситуации, он именно в этих ситуациях действовал со свойственной ему беспощадной решительностью и добивался успехов». Предположим даже, что историк прав. Но этот пассаж об «экстремальных ситуациях» приводит мне на ум примечательный эпизод из романа Виктора Гюго «Девяносто третий год». На военном корабле сорвалась с цепей пушка. Она убила нескольких моряков, нанесла кораблю страшные повреждения и чуть было не потопила его. Виновником случившегося был канонир, плохо закрепивший орудие. И он же, желая исправить причиненное им зло, после нескольких отчаянных и неудачных попыток в конце концов опрокинул и привязал пушку. Находившийся на корабле генерал снял у капитана с груди орден святого Людовика и пристегнул его к куртке канонира. А потом... приказал его расстрелять, сказав: «Небрежность этого человека чуть не погубила судно... Каждый промах в виду неприятеля карается смертью... Мужество должно быть награждено, а небрежность должна быть наказана». И канонира расстреляли. Он ведь тоже был создателем «экстремальной ситуации». Правда, масштабы ее были куда меньше. И причина ее была только небрежность, а не злая воля, как у Сталина. Мелкого преступника казнят, большого — прославляют...

В этой связи я целиком поддерживаю Вашу мысль, что, оценивая то или иное достижение, ту или иную победу, вполне законно спросить: а какой ценой она была достигнута и кто виноват, если цена оказалась слишком высокой?

Вернувшись к герою рыбаковского романа, я хочу и немножко поспорить с Вами, Владимир Васильевич. Я соглашаюсь с М. Шатровым, когда он называет Сталина «полным антиподом» Ленина (Вы приводите целиком это его высказывание — абсолютно точное и правильное). В принципе, я согласен и с Вами, когда Вы ставите вопрос о фактической измене Сталина делу социализма, о том, что «настоящим коммунистом Сталин никогда не был». Но тут я приглашаю Вас сделать остановку и углубиться в проблему. Ведь установить, что человек кем-то «не был» — это только полдела. Логичен вопрос: а кем же он был? И если он изменил какому-то делу, то чему же он служил? Только себе лично? Но это невозможно для руководителя партии и страны, даже если служение себе является главным мотивом действий и делом его жизни.

Мне кажется, нужно брать в расчет следующие соображения. Безусловно, в конечном счете ведущим стремлением Сталина было утверждение и укрепление своей власти. Для этого он не жалел ничего и никого. И добился цели, установив режим своей единоличной диктатуры, или, пользуясь современным выражением, режим личной власти. Что этот режим не имел ничего общего с социалистической идеей, для меня не подлежит сомнению. Но и этого ему было мало. Ему были нужны памятники при жизни, установленные на века вперед. Он хотел быть и фактическим вождем Октябрьской революции (правда, приходилось терпеть рядом с собой и даже немного впереди себя Ленина, но и тот в нашей пропаганде постепенно отходил все дальше в тень). Он хотел быть величайшим мыслителем всех времен и народов, величайшим полководцем всех времен и народов и вообще «величайшим гением человечества». И не просто хотел, а уничтожал или изолировал от общества тех, кто в этом сомневался, а оставшимся ежедневно вбивал это представление в голову при помощи всех средств, находившихся в распоряжении государства. И преуспел в этом изрядно — свидетельством тому многочисленные его поклонники из рядов старших и младших поколений.

Но не забудем того, что и Сталин действовал в рамках, определенных ему историей, и вынужден был с ними считаться. Он мог физически уничтожить старую большевистскую гвардию, которая осуществила Октябрьскую революцию. Но не мог отречься от самой революции. Более того, все свои действия, даже самые преступные, он должен был освящать именем Октябрьской революции, объяснять необходимостью защитить ее завоевания от внешних и внутренних врагов. Сталин мог калечить, примитивизировать и извращать принципы социалистического строительства, проводить его в жизнь негодными методами. Но не мог отказаться от самой социалистической цели, не мог повернуть общество вспять к капитализму. Он был антиподом Ленина (я уверен, что он был полон жгучей зависти и ненависти к нему), но должен был в своих собственных интересах изображать себя учеником Ленина, пропагандировать его идеи. Короче: генеральный секретарь ЦК партии обязан был руководить строительством социализма, если хотел сохранить свой пост. И хотя то, что Сталин вносил лично от себя, в большинстве случаев не выдерживает критики, общество, с трудом, с огромными издержками и жертвами, с зигзагами и задержками, двигалось в направлении, заданном Октябрьской революцией. В народе продолжали жить идеалы и стремления, завещанные революцией, рожденный ею энтузиазм. В противном случае наша страна не была бы сейчас страной социалистической.

Итак — был ли Сталин настоящим коммунистом? Настоящим — в смысле коммунизма Маркса, Энгельса, Ленина, большевистской партии, — конечно, нет. И все же его отношение к коммунизму не столь уж, на мой взгляд, простое. Он не был беспринципным прагматиком, сознательно и хладнокровно использовавшим коммунистическую фразеологию в своих личных интересах. Думаю, что он искренне считал себя коммунистом. Думаю, что он и был им. Но не забудем, что коммунизм может быть разным. В своих трудах, начиная с «Манифеста Коммунистической партии», Маркс и Энгельс дали критическую оценку нескольким разновидностям коммунизма и социализма. Так что же это такое — сталинский коммунизм? Чтобы исчерпывающе ответить на этот вопрос, следовало бы тщательнейшим образом проанализировать сталинскую теорию и практику. Но в качестве рабочей гипотезы я выдвинул бы такой тезис: коммунизм Сталина — одна из разновидностей так называемого «казарменного коммунизма», с которым пришлось бороться еще в XIX веке Марксу и Энгельсу.

«Философский энциклопедический словарь» (М., 1983) определяет «казарменный коммунизм» как понятие, которым основоположники марксизма обозначали «предельно вульгаризированные, примитивные представления о коммунизме как о строе, для к⟨ото⟩рого характерны аскетизм в удовлетворении человеческих потребностей, деспотизм узкого слоя „революц⟨ионных⟩ лидеров“, бюрократизация всей системы обществ⟨енных⟩ связей, отношение к человеку как к слепому орудию выполнения воли вышестоящих инстанций». Методы достижения «казарменного рая» они (основоположники) характеризовали как «апологию вероломства, лжи, запугивания, насилия, как доведенную до крайности буржуазную безнравственность». Причины появления подобных тенденций марксизм-ленинизм связывает «прежде всего с отсталостью, неразвитостью, мелкобуржуазностью той обществ⟨енной⟩ среды, к⟨ото⟩рая сформирована веками эксплуатации, унижений, забитости, произвола властей и к⟨ото⟩рая может сохраняться известное время и после социалистич⟨еской⟩ революции. Давление такой среды, проникновение ее настроений и предрассудков в психологию политич⟨еских⟩ лидеров, в идеологию политич⟨еских⟩ орг⟨аниза⟩ций создает реальную возможность для возникновения (в теории и на практике) различных проявлений „К⟨азарменного⟩ к⟨оммунизма⟩“...»

В случае со Сталиным, пожалуй, теорию от практики придется отделить. Официально провозглашаемая им теория «казарменный коммунизм» отвергала. Но Сталин был великим мастером говорить одно, а делать другое. Как все «казарменные коммунисты», он рьяно занимался мифотворчеством. Поэтому следует присмотреться к тому, как он интерпретировал марксистско-ленинскую теорию, одним из создателей которой сам себя объявил. Что он в ней выпячивал, а что отодвигал на задний план или замалчивал, в чем ее «развивал» или искажал, а в чем на словах оставался ей верен. Не исключено, что «казарменные» уши выглянут и в теоретической сфере. Если же процитированное мною определение «казарменного коммунизма» сопоставить со сталинской практикой, а характеристику его истоков — с российской действительностью предреволюционной и послереволюционной поры, то, думаю, Вы согласитесь, что совпадение разительное. Так или иначе, здесь есть о чем подумать — и применительно к Сталину лично, и применительно к объективным процессам, сделавшим возможным его возвышение, о которых Вы упоминаете. Я хотел бы только еще раз повторить: наш собственный опыт от Ленина до сегодняшних дней с удивительной наглядностью демонстрирует, какую огромную роль играет в истории личность, какие радикальные изменения приносит подчас с собой смена личностей, смена руководителей. Разумеется, роль той или иной личности без «объективных процессов» не объяснишь. Но и сами по себе «объективные процессы» объясняют далеко не все. И я полагаю, что марксистской мысли еще предстоит как следует разобраться в таком старом и, казалось бы, теоретически давно решенном вопросе, как «роль личности в истории».

Возвращаясь к цитате из философского словаря, хочу обратить Ваше внимание на замечание о доведенной до крайности безнравственности (слово «буржуазная» можно оставить в стороне). Одной из главнейших и страшных черт психологии Сталина (и роман Рыбакова тоже говорит об этом) мне представляется абсолютное отсутствие каких бы то ни было нравственных ценностей и каких бы то ни было нравственных тормозов. Это был человек, способный поистине на все для достижения своих целей. К несчастью, история предоставила ему возможность в полной мере проявить эту свою способность. Абсолютная безнравственность, между прочим, делала безоружными пе-

ред ним порядочных людей. И раз уж Вы обратились к большому человековеду М. Горькому, то позвольте приведенное Вами высказывание дополнить еще одним: «нет яда более подлого, чем власть над людьми, мы должны помнить это, дабы власть не отравила нас, превратив в людоедов еще более мерзких, чем те, против которых мы всю жизнь боролись». Далеко видел Алексей Максимович, хотя под конец жизни тоже, по всей видимости, пал жертвой сталинского «шаманства», то есть, проще, обмана.

Вы вспоминаете относящиеся к марту 1922 года замечания Ленина об опасностях, подстерегающих партию. Нет сомнения, что ленинское «Завещание» находится в прямой связи с этими провидческими словами. Хочу лишь добавить, что опасения за судьбу партии отнюдь не умерли вместе с Лениным. Они продолжали тревожить наиболее проницательных его сподвижников и в последующие годы. 3 июля 1926 года, за две с небольшим недели до своей внезапной смерти, Ф. Э. Дзержинский обратился к В. В. Куйбышеву с письмом, в котором настаивал на своем освобождении от поста председателя ВСНХ (Куйбышев был тогда заместителем председателя Совнаркома СССР и председателем ЦКК). Он горячо доказывал необходимость найти «правильную линию в управлении на практике страной и хозяйством» и «потерянный темп, ныне отстающий от требований жизни». При этом у него вырвалось поразительное пророчество: «Если не найдем этой линии и темпа, оппозиция наша будет расти и страна тогда найдет своего диктатора — похоронщика революции — какие бы красные перья не были на его костюме». Но откуда именно грозила реальная опасность, Дзержинский, видимо, не догадывался.

Мне очень импонирует Ваш анализ некоторых особенностей психологии выведенных в романе представителей молодого поколения начала 30-х годов и старой гвардии — особенностей, сказавшихся на их отношении к миру и друг к другу и облегчивших достижение Сталиным его целей. Но кое-что я все-таки добавил бы, прекрасно сознавая, что и мои дополнения не прояснят до конца проклятый вопрос: как могло это случиться?

Я добавил бы, что словесное «шаманство», против которого оказались бессильными лучшие люди обоих поколений, подкреплялось всей мощью огромной пропагандистской машины и всем авторитетом государственных и партийных органов, доверие к которым именно у этой части нашего общества было очень велико. Одним из мифов, созданных заинтересованными людьми в свое оправдание, является утверждение, будто в 30-е годы и позже все безраздельно верили Сталину и нисколько не сомневались в законности и обоснованности репрессий. Не буду прибегать к широким обобщениям. Но могу засвидетельствовать, что даже у моих сверстников, которым к началу войны исполнилось пятнадцать лет, возникали разного рода сомнения, которые высказывались в доверительных разговорах, вызывали споры, в тогдашних условиях совсем небезопасные. Мы еще располагали кое-какими фрагментами информации о партийной истории, помнили кое-какие имена, слышали кое-какие суждения старших. Наши старшие товарищи знали еще больше и, следовательно, имели еще больше оснований для сомнений. Но попробуй устоять, когда все кругом вещает, кричит, поет, что «живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей», что все делается правильно и иначе быть не может. А когда газеты печатали судебные отчеты, наполненные признаниями бывших соратников Ленина, что они уже давно, всю жизнь были шпионами, заговорщиками, саботажниками, контрреволюционерами, то требовалась почти сверхчеловеческая проницательность, чтобы заподозрить в этом фальсификацию. С одной стороны, странно, что Ленин создавал партию, делал революцию и строил новое государство в компании с изменниками и шпионами. С другой же, ведь они сами в этом признаются...

Что же касается «железной когорты», как Вы ее называете, то я хотел бы напомнить, что ко всем ее справедливо отмеченным Вами качествам и к неизбежному влиянию «шаманства» добавлялась еще и ставшая второй натурой железная партийная дисциплинированность. К числу удивительных загадок 30-х годов относится то, что в охоте на ведьм участвовал каждый, пока его самого не превращали в ведьму. Партийные и иные кадры уничтожались последовательно, слой за слоем, и каждый очередной слой ревностно содействовал уничтожению предшествующего. Причем большинство делало это, конечно, в убеждении, что так и следует делать: кругом действуют враги, они коварны, они способны вовлечь в свои сети любого, даже честного в прошлом и заслуженного человека, и потому не нужно удивляться, если среди врагов оказываются члены партии, даже крупные деятели партии. Многие ли догадывались, что они оказались на службе у великой лжи? В чрезвычайно интересном документальном очерке А. Русова «Письмо», опубликованном в журнале «Знамя» (1987, № 9), есть любопытный штрих. Старая большевичка-подпольщица Фаро Кнунянц пишет своим родным из Киргизии, где находится в командировке, в сентябре 1936 года: «В самых отсталых кишлаках слышали о суде над троцкистско-зиновьевскими преступниками. В прошлом лю-

ди здесь так настрадались от басмачества, что теперь всякий такой приговор воспринимается с чувством удовлетворения, сознании, что крепнет революционная законность». Вы только представьте себе: крепнет революционная законность! А Зиновьев с Каменевым, оказывается, повинны даже в басмачестве! В апреле 1938 года Ф. Кнунянц записывает в дневнике: «В результате вредительской работы Ф., Ч., Г., Ж. и беспечности Ф. положение с кадрами в настоящее время катастрофическое». И тут виновато, конечно, вредительство. И ведь пишет это умный, тонкий и беспредельно честный человек. И пишет уже тогда, когда вокруг нее один за другим исчезают ближайшие друзья, известные ей как заслуженные, преданные и честнейшие коммунисты...

Вы хорошо и правильно говорите о рыбаковском Рязанове, о его бездумном отступничестве от племянника, с виной которого (не существующей на деле) он легко согласился. Но позвольте еще раз процитировать Ф. Кнунянц: «Вспомнила нашу давнюю встречу с Серго (Орджоникидзе.— *В. Ч.*) на четвертом этаже, возле Секретариата. Он спешил куда-то, когда я остановила его:

— Скажи, Серго, за что арестовали бедную Люсю, дочь Алеши Джапаридзе (одного из двадцати шести погибших бакинских комиссаров.— *В. Ч.*)?

Он как-то печально взглянул на меня.

— Неужели ты полагаешь, Фаро, что дочь Алеши могли арестовать без серьезных на то оснований?»

Кому он отвечал, Серго? Не себе ли, не своим ли собственным сомнениям?

Серго покончил с собой. Фаро Кнунянц чудом избежала ареста. Позднее она многое поняла. Но ведь некоторые из тех, кто громил и разоблачал «врагов народа», продолжали, когда очередь доходила до них, пребывать в заблуждении, что по отношению лично к ним допущена ошибка, остальные же расстреляны или посажены за дело.

Глубоко прав был Владислав Гомулка, сказавший, что при системе культа личности «ломали человеческие характеры и совесть, людей топтали, их честь оплевывали. Клевета, ложь, подлоги и даже провокации служили орудием осуществления власти».

Судьба «железной когорты» действительно трагична. Вдвойне трагична из-за того, что она собственными руками помогала уничтожать себя. Немногие исключения подтверждают правило. Это надо знать. Надо учитывать. И не впадать в наивность и ложную идеализацию людей и обстоятельств. Пользы от этого не будет. Кровавая фантасмагория тридцать седьмого года, как и предшествующих и последующих, глубоко поучительна и взывает к осознанию личной ответственности каждого человека за судьбу других людей и всей страны.

В своем письме Вы посвящаете страничку с небольшим образу Кирова, играющему в романе важную роль. Мне кажется, он достоин более внимательного отношения. Не могу отделаться от мысли, что он более всего уязвим с точки зрения исторического правдоподобия. Правда, я (как и все мы, наверно) слишком мало знаю о действительных взаимоотношениях Сталина и Кирова, чтобы судить об этом с достаточной степенью уверенности. Сам по себе образ Кирова в романе очень интересен и привлекателен. Но не перегнул ли автор палку? Вспоминаются дифирамбы в честь Сталина, которым Киров предавался и до XVII съезда партии, и на съезде, и после него, и его насмешки на съезде над каявшимися бывшими оппозиционерами, противоречившие святому правилу «лежачего не бьют», и его предложение не принимать на съезде развернутой резолюции по отчетному докладу ЦК, а «принять к исполнению, как партийный закон, все положения и выводы отчетного доклада товарища Сталина»... Короче говоря: я сомневаюсь, чтобы Киров так хорошо понимал замыслы Сталина, опасности, из них проистекающие, так сокрушался по поводу своего бессилия что-либо изменить. Похоже, что вместо реального Кирова перед нами собирательный образ старого большевика, поддерживавшего Сталина в борьбе с оппозициями, ради успеха этой борьбы «поднимавшего авторитет вождя», не останавливаясь перед искажениями исторической правды, и с ужасом убеждающегося, что искусственно возвеличенный вождь превращается в диктатора, которого уже невозможно обуздать. Историческая коллизия довольно типичная.

И еще одно. В романе большое место занимает подготовка к физическому устранению Кирова. Но, как ни странно, она должным образом не мотивирована. Может сложиться даже впечатление, что если бы Киров согласился переехать в Москву, то остался бы в живых. Это слишком наивно, чтобы быть правдой.

Между тем, философия сталинских репрессий, если можно так выразиться, разработана Рыбаковым очень тщательно и убедительно. Каждая из «сталинских страничек» романа что-то дает для понимания репрессивных побуждений Сталина. Вспомним хотя бы такие его размышления, касающиеся и людей, помогавших ему, и тех, кто против него выступал: «этот аппарат уже отслужил свою службу и больше в таком виде ему не нужен, ему нужен другой аппарат, не рассуждающий, для которого есть только один закон — ЕГО воля. Нынешний аппарат — это уже старье, отработанный пар, хлам. Однако эти старые кадры и наиболее сце-

ментированы, наиболее взаимосвязаны, они со своего места так просто не уйдут, их придется *убирать*. Но это будут навсегда обиженные, навсегда затаившиеся, потенциальные смертельные враги, готовые в любую минуту присоединиться к тому, кто выступит против НЕГО. Их придется уничтожать. Среди них будут и заслуженные в прошлом люди — история простит это товарищу Сталину. Теперь их прошлые заслуги становятся вредными для дела партии, они мнят себя вершителями судеб государства. И потому их надо менять. Менять — значит, уничтожать». И далее: «уничтожение старого аппарата надо начинать с тех, кто уже выступил против НЕГО,— с Зиновьева, Каменева, они более уязвимы, они боролись против партии и они так много признавались в своих ошибках, что будут признаваться и дальше, будут признаваться в чем угодно».

Вот пример метода, о котором в одном интервью говорил А. Рыбаков: исходя из действий Сталина воссоздать ход его мыслей. Сделано мастерски: Сталин мог так думать, ибо поступил он именно так. Но, укрепляя свою власть созданием атмосферы всеобщего страха, а заодно прикрывая обвинениями во вредительстве и шпионаже провалы собственной политики, он уничтожил руками своих подручных Ягоды, Ежова, Берии не только «аппарат», но и массы партийных и беспартийных рабочих, крестьян, интеллигентов, военных.

Почему же, однако, именно убийство Кирова должно было дать повод для уничтожения старых кадров? Неужели только потому, что Сталину не нравилось, как он ведет себя в Ленинграде, раздражала его самостоятельность и популярность? Нет, конечно. Не потому ли, что у Сталина были основания бояться Кирова, видеть в нем соперника? И переход Сталина к репрессиям объяснялся, по всей вероятности, не только приведенными выше «теоретическими соображениями», но и вполне реальным страхом за свое положение, за свою власть. XVII съезд был ведь не просто «съездом победителей». Он явился и серьезным предупреждением для Сталина. Обратимся к одной из наиболее содержательных наших публикаций по вопросу о культе личности — к статье Л. Шаумяна «Культ личности» в третьем томе «Философской энциклопедии» (М., 1964). Вот что пишет хорошо информированный автор: «Старые большевики, особенно те, кто помнил ленинское „Завещание", понимали ненормальность складывавшейся обстановки. Как выяснилось много лет спустя, в дни XVII съезда ВКП(б) (1934) у нек⟨ото⟩рых делегатов возникла мысль о смещении Сталина с поста ген⟨ерального⟩ секретаря; при выборах в ЦК нек⟨ото⟩рые делегаты проголосовали против Сталина. После съезда Сталин принял свои меры, уничтожив больше половины участников XVII съезда: 1108 из 1966 делегатов. Из 139 членов и кандидатов в члены ЦК, избранных на XVII съезде, погублено 98 человек». Почему Рыбаков прошел мимо этой, закулисной стороны XVII съезда? (Совсем недавно она нашла подтверждение и в воспоминаниях А. И. Микояна — см. «Огонек», 1987, № 50). В преемники Сталина прочили Кирова, Сталин об этом знал — вот в чем, очевидно, причина трагедии 1 декабря 1934 года. Но в романе эта тема затрагивается лишь вскользь и невнятно. Отсюда и слабость мотивировки.

Кстати, то, что произошло на XVII съезде, ставит под сомнение приписанную А. Рыбаковым Кирову и поддержанную Вами мысль, что против Сталина выступить было невозможно. При наличии желания и единства среди высших партийных руководителей такое не было тогда исключено. По-настоящему неуязвимым Сталин стал только после 1937 года, который был по сути своей государственным переворотом, осуществленным сверху под маской легальности. Зато уж неуязвимым настолько, что его господствующего положения в партии и стране не поколебали даже грубейшие промахи и страшные поражения 1941/42 годов.

Сомнительна и авторская версия поведения Орджоникидзе. А. Лацис пишет, что его вообще не было в Москве на Пленуме ЦК в конце ноября 1934 года и, значит, он не мог встречаться с Кировым и уговаривать его задержаться на несколько дней. Это досадная фактическая неточность. Но и независимо от нее нелегко поверить, что Орджоникидзе начал догадываться об опасности, нависшей над Кировым. Если бы это было так, то убийство Кирова раскрыло бы ему глаза на участие Сталина в этой акции. И тогда непонятно, как мог бы честный и импульсивный Серго еще два с лишним года с прежним энтузиазмом работать бок о бок со Сталиным. Если он что-либо и понял в ленинградской операции, то, по-видимому, значительно позже. Да и понял ли вообще? В том-то и беда: такие люди даже в мыслях не могли допустить возможность столь чудовищной провокации. И поплатились за свое прекраснодушие жизнью.

Но не забегаю ли я вперед? Ведь скоро нас ожидает встреча с новым романом А. Рыбакова, в котором будут прежние герои и который, может быть, еще что-то нам прояснит.

Итак, одним из наших писателей сделан первый решительный шаг к художественному исследованию феномена по имени Сталин. Что-то будет оспорено, что-то — одобрено. Но пути назад уже нет. Впереди — дальнейшее исследование, углубленное и всестороннее. Роман «Дети Арбата» стимулирует это исследование.

Как видите, Владимир Васильевич, вопреки Вашему призыву я все-таки сосредоточился преимущественно на образе Сталина. Получилось это непроизвольно и, значит, было неизбежно. И от романа я отходил порой довольно далеко. Надеюсь, что Вы на меня за это не посетуете.

В. Чубинский

В. В. Чубинскому

Как бы ни был плодотворен спор (а в нем если и не рождается истина, то уж во всяком случае оттачиваются аргументы в ее защиту), я все же рад, Вадим Васильевич, что Вы оказались не столько моим оппонентом, сколько союзником. Рад, ибо на нехватку оппонентов нам с Вами, похоже, не скоро придется пожаловаться.

Должен признать: утверждая, что созданный А. Рыбаковым образ Сталина не вызвал у нас критической полемики, я сильно поторопился. Правда, полемика эта разворачивается не только и даже не столько вокруг романа, сколько вокруг самой личности Сталина и его политического наследия, далеко выходя (как, впрочем, и наш диалог) за чисто литературные рамки. Но публикация романа послужила мощным возбудителем, катализатором этих споров, что, кстати, подтверждает Ваше определение его как романа прежде всего политического.

Страсть, ведущая перо А. Рыбакова, не может не заражать, не будить политического сознания и политической мысли читателя. И с этой точки зрения высказывания тех, кто роман не принял, также чрезвычайно интересны, ибо дают возможность обнаружить и проанализировать бытование в сегодняшнем общественном сознании мифов и стереотипов, сформированных еще сталинской эпохой.

Хотя наши расхождения в анализе романа и исторической реальности, ставшей в нем предметом художественного исследования, не столь уж велики, двух пунктов мне хочется все же коснуться.

Должен, во-первых, подчеркнуть, что, говоря о невозможности для Кирова выступить против Сталина и о «временном маневре с истиной», который обернулся для него «долговременными оковами лжи», я имел в виду *только* героев романа, а не их исторические прототипы.

То, что романный Киров далеко не во всем совпадает с историческим, несомненно. Думаю, автор пошел на эту трансформацию отчасти сознательно, ибо в созданной им идейной структуре этот, как Вы говорите, «собирательный образ старого большевика» совершенно необходим. Без драмы подобного самообмана трагическая правда изображаемого им времени была бы неполной.

Вопрос же о том, были ли в партии к началу тридцатых годов силы, сознательно противостоящие политике И. В. Сталина, и сколь были они значительны, разумеется, весьма важен и интересен. Но судить о подобных вещах во всеоружии фактов мы сможем, вероятно, не так уж скоро — Ваши коллеги-историки, насколько я знаю, еще и не приступили к разработке многих документальных «слоев», отложившихся в те годы.

И во-вторых. Признавая, что уникальность романа «Дети Арбата» определяется именно образом Сталина (столь глубоко разработан он у нас не был), я все же никак не могу согласиться с Вами, что «именно Сталин, а отнюдь не Саша Панкратов — истинный главный герой романа».

Для меня Саша Панкратов как герой романа по меньшей мере равновелик Сталину. И не только с художественной точки зрения, не только потому, что это столь же проникновенно выписанный, глубокий человеческий характер, действующий в конкретно-исторических обстоятельствах...

Вы справедливо пишете, что Сталин «не мог отказаться от социалистической идеи», ибо действовал «в рамках, определенных ему историей». Саша Панкратов тоже не смог отказаться от этой идеи, но совсем по другой причине: на этой идее он был воспитан, она была сутью всей его духовной жизни, и отказ от нее был бы для Саши равносилен отказу от всего человеческого в себе. И тысячи, миллионы таких Саш, как бы трагически ни складывалась их судьба, были по сути главнейшей из тех «рамок, отведенных историей», что ограничивали опасную «свободу творчества» Сталина. Думаю даже, что, будь в поколении «детей Арбата» побольше таких Саш да поменьше Шароков и Марасевичей, будь «железная когорта» отцов меньше подвержена соблазнам скороспелого «казарменного коммунизма» — и победа «сталинщины» стала бы вообще невозможной.

Но это, увы, из области «исторических мечтаний». Облик каждого поколения формируют не субъективные намерения предыдущего, а социальная практика. Ни «дети Арбата», ни их отцы не могли быть другими.

Но тем и силен, по-моему, роман А. Рыбакова, что автору удалось показать не только прямое воздействие политики Сталина на судьбы двух поколений, не только деформацию их идеалов под прессом этой политики, но и обратное (ограничительное) воздействие этих судеб и идеалов на сталинскую политику, которая, что ни

говори, а всякий раз терпела поражение там, где не могла низвести человеческую личность на роль винтика.

Роман А. Рыбакова по сути укрепляет нас в мысли, что только развитие действенной демократии, только «социалистический плюрализм» идейных исканий, а вовсе не показушное, «шаманское» единодушие и единомыслие могут гарантировать нас от возрождения «сталинщины» как в ее трагической (30 и 40-е), так и в фарсовой (70-е годы) формах.

«В истории, в культуре, в общественной памяти страны,— писал в «Московских новостях» (№ 14 от 21.10.87 г.) старейший наш кинодраматург Евг. Габрилович,— образовалось множество белых пятен. Я мечтаю о том, чтобы все, пропущенное искусством в отображении нашей жизни, было бы искусством и возвращено. Это такие страницы, во-первых, подлинного драматизма, во-вторых, героизма, которые являются сущностью человеческой жизни и сущностью жизни общества».

«Дети Арбата» — одна из самых первых, талантливых и смелых попыток возвратить «пропущенное искусством в отображении нашей жизни». В этом смысле она — писательский подвиг. Но для литературы в целом это, думается, лишь первый шаг. И я надеюсь, что дальше писатели двинутся не в гордом одиночестве, а чувствуя рядом дружеское плечо историков-профессионалов и все плотнее опираясь на добытый и осмысленный ими фактический материал.

Этим вот «злободневным мечтанием» позвольте мне и закончить.

В. Кавторин

В. В. Кавторину

При всем желании, Владимир Васильевич, не могу как читатель разделить Вашего мнения о «равновеликости» Саши Панкратова Сталину. Не буду оспаривать ни художественной, ни концептуальной весомости образа Саши. Но мало того, что Сталин — фигура историческая, в отличие от Панкратова. Главное — он продолжает вплоть до наших дней подтверждать глубочайшую истинность изречения «мертвый хватает живого». Он схватил нас когда-то. Он нас держит и сейчас. И для полного своего превращения в свободных людей, живущих в свободном социалистическом обществе, для искоренения остатков рабской психологии мы должны избавиться от цепкой хватки коварного мертвеца. Первое условие — постичь, понять, кем он был на самом деле. И коль скоро роман Рыбакова нам в этом действенно помогает, Сталин оттесняет всех вымышленных (да и невымышленных также) персонажей. По крайней мере, так было в моем восприятии.

Готов согласиться с Вами, что Саша Панкратов выступает в романе своего рода антагонистом Сталина, олицетворением всего честного и чистого, что было завещано Октябрем. В конечном счете такие Саши Панкратовы, пусть с другими характерами и другой судьбой, составляли большинство народа. Они оставались идейно убежденными, самоотверженными и порядочными, даже если верили «шаманству» и в каких-то практических делах поддавались ему или заставляли себя, подобно Максиму Костину, не думать о том, что кажется непонятным и необъяснимым. Вот Вам, кстати, еще проблема, которую Рыбаков в «Детях Арбата» только затронул (что, в общем, понятно и оправдано, так как она встала во весь рост несколько позже). Речь идет о мучительной раздвоенности, которую испытывали (должны были испытывать) те, кто в силу своей осведомленности, теоретической и исторической, не мог не понимать, что в стране творится неладное и что многие деяния Сталина отнюдь не благотворны. Не мог — но был вынужден мириться с тем, что есть, и, руководствуясь требованиями патриотического и партийного долга, честно служил стране и народу. Были, конечно, и такие, кто, кажется, по всем основаниям не должен был поверить «шаманству» и... поверил.

К великому счастью для нас и для человечества, хотя все мыслимое и немыслимое делалось для умерщвления самой души народа, она осталась жива. Война показала это воочию. И, конечно же, выиграл войну народ, а не «вождь народов», выиграл вопреки всему, несмотря ни на что, в том числе несмотря и на сталинские чудовищные ошибки и преступления. Впрочем, тут я снова повторяю мысль, которая была высказана уже давно. Жаль, что ее несомненная справедливость до сих пор далеко не всеми осознана.

Литературе и науке нашей, если они действительно хотят разобраться в том, в чем разобраться обязаны, предстоит еще выяснить, как и почему порыв человека к разуму, к торжеству бесстрашной научной мысли был вытеснен слепой верой в непогрешимого, всеведущего и всемогущего земного бога. Как и почему удалось подменить идею превращения трудящихся масс в подлинного субъекта истории новым изданием теории героев (не героев даже — а одного героя!) и толпы? Здесь, если я Вас правильно понял, я касаюсь части той самой проблемы, которую Вы обозначили словами «деидеологизация общества». Термин мне не нравится, потому что в философской литературе он имеет совсем другое значение. Но если речь идет о замене идейной убежденности верой и о том, что замене этой был проложен путь навязыванием сверху конечных истин и насильственным «внедрением» полного единогласия, то Вы правы. Правда, жизнь куда сложней абстракций, и в сознании очень многих причудливым образом сливались и убежденность, и вера. Потому-то отказ от веры не приводил их к духовному краху, а, наоборот, освобождал и полностью восстанавливал в правах идею. Причины и следствия и духовного закабаления, и духовного освобождения — сколько здесь еще неизведанного и ожидающего художественного и научного исследования! (Тут придется вспомнить и цитируемые Вами соображения авторов книги «Революционная традиция в России. 1783—1883 гг.» об истоках нечаевщины. Без сомнения, они имеют самое прямое отношение к предмету нашего диалога.)

Но я вижу, что мы с Вами, словно идя по кругу, опять возвращаемся к проклятому вопросу: как все это могло случиться? Убежден, что он мучил и Рыбакова в пору работы над «Детьми Арбата», мучает и сейчас, когда он работает над их продолжением. Но вопрос этот можно поставить и по-другому: что нужно делать и сделать, чтобы это никогда не повторилось? Прежде всего, вероятно, нужно честно и прямо сказать обо всем, что мы пережили. Революционное обновление общества диктует, по моему убеждению, смелое и бескомпромиссное отмежевание от всего того, что пачкало и позорило социалистическую идею. Роман «Дети Арбата» содействует отсечению тех сторон нашего прошлого, которые мы не приемлем и не имеем права брать с собой в будущее. Вместе с тем он служит утверждению непреходящей ценности нашей высокой, благородной и гуманной идеи. Значит, он служит революции, служит перестройке.

С уважением

В. Чубинский

К нашей вклейке

БЛИЗКИЙ МИР

Творческая биография Александра Исааковича Русакова (1898—1952) неотделима от истории и культуры города на Неве. Детство художника прошло в Петербурге, юность — в Петрограде, а из стен Академии художеств он вышел в том году, когда Петроград стал Ленинградом.

Русаков начинал свой путь в эпоху, когда искусство, отвечая духу времени, выходило на улицы и площади. В атмосфере, проникнутой пафосом новаторства, возникали новые творческие объединения, в том числе — ленинградское общество «Круг художников», в организации и деятельности которого Русаков принял самое живое участие вместе с В. Пакулиным, А. Пахомовым, А. Самохваловым, Б. Каплянским, А. Ведерниковым и другими известными впоследствии мастерами. На знамени «Круга» стоял призыв: «Через картину к созданию стиля эпохи».

В мастерской Русакова на Петроградской стороне проходили собрания «круговцев», обсуждались насущные проблемы общества. Хозяин мастерской уже тогда отличался способностью создавать творческую атмосферу, никоим образом не претендуя на формальное лидерство.

Ранние произведения Русакова при всей их индивидуальной остроте отмечены характерными признаками времени. Им свойствен эффект напряженного, как бы повышенного тона живописной речи, в которой угадывается влияние новой французской школы. Вместе с тем здесь отчетливо проявилась редкая колористическая одаренность Русакова. Хотя в ранний период художник пробует обращаться к тематической картине, пишет большие холсты с фигурами в полный рост, дух повествования оказался чуждым его дарованию, и опыты такого рода не получили дальнейшего развития.

Портрет, натюрморт, пейзаж — вот жанры, которыми со временем ограничивается Русаков. И дело не в распределении произведений по жанровым ячейкам, а именно в ограничении близким миром, будь то круг родных и друзей, окрестность мастерской или предметы, что всегда под руками. В сущности, единственным жанром, к которому тяготело творчество Русакова, была живописная лирика. Все более естественной, обыденно-лаконичной становилась интонация его холстов. Живописец не гнался за разнообразием сюжетов, мог до бесконечности варьировать одни и те же мотивы, обращаясь к близкому миру и улавливая в нем тончайшие резонансы. Живопись оборачивалась изображением «окрестностей» души.

Русаков писал ленинградские улицы, сады, набережные, крыши, уголки дворов, вокзалы, писал ранним утром, в полдень и вечером, во все времена года, неизменно воспринимая город как живое существо.

В годы войны и блокады Русаков оставался в Ленинграде и продолжал работать. Он не стремился наглядно показать, что перед ним именно осажденный город, избегал намеренного введения в пейзаж грозных атрибутов войны. Глубокие аккорды цвета изменили образ Ленинграда в целом, но и в этом состоянии город художника сохранил чувство эстетического достоинства.

Поздние годы творчества отмечены обращением к «чистому» пейзажу, к образам природы, не освоенной человеком. Одновременно претерпела изменения техника живописца: стремясь к максимально лаконичной форме, Русаков обратился к темпере. В пейзажах Карельского перешейка, написанных незадолго до смерти, царит простота. Особую выразительность приобретает силуэт. Пейзаж становится своего рода «лирическим иероглифом», знаком одухотворенного единства художника и природы.

Живопись Русакова сохраняет облик человека простого и самоуглубленного, лишенного тщеславия и предпочитавшего внутреннюю активность внешней; художника, не чувствовавшего особой охоты к перемене мест, не слишком общительного, но и не замкнутого, глубоко привязанного к немногим людям, местам и предметам; не мыслившего своей жизни без каждодневной творческой работы, без общения с жизнью на языке искусства. При всей эмоциональной насыщенности голос его живописи негромок, но дар остается даром — вне зависимости от того, насколько громко он о себе заявляет.

Русаков не был полемистом, и все же его живописная лирика свидетельствует в пользу полемической формулы Бориса Пастернака: «Современные течения вообразили, что искусство, как фонтан, тогда как оно — губка». Дело не в прямом сопоставлении имен поэта и живописца. Существенно уяснение того особого расположения к жизни, когда художник не вторгается в нее, чтобы утвердить свой закон, а, напротив, одушевлен и одушевляет способностью всматриваться и вслушиваться в жизнь...

С. ДАНИЭЛЬ

ЖИВОПИСЬ АЛЕКСАНДРА РУСАКОВА



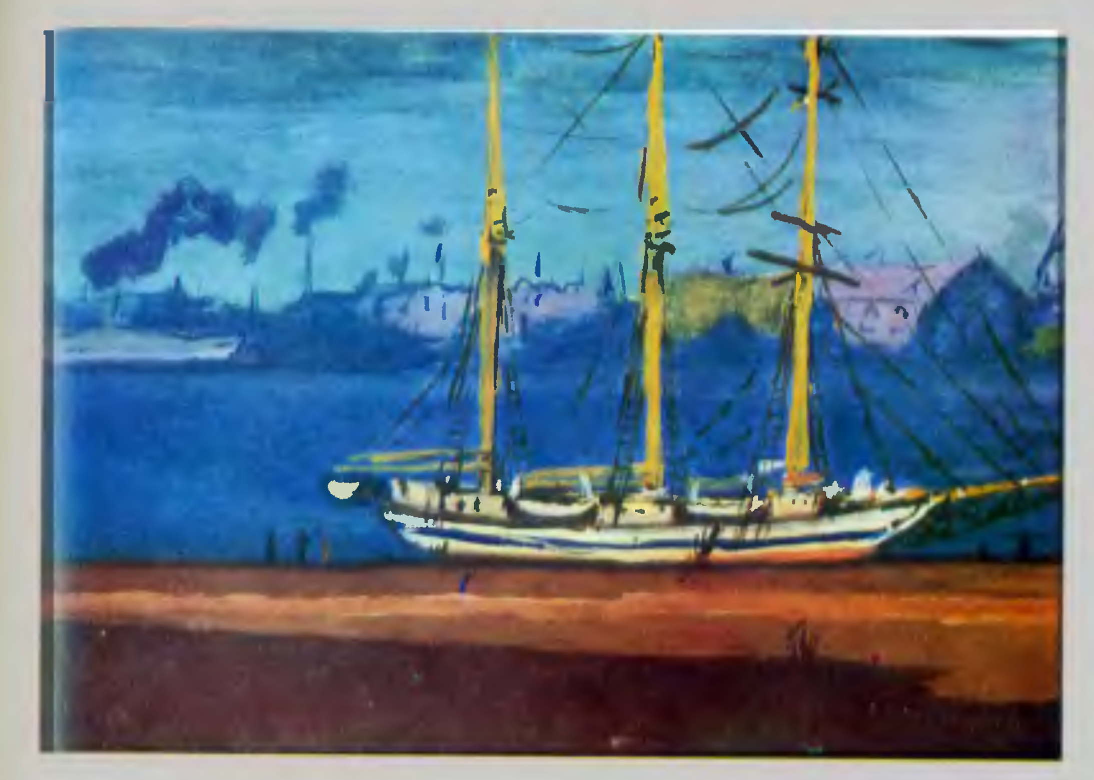
ЦВЕТЫ У ОКНА



БОЛЬШОЙ ПРОСПЕКТ. УЛИЦА ЛЕНИНА



НЕВА. ОРАНЖЕВЫЙ ДОМ



ШХУНА



ДОРОГА В ЛЕСУ



ДЕВУШКА С КУРИЦЕЙ



ВОКЗАЛ



Ольга КУЧКИНА

УРОКИ АРБУЗОВА

Я пишу это в Дубултах, на Рижском взморье, на земле, где столь часто живал Алексей Николаевич.

Смотрю на замерзшее море. Как это странно — замерзшее море! Знаю, скоро оно вскроется, быть может, уже завтра засияет неровная полоса живой воды, которая станет все увеличиваться. Сойдут снега. Мертвая, точнее, кажущаяся мертвой земля, копящая про себя весенние соки, то тут, то там даст начало комочкам зелени — набрав силу, они преобразят и дюны, и прибрежный парк, и окрестности.

Арбузов любил и этот лед на море, и миг преображенья, и весну, и лето — все любил он. У меня дома за стеклом стоят цветные снимки: Арбузов, Шатров, Розовский, Корсунский, Славкин, Петрушевская, я. Мы снимались у пляжного фотографа, в лодке под парусом, которая никуда не плывет. Славкин привил нам вкус к этому занятию, и мы, веселясь, снимались везде и всегда. В Прибалтике, к которой Арбузов был нежно привязан, тоже.

Совсем недавно узнала, что маленьким он жил в Асори, где у его родителей была дача — возможно, детство настойчиво требовало продолжения. Люди — как дети. Некоторые — особенно. Несмотря на годы, опыт, ум, талант и даже расчет и хитрость. Расчет и хитрость Арбузова были детскими. Это вовсе не означает — неумелыми: у детей такие вещи часто получаются. Но не надо забывать про ум и талант. Соединение хитрости с ними дает свою окраску.

Арбузов, каким я его знала, никогда не выгадывал за счет другого, не хитрил себе на пользу, а другому во вред. Или хотя бы себе на пользу, а там хоть трава не расти. Некоторые так поступают. Арбузов так не мог. Как внутренний человек он мог быть безогляден, как общественный — был чист и порядочен. Поскольку мы все жили рядом с ним и наше общение являлось бытом, мы не задумывались о том, насколько он нравствен. О таких вещах не говорилось никогда. Потому что Арбузову были органически чужды какие бы то ни было декларации. А когда он ушел, стало ясно, какой высокой человеческой пробы был этот человек.

Я не знаю, почему начала с этого. Так началось...

Уверена, что у него на душе были камни. Никому не дано прожить жизнь налегке. Тем более такому тонкому и чувствительному органу, каким был Арбузов, великий знаток наших заблуждений, наших обретений и потерь. Конечно же, он их знал на собственном горестном и счастливом опыте. Но душу не распахивал и лицезреть ее содержимое не разрешал. В этой душевной опрятности заключалась высокая интеллигентность. Наверное, с самыми близкими он был (мог быть) иным. Я говорю с того расстояния, на котором находились мы, его ученики и его друзья. Если вы хотели заглянуть ему в душу, то должны были читать его пьесы: там все сказано. Его упрекали, что он сказочник, что не знает и не хочет знать реальной жизни, которая тупа, грязна и глупа, а он ничего не вскрывает и не клеймит, залезает в эмпиреи духа, сочиняя каких-то исключительно благородных (читай — благополучных) людей, и потому — «буржуазен». Господи, да разве искусство кого-нибудь обслуживает — тех или этих! Художник есть только то, что он есть, если он художник. Вот если нет — тогда можно сочинять что угодно. Разумеется, он творит не в безвоздушном пространстве, но тайна творчества есть тайна, а не «чего изволите» — массы или отдельные заказчики.

Мало кто знал, что в детстве Арбузов пережил глубокую драму: горячо любимый отец покинул семью, оставив жену, начавшую терять рассудок. «В одиннадцать лет,— писал Арбузов,— я остался один, торговал на рынке чем придется, жил где попало, колол дрова и таскал вязанки по этажам, подворовывал где мог, и, наконец, попал в колонию трудновоспитуемых». Наверное, он сгинул бы, так или иначе, не встреться на его пути театр, в который будущий драматург влюбился без памяти. Не имея не только высшего, а и полноценного школьного (несколько классов) образования, Арбузов сделался (сделал сам себя) одним из культурней-

ших людей своего времени. Он любил в искусстве не общее, не расхожее, а всегда отыскивал свое — что и есть признак индивидуальности. Вина ли его или его торжество — что он сделал себя таким, каким сделал, и был верен себе во все времена? Будучи глубоко органичным, Арбузов занимался только тем, чем лично ему было интересно заниматься: внутренним миром человека, тайными пружинами жизни. А оказалось, это нашло отзвук у миллионов — без преувеличения.

Однажды тут, в Дубултах, выслушав его, я невольно воскликнула: «Как вы похожи на меня, Алексей Николаевич!» И второй раз — примерно в том же роде. А он, усмехнувшись, в ответ: «А может, мы с вами похожи на людей, Оля?»

Вскрывая свою грудную клетку, Арбузов протягивал людям то, что тщательно закрывал в обыденной жизни, прячась за смешками, клоунадой, странными высказываниями, которые чужому могли показаться нелепыми, а свои знали или думали, что знали — как расшифровать, и обожали это делать. Чужих он не любил. Ему хотелось приехать к нам на дачу. Его соблазняли старый яблоневый сад, камин, большая веранда (где мы могли бы разыгрывать свои пьесы, будь у кого-то из нас побольше организаторских навыков) и, конечно, вкусная еда, которая была ему обещана. Но всякий раз там пребывал кто-то еще — и Алексей Николаевич отказывался. Приспосабливаться к чужим, тратить на них себя и время ему было, видимо, жаль. Он чувствовал себя хорошо со своими, любимыми: книгами, стихами, пластинками, альбомами живописи, театральными программками со всего света, винами — также со всего света,— телевизором (когда футбол или фигурное катание), женой, детьми, друзьями.

Мы были в разных возрастных (и конечно, иных) категориях, имели разные пристрастия. У меня были свои драмы и печали. Я не понимала его любви к Гёте. Признавала величие Гёте, но олимпийство его ощущала как крайне далекое состояние. Обнаженную кожу некоторых, особенно тех, кто так и не сумел ее нарастить и ушел из жизни, не справившись с жизнью — как, скажем, Шпаликов,— я воспринимала как свою личную вину: чего-то не сделала. Не со Шпаликовым, естественно, которого я не знала, а с собой и, стало быть, с миром. Возможно, гипертрофированное это чувство вины — оборотная сторона амбиций, преувеличенное представление вообще о человеческих возможностях. А Гёте с осуждением писал в «Поэзии и правде» о мальчике с повышенной чувствительностью, что он ничего не сделает, чувствительность помешает ему стать созидателем. Так-то оно так, да не броня ли одних раздирает в кровь тонкую кожу других? Гёте написал много чрезвычайно умного, однако эти слова о мальчике, прочитанные давно, помнились. Один знакомый сказал мне, что обожает Гоголя, но «ему был дан великий талант, а он, видно, оттого, что талант иссяк, принялся говорить от себя, своим голосом, и сразу стал мал и неинтересен». Возразила: «Да как же так? Как только своим голосом, так уж вам сразу и неинтересен! В этом все и дело! Он душу вам распахнул, а вы!..» — «Не надо, не надо, никому это не нужно: полюбите нас черненькими...» — «Но иначе расчлененка, нельзя расчленять, человек — и то, и это!» — «Нет, раз почувствовал — в дюны, подыхать, чтоб никто не видел!..» Разговор шел все в тех же Дубултах, и дюны были еще замерзшими. Не знаю, может быть, это позиция сильного человека. Знакомый говорил, что Гоголь слишком велик, чтобы его жалеть. А я жалела, и от этого между ним и мной не было преграды, а была близость...

Между Арбузовым и нами тоже не было преграды — в житейском плане. В отличие от многих и многих, он не требовал по отношению к себе пиетета. Был прост. Естествен? Не знаю. Может быть, Арбузов придумал (закрывая себя) свой образ. Ему можно было сказать: «Алексей Николаевич, что за ерунду вы порете?» А он мог заявить: «Молодец!» — «Я?» — «Нет, п. Такой эпизод сочинил!» Это было в нашем стиле. Мы все чуть-чуть играли — рядом с ним, вместе с ним. Это не отменяло правды и откровенных оценок. Но зато на него нельзя было сердиться. Даже крича на нас, он не обижал. При таких коротких, буквально домашних, отношениях при каждом оставалось его достоинство.

Между Арбузовым и мной была преграда. В чем она заключалась, не отдавала себе отчета. Может быть, в том самом его олимпийском восприятии мира. А может, в чем-то еще. Наедине с ним было труднее, чем всем вместе. Впрочем, открытое людям — не все, об этом уже говорилось. Когда Арбузов умирал — а умирал он долго и трудно — что происходило с его гармонией? В качестве какого последнего урока было дано ему — и нам — это мучительное умирание? Говорят: если бы молодость знала, если бы старость могла. Он мог и знал. До последнего самостоятельного движения он жил, как хотел. Подозревал ли, что плата за это будет высока? Мы любили его, как никогда. Он был прекрасен в своем мужестве и терпении. А что за ним? Тайна сия велика есть.

Один камень, носимый им на душе, был мне явлен.

Шел день его рождения. Почему-то он решил его отметить, в частности, гулянием на Ленинских горах. Было сыро и слякотно, но весна торжествовала, и вовсю



заливался соловей. Мы брели среди нарождающейся зелени тем таинственным часом, когда день еще не кончен, а вечер еще не начался. И тогда вдруг спросила его о Галиче. Это было как будто единственное, что не любившие Арбузова (или завидовавшие) ставили ему в вину. Алексей Николаевич выступил, когда Галича исключали из Союза писателей. Зачем, говорили нелюбившие, ему это понадобилось — участвовать в общем хоре, неужели без него не обошлось бы? Не имея возможности ответить на этот вопрос, я хотела знать истину из первых рук. Арбузов рассердился. «Это не имело никакого отношения к хору! — воскликнул он.— Вы не знали Галича, а я знал. Он был плохой человек, он много плохого принес нашей с Плучеком студии, спаивал людей! И позже он все делал из тщеславия, а не потому, что страдал за кого-то! Я выступил, потому что знал его неискренность!..»

Задел ли Арбузова мой вопрос, или это все же была застарелая досада на себя, тогда не узнала. Он замолчал, больше к этой теме не возвращались. Но в один из дней, когда Алексей Николаевич был уже болен и я сидела у его постели, а он только что проснулся, и сознание еще не совсем вернулось к нему — у него были теперь такие минуты непроясненного сознания — он спросил: «Как вы думаете, если в нашей передаче я попрошу, чтобы Галичу разрешили вернуться и чтобы дело его пересмотрели, это будет правильно?» — «Как вы решите, так и будет правильно»,— отвечала я. Речь шла о телевизионной передаче об Арбузове, которую я готовила. В сценарии большие куски текста принадлежали самому драматургу, но я уже тогда знала, что он ничего не произнесет. Читать придется актеру — у Алексея Николаевича стало плохо с речью. Он еще раз с радостью повторил, что будет хлопотать о возвращении Галича на родину. Он не помнил, что Галич умер.

Эта передача, вернее, подготовка ее, была моей хитростью, моим сильнодействующим лекарством. Когда приходилось уезжать, и я знала, что некоторое время мы не увидимся, я говорила Алексею Николаевичу: «Думайте о передаче и старайтесь поправиться, вы мне нужны здоровым, а не больным». Он жил каждой новой пьесой, и сейчас, когда не мог больше работать, требовалось изобрести какой-то новый стимул жизни для него — мне казалось, я изобрела. В моем отношении к нему — младшей к старшему, ученицы к мастеру — было, как ни странно, что-то от отношения матери к ребенку. Не только когда он заболел. А и прежде. Я не думала об этом раньше, но это правда. Внутренне нередко хотелось как будто оберечь, заслонить Арбузова, как ребенка. Удивительно, но Алексей Николаевич так и не постарел. Когда мне было тридцать шесть, а ему чуть не вдвое, он звонил по телефону и спрашивал, попала ли я на такой-то концерт, удалось ли посетить такую-то выставку. А мне жизнь казалась отжитой, я сидела, забившись в угол дивана, и меня ничего не интересовало. После нескольких таких звонков Арбузова стало нестерпимо стыдно, я встала с дивана и начала новую жизнь...

Перед отъездом в Дубулты прочла ему сценарий. Он несколько раз заплакал. Обеспокоившись, спросила Галю, его дочь, как быть. Она сказала: «Продолжайте, это хорошие слезы».

Лекарство оказалось не всесильным. 20 апреля в Дубулты позвонила моя дочь: «Сегодня умер Арбузов».

Тут я сделаю паузу. Это было ровно год назад, и все живое...

...Я вернулась из четырехмесячной океанской экспедиции, в которой принимала участие как корреспондент «Комсомольской правды» и сотрудник метеорологического отряда, и сразу же явилась на занятие студии с написанной в океане пьесой, носившей длинное название «Там, у Белого моря, у деревянной церкви». Жестокая критика собратьев-студийцев выжала воду как из названия, так и из пьесы, и лишние претензии — из автора. Тем не менее судьба «Белого лета», как эта вещь стала называться, оказалась счастливее, чем других. Она была поставлена в театре имени Ермоловой,

напечатана в журнале «Театр», отрецензирована замечательным критиком Львом Аннинским. Дальнейшее, как в «Гамлете»,— молчание: ничто не реализовывалось. Я писала новые пьесы, была строга к себе — студийцы еще строже. Ругали почем зря. Утешало, что так же ругали остальных. Арбузов заступался. Он сообщил, что вторую мою пьесу — «Движенье колеса» — читал трижды, каждый раз обнаруживая в ней что-то новое, не обнаруженное прежде, и только на четвертый раз ничего подобного не нашел. «Это очень хороший признак, Оля,— уговаривал он меня,— это значит, что пьеса имеет глубину.— Потом добавил: — Беда в том, что у режиссеров нет времени читать пьесу столько раз. Они прочтут один и отложат в сторону».

Он оказался прав. Режиссеры отложили в сторону и эту пьесу, и прочие, числом около десяти. Поставили «Страсти по Варваре», самую простенькую из всех. Но дело не в этом. Четыре раза читать пьесу начинающего автора — вы когда-нибудь слышали о таком? Нет, он был чудо, наш Алексей Николаевич, любимый, драгоценный, единственный. Без него не так. Место, которое он занимал в нашей жизни, пусто, и ничем не заполнить этой пустоты.

Но бывало, когда я смотрела на него с ужасом. Мы возвращались с почты в Майори, позвонив домой, он к себе, я к себе. Я спросила: «Что у вас нового?». Он сказал: «У Галки плохо с глазами, она в больнице, кровь из глаз течет». Сказал с обычным своим добродушным прищуром, идя обычной своей слегка переваливающейся походкой. Я онемела. Арбузов, как видно, отметил это. Через четверть часа, шагая вдоль моря, пояснил: «Если вы хотите быть художником, надо уметь отказаться от всего. Даже от близких, когда понадобится». И тогда и сейчас мне кажется это и жестоким и невозможным. Но, может быть, это действительно более, чем что-либо (при арбузовской-то любви к своим близким!), входит в самоотречение художника. Об этом не принято говорить, особенно когда человек жив, привычнее и проще объявить его эгоистом. Мы можем подняться на высшую точку зрения лишь по отношению к ушедшим. Жена его Рита умела подняться на эту точку и при его жизни и после смерти.

Запись в дневнике:

«19 декабря 1974 г. Москва. Позвонила Арбузову. Первое слово: „Молодец!“ — „Вы?“ — „Нет, вы. Я чрезвычайно рад за вас“. При встрече: „Вы становитесь самостоятельным и даже, я бы сказал, оригинальным драматургом. Все люди у вас — характеры, каждый особенный, и в то же время есть общий ритм, бьется одно общее сердечко (тут он сжал руку в кулак и показал, как бьется). И атмосфера есть, и ушла ваша проклятая литературность...“ Я рада тому, что он рад. Весь последний год мне казалось, он мной разочарован».

Я привела эту запись, потому что в ней — типичное для многих из нас. Многие были рады тому, что он рад. Многие боялись, что он нами разочарован.

Он ошибался. Теперь мы знаем это точно. Он на дух не принимал сначала пьес Люси Петрушевской, а она стала первой в студии и не только в студии, и он гордился ею. Мой «Корабль», который он расхвалил, так и остался у причала и никуда не поплыл, подобно лодке на нашей фотографии. Может быть, Арбузов жалел меня? Впрочем, через несколько лет в Ялте он внезапно, без связи с предыдущими беседами, заметил: «Если б у вас пошел „Корабль“, вся ваша жизнь пошла бы по-другому. Вы бы и жили в другой квартире...» На мгновение стало жутко. Особенно почему-то от этого конкретного — про квартиру. В таком, задним числом, предсказании иной жизни было что-то от «Шагреневой кожи» или гоголевского «Портрета»...

В дневнике остались еще высказывания Арбузова. Мало. Всего три-четыре.

«Январь 1973 г. Москва. Арбузов: „Драматург — не мыслящее существо. Волны звуков идут отовсюду, они переполняют его, в этом хаосе звуков он ищет свое“».

«17 мая 1973 г. Студия. А. Н. приехал из Ялты с четырьмя сценами новой пьесы и с новыми мыслями. Говорил: „В тетради, в которой я пишу пьесу, есть три раздела. Хроника: где главные реплики, которые держат сцену. Обстоятельства: здесь герой должен выйти, так происходит то-то и то-то. И размышления: где я пишу спор с самим собой. Надо записывать свои сомнения, путь сомнений, диалог с собой — все это сгодится для пьесы. Я читал там и вспоминал ваши и всякие другие пьесы. Пишем одно, другое — не пишем главное: человеческий характер. Что для меня главное в драматургии? Схватка героя с самим собой, но она же есть схватка с другими лицами. В наших пьесах персонажи неживописно конфликтуют, нет неожиданностей. Возьмите Львова: человек непорядочный, он борется за порядочность. В пьесе может быть видоизменение жизненных замыслов. Ты добр, но ты можешь быть отчаянно неправ. Должна быть поэзия веры в то, каким хотелось бы видеть человека. У нас действуют по мелочам. Отучились видеть громадное. В какой-то мере литература может угадывать, выковывать человека. Не образец для подражания, ни в коем случае — я ненавижу эти слова,— но блестящий человек необходим драматургии. Наш герой не может объясниться в любви, мычит, а мы: ах, какой он хороший!.. Все это мысли человека, который интенсивно стареет, и ему хочется классичности. Положение печально еще и потому, что мало наших воплотителей — один Эфрос. Я преувеличиваю, потому что нахожусь в дискуссии с окружающими, в том числе с самим собой, так как я и сам себя окружаю. Состояние борьбы с собой есть одно из прекрасных состояний, потому что оно залог победы. А может быть, и поражения, но поражения, предшествующего победе. Даже в самой неудавшейся пьесе остается след твоих желаний“».

Он редко «учил» нас. Он делился с нами своим. Думаю, не зная заранее, что скажет, и всякий раз это были импровизации.

«8 мая 1978 г. Дубулты. Арбузов: „Не надо торопиться, суетиться, спешить занять место, которое занимает кто-то другой. Надо идти державным шагом, сохранять царственное спокойствие. Но и нельзя, написав одну пьесу, жить с одной этой пьесой, ожидая, что будет. А ничего не будет. Важно, чтобы было самоуважение... К языку надо относиться как к самому себе. Это инструмент ваш. Отделывать фразу, реплику. И юмор по отношению к себе. Критики нет, есть угодливое поглаживание, так что на критику ориентироваться нельзя. И не надо критиковать других. Ну есть это и есть. Как говорит Розов, мы заправляемся не из этой колонки. Лучше радоваться, восхищаться. Каждый день искать, чем бы восхититься!“»

Как жалею, что мало записывала за ним... Вот даже сейчас — перепечатываю и вижу, насколько драгоценно! Одно утешение: таких, как я, у него в студии было пятнадцать, и каждый записал или запомнил свое, что духовно обогатило и еще долго будет обогащать нас.

Как-то сказала Алексею Николаевичу, что догадалась — он не просто так занимается с молодыми. «Вы считаете меня вампиром?» — спросил он. «Да, вы Вампиров». Он смеялся. Но, конечно, мы одинаково были нужны: он нам, мы ему. Поэтому это и длилось. Пятнадцать лет!

В дневнике вычитала еще любопытное. Оказывается, в тот день рождения, на Ленинских горах, он подарил мне сюжет. Ему рассказывали про очередь у Дворца бракосочетаний, куда ходят отмечаться женихи и невесты, иногда за них это делают друзья или родители. Кто пропустил, должен записаться снова. А рядом очередь на машины. Могут быть знакомства, все может перепутаться...

Совершенно утратив этот разговор в памяти, несколько лет назад написала комедию «Очередь». По-другому и о другом (она опубликована в журнале «Театр»). Подсознательно «пророс» тот сюжет!..

Он, читавший все наши пьесы, об этой уже не узнал.

Арбузов перестал меня хвалить, когда прочел пьесу «Наша домработница Федосья Федоровна». Говорил: не понимаю, не то, вы куда-то свернули. Я холодно встретила его критику. Прежде слушала с замиранием сердечным, а тут не поверила ни одному его слову. Сказала что-то вроде «не хочу вас слушать». Интересно, что он трижды менял свое мнение о пьесе. Что это значит, я не знаю. Так было.

А 4 сентября 1980 года получила от него из Дубулт следующее суровое письмо — по поводу пьесы «Мистраль» (о Ван Гоге): «Оля! Этой Вашей пьесе я не судья. Даже догадаться не могу, зачем Вы написали эту литературу. Думаю, что непростительно подобное после „Варвары“. Путано и нарочито бессвязно. Кто вам эти лица, некоторым из которых Вы присваиваете звонкие фамилии? Неужели Вы рассчитываете, что их духовный хаос поможет нам хоть как-то объяснить странности и причуды нашего — *нашего* — существования?.. Беда и удивление в том, однако, что пьеса на редкость дурно написана. Мне показалось даже, что Вы нарочно меня мистифицируете — не поставить ли, дескать, этого дурака в тупик своим косноязычием? Тоже некий вид литературной игры. Чтобы доказать свою объективность, сообщаю, что почему-то с 52-й страницы и до финала пьеса обретает вдруг литературную форму, а последняя картина действительно драматична. Раньше-то где Вы были? В связи с этим очень хотелось бы послать Вас к чертям, но я так не поступлю, ибо, даже невзирая на только что прочитанный опус, отношусь к Вам с нежностью. Как и прежде. Оля, перечитайте, будьте любезны, „Страсти по Варваре“ и не валяйте дурака». Письмо заканчивалось словами: «Не сердиться!».

«Не сердиться»... Да я была счастлива! Он ругал меня, а я читала письмо взахлеб, смеялась над каждой строчкой, перечитывала с восторгом родным. Почему? Убеждена (и сейчас убеждена) — то, что хотела, сказалось. И именно про наше существование. Может быть, он сердился, что я плохо усваивала уроки — не профессиональные, жизненные. Мой хаос был ему не по душе. Может, я была счастлива, что он принимал это близко к сердцу.

И о книге пьес, в которой «Мистраль», он тоже не узнает...

Даря свой двухтомник, надписал: «Милой Оленьке, которую некоторые считают моей ученицей, но которая меня ни в чем не слушается. Вот тут и разберись! Будьте веселы».

А раньше: «Живите весело и с удовольствием. Работайте с наслаждением и отчаянием. Не злитесь. Необходимы ирония и жалость. Для критика, как и для драматурга, равно необходимы — энергия и темперамент. Действуйте!»

Храню эти напутствия.

Я написала про печальное и про серьезное. Но на самом деле мы только и делали, что веселились. При чтении пьес, при их разборе, возвращаясь после студии домой (то есть провожая Арбузова и друг друга), на старый Новый год, на новый Новый год, в дни рождения, выступая студией в Центральном доме литератора и в Центральном доме архитектора, при поездке в дружественную студию Дворецкого в Ленинград (откуда наша студийка Аня Родионова вывезла мужа — питерского студийца Сережу Коковкина), получив театр на Мытной, который немедленно сгорел, и даже тогда, когда он сгорел!..

Семидесятипятилетие Арбузова праздновали в ВТО. На билете было написано: «75 тостов в честь Алексея Николаевича Арбузова». Могли еще кому-нибудь в столь солидном возрасте написать столь несолидное? Далее значилось: «В этом милом старом доме актера мы приветствуем юбиляра, который родился в городе на заре, произвел на свет Таню, прошел сквозь годы странствий, а также был замешан в иркутской истории. Искусный слагатель сказок старого Арбата, непревзойденный мастер старомодной комедии, он не обманул наших ожиданий и с честью вышел победителем из жестоких игр жизни драматурга...»

Мы, его студийцы, составили оркестр, у нас в руках были скрипка, альт, труба, литавры, что-то еще, мы пели со сцены сочиненный нами гимн в его честь. Осталась фотография, я часто смотрю на нее. Ах, как же нам всем тогда радостно жилось! А мы считали, что трудно...

На поминках в ВТО я сидела напротив окна, за которым по Пушкинской площади шли люди. Был яркий солнечный день. Я чувствовала — почти физически — любовь, переполнявшую помещение, в котором мы находились. Любовь всех к Арбузову. И — в это трудно поверить, это может показаться едва ли не кощунственным,— в какой-то момент, посреди горя, я испытала нечто легкое и светлое, почти счастливое.

Это был миг, но я его запомнила.

...Привезла ему горсть земли из Прибалтики. Как последний дар этих мест. Даже не земли, собственно, а белого песка, из дюн. По этим дюнам он ходил, ловя последние мгновения закатного солнца, надеясь, что блеснет ему напоследок зеленый луч. Я рассказывала ему, что видела в экспедиции такой луч, напомнив поверье: кто увидит зеленый луч, будет счастлив.

Ему это запало в душу.

Дубулты.
Апрель 1987 г.

Седьмая тетрадь

В. ЛАВРЕНЕЦ

О ЧЕМ НАПОМНИЛИ СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ

Гатчинский аэродром. Прохладное июльское утро 1911 года. Лидия Зверева, та самая, которой суждено вскоре стать первой русской летчицей, зябко прячет руки. Слева от нее хмурится Петр Евсюков. А впереди, в авиаторских доспехах, улыбается артист Николай Северский. Его в шутку называют «папулей», добродушный великан не обижается. Он обнимает Александра Агафонова. Слева — Владимир Слюсаренко. Крайний справа — механик Федор Колчин. Все они люди настоящего призвания, ловкие, смелые, прирожденные летуны.

В пальто и галошах стоит кинооператор Константин Шиманский, забросивший доходную работу ради авиации. К сожалению, природа обделила его «даром приближения к небу». В авиационной школе «Гамаюн» к неудачнику относились с дружеским сочувствием, но диплом пилота Шиманскому все-таки удалось получить (его номер 28).

Двадцатилетние инструкторы Агафонов, Евсюков и Слюсаренко были, пожалуй, самыми молодыми авиаторами в России. Их подготовил один из первых военных летчиков поручик Руднев. Они получили пилотские дипломы в конце июня 1911 года (их номера 21, 22 и 23), после того как предприимчивый директор Первого российского товарищества воздухоплавания (ПРТВ) Щетинин привлек способных пилотов к испытательной и инструкторской работе.

«Еще будучи маленькой девочкой, я с восторгом поднималась на аэростатах в крепости Осовец и строила модели, когда в России еще никто не летал, и только в газетах начали изредка появляться первые вести об успехах заграничных конструкторов»,— писала выпускница одного из «мариинских институтов» Зверева.

Отец ее, старый генерал, герой Балканской войны 1877—1878 годов, поддерживал младшую дочь в ее необычных устремлениях.

Зверева приступила к занятиям в школе 13 (25) июня 1911 года. Пройдя наземную подготовку, через десять дней впервые поднялась на «фармане» с инструктором Слюсаренко. К сожалению, летать приходилось мало и с большими перерывами. Школа располагала только одним учебным аэропланом. Вскоре объявили, что полеты с 8 (20) июля прервутся из-за участия Агафонова и Слюсаренко в перелете Петербург — Москва. Неожиданно инструктор предложил своей ученице лететь с ним пассажиркой.

— Поможете в навигации. Согласны?

— О, Владимир Викторович, с удовольствием! — не скрывая радости, ответила Зверева.

— Значит, договорились.— Передавая карту, добавил: — Изучайте маршрут.

«Отстартовав в Петербурге, мы взяли направление на Московское шоссе, но по пути мотор стал давать перебои, во избежание аварии пришлось вернуться обратно. Вторично я не полетела только потому, что авиатор Шиманский предложил Слюсаренко свой мотор и, как владелец его, полетел пассажиром. Результат известен — оба упали, Шиманский разбился насмерть и спас меня ценою своей жизни».

Лидия Виссарионовна навестила своего учителя в Царскосельском госпитале, где он находился со сложным переломом ноги и ушибами. Вид у него был неважный.

— Как хорошо, Владимир Викторович, что вам удалось выкрутиться. Доктор Шредер уверил меня, что месяца через два вы снова сможете летать.

Он пристально посмот-



Группа инструкторов и учеников авиационной школы «Гамаюн». Гатчина, 1911

рел на нее, медленно сказал:

— Благодарю... Но безделье так тягостно.

— Придется потерпеть.

Затем она поделилась своими сомнениями о Шиманском.

— Зря казните себя.— После небольшой паузы летчик поведал о происшедшем: — На тридцать пятой минуте полета двигатель стал давать перебои. При поисках места для посадки заглох совершенно. Пришлось делать планирующий спуск. Шиманский сильно нервничал и внезапно рванулся к рычагу управления, а затем схватил за шею и меня. Так что, будь на его месте вы, я не находился бы здесь.

— Все равно, очень жаль Константина Николаевича. Сдать пилотский экзамен, чтобы через три дня погибнуть!

— Мне его жаль не меньше, чем вам.

Полеты возобновились 29 июля (10 августа). Через день Евсюков выпустил ее самостоятельно. После небольшого разбега аэроплан плавно заскользил по воздуху. Но неожиданно пришлось садиться: буквально над головой пронесся военный «фарман». Подбежавший инструктор успокоил:

— Правильно поступили.— Затем спросил: — Испугались?

— Не успела.

Самолет осмотрели — и Зверева снова в воздухе. На этот раз она летала около двадцати минут на высоте двадцать — двадцать пять метров. После посадки обратилась к Петру Владимировичу:

— Разрешите получить замечания.

— Замечаний не имею, но почему так мало летали?

— Все время ругалась с мотором: то и дело «чихал»! Решила не искушать судьбу.

Теперь она упражнялась в полетах каждый день. Летчик К. К. Арцеулов, ее соученик по школе, вспоминал: «Зверева летала смело и решительно. Я помню, как все обращали внимание на мастерские полеты ее, в том числе и высотные. А ведь в то время не все даже бывалые летчики рисковали подниматься на большую высоту».

10 (22) августа 1911 года она сдала экзамен. На следующий день Всероссийский аэроклуб вручил ей диплом пилота-авиатора номер 31.

Но конец августа принес первой русской летчице и огорчения. Аэроклуб установил для нее такой высокий залог, что об участии в Царскосельских состязаниях нечего было и думать. А в Гатчине, когда ее «фарман» был уже окончательно подготовлен к полету, выяснилось, что кто-то из «доброжелателей» насыпал в мотор железные опилки. К счастью, полет был отменен. «Не знаю, кому могла прийти а голову такая дикая мысль. Разве я могла тогда с кем-нибудь конкурировать?».

В начале сентября Лидия Виссарионовна летала с пассажиром над Гатчиной. «...А затем была приглашена в турне по Кавказу вместе с авиаторами Агафоновым, Евсюковым и Слюсаренко. Из-за скверной погоды нам пришлось прождать лишнее время в Баку и Тифлисе, а поэтому вернулись мы только в начале марта».

Тогда же Зверева заключила новый контракт, по которому первое ее выступление должно состояться 14 апреля 1912 года в Риге. В поезде летчица простудилась. Температура тридцать девять градусов. Но отменить полет отказалась:

— Я не могу обмануть ожидания нескольких тысяч зрителей!

«...При очень порывистом ветре, слабой тяге мотора мне пришлось выступать перед публикой. В начале же полета стало ясно, что обратно на скаковое поле я не попаду, ввиду сильного бокового ветра, так как он мог завернуть аппарат на трибуны. А за ипподромом была большая толпа, спускаться было негде. Пришлось рисковать и идти вверх, где я попала в полосу еще более сильного ветра, порывом которого и опрокинуло мой аэроплан. При ударе о землю меня выбросило вперед и придавило обломками. Кроме ушиба левой ноги и царапин, я никаких других более или менее серьезных повреждений не получила».

Она заболела крупозным воспалением легких. Жар и потрясающий озноб. Боль в боку дает о себе знать не только при кашле, но и при каждом вздохе. Выздоровление было трудным. «...Плохо обстоит дело с легкими. Врачи во что бы то ни стало требуют поездки на юг, а я хочу летать. При непослушании сулят скоротечную чахотку. Вот она, жизнь авиаторская. Подписала контракт, чтобы объехать за лето чуть ли не все города, а тут лежи, обложенная горчичниками».

И все же в июне Лидия Виссарионовна снова начала летать. Успех сопровождал ее выступления. Но популярность уже не прельщала. Она думала о более серьезном: школе пилотов и авиационных мастерских. Осенью приступила к их организации. Во многом помог директор завода «Мотор» инженер Ф. Г. Калеп. К ее работам в конце года присоединился Слюсаренко. Вскоре Зверева стала его женой. В апреле 1913 года предприятие было открыто. Супруги сами обучали полетам и испытывали самолеты на поле завода «Мотор» в Зассенгофе под Ригой.

Тем временем ее спутник по кавказскому перелету Петр Владимирович Евсюков возвратился в Петербург и вместе со своим недавним учеником Федором Федоровичем Колчиным (пилотский диплом номер 29) вступил в русский добровольческий авиационный отряд, сформированный Щетининым на заводе ПРТВ и возглавленный им же для участия в Балканской войне 1912—1913 годов. Кроме них, в отряд вошли летчики Николай Костин и Яков Седов, механики и мотористы Василий Дехтерев, Иосиф Иванов, Александр Коровкин, Юлий Озолин, Лев Сакуринский, Николай Тарасов, Федор Щербаков.

Они вели воздушную разведку, сбрасывали бомбы на укрепления турецких войск, разбрасывали листовки, устанавливали связь между частями болгарской армии. В боях под Адрианополем было успешно применено воздушное фотографирование позиций противника. Петр Владимирович, помимо того, совершил перелет через европейскую часть Турции — от осажденного Адрианополя до Чаталджи. Опыт применения самолетов в Балканской войне способствовал становлению русской военной авиации. Щетинина наградили болгарским орденом «За военные заслуги» с мечами и короной, Евсюкову и Колчину как наиболее отличившимся дали тот же орден, но без короны, а всему остальному личному составу — без обоих знаков.

Летом 1914 года Евсюков вошел в состав готовящегося в Мурманске отряда по поискам пропавшей арктической экспедиции Г. Л. Брусилова, но в связи с началом первой мировой войны его отозвали в Петроград.

Петр Владимирович летал на всех типах сухопутных и морских самолетов, выпускаемых заводом ПРТВ, и заслуженно считался мастером «фигурных полетов» — высшего пилотажа того времени. Погиб он 1 (13) сентября 1914 года в петроградском Гребном порту при испытании летающей лодки Д. П. Григоровича.

Вполне возможно, что рука его лежала и на штурвалах зассенгофских самолетов. В начале войны мастерские, правда, были перебазированы в Петроград, где их реорганизовали в небольшой завод («Авиационная фабрика Слюсаренко»). До мая 1916 года ею было выпущено около восьмидесяти «фарманов» и «моранов» нескольких типов. Велись и опытные работы. В 1915 году на базе двухместного «Фармана-16» была разработана удачная модель одноместного самолета, а в начале 1916 года — доработан «Ньюпор-4» с целью замены необычного управления нормальным.

Лидия Виссарионовна скончалась в Петрограде 3 (15) мая 1916 года от тифа. Ей шел тогда двадцать шестой год.

Хоронили Звереву на Никольском в Александро-Невской лавре. Над кладбищем кружили летчики с Комендантского аэродрома, отдавая ей последний долг.



Аэро Клуб

Зверева

пилота

авiатора

10 Августа 1911 года

31

Л. Зверева

Пилотский диплом первой русской летчицы Л. В. Зверевой

После смерти жены Слюсаренко как-то сдал, растерялся. Не поняв Октябрьской революции, уехал за границу. Старость застала бывшего авиатора в Австралии, где все чужое — даже звезды.

Под чужими звездами оказался и Северский, успешно сдавший экзамен и тремя неделями позже Зверевой — 27 августа (8 сентября) 1911 года получивший пилотский диплом номер 44.

— Я хорошо помню «папулю» Северского, удачно сочетавшего авиацию с опереточным искусством,— вспоминала Ксения Александровна Куприна.— Он был удивительно похож на Петра Первого, которого через несколько лет сыграл в шведском кинофильме. Северский — псевдоним, настоящая же его фамилия — Прокофьев. У него было два взрослых сына и маленькая дочка Ника, моя сверстница и подруга. Все четверо — герои рассказа отца «Сашка и Яшка»: «Ника из семьи военных летчиков Прокофьевых. Ее отец — известный инструктор; его специальность — тяжелые боевые аппараты. С огромного «Фармана-30» он сбрасывал бомбы на немцев. Брат Жоржик знаменит на всех аэродромах как виртуоз по высшему фигурному пилотажу: ему нет равного в изяществе и законченности петель, скольжений и штопоров. Все системы летательных машин он попробовал на личном опыте. Другой брат, Александр (Ника его зовет просто и непочтительно — Сашкой),— военно-морской летчик. Он перегнал отца по службе и в шутку подтягивает его. За ним числится несколько сбитых германских машин».

Александр воевал на Балтике. Он остался в авиации и после того, как ему оторвало правую ногу немного ниже колена; протез не помешал летчику одержать в воздушных боях пятнадцать побед. Потом он потерял вторую ногу по щиколотку, говорили, что и при этом Сашка остался прекрасным танцором. В него влюбилась американка, приехавшая с отцом в Петроград. Изменив фамилию на Северский, он уехал с ней за океан, где, как писали, преуспел в самолетостроении. Остальные Прокофьевы эмигрировали в Швецию. Там «папуля» и хорошенькая Ника снимались в кино. Через несколько лет они перебрались в Париж, надеясь также устроиться в кино. Надежды не сбылись. Пришлось перебиваться случайными заработками. Сашка изредка посылал Нике деньги.

Судьба их сложилась плачевно. Ступенька за ступенькой опускались они в отчаянную нужду, тщетно пытаясь скрыть ее от знакомых.

Не лучше — и у первого инструктора школы «Гамаюн» Руднева. «Узнал, что плохо со здоровьем у Руднева. Очень истощен, неблагополучно с легкими,— записал 15 апреля 1943 года в своем дневнике Н. Я. Рощин.— Вспоминаю, как совсем недавно сидел с ним на уличной скамеечке. Он уже был нечеловечески худ, истомлен, плохо одет — всегда в прошлом щеголеватый, даже и на шоферском „облучке"». Далее писатель рассказал, что все двадцать лет эмиграции Евгений Владимирович был шофером парижского такси, что никогда не обращался за помощью, что был порядочным человеком. «Ненависть к палаческим зеленым курткам у него какая-то кожная, всем дыханием. Говорил, поднимая голову к небу:

— Взлететь бы мне, в последний раз взлететь! Еще сильна рука и верен глаз. Какую глупость сделали мы все в 1939 году, когда еще было в Париже Советское посольство! Как будто не знали, чем все это кончится...».

Вот так. Без Родины никак нельзя.

Совсем недавно. Совсем давно

А. ВЫШЕСЛАВЦЕВА

УРОКИ МУЖЕСТВА

15 декабря 1936 года в клубе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова состоялась премьера спектакля «Как закалялась сталь». Это была первая постановка по книге Николая Островского.

Мы, участники спектакля, боялись хоть на йоту ошибиться, сфальшивить в воссоздании атмосферы грозовых лет гражданской войны, в трактовке того или иного образа. Наш коллектив — Ленинградский государственный литературный театр — к тому времени накопил немалый опыт. Казалось бы, нечего бояться! Но роман Островского — произведение особого рода, каждая его страница наполнена духом современности, в каждой сцене — нерв эпохи, в каждой строке — искренность, честность, сердечность.

Театр справился со своей задачей. Горячие аплодисменты, гробовая тишина во время многих тревожных сцен, громкие возгласы из зала, когда зритель обращался к Павке, как к реальному лицу, свидетельствовали о том, что мы нашли ключ к сценическому воплощению замечательной книги.

Еще в 1934 году, вскоре после выхода романа «Как закалялась сталь», художественный руководитель нашего театра Виктор Владиславович Шимановский решил поставить его на сцене. Вся труппа горячо поддержала это решение. Но, как известно, путь от книги до сценического воплощения не так прост. Нас прежде всего беспокоило: а согласится ли Островский с тем сценическим вариантом романа, который мы предлагаем?

После короткой переписки Н. А. Островский в сентябре 1936 года пригласил режиссера к себе, в Сочи. С ним поехала и я, артистка театра.

Николай Алексеевич дал нам много ценных советов. Он говорил о своем герое не как о литературном образе, а словно о реально существующем человеке. «Не показывайте Павку бедным, в заплатах,— наказывал Николай Алексеевич.— Мы хотя и были бедны, но ходили чистыми, опрятными. На сцене нужно показать, что Корчагин воюет для того, чтобы в корне убить войну. Навсегда». И, помню, подчеркнул: «Нам нужен мир, как воздух, для создания величайших материальных ценностей, чтобы страна наша стала богатой, а мы все грамотными и культурными».

Показать мир интересов и чаяний Корчагина, его духовный и нравственный облик — вот к чему призвал Островский. По его собственным словам, он в работе над романом руководствовался лишь одним желанием — создать образ молодого бойца, на которого бы равнялась молодежь.

Островский просил особо выделить те сцены, где показаны встречи Павки с большевиками, благодаря которым он приобщился к революционной борьбе.

Знания Островского нас изумили. Мы говорили о литературе, искусстве, политике. Интересы Островского были необычайно широки. По отзывам компетентных людей, Николай Алексеевич разбирался в музыке почти профессионально, любил творчество П. И. Чайковского, народные песни. А песни революции, гражданской войны всегда приводили его в волнение. Уже потеряв зрение, он продолжал интересоваться живописью.

На прощание он сказал: «Если вы поставите в своем театре „Как закалялась сталь" и приедете на будущий год в Сочи, я с большим интересом послушаю ваш спектакль».

К огромному нашему огорчению, когда мы в 1937 году приехали в Сочи, Николая Алексеевича уже не было в живых. Этому не хотелось верить.

Спектакль наш прошел в Сочи с большим успехом. Во время гастролей мы сдружились с матерью Островского — Ольгой Осиповной.

Для меня лично Островский стал близким, родным человеком. С его фотографией, с книгами не расставалась и не расстаюсь до сих пор. Все мы обращались к его книгам за советом, извлекали из них уроки мужества, особенно в тяжкие годы войны и блокады. Мы несли людям слово Островского и видели, как загорались глаза бойцов, как крепла их воля к победе.

Судьба человека

М. РЫЦАРЕВА

«ИЗ СПИСКА ИСКЛЮЧИТЬ...»

Ничем, казалось, не обидела жизнь этого человека. Со времен императрицы Елизаветы Петровны и до последних дней царствования Александра I ему оказывали внимание высшие круги России. Десять лет учебы и стажировки в Италии. Яркий талант композитора, тесная связь с Академией художеств сделали его популярным среди русской интеллигенции. Творчество Бортнянского не знало спадов или длительных перерывов. Неведомы были ему и материальные трудности, в этом ему могли бы позавидовать многие коллеги. Служебная деятельность Дмитрия Степановича в основном проходила в праздничной атмосфере богослужений, парадных приемов, празднеств. Исполнители его произведений — певчие и артисты, многочисленные ученики — все видели в нем самого авторитетного композитора своего времени. Словом, жизнь его выглядела безмятежной и радостной.

И вдруг — смерть.

А между тем документы свидетельствуют о вполне благополучном и даже



рутинном течении его служебных дел. Как и прежде, Бортнянский живо интересовался учебой малолетних певчих, часто присутствовал на репетициях, много работал с учителем пения С. Грибовичем, управляющими клиросами Г. Стоцким и Е. Марковым, ежедневно подолгу занимался с инспектором капеллы Н. Толстым. Как и прежде, все его представления в вышестоящие инстанции, касающиеся отдельных лиц или капеллы в целом, принимались и удовлетворялись.

Но все это — до четверга 24 сентября 1825 года.

В тот день в Придворной конторе слушалось дело о только что возвратившемся в Петербург певчем 14 класса Кордовском, которому Бортнянский выхлопотал высочайшее разрешение на отпуск в Черниговскую губернию сроком на три месяца (в связи с плохим состоянием здоровья), с сохранением жалованья. К первоначально намеченному сроку — 16 июля — Кордовский вернуться не смог. Извещенный об этом Бортнянский просил продлить певчему оплачиваемый отпуск еще на два месяца и возместить стоимость обратного проезда. Придворная контора тогда же, в июле, обратилась к князю Голицыну, дабы испросить высочайшее на это соизволение. К моменту возвращения Кордовского ответа еще не было, и за просроченные (хотя и испрошенные Бортнянским) два месяца жалованье певчему Придворная контора платить отказалась. Естественно, не было удовлетворено и ходатайство Бортнянского о пособии Кордовскому «при возвратном пути».

Формально в этом отказе не было ничего обидного: Придворная контора действовала по установленным правилам. Однако Бортнянский, в расчете на благоприятное решение вопроса обнадеживший своего протеже, воспринял такой отказ как бюрократический, как знак личного к нему неуважения: ведь Кордовский, кроме всего прочего, приходился ему земляком и даже дальним родственником.

Узнал он о решении Придворной конторы, по-видимому, в воскресенье 27 сентября: Кордовский, человек нуждающийся (его жалованье составляло шестьдесят рублей в месяц ассигнациями, то есть около двадцати рублей серебром), зная хорошее к себе отношение Бортнянского, решил зайти к нему домой, поделиться своим огорчением.

Этот день стал для композитора последним...

Но еще накануне, в третьем часу ночи 26 сентября, в субботу, Дмитрий Степанович проснулся, ощущая недомогание. Слегка знобило. Как-то разом дали о себе знать несколько болезней кряду. Само по себе это ничего не значило. Бывало и раньше, но проходило довольно быстро... Сильная головная боль... С этим, пожалуй, все ясно — переутомился накануне в капелле, а потом дома добавил, проверяя награвированные доски. И ведь не собирался так засиживаться над ними, а не оторваться было до позднего вечера. Непростительное легкомыслие, надо больше доверять граверам, сверяющим контрольные оттиски с оригиналом... Уснуть бы — и все пройдет само собой... Но сна не было и, как всегда при бессоннице, в голове беспорядочно, без видимой связи замелькали, цепляясь одно за другое, не самые приятные воспоминания...

Золотая осень в Петербурге. После беспокойного для Дмитрия Степановича лета 1825 года, представлялась временем, когда можно будет заниматься в основном своим любимым делом, точнее — увенчать дело, которому отдано много лет, душевных сил, а в последнее время и денег, изданием полного собрания своих сочинений.

Уж очень лето выдалось тяжелое. Вместо спокойной, размеренной жизни в любимом Павловске (он был тесно связан с ним почти полвека) пришлось почти все лето прожить в Петербурге: частые поездки в город были бы чрезмерно утомительными. А быть в нем приходилось теперь постоянно: шла полным ходом подготовка к вояжу императора Александра I в сопровождении большой свиты в Таганрог. Чуть позже за ним намеревалась последовать туда же императрица, тоже со свитой, но гораздо меньшей. Здесь, конечно, удобнее: все рядом с домом — капелла, царский дворец. Недалеко и Придворная контора, хотя там ему почти не приходится бывать. Все отлажено, все текущие дела решаются по переписке.

У Дмитрия Степановича были свои заботы, определенные предписаниями Министерства двора: снарядить в дорогу нужное количество больших и малых певчих, чтобы путешествующий двор не ощущал недостатка в богослужениях и развлечениях. Кроме того, лишившись значительного количества певчих, Бортнянский должен был обеспечить нормальную работу придворного хора в Петербурге. С этим тоже неожиданных хлопот много. Царская фамилия разрослась, на месте, особенно летом, никому не сидится, то надумают в Гатчину, то в Царское Село, то в Павловск. И куда бы ни поехали, везде нужен придворный хор.

Не раз и не два поминал Дмитрий Степанович недобрым словом графа Н. П. Шереметьева, посоветовавшего Павлу сократить штат придворной певческой капеллы втрое против Екатерининского. Много лет прошло с тех пор, а совет графа по сей день дает себя знать...

Мысли переключились на домашние дела. Приехала погостить из Полтавы внучка Маша. Совсем взрослая — двадцать лет. Надо думать, родители прислали ее напомнить о себе деду и подготовить его к необходимости позаботиться о приданом. Каков-то ей жених достался? Не приведи господь — такая партия, как у Лизы... Снова всплыли обстоятельства, связанные с тяжелой болезнью дочери Лизы. В который раз упрекал себя в черствости, вспоминая о своем согласии на ее брак с этим крохобором Долговым. Ведь до чего додумался — у собственного сына-сиротки отнимать доставшееся от матери (фактически от деда) наследство. Нет уж! Не пройдет ему эта затея. В который раз осуждал себя за то, что, отдавая в приданое значительную сумму, надеялся как-то сгладить свою вину перед ней и ее матерью. Рождение внука Димы, когда ему, деду, было уже под семьдесят, еще больше сблизило его с дочерью. Ранняя смерть Лизы, натянутые отношения с зятем, необходимость забрать внука к себе, при том, что с Анной Ивановной у них своих общих детей не было,— не могло не создавать проблем...

Да, всего не передумаешь. Убедил себя встать, надеясь по собственному опыту, что так скорее удастся избавиться от недомогания. Завтракать — рано, да и не хочется. Заниматься чем-либо — нечего и думать. Самое время полюбоваться видом аккуратно сложенных, с прокладками, награвированных медных и оловянных досок. Лучшие мастера нанесли на них почти все написанное им за долгие годы. Количество — впечатляюще: двести двадцать семь медных и шестьсот шестьдесят две оловянных. Такого у русских композиторов еще не бывало. Впереди — заключительный этап, уже сейчас вызывающий приятное волнение. Отчетливо представились многочисленные стопки отпечатанных и красиво переплетенных концертов. Мысль об этом на короткое время отодвинула недомогание. На днях предстояло закончить переговоры с издателем — решить вопросы о бумаге, переплете, тираже. Совсем скоро он увидит свои концерты на прилавках нотных и книжных магазинов...

Зашла Анна Ивановна. Сразу отметила его вялость и усталое лицо. Потрогала лоб.

— У тебя жар, Дмитрий. Надо лечь, вызвать лекаря.

Послали Сашу Михайлову за Крестовским. Этот видный теперь медик лечил еще его дочь, да и самого пользовал неоднократно. Они познакомились в 1798 году, когда Василий Крестовский еще числился учеником лекаря.

Вскоре приехал Крестовский. Состояние Бортнянского определил как легкую простуду. Хворобы Дмитрия Степановича он знал хорошо — присмотрелся за четверть века,— поэтому имел все основания считать их в данном случае непричастными к недомоганию. Выписал лекарства.

Больной скоро почувствовал себя лучше, ночь на 27 сентября прошла спокойно, утром температура не ощущалась, и к обеду Дмитрий Степанович вышел к столу как обычно.

К обеду пришел сын Александр. Один. Невестка вот-вот ждала ребенка. Хороший, в общем, малый, но хлопот доставил изрядно. Учиться серьезно не хотел. Отец определил его в военную службу — юнкером в 1-й Карабинерский полк. Благополучно был произведен в прапорщики, затем — подпоручики, стал батальонным адъютантом в Егерском полку, но служба «не пошла», и в 1823 году «от службы уволен по Высочайшему приказу с чином поручика». Удалось пристроить его в Горный кадетский корпус дежурным офицером. Жалованье небольшое. Теперь вот семейный, надо помогать. А дальше-то что? Как будет содержать семью без отцовской помощи?

После обеда Анна Ивановна вспомнила, что приходил Кордовский, но она просила его зайти позднее, часу в седьмом вечера. Все разошлись, Дмитрий Степанович пошел отдыхать, окончательно забыв о вчерашнем недомогании.

Так получилось, что со времени возвращения Кордовского они виделись только мельком. Не удалось поговорить о родных краях, общих знакомых. Теперь, вечером, разговор пошел именно об этом. Гость рассказал о дорожных трудностях: часть пути он ехал навстречу царской свите, и это вызывало задержку на всех

станциях. Постоянно не хватало лошадей. Затем перешел к главной причине своего прихода. Рассказал об отказе Придворной конторы оплатить дополнительные два месяца отпуска, испрошенные своевременно, и стоимость проезда. Дмитрий Степанович воспринял это болезненно. Предложил денег: тот был совершенно без средств. Обещал переговорить с министром императорского двора.

Оставшись один, стал припоминать детали, связанные со своими хлопотами о Кордовском. Как могло получиться, что его обращение от первых чисел июля осталось нерассмотренным к отъезду государя — 1 сентября? Такого он не припомнит. Значит, либо умышленно не докладывали о его ходатайстве, либо не было желания положительно его решить... Надо обратиться к царю. Срочно. Но ведь он в отъезде... Замелькали в памяти разные мелочи, свидетельствующие о недостаточно уважительном к нему отношении со стороны отдельных лиц. Эпизоды, сами по себе незначительные, стали быстро вырастать в крупные совокупности и вот уже выстроились в один четкий ряд. Как же он раньше не видел, не понимал... Вспомнились не раз доходившие до него слухи о том, что он часто принимает в малолетние певчие родственников, не считаясь с их способностями. Что экономит деньги — не посылает на Украину искать певчих, а принимает петербургских, чаще спадающих с голоса. Вспомнилось рассказанное инспектором Николаем Яковлевичем о язвительных репликах Сухопрудского, которые он себе позволил в адрес его — директора «капеллы»,— когда в Придворной конторе рассматривалось представление о Кордовском...

Голова резко стала тяжелеть, появилась пульсирующая боль. Дмитрий Степанович глубже опустился в кресло и, чувствуя некоторое неудобство, попытался, опершись правой рукой о подлокотник, несколько приподняться. Но рука не слушалась, последнее ясное ощущение было такое, что плеча вовсе нет. Хотелось позвать кого-нибудь, но понял, что ему не сказать ничего. Это было последнее, что он мог осознать...

Загородная прогулка

Н. В. МУРАШОВА

МАРЬИНО

«Богатые помещики, аристократы XVIII столетия, при всех своих недостатках были одарены какой-то шириной вкуса, которую они не передали своим наследникам. Старинные барские села и усадьбы... необычайно хороши...» — писал Александр Иванович Герцен, восхищаясь дворцово-парковыми ансамблями XVIII века. И он был прав: Архангельское, Кусково и Останкино под Москвой, Гостилицы, Сиворицы и Тайцы под Петербургом по своему размаху, парадности и художественному уровню уступали разве что парадным летним царским резиденциям.

Ко времени Герцена «золотой век» усадебного строительства остался уже позади, а к 1830-м годам оно почти и вовсе прекращается. Теперь чаще перестраивают, чем строят. Новые «жемчужины земли русской» стали явлением редким. Настолько редким, что уже к началу XX века о них стали слагаться легенды, где правда причудливо переплеталась с фантазией. Так было, например, с Марьино.

Довольно долго считалось, что основательницей его была М. Я. Строганова, вдова «именитого» человека, единовластного обладателя богатейших родовых владений, соляных промыслов и заводов. Строительство же первоначального каменного усадебного дома приписывалось А. С. Строганову, президенту Академии художеств...

Все это не так, хотя оба они, безусловно, причастны к истории прославленной усадьбы. Но легенда не случайно упоминает именно эту фамилию, здесь нет ошибки. В 1793 году Софья Владимировна, урожденная Голицына, вышла замуж за Павла Александровича Строганова и в 1801 году взяла на себя управление Тосненским имением, купленным в 1726 году М. Я. Строгановой. В 1813 году она писала мужу: «Марьино, это имя, которое я даю тому, что мы называем Тосной». Эти-то слова и положили начало легенде: Марьино — в честь М. Я. Строгановой (как оно и было в действительности).

Новое владение представляло собой почти что остров: с запада и с севера — река Тосна, с востока — Пялья, главный ее приток. И только на юге простиралась огромная Жаровская пустошь, но и здесь радовало глаз большое Жаровское озеро. В центре имения, на наиболее возвышенном участке, раскинулась барская усадьба с каменным домом и церковью, деревянным скотным двором и селом Андрияновым.

Тридцать четыре года отдала Софья Владимировна преобразованию этих земель, порядком к тому времени запущенных. Ее неутомимая деятельность закончилась лишь с ее смертью в 1845 году. Стремясь поднять рентабельность имения, а попутно и улучшить положение крестьян, она замыслила создание усадьбы как часть общего плана преобразования всего имения. Дело это поставил на научную основу ученый-лесовод А. И. Зандрок: он составил карту, дал развернутую характеристику состояния сельского и лесного хозяйства и предложил комплекс мер по их улучшению, который и был принят.

Главное внимание было уделено Жаровскому озеру — виновнику заболачивания земель. Но прежде были необходимы дороги. Их сооружением и занялись в первую очередь. Проложенные поперечные, продольные и диагональные трассы связали все деревни между собой и с центральной усадьбой. Они строились по последнему слову тогдашней науки: с двумя канавами по бокам, повышением полотна к центру, были обсажены деревьями и обнесены обдернованными валами. Вдоль дороги от Жаровского озера до Поваренного ручья проложили многокилометровый канал. В результате осушались окрестности и появилась возможность соорудить водопровод в усадебном доме. После завершения единой дренажной системы, по всему имению были расчищены погорелые места, разработаны пашни и сенокосы, устроены «образцовые» фермы.

Одновременно переустраивались все деревни. Для каждой из них были разработаны индивидуальные планы. Дома с хозяйственными дворами, службами, банями, ригами и приусадебными участками строились по обе стороны дороги. К 1826 году все работы были закончены. Доход с имения заметно возрос, хотя и не покрывал еще расходов. Значительно улучшилось и положение крестьян. Много средств вложила Строганова в устройство больницы, общеобразовательной школы, выборного крестьянского суда и ссудной кассы.

Особого внимания заслуживает «Школа практического земледелия и ремесел», открытая в 1825 году. В ней преподавали сельскохозяйственные и лесные науки, к услугам учащихся были шорная, слесарная, кузнечная, бочарная, гончарная, корзиночная и мебельная мастерские. Здесь можно было встретить крестьянских детей не только из строгановских имений, но и присылаемых другими помещиками. Пользовалось школой и Вольное экономическое общество, не раз отмечавшее наградами ее устроительницу. Школа просуществовала двадцать лет и была закрыта Строгановой незадолго до ее смерти: «ибо подобные заведения, содействуя только успехам сельского хозяйства, вообще не могут приносить доходов, но требуют от учредителей значительных пожертвований». Она понимала, что ее наследникам сие будет не под силу (как это и констатировал Герцен).

Просветительская деятельность Софьи Владимировны этим не ограничивалась. Благодаря школам, открытым во всех имениях и при заводах, многие строгановские крестьяне и рабочие были грамотны. Наиболее же даровитые получали «высшее» образование в марьинской «Школе практического земледелия и ремесел» и «Горнозаводской школе», открытой ею в Петербурге в 1823 году. Вышедшие из них специалисты — агрономы, техники, лесоводы, управляющие, строители, архитекторы, художники за хорошую работу в течение определенного для каждой профессии периода (от десяти до пятнадцати лет) получали «вольные».

Несомненно, что такая политика в отношении крепостных была выполнением программы ее мужа, не без основания слывшего либералом. Участник Великой французской революции, воспитанный незаурядным и вольнолюбивым Жильбером Роммом, П. А. Строганов был ярым противником крепостного права. Не найдя поддержки в этом деле у Александра I, он полностью отдался военной службе, отличился в походах 1805 и 1807 годов и особенно в Отечественной войне 1812 года. Когда в одном из сражений в 1813 году пал его единственный сын, он не смог оправиться от этого удара и умер четыре года спустя. Ему не довелось полюбоваться плодами хозяйственной деятельности своей жены. А посмотреть было на что.

Редкой для XIX века была Марьинская усадьба, устроенная ее стараниями и руками ее крепостных. Это одна из немногих русских усадеб, чей облик донесли до нас «прижизненные» видовые пейзажи и чертежи. Первым ее бытописателем стал Е. Есаков, приглашенный в 1810 году Строгановым в качестве домашнего учителя изящных искусств: Софья Владимировна сама серьезно занималась живописью и хотела приобщить к ней своих детей. За четырнадцать лет работы у них Есаков, выпускник ландшафтного класса Академии художеств, создал серию видов сначала строгановской дачи на мызе Мандуровой, что на Выборгской стороне, а затем и Марьина. Его произведения интересны не только тем, что широко, перспективно воскрешают облик давно утраченных строений, но и изображают жанровые сцены. Фигуры нарядных дам и кавалеров, гувернеров и дворовых, крестьян, занятых повседневным трудом,

не только оживляют пейзажи, но позволяют живо представить сельский быт того времени. Сейчас они приобрели значение документов, благодаря им удалось прояснить многие чертежи, числившиеся «загадочными», установить местоположение утраченных построек.

Наибольшую ценность имеют две акварели, с одной и той же точки показывающие центральную часть усадьбы до и после перестройки. На первой (1813 год) мы видим старую усадьбу со скромным двухэтажным каменным домом, старой церковью с левой его стороны, крестьянскими домами, а на первом плане — два полуразрушенных сарая на берегу Пяльи, пастух со стадом овец и деревянный покосившийся скотный двор. Акварель же 1819 года дает наглядное представление о разительных переменах, преобразивших эти места за каких-нибудь шесть лет. Через Пялью перешагнул большой трехарочный мост, соединивший проложенное по обоим берегам шоссе. На Поваренном ручье появился горбатый арочный мостик над устроенным здесь каскадом. От него дорожка, огибая обложенные дерном откосы ручья, ведет прямо ко дворцу.

Да, именно ко дворцу. Иначе не назовешь этот большой, полукругом раскрытый в сторону ручья дом с высокой центральной частью, двухэтажными крыльями и стерегущими все входы фигурами львов, положенными здесь П. Трискорни. Слева виднеется старая церковь, а справа, на месте скотного двора, вырос небольшой комплекс построек — одноэтажный дом с мезонином и службы.

По обеим сторонам дворца раскинулся прекрасно спланированный английский сад с сетью дорожек и скамейками для отдыха. Все аллеи ограждены палисадом, а въезд на парадный двор закрыт небольшой решеткой. Там и сям — фигуры гуляющих, группы детей, сгребающие сено крестьяне. По арочному мосту едет карета с форейтором на запятках, запряженная цугом...

На месте унылого захолустного уголка возник уникальный дворцово-парковый ансамбль, по размаху и художественным достоинствам не уступающий лучшим усадьбам XVIII века! Естественно возникает вопрос: кто же автор? Затруднительно назвать кого-нибудь одного. Марьинский ансамбль — плод труда архитекторов и строителей нескольких поколений, русских и итальянских. Оставили здесь свой след живописцы-декораторы Ортолани, Торичелли, Дж.-Б. Скотти, мастер по отделке искусственным мрамором Кампиони, скульптор П. Трискорни. Руководили строительством С. Шашин, С. Иванов, С. Тунев. Подрядчиками были крестьяне, купцы, мастеровые, а строили безвестные крепостные мастера. Выходцами из крепостных были А. Воронихин, И. Колодин, П. Садовников, С. Шашин, С. Иванов, С. Тунев. Непосредственное участие в формировании ансамбля принимала, кстати, и сама С. В. Строганова.

Чаще всего можно услышать, что автором был ученик А. Воронихина И. Колодин. Действительно, как оказалось, его роль в строительстве была не последней, но первоначальный проект был все же сделан самим Воронихиным: смелая центрическая композиция в форме замкнутого круга, ранее в усадебном строительстве России не встречавшаяся. Проект был создан в 1813 году, на волне общенародного национального подъема после изгнания Наполеона из российских пределов. Вполне понятным поэтому было стремление Воронихина создать композицию в «высоком штиле», придать архитектурным формам максимальную торжественность.

Важнейшее свойство усадебных домов — открытость их окружающей среде. Зодчий это учел. Ядром дворца должна была стать старая двухэтажная усадебная постройка, со стороны реки Тосны расширенная настолько, что ее план приблизился к квадрату. Поблизости Воронихин обозначил четыре симметричных флигеля чуть меньшей высоты. Первые этажи флигелей и главного здания он соединил двойной крытой колоннадой, образовавшей полукруг, разомкнутый в центре, со стороны Поваренного ручья, на ширину центрального корпуса. Сквозь колоннаду должны были открываться далекие перспективы на обе стороны.

В 1813 году перестройка началась, а в следующем году развернулось строительство флигелей и колоннад. Но 21 февраля 1814 года Воронихин умер, а месяца три спустя Колодин внес исправления в проект, предусматривавшие доведение колоннады только до половины круга, оформление ее оконечностей небольшими павильонами, замену открытой колоннады полузакрытой, имеющей заднюю стенку. По этому усеченному варианту и было в 1816 году завершено строительство дворца.

Стоит ли сожалеть, что воронихинский проект не был осуществлен полностью? Трудно сказать. С одной стороны, усадебная архитектура лишилась уникального в своем роде замысла, а с другой — дугообразная «палладианская» схема была традиционной для русского усадебного зодчества. Еще Дж. Кваренги и Н. Львов поняли и почувствовали красоту упругой линии дуги, стремительность ее разворота, возможность органичной связи здания с миром природы.

Вскоре после завершения строительства Софье Владимировне стало ясно, что центрального корпуса и двух флигелей явно недостаточно для размещения ее семьи и гостей — ее матери Натальи Петровны Голицыной (послужившей Пушкину прототипом старухи-графини в «Пиковой даме») и многочисленных племянников. Уже в марте 1817 года Колодин представил план перестройки. Он предложил полностью заложить колоннады, увеличить их по ширине дуги в два раза и надстроить над ними второй этаж, доведя их высоту (а заодно и флигелей) до высоты центрального корпуса, а над ним возвести еще один этаж. При таком решении, однако, здание совершенно теряло воздушность и легкость — неотъемлемые черты загородного дома.

Видимо, это и заставило Строганову предпочесть другой вариант, созданный Х. Майером. В основе его лежал план Колодина, изменения коснулись лишь высоты колоннад — до уровня не второго этажа главного здания, а флигелей. Более пластичной стала и поверхность фасада: на общем фоне усадьбы теперь четко читались главный корпус, флигели и павильоны на концах дуги. Таким образом черты воронихинского проекта, основы этого здания, стали легко читаемы. Строительство в этом варианте и было закончено в 1819 году.

К этому же времени, тоже по проекту Майера, была кардинально переустроена вся центральная часть усадьбы. Деревню Андрияново подвинули к берегу Тосны, а на ее месте возвели теплицы и оранжереи, сохранив при этом старую церковь напротив. Справа от дворца, на месте скотного двора, появился маленький ансамбль «Зеленая мыза» с кладовыми, людскими, прачечными, кухнями, ледниками, каретниками и конюшнями. «Зеленая мыза» раскинулась на высоком берегу Пяльи. Лестница, проложенная по его откосу, вела вниз, к гроту, устроенному в виде источника.

В 1816 году, после завершения этих работ, в Марьино был приглашен А. Менелас — в отличие от Колодина и Майера, уже известный архитектор: в Царском Селе он зарекомендовал себя как прекрасный мастер-планировщик садов и парков, строитель мостов, гидротехнических сооружений и павильонов. За два года он неузнаваемо преобразил территорию, прилегающую к марьинскому дворцу. Шоссе Петербург — Москва было отведено за Поваренный ручей, а сам ручей превратился в цепочку прудов с перекинутыми между ними мостами. Вправо от Большого пруда, устроенного прямо перед дворцом (летом 1905 года его рисовал живший тогда в Марьине А. А. Рылов), над каскадом вознесся земляной насыпной мост, а влево — капитальный каменный однопролетный, ведущий прямо ко дворцу. За Поваренным ручьем, между Пяльей и дорогой на Новинку, был разбит парк, ограниченный с юга Крутым ручьем. На пересечении этого ручья с главной дорогой Менелас построил парадные въездные ворота из землебитного кирпича (технику и технологию таких строений он хорошо изучил, будучи помощником Н. Львова в его «Практической школе землебитного строительства»). В садах и парке куртинами были насажены тысячи разнообразных деревьев и кустарников, проложены затейливые дорожки, построены палисады. Небольшие рощицы перемежались зелеными лугами, что придавало паркам естественность, мягкость, живописность.

Была перепланирована и зеленая зона вокруг старейшего паркового павильона — Руины, выстроенного по проекту Майера еще в 1814 году на крутоярье, на противоположном от дворца берегу Пяльи (именно здесь творил две свои акварельные перспективы, показывающие усадьбу до и после перестройки, Есаков). Этот участок был излюбленным местом отдыха семьи Строгановых. Отсюда открывались прекрасные панорамы всех окрестных деревень. Для удобства Менелас перекинул через Тарасовский ручей, впадающий в Пялью, узкий пешеходный горбатый мостик, прозванный Чертовым. Его гнутые деревянные арки на подкосах создавали удивительно легкий и изящный ажурный рисунок.

Кто был автором многочисленных марьинских мостов, достоверно установить не удалось. Главный из них, трехпролетный арочный через Пялью, был выстроен еще в 1813 году. Река была в этом месте запружена и образовала озеро — не только для красоты, но и для сбора вод в периоды очень сильных весенних половодий. Мост был деревянный, но его облицовка имитировала каменную кладку. Чертежи Воронихина дают основание считать именно его автором этого моста.

В том виде, в каком усадьба была зафиксирована во второй акварели Есакова, она и простояла без переделок до конца 1820-х годов.

Новый строительный период в Марьине практически целиком связан с именем архитектора П. Садовникова. Начал он с возведения новой церкви на месте старой. Это строительство продолжалось с 1828-го по 1832 год. Новое здание было решено в готических формах. В 1830-е годы, когда увлечение готикой стало уже модой, Садовников переделал в таком же стиле библиотеку и кабинет во дворце.

Кардинальные перестройки, изменившие внешний облик дворца, были сделаны в 1839—1845 годах тоже по проекту Садовникова. К обоим крайним павильонам, заканчивавшим полуциркульную дугу здания, под прямым углом к ним, были пристроены двухэтажные крылья, в центре парадного двора разбита круглая клумба и поставлены солнечные часы.

26-

В таком виде дворец простоял до конца XIX века: в 1901 году пожар уничтожил два интерьера, расписанные Дж.-Б. Скотти,— столовую и танцевальный зал.

Большие работы проделал Садовников и на «Зеленой мызе»: деревянный дом для гостей был снаружи обложен кирпичом, веранды остеклены, неподалеку, на берегу Тосны, выросла новая баня — опять в готическом стиле.

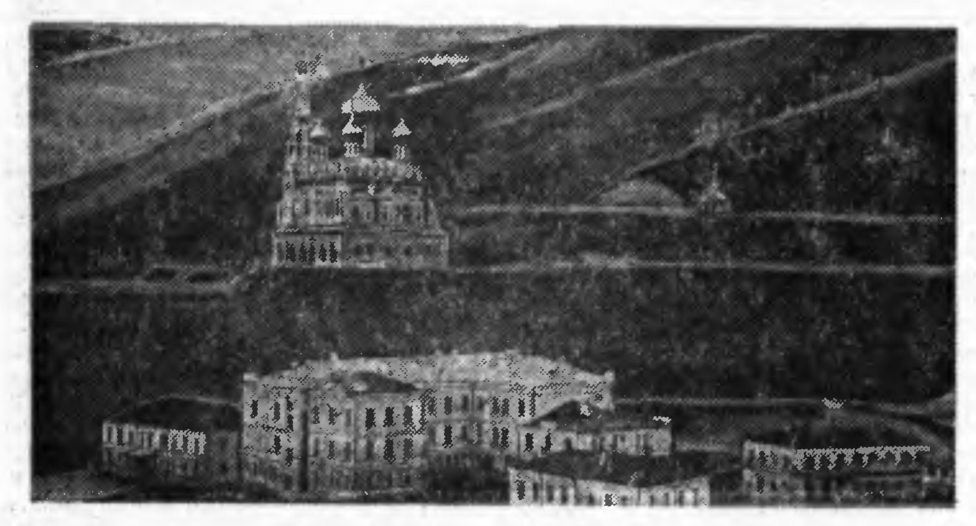
Заметно изменила свой облик и хозяйственная зона в южной части усадьбы. Еще в 1816—1824 годах здесь, на берегах ручьев, среди зеленых рощ и лугов, образовались три комплекса — скотный, птичный и рижный дворы. К 1830-м годам многое требовало уже перестройки и дополнения. Садовников выстроил здесь новые каменные здания: ригу, черепичный завод, скотный и конный дворы, а также парковое сооружение — шале. В них чувствуются мотивы средневекового зодчества, но вот деревянный «лесной» домик, жилище лесовода, являет собою чисто русский стиль: как и готика, он был одним из направлений романтизма, получивших широкое распространение в 1830-е годы.

После смерти С. В. Строгановой, когда Марьино перешло по наследству к ее дочери А. П. Голицыной, здесь ничего уже не строилось. Более того — Марьино постигла участь, характерная для большинства русских усадеб. Новые владельцы, стремясь лишь к увеличению доходов, сдавали в аренду и земли, и строения. В течение семидесяти лет Голицыны привели образцовое марьинское хозяйство, созданное стараниями Софьи Владимировны, в полный упадок. Относительный порядок поддерживался только в центральной части усадьбы, уцелевшей поэтому к 1917 году, когда имение, как и вся Россия, переменило хозяина...

Фототека «СТ»

«На Шипке все спокойно». Эта фраза повторялась в каждом донесении генерала Ф. Ф. Радецкого, она облетела весь мир, напряженно следивший за боевыми действиями русских войск на Балканах. Шипка вошла в сказания. Сейчас она носит имя генерала Н. Г. Столетова. Это он руководил обороной важной в стратегическом отношении вершины Там, как известно, стоит величественный памятник русским и болгарам, павшим за свободу славянских народов, а на склоне горы воздвигнут белый храм.

В Болгарии свято хранят память об освободителях. В Плевене, Софии, Пловдиве, в других городах и селах торжественно высятся монументы, посвященные памяти павших. Число их превышает четыре сотни. В дни празд ников освобождения от османского ига к их подножиям ложатся цветы. Звучит музыка. Вся Болгария повторяет имена героев той священной войны. И среди них имена генерала Н. В. Гурко и, конечно, М. Д. Скобелева. И столь же благодарно, как 110 лет назад, произносятся здравицы в честь Дяди Ивана русского брата, готового прийти на помощь в трудную минуту



Вид храма на Шипке. Фото начала века. ЦГАКФФД

Игорь БОГДАНОВ

...ИЛИ ЗАБВЕНИЕ?

В редакцию «Невы» из Горького пришло письмо инженера А. Инкина. Приведем его полностью:

«„Как проехать на Новодевичье кладбище?" — с таким вопросом обращался я ко многим ленинградцам, и все адресовали меня в Москву. И напрасно.

Есть кладбище с таким названием и в городе на Неве — при бывшем Новодевичьем монастыре, что на Московском проспекте, рядом со зданием „Союзпушнины". Оно — не менее ценный памятник истории и культуры, чем московское. Да и расположено очень удобно — в центре города. Каждый может прийти сюда, чтобы отдать дань памяти и признательности людям, оставившим заметный след в отечественной литературе, искусстве, науке.

Но почему так пустынно здесь в любое время дня? Да потому, что подавляющее число ленинградцев, не говоря уже о гостях города, даже не подозревает о существовании этого мемориала. В отличие от „Литераторских мостков" на Волковом кладбище, пользующихся заслуженной известностью и славящихся как место паломничества, о самом существовании Новодевичьего можно узнать лишь из немногих справочников. Парадоксально, противоестественно!

Такое равнодушие никогда не было свойственно ленинградцам. Больно смотреть на заброшенное кладбище, где кучи мусора соседствуют с надгробиями, представляющими несомненную художественную ценность, где то и дело попадаются не только запущенные, но и разрушенные или обезображенные могилы например, М. А. Врубеля и его жены.

Даже простое перечисление имен погребенных здесь людей неизбежно наводит на мысль о том, что Новодевичье кладбище заслуживает пристального внимания городских властей. И пусть слово „реклама" не подходит для данного случая, но люди все же должны по крайней мере знать о существовании столь ценного исторического памятника, на веки вечные теперь уж связанного с такими именами, как поэты Н. А. Некрасов, Ф. И. Тютчев, В. А. Жуковский, К. К. Случевский, К. М. Фофанов; литераторы и издатели А. А. Краевский, А. П. Пыпин, С. Т. Елисеев; врач С. П. Боткин; художники М. П. Боткин и М. А. Врубель; шахматист М. И. Чигорин; ученые П. П. Пекарский, Э. Э. Эйхдальф; адмиралы Г. И. Невельской и К. П. Посьет; композитор Э. Ф. Направник; родители Надежды Константиновны — К. И. и Е. В. Крупские.

Многие, наверное, остановятся и перед более скромными, в смысле заслуг погребенных здесь людей, могилами — к примеру, у надгробия А. С. Ребиндер, дочери декабриста С. П. Трубецкого.

И еще. Нельзя сказать, чтобы Новодевичье кладбище было совершенно обойдено вниманием заинтересованных органов. Однако внимание это принимает порой несколько извращенные формы: многие ценные надгробия „украшены" грозной надписью „Охраняется!", намалеванной огромными буквами белой краской. Возникает резонный вопрос: если уж взялись охранять, то зачем при этом еще и уродовать?».

Грустное письмо, наводящее на невеселые размышления... И дело не в том, что печальна сама тема, поднятая читателем.

Снисходительно-пренебрежительное отношение к кладбищам неизбежно привело к тому, что мы все более утрачиваем нечто важное в восприятии мира. Речь идет о памяти. Об отношении к памяти о тех, кто жил до нас. Бережем ли мы ее? Всегда ли можем прийти к месту погребения того, кто сочинял книги или писал картины, и склонить в знак признательности голову перед его могилой? Попробуйте, к примеру, отыскать на Новодевичьем могилу К. К. Случевского — вы скоро убедитесь, что непростая это задача. Придите на Смоленское и там картина удручающая: кучи песка, покосившиеся кресты, стволы спиленных деревьев. Ни весной, ни осенью здесь не встретишь человека, бродящего в печальной задумчивости, аато услышишь — смотреть на это невозможно, как неспешно и деловито хозяйничают бульдозеры. Если повезет, набредете на могилу С. Н. Даргомыжского, отца композитора, но скорее всего не найдете и ее — у входа нет указателя, а спросить не у кого. «Правда, что здесь похоронена няня Пушкина?» — поинтересовался я как-то у старушки, разгребавшей бетонную дорожку от опавших листьев. «С чего это вы взяли?» — не отрываясь от работы, удивилась она. «Да у входа написано».— «Мало ли что написано...».

Заброшенные кладбища — одна из примет неустроенности нашей жизни, из которой вычеркнутым оказалось все, что

напоминает о скоротечности ее. Но ведь нельзя, двигаясь вперед, предавать забвению места, где покоятся наши предки. Интерес к прошлому не может и не должен заслонять забот для сегодняшнего — таково непременное условие гармоничного развития общества.

Д. С. Лихачев заявил со страниц «Литературной России»: «Если дети не уважают память родителей, родители неизбежно изменят свое отношение к детям... Нужно детей от школьных лет учить вести дневники добрых поступков...». И еще: «...Не надо бояться мертвых и кладбищ. Кладбища должны быть приведены в порядок и стать общедоступными парками».

Разумеется, пренебрежительное отношение к кладбищам, ведущее к их разрушению, началось не вчера. Еще искусствовед Н. Врангель писал в 1907 году: «Нигде не гибнет столько произведений искусства, как в России... В этом отношении судьба наших кладбищ особенно плачевна».

В первые годы существования Петербурга захоронения производились возле приходских церквей. Первое кладбище возникло на Выборгской стороне в 1710 году при церкви Сампсония Странноприимца, возведенной в 1709-м в честь победы под Полтавой. При Петре I на Сампсониевском погребали именитых иноземцев, таких, как академик Х. Гольдбах, Байер. При Анне Иоанновне здесь закапывали казненных. У Сампсония покоятся П. М. Еропкин, А. П. Волынский и А. Ф. Хрущов, казненные в 1740 году за участие в заговоре против Бирона. В 1772 году здесь был похоронен ректор Академии художеств А. Ф. Кокоринов, появилась и могила Д. Трезини — первого архитектора Петербурга. К концу XVIII века кладбище оказалось в черте разросшегося города и было закрыто. К нашему времени осталась незастроенной лишь часть его, а в сторону Лесного проспекта раскинулся парк...

В 1717 году по указанию Петра I в нынешней Александро-Невской лавре была построена церковь святого Лазаря, и вокруг нее образовалось Лазаревское кладбище. По царскому указу от 11 июля 1719 года был учрежден погост в Ямской слободе (в районе Лиговки) для «людей всякого чина». В 1722—1723 годах появились синодальные указы, предписывавшие вынос некрополей за черту города.

По указу Анны Иоанновны от 20 октября 1732 года погребения были дозволены только на Петербургской стороне при церкви святого Апостола Матфея (вплоть до 15 апреля 1733 года), на Охте у церкви Сошествия Святого Духа, на Московской стороне против Охтинских слобод, на Васильевском острове у Галерной гавани, при Сампсониевской церкви и при церкви Иоанна Предтечи, в Ямской слободе: дабы удалить усопших от местностей, начинавших заселяться.

По указу Сената от 22 мая 1756 года открылось Смоленское кладбище на Васильевском острове и в том же году — Волково на Волковом поле. 19 мая 1772 года издан указ о том, чтобы кладбища учреждались не ближе ста саженей от последнего городского жилья. В 1868 году учреждена Комиссия по устройству кладбищ в Петербурге, избиравшая новые места захоронений и следившая за санитарным состоянием старых. В 1872 году открыты за городской чертой Преображенское (ныне Памяти жертв 9-го января) и Успенское (теперь Северное). К 1870-м годам в Петербурге насчитывалось двадцать одно кладбище. На некоторых из них были установлены художественные надгробия, выполненные крупнейшими скульпторами: И. П. Мартосом, Ф. Г. Гордеевым, Ф. И. Шубиным, М. И. Козловским. Лучшие произведения вошли в золотой фонд русского искусства.

С марта 1917 года стали возникать братские могилы, памятники жертвам революции, гражданской войны. В послевоенное время появились мемориальные кладбища — Пискаревское, Серафимовское, Чесменское и другие. На многих имеются специальные участки, где похоронены участники Великой Отечественной войны, в дни революционных праздников и в День Победы там проходят торжественно-траурные церемонии с возложением цветов и венков.

А что же старые ленинградские кладбища? Ведь многие из них имеют полное право на то, чтобы стать мемориальными. Увы, отношение к ним соответствующих служб выражается лишь в том, что, как справедливо заметил наш читатель, некоторые надгробия размалеваны краской, тогда как большинство других пребывает в «бесхозе».

Некому ухаживать? Но пора уже понять, что старые кладбища — своего рода музеи, а потому и за вход можно брать плату, пусть символическую, для поддержания их в порядке. Ведь то же Новодевичье — не просто место захоронения. Это пантеон, где спят последним сном многие видные деятели отечественной науки и культуры. А почему не могут стать музеями Шуваловское, где погребены пять Героев Советского Союза и множество безвестных воинов, или Богословское, где покоятся участники Октябрьской революции, герои войн и труда и где более сотни могил уже сегодня находятся под государственной охраной? Оно возникло в 1841 году, а многие ли знают о его существовании? С 1775 года действует Большеохтинское, место захоронения владельцев многих русских фамилий, без коих невозможно представить себе отечественную историю,— Шуваловых, Шаховских, Строгановых, Мусиных-Пушкиных, Белосельских-Белозерских. Указаний на то, что здесь — последний их приют, не увидишь у входа...

В дореволюционное время власть занимал лишь один вопрос в этом плане — как удалить кладбище за городскую черту. Наша задача — сохранить их, превратив в музеи, подобные некрополям Александро-Невской лавры. Посещение таких уголков дарит особое, ни с чем не сравнимое ощущение, которому трудно найти определение без опасения показаться натурой чересчур чувствительной, сентиментальной. Нужно ли говорить о том, как всем нам порой требуется испытать это ощущение?

И еще: чувство причастности к истории, к историческому прошлому — разве не возникает оно при посещении старого кладбища? В нем — исторические корни народа, а без них не может быть ни исторического, ни просто социального мышления, ибо (вновь процитирую академика Лихачева) «кладбища — это предметные учебники истории».

И по ним учиться не одному поколению.

Вернисаж «Седьмой тетради»

Алла КОРОБЦОВА

ГРИГОРЬЕВ И «ПРИВАЛ КОМЕДИАНТОВ»

«Дом интермедий», «Бродячая собака», «Привал комедиантов» сыграли определенную роль и в художественной жизни Петербурга — Петрограда, и в судьбах артистов, поэтов и художников.

«Впрочем эти места всего лишь навсего — маленькое убежище от уличного крокодила, где можно встретить иногда буйную грусть или тихую, непонятную крокодилу радость»,— писал Борис Григорьев Александру Бенуа, приглашая его посетить новое артистическое кабаре Петрограда. «Привал комедиантов» разместился в подвале большого нарядного дома, украшенного композитными колоннами, портиками и лепным фризом с грифонами. Здание это, известное еще по имени архитектора как дом Адамини, и ныне украшает своими фасадами Марсово поле и набережную Мойки.



Автопортрет

Инициатором открытия «Привала» был актер и режиссер Б. Пронин, по словам его друга и постоянного конферансье кабаре Коли Петера (Н. Петрова), обладавший «замечательным даром неунывающего организатора всяких творческих начинаний». В 1911 году он был одним из создателей «Бродячей собаки», закрывшейся весной 1915 года. Новый артистический подвал был призван возродить и продолжить ее традиции, но многое здесь выглядело по-другому. Внутри помещение было расписано тремя художниками. Особой изысканностью и великолепием выделялась несколько стилизованная под XVIII век комната, носившая название «зал Гофмана и Гоцци», где располагалась сцена. Она бы-

ла оформлена Сергеем Судейкиным. Актриса В. Веригина вспоминала: «Публика на открытии „Привала комедиантов" была смешанная, т. к. переделка подвала и роспись стоили довольно дорого, пришлось идти на компромисс и пускать больше богатой публики (в „Собаке" эту публику называли „фармацевтами" и всячески пытались бороться против ее нашествия.— *А. К.*)... Люди искусства встречались там чаще днем. Мы заходили туда обедать в „таверне"... Здесь было что-то от старой Германии, а современность проглядывала в манере художника. Почти гигантские фигуры



Гарсон. 1913

по стенам — трактирщики, гуляки и неожиданно ласкающие цвета — алый с лазоревым». Комнату эту Григорьев украсил фресками.



Портрет Мейерхольда. 1916



И. Е. Репин за работой. 1915

К 1915 году, несмотря на относительную молодость, Борис Григорьев был уже достаточно известен. Он родился 11 июля 1886 года в Москве. Был незаконнорожденным сыном Клары Линденберг и царскосельского мещанина Дмитрия Васильевича Григорьева. Юность художника прошла на Волге. В 1903 году он поступил в московское Строгановское училище, а в 1907 — в Петербургскую Академию художеств, откуда в ноябре 1913 года решением Совета профессоров был отчислен, как сам признавал, за «уклонение от истины и увлечения новаторством». Всего через два года после приезда Григорьева в Петербург работы его стали появляться на выставках «Товарищества независимых» и «Мира искусства». Событием его творческой жизни стали месяцы, проведенные в Париже. Результат — несколько тысяч виртуозных рисунков, достойных восхищения. В них уже огромное значение приобретает линия, тонкая и гибкая безупречно. Известный искусствовед Н. Н. Пунин говорил о рисунках Григорьева как «о парадоксах в пространстве и на плоскостях, нежных, ироничных, блестящих... Понять, назвать, наименовать их невозможно, ибо это грозит им превратиться в горсточку свинцовой пыли». Успешное сотрудничество в журналах «Сатирикон», «Лукоморье», «Новый сатирикон» еще более обострило и отшлифовало эту ироничную григорьевскую способность схватывать самое существенное. Бенуа характеризовал Григорьева как «очаровательного», но и несуразного человека, в котором «преданность к искусству доходила до фантастического, обжигающего пламенения... Григорьев поступал и говорил так, как ему подсказывали его далекие подчас от здравого смысла побуждения». Художник и сам был очень высокого мнения о своих



Портрет М. Добужинского. 1917



возможностях. «Я не боюсь любого конкурса, любого заказа, любой темы, любой величины и любой скорости!» — писал он в одном из писем. Впрочем, он и в самом деле был очень талантлив, хотя искусство этого виртуозного рисовальщика и незаурядного живописца во многом противоречиво. «Ирония или поэзия — все остальное пресно и плоско»,— эти слова французского поэта-символиста Реми де Гурмона могли бы стать девизом его творчества, соединившего тонкое колористическое вйдение мира с сатирической заостренностью образов.

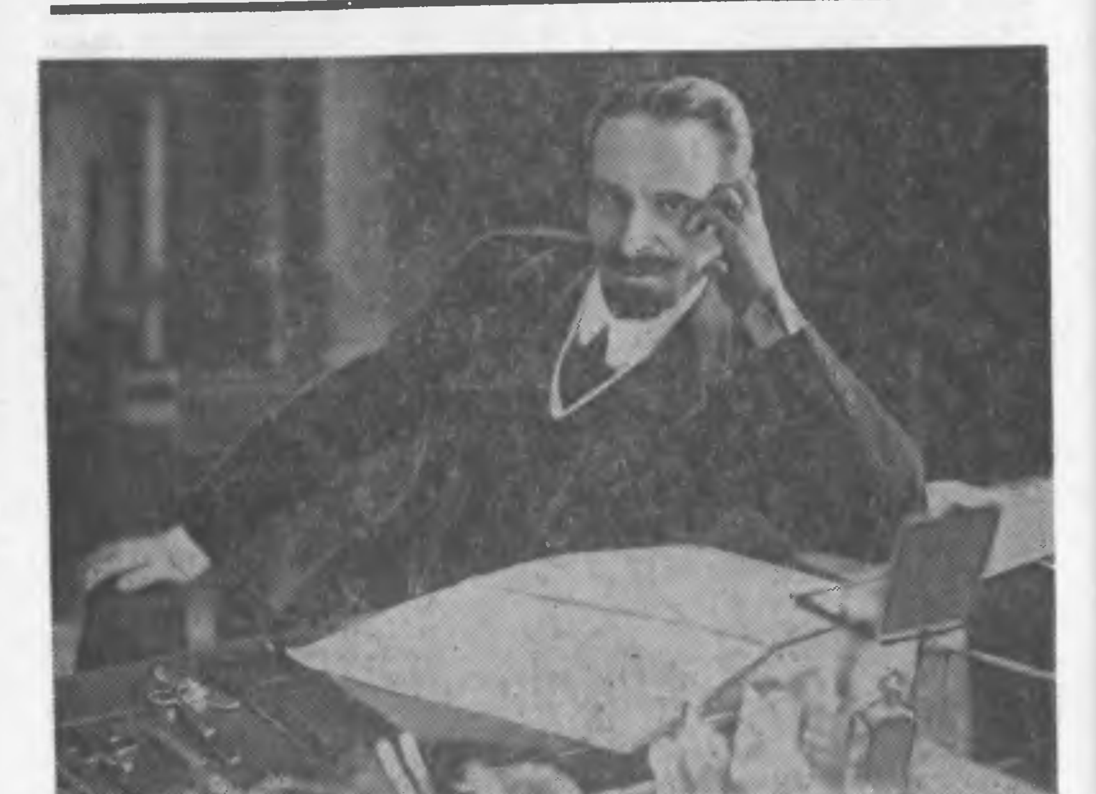
Одна из лучших и наиболее известных работ **художника — портрет** В. Э. Мейерхольда (1916). По всей вероятности, Григорьев познакомился с ним в «Привале комедиантов». Мейерхольд был не только постановщиком почти всех устраиваемых там изящных зрелищ, таких, как пантомима «Шарф Коломбины» А. Шницлера или арабская сказка «Зеркало див» М. Кузмина, он был и создателем самой атмосферы артистического кабаре. Программа условного эстетического театра масок, основанного на стилизации, тяготение к гротеску, подчинение сценического действия изысканному живописно-пластическому и ритмическому началу, выдвигаемая в те годы режиссером, была созвучна и художнику. Портрет, написанный Григорьевым, необычен. Фантазия и реальность причудливо переплелись в нем: Мейерхольд — в черном изящном фраке и со зловещей маской на локте согнутой руки — застыл в странно изломанной позе на фоне сине-серого занавеса и малиново-красной кулисы. Есть нечто магически таинственное и торжественное в строгом надменном профиле с пронзительным, властным взглядом, во всей гибкой фигуре режиссера и вырастающего за его спиной двойника с натянутой тетивой лука. Мейерхольд утверждал: «Гротеск — не стиль, но мироощущение». Он считал, что жест бывает порой красноречивее, парадоксальнее слова. Гротесковое вйдение художника придает картине необходимую остроту, помогая создать правдивый образ, делает зрителя как бы сопричастным рождению творческого замысла. Григорьев и позднее вспоминал о Мейерхольде, который «так сердечно и радостно пошел навстречу моему искусству, не позируя, а творя для меня все свое время, когда я еще был в поисках и потемках». Эта работа стала событием. Критика отмечала, что Григорьеву удалось соединить «столь различные у него техники карандашную и масляную», сохранить в работах маслом силу и остроту карандашных набросков.

Через год была написана еще одна картина, в какой-то мере связанная с «Привалом»,— портрет замечательного художника, одного из ведущих деятелей «Мира искусства» Мстислава Добужинского. Григорьев неоднократно экспонировал свои произведения на выставках объединения, а с 1913 года стал его членом. Портрет написан, когда оба художника участвовали в создании артистического подвала: Добужинский был автором издательской марки кабаре и оформил там многие спектакли.

Оба эти портрета многое объединяет. Заметно и внешнее сходство приемов — мотив предстояния, присутствие второстепенных персонажей, контрастное сопоставление лиц в профиль и почти анфас, тема двойственности и другое. Но портрет Мейерхольда более представителен. Зыбкая условная плоскостная среда, фон подвижного театрального занавеса передает изменчивую природу театра. Портрет Добужинского носит более интимный характер: жест не столь аффектен, более естествен, блокнот в руке воспринимается не как случайно подмеченная бытовая деталь, а как атрибут художника. Добужинский изображен на улице, в условно решенной пространственной среде. Беспокойная, как бы наэлектризованная атмосфера проникнута ощущением предгрозового состояния. Образ художника здесь неоднозначен. Мы видим спокойного, ироничного человека с проницательным и тревожным взглядом, как бы ищущим контакта со зрителем и в то же время направленным вовнутрь, в себя. За спиной художника — почти бесплотный, уходящий в глубь картины прохожий. В окне — профиль женщины, в ее гротесковом изображении Григорьев вложил всю свою неприязнь к обывателю, над чьим миром поднимается истинный художник.

В портретах Мейерхольда и Добужинского Григорьев обращается к теме творческой личности, драматизму ее существования, взаимоотношениям с окружающим миром. Мастеру удалось запечатлеть не только черты конкретных людей, но и передать время, создать символические образы режиссера и художника.





Василий Васильевич Андреев. 1900-е годы. ЦГАКФФД

Включишь, бывает, радио — и грянет вдруг из безмолвной до той минуты пласт-массовой коробочки нечто такое, чему название не сразу и вспомнишь: что-то звенящее и солнечное в одно и то же время, стройное и беспредельное. И радостно обомлеешь. И как бы пасмурно ни было на душе, какие бы мрачные настроения ни терзали ее, все куда-то сгинет внезапно, будто век и не знал никаких печалей, и светло сделается кругом, и улыбка тронет уста, а ноги сами собою пустятся в пляс.

Ах, вы сени, мои сени,
Сени новые мои...

Это все чудеса оркестра русских народных инструментов имени В. В. Андреева.

В нынешнем году отмечается столетие первого его публичного выступления. Этим оркестром восхищались Горький, Толстой, Чайковский, он проложил широкую дорогу массовому музыкальному искусству народа, и сейчас в нашей стране, пожалуй что, сотни подобных коллективов, самодеятельных и профессиональных, ежевечерне по знаку вдохновенных рук дирижеров ударяют в звонкие струны, и несется под сводами многочисленных залов удалая музыка, иногда чуть подернутая грустью, а иной раз стремительная и столь неудержимая, что сто́ит только глаза закрыть, как и увидится под звуки этой музыки та самая птица-тройка, коей нет останову и коя летит, по слову изумленного Гоголя, неведомо куда...

Тройка мчится, тройка скачет...

Но вернемся к нашему оркестру, его вдохновителю, его создателю и руководителю, фанатичному поклоннику народной музыки, виртуозу игры на балалайке Василию Васильевичу Андрееву. Вот он на фотографии — человек с лицом мага и чародея, покоривший со своим оркестром Петербург, Москву, Париж, Лондон, Берлин, Нью-Йорк, превративший национальную музыку в неотъемлемую часть мировой культуры.

Играет, играет оркестр его имени. Говорят, говорят ясными голосами домры, балалайки и гусли... Почти совсем так, как во времена В. В. Андреева.

Л. Н. ГУМИЛЕВ,
доктор исторических наук

АПОКРИФИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ

Однажды мой казахский друг, весьма образованный и талантливый искусствоед, рассказал историю, очевидцем которой он был. В экспедиции ему пришлось заночевать в доме, где собралось много казахов, в том числе людей с высшим образованием и высоким общественным положением. В компании был и один бедный старичок, ведущий свою родословную от потомков Чингисидов. Эти люди в степи пользуются большим уважением.

За шумной застолицей возникли споры на родовой почве, перешедшие в яростную ссору. Заблестели ножи, зазвенело стекло разбиваемых бутылок...

И тогда старичок вскочил и крикнул: «Чингисдык роух шакрым!». Что означало: «Дух Чингиса слышит!». Это отрезвило всех мгновенно. Ножи были убраны в ножны, и люди разошлись.

Эта история весьма поучительна. Все мы, несмотря на образование и воспитание, несем в своем подсознании тяжелый груз прошлого. Не только генетическая, но и историческая память, удерживаемая какими-то участками вегетативной, а может быть, и центральной нервной системы и «сигнальной наследственностью», открытой профессором М. Е. Лобашевым, формирует поведение людей всех рас и всех народов.

Эта наследственность крайне сложна в своих проявлениях. Представим себе аналогичную коллизию в парижском кафе. Там ссора не могла возникнуть на родовой основе, потому что французы родового строя не имели. И не имели его и их предки, заявившие о себе в Вердене еще в 841 году — галло-римляне и франки.

Французы поссорились бы скорее на почве политических разногласий. И уж, в любом случае, призыв к духу Филиппа Красивого или Карла Мудрого и даже Наполеона не оказал бы отрезвляющего воздействия на их эмоции.

Для того, чтобы уметь ладить с иноплеменниками, надо представлять их реакцию на тот или иной поступок и не делать таких поступков, которые бы им показались бестактными или, хуже того, обидными. Сколько путешественников, не соблюдавших неизвестного им этикета, погибло зря! И сколько ненужных конфликтов возникает из-за взаимного непонимания или ложной уверенности, что и понимать-то нечего, потому что, дескать, все люди одинаковы, значит, они такие, как я!

Надо помнить, что каждый известный науке облик народа — этнос — несет в себе не только печать окружающей среды, но и накапливаемое прошлое, формирующее стереотип его поведения. И если мы хотим избежать ненужных, а подчас и трагических недоразумений, то нам нужно глубокое знание этнологии, совмещающей в себе географию, биологию, историю и психологию. Думается, практическое значение этой науки не требует дальнейших пояснений.

А теперь вернемся к главной теме этой статьи — истории тюрко-монголов и их завоеваниям. Походы, совершенные тюрко-монголами в XIII веке, произвели огромное впечатление на все окружающие их народы. Однако историки писали о них очень различно, иногда прибегая к помощи эмоций, а не научного исследования.

Китайские авторы далекого прошлого излагали ход событий сухо и беспристрастно, потому что войны рассматривались как проявление сил природы, или, как они выражались, «неба».

На Ближнем Востоке армяне писали о монголах сочувственно, как о своих союзниках, а мусульмане крайне раздраженно, главным образом потому, что монголы-несториане поддерживали христиан — армян и айсоров, а также наладили союз с греками.

В Древней Руси отрицательное отношение летописцев к татарам проявилось не в XIII веке, а столетие спустя, тогда, когда узурпатор Мамай стал налаживать связи с католиками против православной Москвы. Поздний антитатарский фольклор связан не с эпохой Чингиса, а с трехсотлетней эпохой набегов крымских и причерноморских татар и ногайцев на Литовскую и Русскую Украину. Впрочем, ради справедливости надо отметить, что запорожские и донские казаки не уступали ногайцам в стремлении к грабительским набегам. И те, и другие были храбрыми и предприимчивыми воинами.

Но, как ни странно, больше всех возненавидели тюрко-монголов и особенно Чингиса романо-

германские народы Западной Европы. Это странно и даже противоестественно: ведь они Чингиса никогда не встречали, и монголы их не завоевывали.

Тем не менее, именно в Западной Европе пятьсот лет росло и крепло убеждение, что монголы, тюрки и даже русские — чудовищные носители зла и разрушения. Это обывательское мнение можно было бы рассматривать как разновидность расизма, но дело обстоит не столь просто; ведь к арабам и османским туркам, с которыми католическая Европа вела тысячелетнюю войну, такое отношение не возникло. Монголофобия породила ненависть и к сибирским народам, живущим своим бытом и не подозревающих о том, какое большое место они заняли в европейской историографии. А в ней сложились три версии, объясняющие образование Монгольского улуса в XIII веке и считающие это историческое событие проклятием времени.

Первая версия. Тэмуджин, избранный ханом с титулом Чингис, организовал банду, подчинил все кочевые народы Азии и провел ряд войн, продолженных его сыновьями и внуками с корыстной целью — ради личного обогащения. При этом непонятно только: как ему это удалось?

Вторая версия. Весь монгольский народ совершил это преступление согласованно. Неясно только, для чего ему это было нужно, ибо привозить добычу домой при наступлении — невозможно.

Третья версия. Кочевники всегда нападали на трудолюбивых земледельцев, следовательно, здесь не единичное «преступление», а предопределенный положением образ жизни. Надо отметить, что эта версия фигурирует еще в Библии, но с обратным знаком: Каин убил Авеля и за это был осужден. В западноевропейской историографии осужден Авель, а Каин реабилитирован.

Поскольку автору этой статьи приходилось уже не раз вступать в дискуссии и споры с самыми разными оппонентами (с гневными и рассудительными, дилетантами и педантами-источниковедами, с историками-эрудитами Востока и России), попытаемся изложить их принципиальные возражения и дать на них ответы.

Итак, возражения и упреки в адрес автора гневного оппонента-профессора.

— Вы уже не раз писали о Чингис-хане. И ни ему, ни Тамерлану не дали должной оценки! Почему?

Автор. Наука не базар, где любой товар оценивается для продажи. Я не торговал историческими персонажами. Объекты научного исследования не оцениваются, а исследуются. К тому же Чингис, хан монголов, и Тимур, эмир Чагатайского улуса, в истории занимали диаметрально противоположные позиции. Чингис защищал свой народ от могучих и беспощадных соседей, которых ему удалось временно разбить, а Тимур боролся с наследниками Чингиса — кочевниками, одновременно совершая грабительские нападения на оседлых соседей. Общего между ними ничего не было.

Профессор. Можно ли говорить о прогрессивной роли таких завоевателей?

Автор. Конечно, нет, как нельзя говорить о направлении точки. Прогресс — движение вперед, регресс — назад. Как назвать движение вбок? Зигзаг! Человек, идущий по полю без теодолита, всегда отклоняется от прямого направления. Даже движение дождевой капли от облака до земли зигзагообразно. На практике это не существенно, потому что ошибки взаимно компенсируются, но только на значительных отрезках пути. В истории происходит нечто подобное. Можно говорить о прогрессе за двухсот-трехсотлетний промежуток, а десятилетия — почти всегда зигзаги.

Профессор. Так, значит, Вы считаете грандиозные завоевания дикими кочевниками оседлых народов пустяками? А где классовая борьба?

Автор. Завоевания монголов, находившихся в первобытнообщинной формации, произошли в 1200—1260 годах, после чего их улус распался на пять самостоятельных государств, вступивших в жестокую войну друг с другом. Четыре из этих государств стали феодальными, но ведь смена общественно-экономической формации происходит не сразу. Для такой смены требуется рост производительных сил и смена производственных отношений (чего не бывает при натуральном хозяйстве — экстенсивном скотоводстве). Да, империя Юань в Китае, государство ильханов в Иране, Золотая Орда на Волге, Чагатайское ханство в Средней Азии сохранили феодализм, выработанный там задолго до монголов. Но в Джунгарии, где монголы не растворились в массе местного населения, которого там не было, они остались на стадии военной демократии, которая, как известно, является доклассовой. Не понимаю, зачем Вам нужно оспаривать теорию исторического материализма?

Профессор. Как Вы можете защищать разрушение культурных областей и городов дикарями?

Автор. Не могу и не хочу. И не делаю этого. Северный Китай был завоеван и опустошен чжурчженями в 1114—1140 годах, за сто лет до монголов. Средняя Азия и Иран были разорены сначала сельджуками (туркменами), а потом хорезмшахами, опиравшимися на племя канглы (печенеги). С ними-то монголы и воевали. А страна оазисов, торговли и культуры Уйгурия от монголов не пострадала вовсе.

Профессор. Но развалины Хара-Хото!!!

Автор. Этот тангутский город Эцзин-ай, или по-монгольски Урахай, после захвата его монголами в 1227 году процветал более века, пока не был взят китайцами и дотла уничтожен. Ведь осаждающие отвели реку Эцзин-гол, а у монголов шанцевого инструмента не было.

Профессор. А как же монгольское иго в России, продолжавшееся, как известно, до XV век?

Автор. После похода Батыя в 1237—1240 годах, когда война кончилась, языческие монголы, среди которых было много христиан-несториан, с русскими дружили и помогли им остановить немецкий натиск в Прибалтике. Мусульманские ханы Узбек и Джанибек (1312—1356) использовали Москву, как источник доходов, но при этом защищали ее от Литвы. Во время ордынской междоусобицы, или, как тогда говорили, «великой замятни», Орда была бессильна, но русские князья и в это время вносили дань. При Тохтамыше Тимур напал на Орду, после чего она уже не оправилась.

Войны между государствами не всегда влекут за собой ненависть народов друг к другу. Иногда такая ненависть возникает и бывает затяжной, чему пример мы видим в Ольстере: ирландцы не могут забыть расправ Кромвеля в XVII веке над жителями Дрогеды.

Но, к счастью, между русскими и тюрками такой ненависти не возникло. Многие татары, путем смешанных браков, вошли в состав русского народа, а те, которые остались мусульманами, живут в Казани с русскими дружно.

Казахи примкнули к России добровольно в XVIII веке, а узбеки и туркмены так сжились с Россией, что в тяжелые годы гражданской войны не отделились от нее. Вряд ли такое объединение народов следует называть «игом»? И потому нет необходимости обвинять русских князей за то, что они договорились с татарами о взаимной помощи против наступавших с запада немцев, литовцев и венгров. Зачем называть братский народ потомками «диких грабителей»? Да, они воевали жестоко. Но эта жестокость была вполне в духе того времени. Просто татары воевали более удачно, чем их враги. Можно ли их обвинять за это? Пусть объяснит мой оппонент.

Профессор. Я не могу с Вами разговаривать. У Вас биолого-энергетический подход к прошлому, который не может определять социальный прогресс.

Автор. Такой подход не только у меня, но у К. Маркса и Ф. Энгельса (Соч., т. 46, ч. I, с. 462—463). Конечно, природные явления социальное развитие не определяют, ибо социальное развитие спонтанно, а этносы (народности или племена), согласно К. Марксу,— предпосылка социального развития. Древний человек жил группами или стаями ради успешной охоты и защиты от хищников. Этносы существуют поныне, переживая общественные формации. Этногенезы — происхождение и исчезновение этносов — природные явления, взаимодействующие с социальным развитием. Этногенезы — это зигзаги на глобальном развитии человечества. С этим вы, вероятно, спорить не будете.

Профессор. Не буду! Я гуманитарий; знать не хочу эту природу! Скажите четко: что благо, а что вред?

Автор. В природных явлениях нет места категории оценки. Штиль и ураган, засухи и наводнения — это бытие, существующее вне нас и помимо нас. Изучать их необходимо, чтобы предохраниться от их воздействий. Для этого существует метеорология, наука об атмосфере. А историческая география — наука об антропосфере. Ее можно изучать, но не нужно оценивать. Происходящие в ней грандиозные события, с точки зрения личной вины или заслуги, отдельные люди не могут ни инициировать, ни предотвратить такие планетарные явления, как эволюция или миграции народов. Но если с этими явлениями считаться, то можно уберечься от их пагубных последствий. Точно так же, как, например, предвидя извержение вулкана в океане, можно увести людей с побережий в горы. И тогда цунами не повлечет за собой человеческих жертв.

Предоставим теперь слово оппоненту рассудительному. Он — искусствовед.

Искусствовед. Самое дорогое из того, что сделало человечество, — это культура и, особенно, искусство. Я люблю нашу Древнюю Русь с ее городами, монастырями, богатырями, вечевыми порядками и уважением к своим князьям. Разрушение этой прекрасной старины, ее культуры, ее памятников, ее обычаев, совершенное в XIII веке полчищами монголов, которых наши предки ничем не обидели, представляется мне чудовищным преступлением, вызвавшим наше отставание от Европы. Разве это не так?

Автор. В том, что искусство прекрасно, а разрушение его ужасно — Вы правы. Действительно, Москва была красивым городом, полным изукрашенных зданий, богатых товаров, ценных рукописей. И все это погибло в огне... в 1812 году. Утрата непоправимая, но разве



Наполеон был монгол? А за 200 лет перед этим Москву начисто сожгли поляки, так что Минин и Пожарский отбили дорогое всем русским пепелище. В 1571 году Москву сжег вассал Высокой Порты (Турции) крымский хан Девлет-Гирей, который никакого отношения к монголам не имел. За два века до него ее уничтожил отдаленный потомок Чингиса, хан Синей Орды Тохтамыш. Он совершил набег на Москву, поддерживая своих союзников — суздальских князей Василия и Семена Дмитриевичей, Олега Рязанского и многих других бояр, противников разрыва русских княжеств с ханом.

Искусствовед. Но Вы ни слова не сказали о Батые, завоевавшем Русь и установившем татарское иго. Вы его забыли?

Автор. Отнюдь нет. Войско Батыя, выступившее против половцев, с которыми монголы вели войну с 1216 года, в 1237—1238 годах прошло через Русь в тыл половцам, и принудило их бежать в Венгрию. При этом была разрушена Рязань и четырнадцать городов во Владимирском княжестве. А всего тогда там было около трехсот городов. Монголы нигде не оставили гарнизонов, никого не обложили данью, довольствуясь контрибуциями, лошадьми и пищей, что делала в те времена любая армия при наступлении.

Искусствовед. Но они разгромили мать городов русских державный Киев!

Автор. До Батыя, а точнее в 1169 году, Киев опустошил Андрей Боголюбский, отдавший столицу Руси на трехдневный грабеж своим ратникам, как поступали только с чужими городами. В 1203 году то же самое сделал и князь Рюрик Ростиславич Смоленский, которому содействовал князь Игорь Святославич, известный герой «Слова о полку Игореве». Так что Батыю мало чего осталось от Киева...

Искусствовед. А дикая расправа с жителями Козельска, который монголы прозвали «злым городом»?

Автор. Действительно, этот трагичный эпизод выпадает из ряда прочих, но объяснить его можно. В 1223 году монголы, воюя с половцами, послали им в тыл 30 тысяч воинов. Они прошли через Кавказ с боями, подвергаясь нападениям грузин и осетин, но пробились через Дарьяльское ущелье к половецким становищам. Тогда все южнорусские князья выступили на защиту половцев. Монголы направили к русским князьям посольство с мирными предложениями, но князья этих послов убили. Среди инициаторов убийства был Мстислав, князь черниговский и *козельский*.

Монгольский обычай, основанный на родовом строе и военной демократии, предусматривал коллективную ответственность за преступления. Худшим поступком они считали обман доверившегося и убийство посла. Этого они никогда не прощали, ибо на Востоке посол — гость. «Злыми городами» они называли те, где убивали их послов. В 1238 году монголы дошли до Козельска. По их обычаю, советчики князя — бояре и дружина, а также их родня отвечают за содеянное князем зло. Русские тоже это знали, и за семь недель осады никто не прислал подмоги Козельску, хотя тогда на Руси было не менее ста тысяч воинов.

Искусствовед. Я считаю, что Древней Руси было полезнее объединиться с Западной Европой, где расцветала культура, слагали баллады менестрели и на горизонте уже мерцала эпоха Возрождения. Вы же сами писали, что на Руси XIII века было немало людей, стоявших за тесный контакт с Европой, например, автор «Слова о полку Игореве». Я на его стороне! Вообразим, что было бы, если не вмешательство монголов в нашу историю...

Автор. Простите, перебиваю. Воображать не надо, ибо уже в XIV веке это вмешательство вот что принесло Руси. Великороссия, тогда именовавшаяся Залесской Украиной, добровольно объединилась с Ордой, благодаря усилиям Александра Невского, ставшего приемным сыном Батыя. А исконная Древняя Русь — Белоруссия, Киевщина, Галиция с Волынью — почти без сопротивления подчинилась Литве и Польше. И вот, вокруг Москвы — «золотой пояс» древних городов, которые при «иге» остались целы, а в Белоруссии и Галиции даже следов русской культуры не осталось. Новгород отстояла от немецких рыцарей татарская подмога в 1269 году. А там, где татарской помощью пренебрегли, потеряли все. Взгляните на карту того времени. На месте Юрьева — Дерпт, ныне Тарту, на месте Колывани — Ревель, ныне Таллин; Рига закрыла для русской торговли речной путь по Двине; Бердичев и Брацлав — польские замки — перекрыли дороги в «Дикое поле», некогда отчину русских князей, тем самым взяв под контроль Украину. В 1340 году Русь исчезла с политической карты Европы. Возродилась она в 1480 году в Москве, на восточной окраине былой Руси. А сердцевину ее, древнюю Киевскую Русь, захваченную Польшей и угнетенную, пришлось спасать в XVIII веке.

Искусствовед. А почему же в русской литературе, в частности у А. К. Толстого, существовало устойчивое мнение о европейцах как естественных союзниках и друзьях Руси?

Автор. Русские интеллигенты, даже такие патриотичные, как поэт А. К. Толстой, не разобрались в истории вопроса. Действительно, князья дружили со шведами, англосаксами, датчанами и выдавали за их королей своих дочерей. Но со временем Западная Европа набрала силу и стала рассматривать Русь как очередной объект для колониального захвата. Удобный момент представился в XIII веке, но тогда рыцарям и негоциантам помешали монголы. Когда возник очередной конфликт Руси с Ливонией, великий князь Ярослав Ярославич в 1269 году привел в качестве союзников татар, чем так напугал немцев, что те сразу запросили мира.

Разумеется, ливонские рыцари, их сюзерен — император Священной Римской империи и папа, объявивший в 1246 году на Лионском соборе крестовый поход против татар, отнюдь не были рады такому обороту дела. Но так как никто не винит в неудаче себя, то опять появился повод для того, чтобы осудить татар, в очередной раз назвать их «варварами», «дикими кочевниками».

Искусствовед. Но у монголов тогда действительно не было ни грамотности, ни изобразительного искусства...

Автор. Уточним: Вы просто ни того, ни другого не знаете. Большая часть кочевников XII—XIII веков была крещена несторианскими миссионерами, следовательно, богослужебные книги, пусть на уйгурском алфавите, у них были. Значит, их могли читать миряне. А в это время во Франции, Англии и Германии эти книги писались только по-латыни и, следовательно, были недоступны для народа. А что касается изобразительного искусства, во всех европейских странах изданы прекрасные альбомы и монографии по монгольской живописи. Перечислить их в статье невозможно, так их много.

Искусствовед. Средневековая Европа строила грандиозные замки, величавые соборы. Ничего подобного не оставили после себя ни хунны, ни монголы.

Автор. Здания сооружаются для того, чтобы в них жить. Конечно, камень долговечнее войлока, но в замках было сыро и холодно. Рыцарям и их дамам приходилось проводить долгие вечера перед каминами, потребляющими много дров, а слуги, пажи и оруженосцы даже в северной Руси спали в неотопленных клетях, под перинами. Жилище кочевника — гер, или юрта, сооружалось из двух куполов. Воздушная прокладка между ними служила изоляцией и от холода, и от жары. Маленький костер среди юрты нагревал круглое помещение равномерно инфракрасными лучами. Юрты были вместительны и хорошо вентилировались. Ханские юрты вмещали до пятисот гостей.

Искусствовед. А прекрасные одежды средневековых дам и кавалеров! Ведь ни бархата, ни полотна у монголов быть не могло. Они ходили в овчинах.

Автор. Зимой в овчине теплее и удобнее, но для праздников у них были собольи меха и беличьи шубки, а в Англии горностаевую мантию носил только король. Проблема передвижения у кочевников решалась просто: они ездили верхом, тогда как европейские крестьяне передвигались пешком, и лишь богачи и кюре — на ослах. Да, кочевые народы оставили мало памятников, но ведь и русское деревянное зодчество той эпохи не сохранилось до наших дней. И это не значит, что его не было.

Искусствовед. Просто Вы любите монголов!

Автор. Мои личные вкусы и эмоции не имеют отношения к делу. Я историк, и как исследователь верю только реалиям. Утверждаю, что русские князья и бояре считали, что выгоднее иметь не очень сильного союзника за широкими степями, какой была Золотая Орда, чем ливонский орден и Польшу на переднем крае агрессивного рыцарства и купеческой Ганзы, у себя под боком. Пока существовала сильная Византия, ни «Христианский (католический)», ни Мусульманский мир не были страшны русской земле. Но в 1204 году этот естественный союзник исчез, так как Константинополь был взят и разрушен крестоносцами. Он воскрес в 1261 году маленьким и слабым. Без друзей жить нельзя, и тогда возник *союз* полухристианской Орды и христианской Руси, эффективный до перехода хана Узбека в ислам в 1312 году. Неужели непонятно?

Искусствовед. Я не умею верить в то, к чему я не привык. Мне трудно относиться к изложенному Вами положительно.

Оппонент (самовлюбленный писатель). Монголы тех времен — это сброд без рода и племени, а Чингис — негодяй, запугавший свой народ.

Да и не свой он для него. Ведь Чингис был не монгол, он же блондин! И воины его не монголы, а разноплеменное войско, объединенное культом жестокости и страха.

Автор. Но как один человек мог объединить Монголию и победить сильных соседей?

Писатель. Ему помогали «люди длинной воли». Злодеи. Они разгромили племя меркит на Иргизе и открыли в 1216 году монголам путь на запад.

Автор. Монголы оттуда двинулись на Семиречье и Хотан, а это не запад, а юго-восток. Потом они взяли Отрар, который лежит восточнее Иргиза.

Писатель. Не все ли рав-

но! Целью монголов был только грабеж. Иначе ради чего они появились в степях, принадлежавших киданям, меркитам, найманам, в государствах чжурчжэней, тангутов, в Корее, Индии, Афганистане, Иране, Азербайджане и многих других странах?..

Автор. Ну и ну! Однако потратим время и вежливо объясним. *Меркиты* жили в тайге, а не в степях рядом с монголами, и в 1200 году начали войну с улусом Чингиса, входили во все коалиции против него, пока не были разбиты. Кидани с монголами не воевали. Восточные кидани изменили чжурчжэням и перекинулись к монголам, а западные добровольно примкнули к улусу Чингиса. Найманы в 1204 году начали войну с монголами за гегемонию в степи и проиграли. Однако монголы их приняли в свою Орду. В Корею они действительно вошли и обложили ее данью. Вошли и в Индию, преследуя отступивших хорезмийцев, и тут же ушли.

Не завоевывали они и Афганистан, Иран, Азербайджан, хотя бы потому, что таких государств в XIII веке не было. Это были территории, подвластные хорезмшаху Джеляль ад-Дину, сыну Мухаммеда.

Писатель. Восхвалять кочевников, врагов Руси, непатриотично.

Автор. А клевета на наших предков разве патриотична? По Вашему мнению, трусливый, разноплеменный сброд, удерживаемый в покорности только ужасом перед злобными олигархами, перебил все русские рати, имевшие преимущество в числе, вооружении и снабжении? Неужели наши предки были трусами? Полагаю, что «нашествие» Батыя было на самом деле большим набегом, кавалерийским рейдом, а дальнейшие события имеют с этим походом лишь косвенную связь. В истории все сложно. Не обижайтесь, но еще Данте сказал: «Если поэт не сможет объяснить написанного им сонета, то вечный стыд такому поэту». С Данте литератору считаться необходимо.

Источниковед (строгий и ученый). Спор с невежественным оппонентом — занятие бессмысленное. Есть восточная пословица: «Собака лает, а караван идет». Зачем Вы уделили этому лаю столько внимания, когда в истории есть поистине существенные и нерешенные проблемы?

Автор. Во все времена было немало читателей некомпетентных и доверчивых, а поэтому склонных подменять науку сказкой. Но винить их не следует. Ведь ученые работают ради всех читателей. Поэтому именно они обязаны разъяснить истинное положение вещей и показать, что мнение того или иного исследователя следует принимать лишь постольку, поскольку оно доказано фактами и эмпирическими обобщениями.

Источниковед. Пожалуй, Вы правы. Но мне хотелось поговорить вот о чем. Известно, что все средневековые европейские авторы писали о монголах крайне недоброжелательно. Почему?

Автор. Это-то верно, но все ли европейцы так думали? В XIII веке в Европе были паписты-гвельфы и сторонники императора — гибеллины. К числу гвельфов принадлежали юго-западные французы — Анжуйский дом, северо-восточные немцы — саксонская династия герцогов Вальфов, половина Италии и орден тамплиеров. Гибеллинами были швабские герцоги Гогенштауфены, которых поддерживали французские Капетинги. Гибеллины искали поддержки у восточных христиан: в Никейской империи, армянском царстве, в Киликии и у монгольских несториан. Папы за это отлучали их от церкви.

В этой расстановке сил в Европе XIII века и кроются истоки переходящей лжи о монголах, которая стала столь распространенной, что ее правильнее называть «черной легендой».

Эта «черная легенда», конечно, не единственная в европейской историографии. Были и другие.

Испанские историки, изучающие эпоху колониальных захватов, весьма обижены на то, что их английские и германские коллеги не жалеют черной краски в описании конкистадоров XVI—XVII веков. Те, в самом деле, были жестокими воинами, но чем лучше их англо-французские флибустьеры, американские «охотники за скальпами», французские корсары, английские «джентльмены удачи» южных морей, работорговцы, буры-рабовладельцы и голландские «коммерсанты»-плантаторы в Индонезии?

Когда о них писали авантюрные романы, то симпатии авторов, как правило, были на стороне европейцев, славных парней, просто желавших разбогатеть. Это создавало определенный настрой в читающей публике, одобрение колониальных захватов, а преступления колонизаторов рассматривались как подвиги.

Однако из числа «положительных героев» исключались испанцы. Им ставили в вину и инквизицию, и ограбление мексиканских и перуанских храмов, и борьбу с корсарами на Карибском море. Все это действительно имело место, но пуритане Новой Англии жгли своих женщин, обвиненных в колдовстве, чаще, чем в Севилье, скваттеры и трапперы, перебив немногочисленных индейцев, уничтожили бизонов и бобров, а плантаторы Виргинии хищническим разведением монокультуры хлопка превратили роскошные субтропические леса в песчаные дюны.

Короче говоря, одни других стоили, и испанцы правы, что осуждать конкистадоров больше, чем флибустьеров и скваттеров, несправедливо. И они назвали эту тенденциозную подачу материала — «черной легендой».

Но если «черную легенду» об испанцах легко объяснить накалом протестантской пропаганды и тем, что именно в протестантских странах были более развиты книгопечатание и грамотность, то гораздо сложнее проблема возникновения такой же «черной легенды» о монголах, распространившейся в Западной Европе не с XIII века (эпохи их завоевательных войн), а позже — с XIV по XX век.

Эта тенденциозность не случайна. Когда в 1260 году монголы-христиане пошли в Палестину освобождать от мусульман «гроб господень», тамошние тамплиеры (орден крестоносцев, защищавший христианские святыни) пропустили мамлюков в тыл уставшим монголам, а те начали истреблять сирийских и армянских христиан. Тамплиеры не выступали в их защиту. Они бежали сначала на Кипр, а потом уехали в Европу.

В Европе возмутились таким предательством, но тамплиеры все грехи свалили на монголов и оправдались в общественном мнении. Со временем семена лжи проросли в либеральной историографии, дав особо бурные всходы в XVIII веке, когда усиление России Европа стала рассматривать как возрождение Монгольского улуса. Итак, с легкой руки предателей-тамплиеров европейская историография начала чернить татар, монголов и русских, противопоставляя этим «диким азиатам» благочестивый цивилизованный Запад.

Так и закрепилась «черная легенда» сначала в Западной Европе, а потом и у нас в России, ибо реальность всегда воспринимается труднее, чем миф.

Источниковед. Да, конечно, источники надо воспринимать критически. Уже в 1896 году В. В. Бартольд отверг «старое представление о монгольских завоеваниях как о нашествиях бесчисленных диких полчищ». Образование монгольского государства он связывал не с борьбой между отдельными личностями или племенами, а с борьбой аристократии с народными массами.

Автор. А Вы сами согласны с В. В. Бартольдом?

Источниковед. Ну, видите ли... Академики Б. Я. Владимирцов и С. А. Козин не приняли его интерпретации. В открытый спор с В. В. Бартольдом вступил А. Ю. Якубовский, который столь же резко критиковал предположения Г. Е. Грумм-Гржимайло и Р. Груссе, но сам не предложил ничего конструктивного. А я специалист не по оседлым, а по кочевым народам. У меня своего мнения по этим вопросам нет.

Окончание следует

НАШИ АВТОРЫ

● СЛЕПАКОВА Нонна Менделевна. Родилась в Ленинграде. Окончила Ленинградский институт культуры. Выступает в печати с 1961 года. Автор нескольких стихотворных книг, пьес для детей и поэтических переводов с английского и языков народов СССР. Член СП. Живет в Ленинграде.

● СЕМЕНОВ Юлиан Семенович. Родился в 1931 году в Москве. Окончил институт востоковедения. Автор популярных романов, повестей, киносценариев. Член СП. Живет в Москве.

● МОЧАЛОВ Лев Всеволодович. Родился в 1928 году в Ленинграде. Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Русского музея. Автор нескольких стихотворных сборников, книг для детей, многих исследований по вопросам искусства. Член СП. Живет в Ленинграде.

● ГАЛУШКО Татьяна Кузьминична. Родилась в Ленинграде. Окончила историко-филологический факультет ЛГПИ имени А. И. Герцена. С 1960 года работает во Всесоюзном музее А. С. Пушкина. Первые стихи опубликованы в 1952 году. Автор нескольких поэтических книг. Член СП. Живет в Ленинграде.

● ВЕКСЛЕР Ася Исааковна. Родилась в городе Глазове Удмуртской АССР. Закончила Институт имени И. Е. Репина. Работает в книжной графике. Впервые опубликовала стихи в журнале «Нева» в 1966 году. Автор двух поэтических книг. Член СП. Живет в Ленинграде.

● РЕКШАН Владимир Ольгердович. Родился в 1950 году в Ленинграде. В 1974 году окончил исторический факультет ЛГУ, прозаик. Печатался в «Неве», «Авроре», «Костре», «Литературной учебе» и других периодических изданиях. Автор книги «Третий закон Ньютона». Живет в Ленинграде.

● КАВТОРИН Владимир Васильевич. Родился в 1941 году в Никополе. Окончил Литературный институт им. М. Горького. Автор нескольких книг прозы и ряда критических работ. Заведует отделом критики и искусства журнала «Нева». Член СП. Живет в Ленинграде.

● ЧУБИНСКИЙ Вадим Васильевич. Родился в 1926 году в Ленинграде. Доктор исторических наук, кандидат филологических наук, профессор, заведующий кафедрой Ленинградской высшей партийной школы. Член Союза журналистов СССР. Живет в Ленинграде.

Сдано в набор 26.11.87. Подписано к печати 18.01.88. М-31501. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Бумага тип. № 2. Печать высокая. 18,2+4 вкл.— 18,9 усл. печ. л. 21,0 усл. кр.-отт. 23,83+4 вкл.= 24,48 уч.-изд. л. Тираж 550 000 экз. Заказ № 776. Цена 95 коп.

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 315-84-72, 312-65-95, отдел поэзии и «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 312-65-85, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15